НИНА СОБОЛЕВА

ГОД РОЖДЕНИЯ
ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ДВАДЦАТЬ
ТРЕТИЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Перед вами дневники и воспоминания Нины Васильевны Соболевой — представительницы первого поколения советской интеллигенции. Под протокольно-анкетным названием "Год рождение тысяча девятьсот двадцать третий" скрывается огромный пласт жизни миллионов обычных советских людей. Полные радостных надежд довоенные школьные годы в Ленинграде, страшный блокадный год, небольшая передышка от голода и обстрелов в эвакуации и — арест как жены "врага народа". Одиночка в тюрьме НКВД, унижения, издевательства, лагеря — всё это автор и ее муж прошли параллельно, долго ничего не зная друг о друге и встретившись только через два десятка лет. Книга прекрасно написана и читается как увлекательный роман, — стойкость, мужество и высокие моральные качества автора которого вызывают искреннее восхищение.

- ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
  - Зима 1940-го г
  - Весна-лето 1940-го
  - Осень 1940-го
  - Зима-весна 1941-го
- ЧАСТЬ ВТОРАЯ
  - Лето-осень 1941-го
  - Через много лет. То, что запомнилось
  - Декабрь 1941-го
  - 1942-й г
  - Весна-лето 1943-го
  - Осень 1943-го
  - Весна-лето 1944-го
- ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
  - Осень 1944-го. Арест
  - Зима 1945-го
  - Весна 1945-го
  - Лето 1945-го
- ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
  - 1946 — 1947
  - 1948–1957
  - 1958 — 1982
  - ИЗ РАССКАЗАННОГО АРНОЛЬДОМ
- Заметки 1968–1978 г.г
  - Лето 1968 г

    - 1972 — 1974 г.г
    - 1976 — 1978 г.г
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31
    - 32
    - 33
    - 34
    - 35
    - 36
    - 37
    - 38
    - 39
    - 40
    - 41

- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Зима 1940-го г

9 января 1940 г.

Сегодня в газете:

Поток приветствий товарищу Сталину в связи с 60-летием со дня рождения.

Оперативная сводка штаба Ленинградского военного округа: «…В течение 7 января на Фронте ничего существенного не произошло».

Навстречу «Седову». С борта ледокола «И. Сталин»: «Ясно видим огонь на мачте “Седова”». И. Папанин.

Война в Европе. Германский военный воздушный флот продолжает разведывательные полеты на восточном побережье Англии и Шотландии.

Решено: для того, чтобы приучить себя регулярно хотя бы просматривать газеты, буду в начале страницы записывать самое главное из «Правды». Конечно, и для своих пионеров газетный материал использовала, но от случая к случаю и лишь то, что интересно для них (например, весь дрейф «Седова» они отмечают на карте). Но теперь наша комсгруппа готовится к распределению по предприятиям района в качестве агитаторов, а пока мы по очереди проводим политинформации в своем классе.

Я уже два раза выступала, но не очень удачно — как дойдет до вопросов, так я на половину не могу ответить. На заседании комитета Женька Левин сказал: «Некоторым нашим девочкам игра с пионерами в куклы ближе, чем политико-воспитательная работа». Это он про мой кукольный театр. Разозлилась я на него страшно, да ведь поругаться с ним невозможно — все превращает в шутку, хохочет: «А разве не так? Разве ты этот театр затеяла не для собственного удовольствия?» В общем-то он прав. Среди прочих мероприятий в моем отряде кукольные спектакли занимают важное место. И хоть возни с ними много, но делать кукол, декорации, репетировать — очень интересно. А сколько волнений во время выступления! Я очень рада, что даже самые озорные мальчишки из моего 4-го «Б» увлеклись этим делом. Из одного, кажется, получается неплохой режиссер — он уже несколько раз самостоятельно проводил без меня репетиции. В общем, жаль мне, что придется расстаться скоро с пионерами — привязалась я к ним за два года.

А какой из меня «агитатор» получится — еще неизвестно. Да и боюсь я — ведь перед рабочими выступать придется. Ну да

ничего не поделаешь — наша комсгруппа выбрана райкомом как наиболее активная. Пионервожатую себе на смену я уже нашла — хорошую девчонку из восьмого класса. Она отличная спортсменка, не в пример мне. Уже познакомила ее с ребятами, и первым делом она начала готовить лыжные соревнования.

А мне надо сейчас целиком переключиться на газеты. Чтоб ни одного дня без газет! Чтоб это привычкой стало.

13 января 1940 г.

Сегодня в газете:

Поток приветствий товарищу Сталину.

Война в Европе. Берлин, газета «Кёльнице Цайтунг» выступила со статьей об англо-французских попытках разжечь войну на севере.

Париж, 12 января: «В течение дня была отмечена большая активность артиллерии и авиации с обеих сторон» (т. е. Германии и Франции).

Лондон. «Английские самолеты в ночь с 11 на 12 января произвели разведывательные полеты над западной и Сев. — Зап. Германией

По стране. «Дело клеветнической группы Напольской» (об антисоветской клеветнической деятельности группы. Всем пятерым даны сроки. Напольской, Ивановской и Горохову — по 20 лет, а Михайлову и Ионову — по 15).

Ну вот, сделала утром выписку из газеты, а сейчас хотела о своих делах писать, и какое-то дурацкое чувство — неловко как-то после государственных дел писать о всякой своей личной чепухе. Может, два дневника вести — один для «общественных» событий, другой — для личных? Да нет, буду продолжать так, как начала. Ведь иногда и по поводу газетного материала что-то записать, может, захочется. Вот сейчас, к примеру, впервые обратила внимание, что в судебных отчетах фамилии называют и без «товарищ» (ну, это понятно), и без инициалов почему-то. А ведь однофамильцев много, вдруг кто-то в другом городе прочитает: «Михайлов осужден на 15 лет…» и испугается, что это его родственник или знакомый?

Переключусь на свое. Пишу на уроке. За окном еще темно. Холодно в классе, спать хочется, а наша Маргоша вздумала Гейне в подлиннике читать: «Ах, классика! Ах, истинно немецкий язык!» Я люблю Гейне, но меня больше устраивают переводы. Да и большинство ребят дремлет с открытыми глазами. Один только Додька Блехман разделяет восторги Маргоши — ну, да ведь он по-немецки болтает запросто, малыши его «фашистом» за это

дразнят. Дурачки, конечно, но, честно говоря, язык этот я тоже не люблю. Правда, я занимаюсь им от случая к случаю и, как следствие, из троек не вылезаю. (Вот какая я самокритичная! Хоть бы кто оценил!)

Чтоб не заснуть, запишу о вчерашнем. Вчера мы с Адой в Дом ученых ходили на концерт. Знаменитый Гилельс [1] играл Шопена.

По этому случаю я к своему выходному серому платью пришила белый воротник с оборочками и такие же манжеты. Ада усмехнулась, но ничего не сказала, а я была готова тут же отпороть эти «рюши и бантики». Она, по обыкновению, в своем синем костюме, в туфлях на низких каблуках — и это ей очень идет.

В Доме ученых я впервые. Это старинный особняк на Дворцовой набережной [2]. В нем жил великий князь Владимир[3], ну, и всё — соответственно: мраморные лестницы, ковры, зеркала, стены в тон обивке мебели цветным шелком обтянуты — голубая гостиная, коричневая, красная. В угловой крохотной «мавританской» золотистой тканью все задрапировано, угли чуть теплятся в настоящем камине, свет притушен, а в окна сквозь узорчатую решетку силуэт Петропавловки виднеется… В общем, про этот дом можно без конца рассказывать. Какой зимний садик! С фонтаном, с цветущими кустами сирени! Какой ресторан! Весь обшит резными деревянными панелями — мы только на пороге постояли, зайти не рискнули. А какая старинная библиотека!

И публика особая — солидная, чинная, почти все знакомы между собой. Неужели это все ученые? Мы-то с Адкой случайно билеты достали, через ее знакомых, и, разумеется, старались быть «на уровне» — прогуливались не спеша, разговаривали вполголоса, по сторонам (явно) не смотрели.

Начался концерт. Зал небольшой, беломраморный, вдоль боковой стены — драпировка желтого шелка, такая же обивка белых кресел, и даже рояль — белый. Сначала все было хорошо. Музыка и вправду прекрасная. Пианист — потрясающий. Длинный, тощий, согнулся в своем черном фраке над белым роялем и терзает его, рвет, как будто какая-то хищная птица свою добычу… Так ему аплодировали, аж хрустальные подвески люстры дрожали!

Во втором отделении он начал «этюды» Шопена играть, и мы с Адкой настроились слушать. И вдруг на нас смех напал! Ни с того ни с сего! Она что-то шепнула мне, а я не поняла и фыркнула. Соседняя дама на нас шикнула, мы взглянули друг на друга… Ну, а дальше уже никакого удержу не было! И рты себе зажимали, и руки щипали, и за барьерчик ложи прятались, но

ничего поделать с собой не могли — трясемся от смеха, да и все тут! Так, почти на четвереньках, и вылезли из зала, а уж на лестнице (мраморной, в зеркалах!) до того хохотали, что швейцар нас чуть взашей не вытолкал.

И на улице долго не могли успокоиться, даже прохожие оборачивались. Шли домой пешком, по набережной мимо Зимнего, Исаакия, вдоль канала Грибоедова, через Поцелуев мостик, за спиной Мариинки, а там — в конец Садовой, к Адкиному дому-«утюгу» (он зажат между Фонтанкой и Садовой, и в плане — как острый треугольник). Путь неблизкий, но мы шагали в темпе марша. Мокрый снег в лицо лепит, ветер, а мы чеканим шаг и песни в такт поем, благо прохожих нигде не было. Лучше всего «Ах, зачем ты меня целовала» получалось. И еще любимая песня октябрят «Двенадцать негритят пошли купаться в море, двенадцать негритят резвились на просторе, один из них утоп, ему купили гроб, и вот вам результат — одиннадцать негритят…».

Продолжаю на уроке военного дела — на немецком чуть не погорела, увлеклась писаниной и вдруг — Маргоша: «Лаврентьева! Чем вы заняты?» Еле тетрадь успела спрятать. Вот была бы умора, если б она, заглянув, по своей привычке через плечо, прочитала вместо «высокой немецкой классики» — «двенадцать негритят!..».

На военном деле сегодня теория — «Средства химической войны». Дядька близорукий, нудный потом спишу у кого-нибудь. Вот когда в тир ходим — это я люблю, у меня уже значок юного Ворошиловского стрелка заработан.

Итак, закончу про вчерашнее. Точнее — про Адку. Когда мы расстались, я по Фонтанке домой шла и все про нее думала. Познакомились мы с нею этим летом, в Рождественском пионерском лагере. Захотелось мне в этом году с лагерной жизнью попрощаться, хотя бы в качестве «дочки библиотекарши». Мы с мамой в отдельном доме жили, «при библиотеке». Собственно, это был не дом, а обычная большая изба. Рождествено[4] — это старинное село, где над обрывом сохранилась помещичья усадьба чуть ли не потомков Петра. Рядом — красивая церковь красного кирпича, а за мостом, на высоком тенистом холме — кладбище, на котором похоронена мать Рылеева. В двух километрах от Рождествено — другое село, Выра. Это в нем жил «Станционный смотритель» и, как говорят, бывал Пушкин, где и услышал историю про его дочку.

Так вот, пионерский лагерь, в котором работала летом мама, занимал двухэтажное школьное здание и несколько изб в центре Рождествено. Я была свободна от лагерного режима, но вместе с

ребятами старшего отряда ходила в походы, на танцы, на вечера возле костра. Там я и познакомилась с Адой, и понравилась она мне ужасно. Всем понравилась. И тем, что на девчонок других не похожа — не интересуется тряпками, сплетнями. И тем, что к своей внешности равнодушна, похожа на мальчишку — белоголовая, с короткой стрижкой. Ходит спокойно, немного враскачку. Хорошо слушает, улыбается чуть насмешливо, но не обидно. О себе говорит мало, сдержанно, никогда не хвастает. И уж совершенно нельзя представить, чтобы она плакала или набивалась с «душевными излияниями», или суетилась, лезла в чьи-то чужие дела… Короче — нравится она мне во всем! Даже имя ее необычное — Армида Неретниеце[5]. И то, что она латышка, дома с мамой по-латышски разговаривает (отец у нее пропал без вести в 37-м, и об этом ни спрашивать, ни говорить нельзя).

Вот вроде всего каких-то полгода прошло, как мы с ней знакомы, но знаю, что за это время я изменилась. Читать стала иначе, т. е. я всегда много читала, но «заглатывала» все подряд и, главным образом, беллетристику. А в этом году, если б не Адка, то, вероятно, так бы и не открыла для себя такие «заумные» (мне думалось) книги, как, например, «Эмиль» Руссо — оказалось, там много полезного о самовоспитании; переписка Чайковского с фон Мекк[6] (надо же, тринадцать лет переписывались, а встретиться так и не пришлось!), письма Чехова (теперь Чехов для меня совсем родным человеком стал); «Работа актера над собой» Станиславского (очень интересно об актерской «муштре» и «кругах внимания»). И даже в сочинения Шопенгауэра и Ницше нос сунула — выяснилось, что кое-что понятно, хотя зауми больше.

Адка читает много, всерьез. И точно знает, что будет кинорежиссером. Для этого изучает (именно изучает, а не почитывает) историю театра, кино, музыки, живописи, скульптуры. И вот уже три года занимается в кружке при Эрмитаже и поэтому здорово знает зарубежное искусство.

Мне так хотелось быть похожей на нее, что я осенью тоже записалась в эрмитажный кружок и уже полгода, дважды в неделю, хожу туда. И это очень интересно! Конечно, я и раньше в Эрмитаже бывала, но как все — с экскурсией от школы. А теперь — совсем другое: мы приходим своей группой по 15 человек. Таких групп школьников что-то около сотни. Это директор Эрмитажа академик Орбели[7] организовал такое. И вечерами, когда музей уже закрывается, наша руководительница ведет нас к картинам какого-нибудь одного художника. Обычно мы знакомимся не больше, чем с одним за вечер. Это получается

прямо как личное знакомство — не только его работы, но и как жил, какой характер у него был, с кем дружил, с кем враждовал. После этого совсем по-другому и на картины смотришь.

А как хорошо идти пустынными, уже сумеречными залами! В каждом по-своему пахнет, по-своему звучат шаги, скрипит паркет… В старинных люстрах зажигаются лампочки — длинненькие, как пламя свечей — и золоченые рамы начинают светиться, глаза на портретах будто оживают. Идешь мимо, а они следят за тобой… И совсем нетрудно представить, как ночью все они выходят из рам, бродят по залам дворца, беседуют, может, танцуют. Как на маскараде — рядом и рыцари в латах, и дамы в кринолинах, и герои античности… Интересно, а как вели бы себя в этой толпе всяческие Христосы и Мадонны? Ведь их множество — и все разные. Наверное, спорили бы, кто из них «истинный»? А как с ангелами? Порхали бы где-то под самым потолком? А пьяненькие гуляки Рубенса пели бы песни и буянили? И вдруг — Александр на белом коне (из Галереи 1812 года) проскачет по всем залам и наведет порядок! А за ним рядами промаршируют герои Бородинского сражения (очень люблю рассматривать их портреты). И сразу все разбегутся по своим местам и — снова тишина и покой… Вот бы такой кинофильм сделать! Предложу Аде такой сюжет.

В общем, об Эрмитаже могу без конца говорить и думать. Да он и действительно бесконечный: даже чтоб просто обойти все залы, надо пройти тридцать километров! А на то, чтоб все изучить в нем, наверно, и жизни не хватит. И хотя я теперь знаю лишь какую-то маленькую часть его, но так приятно, что, к примеру, могу мысленно пройти по залу Ван-Дейка и «увидеть» все картины, висящие там. Или по скульптурной галерее вокруг главной лестницы Нового Эрмитажа (очень люблю ее) — и каждая из этих скульптур в памяти, как живая…

Короче, Эрмитаж стал моим домом, и это опять Ада. Она для меня сейчас самый главный человек. И хотя мы с ней одногодки, я всегда чувствую, будто она старше меня. И немного стесняюсь… Точнее, боюсь показаться смешной в ее глазах. Поэтому никогда не говорю с нею о всяческих своих «мелочах». Например, как я поссорилась, из-за глупости в общем-то, с Галкой Грачевой и теперь сижу одна. Хотя для меня это не мелочь и мне очень обидно, что Галка теперь имеет какую-то свою компанию из чужой школы. И уж конечно не могу и заикнуться о том, что вот уже почти шесть лет влюблена в одного мальчишку из нашего класса. Может, слово «влюблена» здесь и не подходит, но не знаю, как иначе назвать. В четвертом классе привела к нам учительница новенького — чернявого, смуглого, вертлявого, как обезьянка. На

переменках все по партам прыгал, хохотал, ребят задирал. И так он мне сразу понравился, что я всегда за ним исподтишка следила (да и теперь — так же). А сама больше всего боялась, как бы он не заметил этого. Если столкнусь с ним нечаянно в коридоре или раздевалке, то сразу шарахаюсь в сторону и краснею, как дура. Он даже сказал однажды: «Вот ведь психованная какая!» — и теперь меня вообще не замечает. И длится это до сих пор. Вот и сейчас, стоит мне скосить глаза, как вижу его: сидит на предпоследней парте возле окна и, кажется, рисует карикатуру на учителя. Как тот на Веньку посмотрит, так он сразу принимает серьезную мину, а как отвернется — сразу физиономия хитрющая, и быстро-быстро рисует на обложке тетради. Он рисует хорошо, и на скрипке играет здорово — раза два выступал на концертах, но как только раздавались аплодисменты, тут же соскакивал со сцены в зал, нырял в дверь и — поминай как звали. И если на уроке его хвалили, то спешил все превратить в шутку.

Понимаю, что глупо, но все же не могу ни смотреть на него, ни разговаривать так просто, как с другими ребятами. И как это назвать? Дуростью? Влюбленностью? Не знаю. Ясно лишь одно: Аде про такое рассказать нельзя. Да и она со мною никогда излишне не откровенничает. И эта сдержанность нравится мне.

14 января 1940 г.
Закончен дрейф «Седова» (812 дней в дрейфе).

25 января 1940 г.
Все газеты посвящены 5-летию со дня смерти В. Куйбышева, статьи: "Образец пролетарского революционера", "Полководец Куйбышев и др.

Вот сколько дней не писала! Все некогда было. У меня за это время много всякой всячины накрутилось. Даже не знаю, с чего начать. Начну с конца. Вчера отчитывалась на комитете комсомола за свою работу с пионеротрядом. Прошло вроде все хорошо — одобрили и наш кукольный театр, и шефскую работу в детсаду (я Женьке Левину тихонько язык показала — «игра в куклы» признана «полезной формой воспитательной работы»). И по успеваемости в моем отряде все в порядке: среди четвертых классов — первое место. В протоколе записала: «Работу признать удовлетворительной. Передать отряд 4-а класса другой вожатой (моей помощнице, девчонке из 8 класса), а Лаврентьеву включить в группу агитаторов». Это вроде повышения по общественной работе. Но, честно говоря, жаль мне моих пионерчиков, да и как

Татьяна с ними будет ладить — не знаю. Они у меня привыкли делать все запросто, без формальностей. Спорить любят. А она какая-то слишком правильная. Ну, и работа агитатора меня, конечно, пугает. На следующей неделе, после того, как уточнят производственные участки нашего района и определят, где требуется помощь в проведении политинформаций, нас всех распределят по конкретным коллективам. Вдруг в цех к рабочим, на завод какой-нибудь попаду! Как я буду объяснять что-то взрослым? Но хоть и страшно, но все равно приятно, что считают меня достаточно зрелой для включения в группу агитаторов — туда со строгим отбором берут, а из девчонок нас только четверо.

Но тут чуть не испортила все дело Софья Борисовна, комсорг школы (она учитель истории, но молодая, еще комсомолка), говорит: «Я тоже считаю, что с этим поручением Лаврентьева справится — и начитанность у нее есть, и речью владеет (ха! — это я-то «владею», когда подчас двух слов связать не могу!). Но вот допустимо ли, чтоб у агитатора были тройки, а иногда даже и двойки?» (Тут я моментально покраснела — ужасное свойство! Женька — он один из нашего класса в комитете — благородно заступился за меня: «Так ведь это у нее только изредка случается!..» Это о моей двойке по немецкому. Но тут все зашумели: «И одна двойка позорит группу агитаторов!» И после споров — а мне уже в этот момент до слез хотелось быть агитатором — решили все же не исключать, хотя и записали: «При условии исправления двойки до 10 февраля». Вот так! Придется немедленно исправлять. Мало того, что за эту злополучную двойку дома неприятности, а тут еще и на комитете обсуждение! Ну как после этого любить немецкий?!

А дома тоже тошно было. Отец время от времени начинает меня «воспитывать». И всегда это начинается с фразы, сказанной мрачным голосом: «Дай дневник». Ну, и чаще всего причины для нотаций находятся. Любая тройка — уже повод. А тут двойка! Да еще Маргоша ее красными чернилами нарисовала! Главное, в таких случаях маму жалко, ей всегда заодно достается: «Вот, пускаешь ее гулять, к подружкам всяким… Да еще в этот Эрмитаж бегает, вместо того, чтобы уроки учить…» — и т. д., и т. п. Почему-то папа очень настроен против моих занятий в Эрмитаже. Когда я однажды предложила: «Ну, пойдем вместе! Я тебе все расскажу и покажу, что мы там нового узнали», он сказал: «Ладно, соберусь, когда время будет». Да так до сих пор и не собрался. А был он в Эрмитаже, кажется, только в годы Революции, когда участвовал в комиссии по описи государственных музейных ценностей. А с экскурсией в той части дворца бывал, где теперь Музей истории революции. Искусство папа считает «роскошью» и

поэтому увлечение мое Эрмитажем не одобряет. А теперь вот видит в нем причину моей плохой учебы — ну, не плохой, а худшей, чем могла бы быть.

А если бы он узнал, что я еще умудрилась за последний месяц трижды побывать на музыкальных лекциях, да еще с «молодым человеком», то он меня, наверное, совсем бы дома запер! А случилось вдруг так, что мне позвонил мой летний знакомый, Генка Соболев. Он, как и мы, летом в Рождествено жил, его родители там дачу снимали. Я его голос не узнала сначала, так как после лета он всего один раз звонил. И, значит, еще помнит? Он уже студент, на первом курсе медицинского, и это мой первый взрослый знакомый. Правда, летом я его за взрослого не считала — он какой-то несолидный, небольшого росточка, с хохолком на голове, в очках. И походка у него как у мальчишки — то камешек ногой поддаст, то прутиком головки цветов сбивает. А уж если изгородь встретится, то непременно палкой, как на ксилофоне, какую-нибудь дробь отбарабанит — сразу все собаки лай поднимут! Было не раз с ним у нас такое — и тут уж приходилось вслед за ним удирать от гнева хозяев. Генка уверял меня, что самого злого пса можно утихомирить, если встать перед ним на четвереньки и залаять на него. Хотел этот способ мне продемонстрировать, да я категорически запретила на моих глазах такие эксперименты устраивать — пусть без меня. Но с ним очень легко — о чем угодно можно болтать, запросто попросить проводить до дома или, наоборот, сказать, что хочу одна побыть.

А познакомилась я с этим Генкой смешно. Жила я этим летом, как уже говорила, «при библиотеке» в Рождествено, в старой избе на краю села. Как-то мама в город уехала на два дня, и я одна ночевала. И было мне страшновато. Тут слышу — в читальном зале кто-то окно открывает и влезает. Я так испугалась, что и дышать боюсь… Вдруг раздаются звуки музыки — сначала что-то тихое, а потом как грянуло по всей клавиатуре из «Огней большого города»: «Я, Чарли, безработный, слоняюсь, как животный, окурки подбираю и песенки пою…»! Да так лихо, по-джазовому! У меня тут весь страх прошел. Быстренько набросила платье, подошла к двери, тихонько приоткрыла, вижу — парень в белой рубашке за пианино сидит, наяривает в полное удовольствие и еще ногой такт отбивает. Я распахнула дверь пошире, да как грохну табуреткой по полу! Он подскочил на месте и без оглядки — к окну! Уже вскочил на подоконник, да впопыхах очки на пол свалились — чертыхнулся и начал на четвереньках по полу шарить. Тут я не выдержала, рассмеялась: «На первый раз прощается, — говорю. — А в другой раз сторожа

позову, у него винтовка».

Так мы и познакомились. После этого он часто приходил вечерами играть. Он и классику знает, но лучше всего у него джазовые штучки получаются. Оказывается, Генка каждое лето приезжает в Рождествено на дачу и облазил здесь все окрестности. Это он показал мне могилу матери Рылеева на старом кладбище, и пещеру на песчаном обрыве над рекой. Ходили мы с ним в соседние села — Даймище, Выру (где домик станционного смотрителя). Вечерами шли к загону стадо встречать частенько втроем — я с Адой и Генка. Он в Адкиной школе учится, но на два года старше. Он мечтал в консерваторию поступить, но отец не разрешил: «Не мужское дело!». Еле сторговались на медицинском: если уж не в консерватории заниматься, то Генке все равно где, лишь бы не в технический вуз идти. Отец у него прямо самодур какой-то. Он военный, подполковник, и жена его (не родная мать Генки), бывшая его секретарша, при нем боится и рот раскрыть. А Генка вроде и посмеивается над отцом, но сам ни в чем ему не перечит, и вот даже в институт поступил по указке отца. Я ему прямо сказала, что не понимаю, как он терпит такое, но он все в шутку обратил и больше никогда об отце не говорил.

Перед отъездом Генка спросил, разрешу ли я ему звонить мне по телефону — я «позволила» (впервые у меня спрашивали разрешения). Он звонил осенью, рассказывал, что на медицинском ему вроде даже нравится, но заниматься приходится очень много. А после Нового года позвонил и пригласил к себе в институт. У них там организован цикл лекций-концертов о Чайковском — и я согласилась, но спросила, можно ли мне не одной придти, а с Адой. Он отнесся к этому без энтузиазма, но сказал: «Конечно, конечно!». Так мы побывали с Адкой на трех лекциях в мединституте — это на Петроградской, возле площади Льва Толстого. Лектор, известнейший музыковед Л. А. Энтелис[8], — чудесный! Ходит взад-вперед по сцене, рассказывает о Чайковском так, будто лично знал его, видел, слышал… Временами подсаживается к роялю и наигрывает, напевая, ту или иную мелодию, тему. А в заключение слушали пластинки с отдельными произведениями. Я впервые поняла, что «симфонии» — это не так страшно. Очень мне пригодилось то, что я уже прочитала переписку Чайковского с Н. Ф. фон-Мекк. Решили с Адкой непременно побывать в филармонии на хорошем симфоническом концерте, чтоб то, что слушали на пластинках, исполнял оркестр. Генка явно хотел бы с нами пойти, но мы его не пригласили, и он промолчал. Домой он нас каждый раз провожал, несмотря на сильные морозы (до 25 градусов!), и чем

ближе я подходила к дому, тем больше всякий раз дрожала от страха: вдруг маму или — еще страшнее — папу встретим! Но все обошлось. Буду ли дальше с Генкой встречаться — не знаю. Он сказал, что позвонит когда-нибудь. Я ответила: «Ладно!» — с тем и расстались.

27 января 1940 г.
В газете:
Передовица «За дальнейший культурный подъем в деревне».

Честно говоря, не хочется мне сегодня читать газету. Лучше я о своих делах напишу. А ведь с немецким, пожалуй, к субботе я управлюсь, хотя запущен он порядочно и у меня сначала просто руки опустились: около десяти страниц текста надо перевести! И неожиданно помогла мне в этом соседка наша — Луиза Ивановна. У нас в соседней комнате немцы живут — Кенго Жан Петрович (усатый, молчаливый, но очень добрый, он мастером на фабрике, где клеенки делают, работает); жена его — Луиза Ивановна, певица, поет в хоре Малого оперного театра и иногда приглашает к себе на спектакли. С ними бабушка, маленькая, тихая, как мышка, всегда в сером платье и белом переднике. Детей у них нет, и когда я была маленькая, мама меня иногда вечерами с ними оставляла. Жан Петрович всегда со мною в лото играл — картинки яркие, а надписи на немецком языке. Теперь захожу к ним редко, но, когда на кухне встречаюсь с Луизой Ивановной, то она со мной любит разговаривать. На днях я за керосином ходила, купила и для них заодно. Пока мы с нею примусы свои заправляли я, между прочим, рассказала, что с немецким у меня плохо. И Луиза Ивановна предложила мне помочь. Я и забыла, что немецкий — ее родной язык, и дома они на немецком все говорят. Сначала я засомневалась — ну как она мне поможет, если зубрить слова-то все равно мне надо. Но она подсказала мне очень хороший способ перевода, чтоб легко в голове все укладывалось (Луиза Ивановна так русский язык учила) — маленькими порциями, и не переходить к следующему, пока данный абзац не усвоен. Переводить на русский, потом обратно — на немецкий, и еще раз — на русский. И получается! Нужные слова сами в голове появляются.

Вообще у нас в квартире жильцы очень хорошие. В других коммунальных квартирах — ссоры, обиды, а у нас — никогда, хотя шесть семей живет. Вспоминаю, как я маленькой с двумя девчонками из нашей квартиры — Татой и Олей — в коридорах в прятки играла, как мы на трехколесном велосипеде катались и даже устраивали «спортивные соревнования» — ставили поперек

коридора сундук (обычно он у стенки стоит, возле телефона) и, разбегаясь от самой кухни, прыгали через этот сундук, как через «козла». Как это взрослые только терпели? Ведь по коридорам этим ходят взад-вперед с кастрюлями, чайниками… Да и шуму сколько мы делали! Теперь Ольга уже в техникуме учится. Ее мать — Груша — в клубе уборщицей, и Оле надо скорее начать зарабатывать. Фамилия их — Ивановы, живут они в маленькой комнате напротив нашей, это наша бывшая спальня. Груша работала прачкой в Доме отдыха в Левашово, где папа был директором, а с 30-го года после закрытия этого Дома отдыха (там теперь какое-то военное учреждение) папа устроил Грушу на работу и прописал ее с дочкой, а мы с тех пор живем в одной большой комнате. Таточке — ее до сих пор так зовут — уже 15 лет исполнилось, она учится во вторую смену и мы с ней редко встречаемся. Она с матерью, бабушкой и дедушкой, который уже несколько лет в параличе лежит. Живут они в небольшой комнате рядом с парадной: как войдешь в квартиру — налево. А с другой стороны от входа, в двух соединенных между собой комнатах живут Долиновы. У них много книг и хорошие пластинки. Мы с девчонками, когда были поменьше, любили сидеть в темноте на сундуке возле телефона и слушать музыку, когда Долиновы заводили патефон. Аркадий Дмитриевич работает кем-то важным на Ленфильме. Жена его Белла Львовна каждый день ездит в Детское село — она личный секретарь у писателя Алексея Толстого. Ее мать — старая, седая, но выглядит молодо, очень общительная, отлично готовит, и все женщины учатся у нее печь пироги и сухарики. Теперь у Беллы Львовны родился сын, и они все вокруг него днями и ночами хлопочут.

Чтоб уж обо всех жильцах нашей квартиры сказать, надо упомянуть и еще об одной семье. В комнате рядом с Ивановыми живет семья Сыромятниковых. Они спокойные и очень милые люди. Вера Степановна — статная, черноглазая, косы вокруг головы — счетоводом служит. Муж ее целые дни на заводе или спит после ночной смены. У них семилетний сын Женька. Теперь он на трехколесном велосипеде по коридорам катается, а подрастет малыш у Долиновых — и будет у нас в квартире снова «весело». Вместе с Верой Степановной живет ее сестра Валя, студентка — она в этом году кончает институт и будет инженером.

Чтобы закончить рассказ о всех обитателях нашей квартиры, надо и о нас написать, о семье Лаврентьевых. Хотя это очень трудно — о себе, о своих близких… Нас трое: папа — Василий Прокофьевич, мама — Лидия Ивановна и я.

Родители

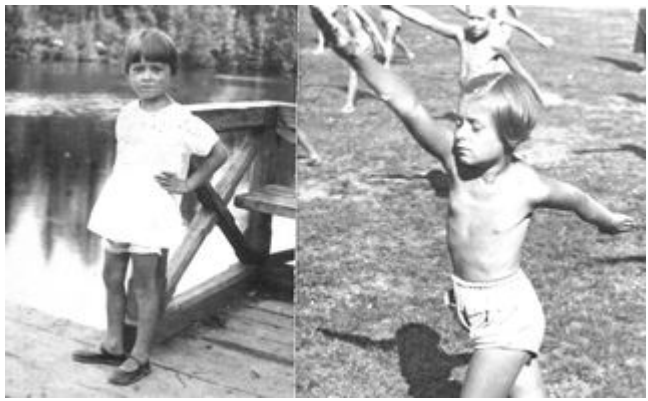
Расскажу о каждом из нас. Что я знаю про папу? Знаю, что отец его, мой дедушка, работал на Путиловском (Кировском) заводе, а 9 января 1905 года был расстрелян вместе с другими рабочими возле Нарвских ворот. Мы с папой ходили к тому месту, где он, десятилетним мальчиком, нашел среди мертвых своего отца. Папа в семье за старшего остался. Кроме него было два младших брата — Алексей и Ванюшка, и сестра Лена. Мать их на Балтийском вокзале мойщицей вагонов работала. После гибели отца их выгнали с «казенной» заводской квартиры и они перебрались в поселок Лигово, где жить было дешевле. Их соседями там оказалась тоже многодетная семья кузнеца Ковалева, а это уже мой другой дед, отец моей мамы. Ребята обоих семей дружили между собой, а когда выросли, то и породнились: два брата Лаврентьевых — Василий (т. е. папа) и Алексей женились на двух сестрах Ковалевых — Лиде (моей маме) и Верушке.

Ну, о маминой семье потом, а сейчас о детстве папы. Жили они, конечно, очень бедно, мать на целые дни уезжала в депо (а то и ночами вагоны мыла), а папа оставался за «хозяйку» — и варил, и стирал, и печь топил. Не представляю, как он мог еще при этом учиться. Правда, кончил он всего три класса и должен был бросить школу, но на него обратил внимание какой-то богатый эстонец, дал деньги для продолжения учебы в городском ремесленном училище и даже хотел усыновить, да мать не согласилась. Но во всяком случае, благодаря этому эстонцу папа еще три года учился и даже гостил у него на даче под Ревелем. А затем этот дядя устроил папу учеником в ювелирную мастерскую, где его ценили за аккуратность, «золотые руки» и честность (а в ювелирной мастерской эти качества очень важны). Руки у папы

действительно золотые — он и до сих пор может любую работу делать. Всем соседям часы чинит, швейные машинки, обычно сам обувь ремонтирует, паяет кастрюли, чайники, сам шкафчик для книг смастерил, а если надо — может и сготовить, и даже шить (взялся зимнюю шапку чинить, да всю ее перекроил и перешил).

Так вот, в ювелирной мастерской он мог отличным мастером стать, ему поручали самые тонкие, сложные работы. Но началась война 1914 года и папу взяли в армию. Был он на фронте, получил контузию, а потом попал в газовую атаку и был отравлен газами, да так, что его отправили в госпиталь в Петроград. Тут Революция началась — и папа вступил в ряды Красной Гвардии, участвовал в Революции, даже Ленина видел. Сражался на фронте против Юденича под Гатчиной и Лугой. Принимал участие в вылавливании дезертиров фронта, участвовал в операциях Трибунала 19 дивизии (это я с папиной анкеты выписываю, чтоб точно. У него в письменном столе анкета лежит, где все по годам перечислено). В 1920 году назначен сначала секретарем, а затем заведующим Отдела военной секции Петроградского Совета. В этот период принимал участие в подавлении Кронштадтского мятежа. Об этом папа рассказывал, как ночью по льду ползли и их обстреливали. В 1922 году демобилизовался и направлен Губкомом ВКП(б) завхозом санатория ответственных работников на ст. Левашово («Осиновая роща»). С 1925 по 1929 год был старшим инструктором Губ. отдела Совторгслужащих, а затем снова — с 1929 по 1932 год — заведующим Домом отдыха ответработников. Жизнь в Левашово я хорошо помню. Дом отдыха размещался в бывшей усадьбе князя Вяземского — огромном барском доме с бильярдной, гостиной, столовой на первом этаже, и полукруглым танцевальным залом с белой мебелью вдоль стен и зеркалами в золоченых рамах между высокими окнами — на втором этаже. В боковых флигелях — многочисленные комнаты, спальни, помещение для прислуги. Прекрасный старый парк — столетние дубы, лиственницы, клены, пихтовые аллеи, искусственное озеро в окружении плакучих ив. А какие заросли сирени вокруг дома! Когда она зацветала, то не было видно листьев — будто сиреневое облако спустилось рядом с белыми колоннами парадного подъезда. И благоухание по всему парку! Читала я об усадьбе Ростовых в романе Толстого, и мне казалось, что это про Левашово — все вижу, все узнаю… Часто снится мне Левашово — просыпаюсь в слезах. Очень хочется поехать туда, посмотреть, но дальше Парголово без пропусков нельзя — запретная зона. Что-то там теперь? Уцелел ли дом и парк? Ведь Левашово — это самое яркое и сильное впечатление детства. Мне кажется, что не будь в моей жизни этих трех лет, проведенных без

сверстников, но где каждое дерево, каждый куст заброшенного парка были знакомы, как родные, и мне в их обществе никогда не было скучно — и я бы теперь, вероятно, была в чем-то другой. Не знаю, в чем именно, но другой…



Нина. Левашово 1929–1931 г.г.

Ну вот, переключилась на Левашово и забыла, о чем писать начала. Продолжу о папе. С 1932 года он работал на всякой административной партийной работе — зав. отделом Облсоюза работников госучреждений (так написано в анкете — не представляю себе, что это за учреждение). С 1935 по 1939 год — инструктором Октябрьского Райкома ВКП(б)[9]. Этот Райком находится недалеко от нас, в старинном доме на углу Садовой и пр. Майорова. Мы туда с папой заходили Первого мая рано-рано утром за его товарищами, потом вместе с ними шли к Зимнему дворцу по еще совсем пустынным улицам. Мне очень нравилось, что нас милиционеры пропускают — у нас были красивые пригласительные билеты на трибуну. Весь военный парад и демонстрацию мы с трибуны смотрели и получалось, что приветствовали и «Ура!» кричали проходящие мимо не только товарищу Жданову, но и нам с папой лично. А когда я совсем маленькой была, помню, как в такой праздник на плече у папы сидела, и совсем близко от нас на центральной трибуне стоял С.М. Киров — у него было такое веселое лицо!

Между прочим, Киров приезжал иногда и в Дом отдыха в Левашово на два-три дня (это когда папа работал там заведующим). Киров там охотиться любил. Но я тогда не знала, кто такой Киров, и просто считала его каким-то важным папиным начальником, для которого накануне готовили комнаты бокового флигеля. Папа был в эти дни сердитым и велел маме идти со мной гулять подальше и не попадаться на глаза, то было еще до школы, наверное, году в 28–29-м. А в декабре 1934-го, помню, как

ночью нас разбудили, за папой приехала машина, папа достал из стола револьвер, зарядил его и уехал, сказав маме, что случилась «вражеская вылазка» и он мобилизован по партийной линии на несколько дней. Утром по радио объявили, что убит С.М. Киров. Очень страшными почему-то показались мне тогда его похороны: поздним вечером лафет с его гробом медленно везли через весь город к Московскому вокзалу, и за ним шла бесконечная процессия с зажженными факелами. Траурные флаги, притушенные фонари и окна — и медленно движется молчаливая лавина людей с факелами. Это было страшно…

Хоронили Кирова в Москве, т. к. «ленинградцы не уберегли Кирова». Теперь на трибуне в праздники демонстрацию приветствует А.А. Жданов. Видела я и его вблизи, когда три года назад ходила с папой во Дворец пионеров, который открылся в бывшем Аничковом дворце. Это было что-то вроде приемной комиссии, членом которой был и папа, и ему разрешили взять меня с собой. Жданов все показывал, объяснял, и хотя он улыбался, но мне показался сердитым, улыбающимся по необходимости, только для фотографов. С прошлого года папа работает в Обкоме Партии — это в здании Смольного. Однажды я была с ним там вечером, когда уже мало народу было. Там все торжественно и строго — милиционеры проверяют пропуска при входе, и на каждом этаже ходят, внимательно всех осматривают. Длиннущие коридоры красной ковровой дорожкой запомнились и бесконечными дверями кабинетов. Там невольно хочется ходить бесшумно и говорить только шепотом. Папа и раньше работал с утра до ночи, а теперь и вообще ночами приходит, всегда чем-то озабочен, сердит, на мои вопросы и мамы отвечает коротко: «Было бюро», «затянулось заседание», «отчитывался на РКК» — а я до сих пор не знаю, что такое РКК, и что значит непонятное слово «фракция» — папа его тоже иногда произносит.

Раньше папа был веселым, любил делать что-нибудь по дому, играл со мной, а в воскресенье ездили все вместе в Парголово, катались на лыжах. Летом на даче мы с мамой встречали вечерами папу с поезда, и он допоздна играл с соседями в городки или волейбол. А в Левашове был теннисный корт и папа неплохо играл в теннис. Но все это было давно. Теперь он в свободные дни сидит над докладами, бумагами всякими. Нередко выходные дни отменяются, и я его не вижу неделями: когда он приходит, я уже сплю, а утром он уходит рано. Отпуск ему дают то весной, то осенью, и он уезжает в санаторий в Крым или на Кавказ, а мы с мамой вдвоем живем на даче. В прошлом году в Мельничьем ручье жили, в этом, кажется, в Токсово поедем. Мы с папой так редко видимся, что как-то отвыкли друг от друга. О

своей работе он ничего не говорит — «нельзя», о моих школьных делах ничего не знает, в школе ни разу не был и с моими ребятами не знаком. Иногда вдруг спрашивает мой дневник, и тогда чаще всего дело кончается «разносом» — достается тогда и мне, и маме. Раньше он устраивал шум из-за всякой тройки, а теперь, когда у меня даже двойки появились, отношения совсем испортились.

Правда, иногда мы теперь все втроем отправляемся в субботу на базу отдыха ответственных работников «Сосновый домик», в Петергоф. Тогда у нас будто наступает «перемирие», и я эти поездки очень люблю. Там будто совсем другой мир — приезжают все семьями, на машинах. Мы обычно едем вместе с папиным сослуживцем, у которого есть служебная «эмка» и свой шофер. В «Сосновом домике» (это бывшая дача кого-то из царской семьи) все сохранилось так, как было до революции — мебель, ковры, камины, и даже в люстрах лампочки вроде свечей. Каждой семье дают по спальне. Всего собирается человек шестьдесят. Обедают и завтракают в общей столовой: большой стол накрыт крахмальной скатертью, красивая посуда, масса закусок, всяких вкусных вещей, официанты бесшумно всех обходят и предлагают «горячее» с большого блюда. Такое я и мама раньше видели только в кино, и чувствуем мы себя там неловко. Да и папе, как мне кажется, мешает присутствие всяких его начальников по работе; те сразу заметны и ведут себя как дома. Но все равно бывать там люблю — у папы становится уже с субботы хорошее настроение, он радуется, что сможет поиграть на бильярде, да и в шахматы найдет себе партнеров. А мы с мамой в такой воскресный день много гуляем по парку или читаем, сидя в глубоких креслах гостиной. Некоторые женщины там, видимо, давно знакомы между собой и разговаривают группками, но мама как-то стесняется их и ни с кем не знакомится.

Ну вот, начала про нашу семью писать, да вот отвлеклась. Уже поздно, поэтому про маму совсем кратко: работает она библиотекарем. Я очень люблю бывать у нее на работе и помогать — расставлять книги, отбирать рваные для переплета или просто «лазать по полкам», читая все, что попадет под руку. Раньше она работала в небольшой библиотеке совсем рядом с Адмиралтейством. Мне нравилось ходить туда пешком, встречая маму с работы — силуэт Адмиралтейства так красиво рисуется на фоне закатного неба. В разное время года он разный. В той маленькой библиотеке я была совсем как своя. А последние два года мама работает в Центральной городской библиотеке (угол Фонтанки и Невского) — там все очень строго, и в книгохранилище мне входить нельзя. Только в общем читальном

зале посидеть могу и полистать журналы. Да и некогда мне стало — Эрмитаж да пионеры мои, а вот теперь взамен их — работа агитатора да уроки, да домашние дела. Ну и в кино хоть изредка сбегать надо. В общем, совсем мне что-то теперь времени не хватает… Вот и сейчас пишу и совсем засыпаю, поэтому кончу, а про мамину родню когда-нибудь в другой раз расскажу.

29 января 1940 г.

Сначала запишу вкратце то, что в газете, а то скоро политинформацию надо будет проводить, пригодится:

Опровержение ТАСС. Французы обвиняют нас в том, что на территории Западной Советской Украины кроме советских войск имеются будто бы и германские войска (до 25 дивизий), и мы говорим, что «…бесцеремонная наглость и лживость… ни одного иностранного солдата на территории Зап. Украины не было, тем более, что добрососедские отношения между СССР и Германией исключают возможность пребывания каких бы то ни было войсковых частей одной стороны на территории другой стороны».

Ох, читаю я газеты и все больше убеждаюсь, что агитатор из меня никудышный. Ну вот, к примеру, это опровержение ТАСС. Что я скажу, если меня спросят: а почему бы германским войскам и не быть на территории Зап. Украины — ведь у нас с Германией договор и они, значит, дружественные войска, а не «иностранные»? Но если у нас с Германией дружба, то почему немцы Польшу заняли и начали бомбить Англию и Францию? Значит, мы, как друзья, это вроде одобряем? Но такого ведь не может быть! А если так, то разве не следовало бы нам сказать Германии, что мы в этом не можем быть им друзьями?..

У нас в школе проводят инструктажи для агитаторов, но такие вопросы там никто не задает, вроде всем все понятно, ну и я спросить боюсь, чтобы не обнаружить свою полную политическую безграмотность.

Может, отказаться мне от участия в агитгруппе, пока не поздно? Неловко только… Да, забыла сказать! — нас ведь уже распределили! (А двойку я исправила. На четыре.) И мой участок — цех женщин на фабрике игрушек, которая находится на углу 2-й Красноармейской и Международного проспекта. Ребята откровенно хохотали: «Опять Лаврентьева к куклам попала!» Я смеялась тоже, а про себя была довольна — все же это лучше, чем иметь участок среди кондукторов и шоферов автобусов или в сапожной мастерской, как некоторые наши ребята. У меня женщины в основном пожилые и малограмотные, как мне сказали, и с ними легче, чем с мужчинами. Пойду завтра

знакомиться на свой участок, а тогда решу, буду я этим заниматься или откажусь.

2 февраля 1940 г.

В газете полностью напечатана речь Гитлера. Вкратце из нее:

«46 миллионов англичан владеют территорией в 40 млн. кв. км, Франция — свыше 9 млн. кв. км, тогда как Германия с 80 млн. населения не имеет даже и 600 тысяч кв. км. Вот проблема, которая должна быть решена… В 1939 г. западные державы сбросили маску и объявили Германии войну, несмотря на все наши попытки предотвратить ее». Дальше Гитлер остановился на значении советско-германского договора о дружбе и об общей границе: «В течение многих столетий Германия и Россия жили в дружбе и мире. Почему это не может случиться в будущем? Я думаю, что это возможно, потому что этого хотят оба народа. Всякая попытка британской или французской плутократии спровоцировать нас на столкновение обречена на неудачу».

Вот такая речь была вчера напечатана в газете. А сегодня я была на своем участке на фабрике игрушек и начала свою работу агитатора. Я боялась, что мне зададут какие-нибудь вопросы о речи, поэтому сделала вид, что вчерашней газеты у меня нет, а есть только за 2 Февраля. Я начала читать ее, благо там ничего особенного не было — слушали хорошо, вопросов не задавали и просили приходить еще («Больно хорошо читаешь, девушка!» — сказала одна старушка).

А если бы про речь Гитлера, то многое и сама не понимаю. Вроде и действительно несправедливо, что при большом населении у немцев такая маленькая территория и им и правда тесно. Но уж тогда, наверно, надо бы сосчитать, сколько людей в Европе и распределить всем странам по справедливости, чтоб всем места хватило. Как у нас в революцию — одни жили во дворцах, другие ютились семьями, а потом все излишки жилплощади перераспределили. Вот даже если нас взять — живем в большой барской квартире, и каждая семья занимает комнату в зависимости от количества человек. И государствам нужно бы так же договориться. Но не войной же, не бомбами себе земли приобретать! (Между прочим, а как тогда с нами получается? У нас земля большая, и по населению тоже, видимо, «излишки» есть. И если капиталисты вряд ли согласились бы на перераспределение своих земель, то, может, нам надо бы подать пример им? Но чем дальше думать над этим, тем непонятнее получается: вроде и справедливо было бы подать нам пример другим странам, но чувствую, что наше государство на это не

пошло бы, так как ведь все мы любим свою землю, и мы патриоты, и вообще наш лозунг «Чужой земли мы не хотим, но и своей ни пяди не отдадим!» А почему не отдадим даже пяди? Если наша страна самая большая, 1/6 часть света занимает, а плотность населения даже низкая по сравнению с другими странами, почему мы не должны о других заботиться, кому тесно? Только потому, что всякие там Иваны Грозные и прочие цари столько пустующих земель (и не только пустующих) к России присоединили и все вместе что стало называться тоже Россией? И мы до сих пор эти земли своими считаем, хотя русские своей родиной, наверно, только Киевскую Русь должны бы считать.)

Нет, лучше я на этом закончу, а то бог знает куда меня эти мысли заведут. И вот ведь смешно — до тех пор, пока я газеты не читала, мне в основном все было понятно и никакие такие мысли мне в голову не приходили, а теперь с каждым днем для меня все больше непонятного обнаруживается.

Ну, а на фабрике игрушек все маленькое — цехи чуть больше наших школьных классов, узкие окна, тесные коридоры. Это бывшее здание церкви. Да, потрясающая новость! Мама вдруг сказала, что меня крестили! Потихоньку от папы, конечно. Маму уговорила какая-то ее знакомая, и с ее разрешения эта женщина пошла со мною вроде гулять, а сама снесла меня в церковь и там меня окрестили. И крестик был, но мама его на меня не надевала, а то бы папа устроил колоссальный скандал. Эта история почему-то очень меня поразила, будто теперь у меня неприличная тайна появилась. Да в общем так оно и есть — ведь никому об этом не расскажешь. Хотя, с другой стороны, что с мамы спрашивать — ведь она раньше верующей была… Да, а самое интересное это то, что крестили-то меня именно в той церквушке, где теперь фабрика игрушек! Ну бывает же такое совпадение!

Ну вот, начала про фабрику и снова отвлеклась. В цехе, где моя группа, кукол одевают: с одного конца столов груды голых кукол, а на другом их укладывают в коробки — красоток в розовых и голубых платьях. Этим занимаются 15 пожилых женщин, многие из них инвалиды. А в углу, где темно, т. к. нет окон, сидят две слепые женщины и один дяденька в черных очках. Они вяжут авоськи из «отходов производства», а иногда и плетеные ремешки и галстуки. Делают это так ловко, будто зрячие. Но смотреть на их неподвижные лица тяжело и почему-то стыдно.

Отнеслись ко мне так хорошо, что я решила остаться у них агитатором.

В сегодняшней «Правде» я читала:

Передовица: «Со Сталиным во главе вперед, к коммунизму!» —

кратко, кое-что своими словами:

«Об учреждении премий им. Сталина по литературе», «Поток приветствий тов. Сталину» — продолжает печататься с января;

«Новые предприятия на Колыме»;

«Происки англо-французского блока против Литвы».

И еще я полностью прочла интересную статью о советской кинокомедии.

Слушали хорошо, потом о кино заговорили. Оказалось, многие видели «Музыкальную историю» и с удовольствием посмеялись, вспоминая Лемешева и Зою Федорову. Но было мне стыдно перед слепыми за то, что они никогда не увидят того, о чем мы говорили.

Буду ходить с политинформациями на фабрику раз в неделю. Надо будет кроме газет еще что-нибудь прихватывать, так как просят почитать «что-нибудь из жизненного».

13 февраля 1940 г.

В газетах:

«Повседневно руководить пропагандой марксизма-ленинизма»;

«Коммюнике о заключении хозяйственного соглашения между Германией и Советским Союзом»;

«Демократический централизм — руководящий принцип организационного строения партии» — это большая речь В. Пономарева;

«Трехлетие Ленинградского Дворца пионеров».

Вот записала сейчас про Дворец пионеров, и вместо того, чтобы доклад Пономарева хоть по диагонали прочитать (завтра у меня политинформация), мне вспоминается о Дворце пионеров. Еще когда я была с папой на его открытии, все были поражены, как там оказалось великолепно — прямо дух захватывало! В главном корпусе сохранили все так, как это было при царе — хрустальные люстры, мебель, обитая шелком, паркет в танцевальном зале и ковры в гостиных. Комиссия тогда сомневалась, надо ли приучать ребят к такой роскоши, но Жданов сказал: «Сюда дети по праздникам будут приходить. А в праздник может быть и необычно красиво, так, чтобы на всю жизнь запомнилось».

Была я во дворце и еще один раз — со своими пионерами, когда нас в прошлом году премировали за кукольный спектакль билетами на «Елку». Мы играли там во всякие игры, катались на каруселях (прямо в зале были устроены), водили хороводы вокруг огромной елки, и я тогда забыла о том, что уже не маленькая, что

я вожатая и меня ребята зовут «товарищ Нина» — играла и танцевала вместе со всеми.

И вот, вспоминая об этой елке невольно мне приходит на память и то, как в детстве (лет семь мне было) папа разгромил нашу праздничную елку… И это было ужасно! Никогда не забуду рухнувшую на пол елку, звон разбитых игрушек и страшное папино лицо. Я так закричала тогда, что сама испугалась своего крика. Мне показалось, что в руках у папы топор и он замахнулся на елку — такую живую, такую красивую… Хотя никакого топора не было — он просто опрокинул ее и пинал ногами, выкрикивая: «Ведь решено было — никаких елок! Ведь решено!».

Да, было действительно «решено», что никаких елок больше устраивать не будем, так как рождество — «поповский праздник», и еще что-то, не помню толком, как мне объяснял тогда папа, почему до сих пор у нас всегда зимой бывала елка, и для нее столько игрушек покупали, и делали сами, а вот теперь — «нельзя». Тогда, кажется, специальное обращение к населению было в газетах об отмене елок — ну, и папа, как партиец, провел соответствующую работу дома…

И мы с мамой согласились с тем, что я «уже большая и все понимаю», и в этом году обойдемся без елки. Но когда накануне праздника мы с мамой ходили на Клинский рынок и когда я увидела целые ряды зеленых, мохнатых, душистых елок… Я, конечно, уговорила маму купить елку «в самый-самый последний раз». И вот так все это закончилось. И я никак не могу папе забыть этого…

А елок с тех пор у нас в доме не бывает. Хотя праздник этот уже снова везде отмечают с елками и перестали его считать религиозным. Да и вообще у нас дома не бывает праздников. И просто гости к нам редко приходят… Разве только когда бабушка из Лигово приедет, да мамины сестры — Верушка и тетя Катя с мужьями придут. Но это ведь свои, а не гости.

Школьные ребята не любят бывать у нас. И я всегда стесняюсь почему-то, когда заходит ко мне кто-либо из ребят в присутствии папы. Да и когда папы нет дома, ко мне редко кто заходит. Чаще я часами просиживаю у девчонок своих. В прошлом году сначала мы собирались целой компанией у Абелевой — у нее своя комната и бабушка очень добрая. Потом мы с Галкой Грачевой отделились от них и стали уроки делать у нее. Хотя у нее дома тесно и комната одна, темная, окнами во двор выходит. И отец пьяненький частенько. Но он ходит тогда на цыпочках и спешит улечься спать, пока Галкина мама не пришла. А в этом году, как я с Адой познакомилась, я все к ней хожу, хотя и живет она от меня далековато. Галка явно на меня в обиде за Адку и теперь редко

меня к себе зовет, все чаще в своей спортивной секции пропадает. Позвала меня тут как-то вместе из школы домой идти, а я спешила на занятия в Эрмитаж, сказала, что, может, мы лучше завтра с нею вечером погуляем. А она: «А завтра у меня занятия. Конечно, не такие возвышенные, как у тебя — обычная тренировка по прыжкам в длину»… Демонстративно повернулась в другую сторону и ушла. Обидно мне, что Галка так… Просто она к Адке ревнует. Я их пыталась познакомить, но они не понравились друг другу. А спортсменка она хорошая: я еле на БГТО сдала нормы, а у Галки уже юношеский разряд ГТО 1-й ступени. Правда, я легко сдала на значок Юного Ворошиловского стрелка, а у нее почему-то со стрельбой не ладилось, наверное, зрение подводит, а признаваться не хотела, сказала, что ей некогда в тир ходить, что у нее все свободное время стадионом занято. Так у нас с Галкой и продолжаются прохладные отношения, хотя вроде и не ссорились, однако теперь вместе бываем редко.

Но и до этого охлаждения Галка бывать у меня не любила: «Слишком у вас чинно как-то. Не знаешь, куда сесть, куда встать…» Она преувеличивает, конечно, но вообще-то по сравнению с их домом у нас действительно все слишком «чинно». Если ее глазами поглядеть на нашу квартиру, то разница во всем, даже при входе уже все по-другому. У них вход со двора, по черной лестнице, где ведра мусорные и кошки бродячие, через кухню с примусами (им газ еще не провели), прямо в комнату. А пальто и галоши в коридоре не оставляют (там темно и тесно), и все раздеваются, придя с улицы, в углу комнаты. А у нас — старый «барский» дом, парадная красивая, где ступени по праздникам добела отмываются, и до сих пор по краям их медные шишечки сохранились: раньше, до революции, лестницу эту ковром снизу доверху покрывали, и он металлическими прутами к этим шишечкам крепился. Двери в квартире высокие, дубовые, коридор длинный, из трех отсеков, и хотя, как и у Галки, темный, но у нас всегда лампы включены, а пальто, сундуки, шкафы — аккуратно по углам. У каждого свое хозяйство возле двери своей комнаты. У нас в квартире шесть семей, а у Галки — четыре, но у нас подобрались такие жильцы, что все мы поддерживаем идеальную чистоту и дежурим все строго по графику. И уж так заведено, что, сдавая в конце недели свое дежурство, надо не только вымыть полы во всей квартире, но и натереть их мастикой до блеска. Мне тоже достается с этими полами, но зато приятно, когда гости хвалят нашу квартиру. В конце коридора — огромная кухня, и после того, как провели газ, примусы и керосинки теперь редко кто зажигает, разве только когда воду для стирки греет, —

и потому нет у нас теперь чада и копоти. Есть в нашей квартире телефон и даже ванна. Хотя ванна такая старая, что пользоваться ею нельзя (она медная, и вся полуда[10] с нее слезла) — и мы ходим в баню. Но все же в те дни, когда в кухне кто-то располагается с корытом на целый день, то в ванной комнате можно и умыться, и постирушку сделать, правда, неудобно тогда кастрюли с горячей водой из кухни носить.

А в Галкиной квартире и кухня тесная, и ванной нет.

Ну, а если взглянуть на нашу комнату Галкиными глазами, то в ней, пожалуй, и действительно негде «встать и сесть». Не то чтобы в ней тесно было — комната большая, а от высоких потолков еще больше кажется. И два окна высоких на улицу выходят — светло. Но светло у нас еще и оттого, что много у нас в комнате белых чехлов, салфеток. (До чего же интересно, оказывается, описывать «с натуры» все, что вокруг, так, будто это все я сама впервые вижу!..) Обои у нас голубые, и на их фоне выделяются крахмальные полотняные, с вышивкой, занавеси на окнах и портьеры на двери. В центре, как водится, большой обеденный стол под белой скатертью (когда обедаем, то покрываем сверху клеенкой, тоже белой — мама цветных не любит). Передний левый угол, возле окон, занят диванчиком с гнутой спинкой и креслицами, стоящими вокруг круглого столика. Кресла в чехлах из сурового полотна (отстиранного до белизны), на столике — белая круглая скатерть с ажурной вышивкой по краям. (Все вышивки у мамы — «ришелье» или белая мережка). В правом углу, где я сейчас сижу, — маленький письменный столик. В промежутке между окнами — этажерка, вернее, шкафчик с полкой. Покрыт он сверху тоже салфеточкой с вышивкой «ришелье». И стоит на нем круглый аквариум с рыбками. Папа любит рыб, хотя заниматься ему ими некогда, и рыбы на моей ответственности. На полке этажерки хранятся прочитанные газеты — папа не разрешает выбрасывать раньше, чем через месяц, и очень ругается, если какая пропадет. В шкафчике лежат книги: сочинения Ленина — Сталина, «Капитал» Маркса, стенограммы съездов. (Помню, как несколько лет назад папа из одной своей красивой книги, посвященной вождям, вырезал цветные вклейки с портретами Бухарина, Троцкого, еще кого-то, а их фамилии вычеркивал из текста чернилами.) Из художественной литературы у нас есть несколько томиков Горького и «Избранное» Пушкина и Гоголя. Книг мы не покупаем, так как папа считает, что надо пользоваться библиотеками, и если надо, то мама действительно может принести книги со своей работы. Все это так, но мне частенько жалко возвращать книги в библиотеку, и я завидую тем, у кого дома много книг (а у Ады

дома целая библиотека — ее отец всю жизнь собирал книги. И вот отца уже нет, а книги остались…).

Отвлеклась от описания нашей комнаты. Итак, я сижу за письменным столиком. Стоит он «углом», а в самый угол втиснута этажерочка на высоких тонких ножках, и на ней (конечно, покрытой салфеточкой) вечнозеленый аспарагус в большом горшке. Цветы у нас и на окнах — все в аккуратных керамических горшочках (мама не любит «банок-склянок»). Дальше, по правой стене, туалетный столик, так мы его называем, хотя это просто ножная швейная машина под белой, очень красиво вышитой салфеткой. На «столике» этом — старинное зеркало в раме красного дерева и всякие флакончики, вазочки, «саше» для гребенок и носовых платков. Кстати, «саше» для платков из голубого шелка, вышитое гладью яркими анютиными глазками, — мое изделие к маминому дню рождения. И это единственная цветная вышивка в нашем доме.

Вплотную к туалету — старинная большая кровать с никелированными прутьями и шариками наверху. В детстве я любила их откручивать, и за это мне попадало. Кровать красуется горой подушек (каждая наволочка вышита по углам английской белой гладью) и вышитым крахмальным покрывалом. В «ногах» кровать заслонена ширмой — ажурная деревянная решетка ее окрашена белой масляной краской и затянута с изнанки светло-голубой тканью. Ширма скрывает также и платяной шкаф. Ночами я этой ширмой заслоняю свой диванчик, на котором сплю. После шкафа в углу сверкает своими ослепительно белыми изразцами высоченная, до потолка, печка. Дров она пожирает немало, и таскать их на четвертый этаж из сарая во дворе, да еще по крутой «черной» лестнице, нелегко. Но зато печь эта — мы ее зовем «камин» — здорово украшает комнату. И как же приятно зимой сидеть перед открытой дверцей догорающей, жарко протопленной печи! Дверцы у нее и лист на полу перед нею — из отличной золотистой меди, и я мелом надраиваю их до зеркального блеска (это была моя любимая работа еще в малышовом возрасте). И, наконец, по короткой стенке, между печью и входной дверью — мой диван, на котором я сплю, обычный, с валиками и тремя подушками. Вообще-то он покрыт ковровой тканью вишневого цвета, но на нем всегда светлый чехол и большой мешок-подушка в изголовье, куда я убираю на день постельное белье.

От двери на левой стене — старенький буфет, темный, к маминому сожалению, и потому с крахмальной вышитой дорожкой вдоль его полки. Затем — низкий шкафчик, на который сверху, на поднос, ставят чайник и кастрюли, когда обедают, а

внутри его папа хранит свои тисочки, молотки и другие инструменты (которые достает теперь все реже и реже, а ведь он так любит мастерить!) Затем вдоль стены — пианино, тоже очень старенькое, плохо отполированное и поэтому укрытое двумя дорожками, вышитыми «ришелье» — и сверху, и по крышке. А что-то, действительно, не многовато ли у нас всяких салфеточек? Их надо так аккуратно стирать, крахмалить, гладить!.. Теперь мама доверяет это и мне, а раньше все сама. И как только она успевала? Каждую свободную минуту она берется за продолжение вышивки очередной салфеточки или чинит старые. Да и тетя Катя, и Верушка никогда не приходят к нам в гости без работы — всегда что-нибудь вышивают или вяжут. И бабушка вяжет бесконечно. У нее в Лигове любая занавеска, любое полотенце сияют белизной и крахмальными кружавчиками из белых ниток. Это, видать, наследственное. Мне вышивать нравится тоже, но когда я вырасту, то в моем доме будет все проще и не так ослепительно чисто.

Снова отвлеклась. Уже заканчиваю. Пианино примыкает к нашей «гостиной» — креслам вокруг круглого столика, о чем я уже говорила. А вокруг стола, что в центре комнаты, шесть стульев — тяжелых дубовых, с кожаными спинками. Возле кровати — ночной столик с настольной лампой, в нем лежат мои учебники и тетради. На стенах у нас: слева, над пианино, картина в красивой золоченой раме «Закат на море». Раньше эта картина очень нравилась мне, а теперь, после Эрмитажа, я понимаю, что это что-то вроде подражания Айвазовскому. Ближе к углу висит на стене чучело — голова лисы, моя любимая игрушка в детстве (ее снимали иногда и разрешали поиграть) — лохматая, рыжая, с хорошенькими стеклянными глазками и настоящими зубами.

А на правой стене, прямо над туалетом, папа повесил лет пять назад принесенный откуда-то с работы большой портрет (1 х 1,5 м) Ворошилова. В раме вишневого цвета, под стеклом… Так уж мама уговаривала его снять этот портрет, но папа ни в какую. Еще и сердится: «Чем он тебе помешал?». Я люблю Ворошилова и других героев Гражданской войны, но все же портрет дома, да еще такой большой… Но возразить папе нельзя. Так он у нас и висит.

Что еще сказать про наш дом? Да, чуть не забыла: основную парадность нашей комнате придают, конечно, полы — паркет, всегда натертый до янтарной желтизны. Поддерживать его всегда в таком состоянии — тоже немало времени требует. А перед праздниками мы с мамой проводим капитальную уборку, и тогда мыть полы — самая трудная работа: надо на коленях драить каждую паркетинку (непременно вдоль волокон дерева), затем

покрывать мастикой, ждать, пока просохнет, и, наконец, щетками и суконками натирать его до блеска. Ходить по такому полу почти невозможно, и поэтому от двери, между столом и буфетом, к креслам ведет парусиновая дорожка (ох, как трудно ее стирать!), а пространство между креслами и кроватью покрыто стареньким ковром.

Вот сколько написала! Начала с того, почему Галка у нас бывать не любит, а получилось вроде подробной описи, как если бы это был музей, как квартира-музей Некрасова, где мы были недавно.

Кончаю, надо еще к политинформации подготовиться.

18 февраля 1940 г.

В газете:

«Соглашение, отвечающее интересам СССР и Германии» (это о хоздоговоре).

«Итоги 1939 сельхоз. года и задачи на 1940 г.» (доклад Н.С.Хрущева);

Отчетно-выборные собрания в первичных парторганизациях;

Трансляция оперы Вагнера «Валькирия» из Москвы для Германии.

Запишу совсем коротко, тороплюсь на занятия в Эрмитаж, а вечером еще надо сочинение написать. Очередная политинформация прошла у меня хорошо — о заключении хозяйственного договора с Германией и еще всякое, что было интересного в газетах за несколько дней — так лучше получается, чем из одной-единственной газеты читать. Меня заинтересовало, как ловко слепые сетки вяжут. А одна старушка (зрячая) говорит: «Мы все умеем сетки плести — дома подрабатываем. Если хочешь, и тебя научим». И научили меня самому простому рисунку. Пригодится.

На перемене прибегали мои пионеры — просили, чтобы я хоть на репетиции их кукольного театра приходила, а то Таня это дело не любит и не хочет продолжать. Не знаю, как быть: времени у меня явно нет. Договорились, что один из мальчишек (он теперь у них вроде режиссера) будет ко мне подходить после уроков и мы по пути домой с ним обсудим, что и как надо репетировать. А на генеральную репетицию я к ним приду.

В школе у нас новый учитель по химии — пожилой, толстый дядя. Он профессор в Технологическом институте. Рассказывает так, что заслушаешься. Нас всех называет на «Вы» и как со взрослыми во всем.

Все. Побежала. В Эрмитаже мы с Адкой договорились

встретиться после занятий.

26 февраля 1940 г.
В газете:
Районные партконференции;
Песнь песней марксизма;
Речь Гитлера;
Итало-Германское торговое соглашение;
Собрание юных артиллеристов;
Статья С. Образцова о Маяковском.

Прочитала сейчас речь Гитлера (завтра ее надо будет использовать для политинформации), и что-то страшно: очень уж французов и англичан ненавидит. Говорит: «Судьба не допустит, чтобы германский народ стал народом рабов. И сегодня я исполнен этой веры. Мы должны победить — и мы победим!» И в конце речи он сказал словами Лютера: «Это нам удастся, даже если бы весь мир был полон чертей!» Смешная какая фраза для официальной речи… Никаких комментариев к выступлению этому нет, и я не знаю, что буду говорить завтра женщинам на фабрике.

Читаю сейчас «Очарованную душу» Ромена Роллана. Правда, кое-что и пропускаю (трудные отступления о политике), но сама книга ошеломила меня. Какая там Аннета! Столько у нее сил, мужества! — одна против всех. И как ужасно, что сын Марк совсем ее не понимает. Ведь она его так любит, а он — «как волчонок». Я еще только до середины прочитала, надо будет у Адки последние два тома взять. В этом году мне еще роман Юрия Германа «Наши знакомые» очень запомнился: могу просмотреть его мысленно весь с начала до конца, будто кино. (Между прочим, не буду даже объяснять, почему и как я пришла к такой мысли, но после книги Германа я решила, что никогда не буду иметь детей. Лучше уж я буду каким-нибудь другим образом полезна людям, чем это…)

Химик наш новый — прекрасный преподаватель. Я даже подумала: а может, мне после школы в Технологический институт пойти? Ведь насчет будущего у меня абсолютная неясность. А многие наши ребята уже точно знают, куда поступят: Галка Грачева — в физкультурный им. Лесгафта, Генька Левин — на мехмат, Шурик Королев — в Академию художеств (здорово он рисует!), Лилька с Мариной — на ин. яз, Аркашка Львович и Котька Кудряшов — в медицинский. И даже наш «сорвиголова» Венька Прайс (ну вот, впервые назвала и даже написала его имя…), хоть и дурачится, и уверяет, что он «профессиональным

путешественником» только хотел бы быть, но, тем не менее, через день регулярно бегает со своей скрипкой мимо нашего дома в музыкальную школу и после явно пойдет в Консерваторию. Всем все ясно, кроме меня. Правда, Ядвига Адольфовна хвалит меня за сочинения и ответы по литературе и говорит, что мне следовало бы, вероятно, «совершенствоваться в этом направлении», но я как-то не очень представляю себе это самое филологическое направление, а быть учительницей не хочу.

Впрочем, если бы стать такой, как Ядвига Адольфовна! Но она такая — единственная и совершенно неповторимая! Ни на кого из наших учительниц не похожа даже внешне. Она будто со старинного портрета сошла и такая навсегда осталась: молодое лицо, очень бледное, с темными глазами и бровями, а волосы совершенно седые, легкие, пушистые, закручены будто небрежным узлом и высоко, почти на темени, закреплены шпильками, как носили в XIX веке. Всегда в черном костюме с белыми манжетами и воротничком (в праздники — с кружевным). Ходит очень красиво как-то, с достоинством, легкой походкой, откинув голову, но опустив плечи, будто ничего не видит и не слышит — вся в своих мыслях. Говорит негромко, улыбается редко, но какая тишина на ее уроках! Она пришла к нам в пятом классе и поразила тем, что организовала кружок по изучению античного искусства и литературы. Я ходила в этот кружок, смотрела фотографии скульптур и храмов, читала кусочки из трагедий Софокла и Еврипида (остальное содержание их нам Ядвига Адольфовна рассказывала). И помню основное чувство: не столько даже интересно мне все это, сколько переполнена была «самоуважением»: «Это надо же! Какие умные вещи я уже постигаю!». И особенно зауважала себя после того, как подготовила пятиминутный доклад о поэзии Сафо. И всего-то от этой поэзии сохранилось десятка два строчек, но в них несколько раз повторялось «неприличное» слово «Любовь», а я произносила его и старалась не краснеть, хотя в глаза своим слушателям, и особенно Вене Прайсу, смотреть не могла. Но через год Ядвига Адольфовна из школы исчезла и уехала, как говорили, куда-то на Север. С нею уехали и два ее сына — младший, наш сверстник, и старший, девятиклассник. В то время мы, честно говоря, быстро забыли Ядвигу Адольфовну, жаль было только, что наше «античное образование» так и прервалось, кажется, на Аристофане. А теперь, спустя три года, Ядвига Адольфовна вернулась в Ленинград и снова в нашей школе. Будто ничего не изменилось, только голова у нее совсем побелела (хотя ей, кажется, около 45 лет) и совсем редко улыбается. Марина Обромпальская откуда-то узнала и потихоньку рассказывала, что

муж Ядвиги Адольфовны и старший сын были арестованы как враги народа и отправлены в ссылку. Она тоже туда поехала, похоронила там мужа, и вот теперь вернулась только с младшим сыном Станиславом — он в параллельном 9-а классе. А где старший, Аркадий, — неизвестно. Это все, что я знаю про Ядвигу Адольфовну. За годы, пока ее не было, я совсем разлюбила уроки литературы. Был у нас старичок Андрей Иванович, очень занудный. И вообще я учиться стала хуже почему-то. А вот теперь она вернулась, и литература снова стала для меня интересной и единственным предметом, по которому у меня пятерка. Ну, а другие предметы слишком у меня запущены, чтоб подогнать их, так и тянусь между тройками и четверками. То, что я начала заниматься в Эрмитаже, Ядвига Адольфовна очень одобрила. А я, когда прохожу по залам античной скульптуры в Эрмитаже, смотрю теперь на Зевса, Афину, Меркурия как на своих старых знакомых, и вспоминаю, что познакомила меня с ними Ядвига Адольфовна.

Весна-лето 1940-го

6 марта 1940 г.

В газетах:

«Скромность украшает большевика»;

Оперативная сводка с Ленинградского фронта (сбит 21 самолет противника);

Германская печать об успехах Красной Армии в Финляндии (отмечает храбрость и мужество советских бойцов);

Суд — «Шайка клеветников» (в Киеве зам. директора Дома народного творчества, зав. лит. частью театра оперы и балета и замдиректора Укр. музея «…в течение почти двух лет фабриковали клеветнические заявления, дискредитировали советские и партийные органы и т. д. Они оклеветали около 100 человек во враждебной деятельности». Теперь это все раскрылось и всем членам этой шайки дали сроки тюрьмы от 4-х до 15 лет.

Неловко признаваться даже самой себе, но частенько в газетах для меня самое интересное на последней странице — «Из зала суда». Но вот прочитала про этот процесс в Киеве и не поняла, зачем надо было таким людям, культурным, работникам в области искусства — и вдруг клеветать на других?! И заниматься этим в течение двух лет! Ведь тех, кого они оклеветали, могли арестовать… Около ста человек! Зачем им было все это? И еще: значит, среди тех, кого называют «врагами народа», могут быть и просто невинно оклеветанные, как вот эти сто человек? Ну хорошо, что в данном случае шайку клеветников обнаружили. А если бы о них не узнали, то те сто так и сидели бы в тюрьме? А может, и Адкин отец так понапрасну пострадал? И муж с сыном Ядвиги Адольфовны? Предположим, я не могу говорить о них, так как не знала их лично. Но вот отец Темы Кашина, из квартиры соседней, мы же его знали столько лет! Добрый веселый человек, к нам часто приходил. Когда я еще была маленькой, то мама меня к ним отводила, если ей надо было из дому уйти, и Темин папа играл с нами двоими «лучше всякой няньки», как мама говорила. В младших классах я вместе с Темой уроки делала, и его отец всегда помогал нам. И вот он два года назад был арестован как «враг народа». Ни Тема, ни его мать Наталья Васильевна к нам больше теперь не приходят. Тема бросил школу и где-то работает, хотя ему только восемнадцать исполнилось… Не верю я, что его отец — «враг»!

И еще вспомнила: когда я была в седьмом классе, то летом мы жили на райкомовской даче, в Мельничьем ручье, и нашими

соседями были семьи папиных сослуживцев. Все папы приезжали только на воскресенье, а в понедельник рано утром уезжали. И среди работающих в городе сотрудников райкома были и две женщины — Нефедова и Никитенко (не помню их имен — их тогда все по фамилии называли). Они приезжали к своим ребятам, которые на даче жили с бабушками (мужей у них не было). Этих двух женщин все очень уважали. Они в чем-то были схожи — боевые, спортивные, спорили с мужчинами на равных, в волейбол любили играть, в отличие от других мам, которые почему-то играть стеснялись. Папа говорил, что Никитенко и Нефедова — молодцы, не только в спорте мужчинам не уступают, но и работники толковые (они занимали какие-то ответственные посты, зав. отделами были, кажется). И вот осенью прошлого года я нечаянно услыхала, как папа говорил маме, что у них в райкоме арестовано несколько человек, в том числе — Никитенко с Нефедовой. Наутро, когда папа ушел на работу, я спросила у мамы, она сказала, что сама поражена, и чтоб я никогда никому эти фамилии не упоминала. И с папой говорить об этом не стоит, так как я подслушала, и он рассердится. Я сразу не поверила тогда, что они «враги народа», а теперь и совсем убеждена, что их оклеветали… Но кто, зачем? Ни с кем об этом даже и поговорить нельзя. Интересно, читала ли сегодняшнюю газету Ада и ее мама? Завтра увижу ее в Эрмитаже и спрошу (возьму газету с собой).

Ни о чем больше писать сейчас не могу, поэтому кончу, хотя собиралась рассказать о том, как вчера мы с Генкой Соболевым ходили на балет «Ромео и Джульетта» — он меня пригласил вдруг. Танцевали Уланова и Сергеев. Балет совершенно потрясающий, но сейчас как-то не хочется ни о чем писать больше. Пойду маму с работы встречать.

9 марта 1940 г.

В газетах за 8 марта:

Страницы замечательной жизни несгибаемого революционера — о Молотове;

Партийный и государственный деятель ленинско-сталинской эпохи (тоже о нем);

76,6 миллионов экземпляров произведений В.М. Молотова.

Собиралась я сегодня у своих женщин на фабрике о Восьмом марта поговорить, почитать что-нибудь подходящее из газеты, а газету взяла, не перелистав ее предварительно. Надеялась, что она женщинам посвящена. А там, оказывается, про женщин совсем немножко — на третьей странице портреты ударниц и их рассказы о себе, а вся газета 50-летию Молотова посвящена.

Пришлось мне на ходу перестраиваться — поздравила их, вкратце газетный материал пересказала, а потом взяла да и прочитала им чеховский рассказ «Попрыгунья», благо у меня в портфеле томик Чехова был. И так они слушали! Так благодарили! И просили, чтоб и дальше — не одни газеты, но и «рассказики какие-нибудь», и чтобы «жизненные». Я, пожалуй, так и буду делать: сначала — газетное, а потом — из художественной литературы немножко. Надо будет только подобрать подходящее (продолжу пока Чехова).

Писать много некогда: сегодня иду вместе с Галкой на вечер в другую школу, где учится ее приятель Донька. Сама подошла ко мне вчера на переменке, спросила, нет ли у меня старых эскизов по черчению (а с черчением у меня всегда полный порядок — люблю чертить). Я обещала дать. После уроков пошли вместе, забежала я за папкой с чертежами, а потом я пошла по магазинам, и Галка со мною. Так мы впервые за долгое время поболтали друг с другом. Я рассказала ей про свои политинформации на фабрике, она — про то, как у нее дела в спортивной секции идут. Оказывается, она будет в Первомайском параде на площади принимать участие, им всем выдадут очень красивые костюмы. Потом рассказывала о Доньке (это ее знакомый мальчик по секции, она с ним уже второй год дружит). Мальчишка хороший, очень компанейский — Галка с ним на Новогодний вечер приходила. Но вот имечко ему родители ухитрились дать — Македоний! Его с детства «Донькой» дразнили и он из-за этого жутко дрался. Наверное, оттого и спортом стал заниматься, теперь таким силачом сделался, что его никто задевать не рискует. Так вот Галка в последнее время познакомилась с ребятами из Донькиной школы и ее принимают там как свою. И теперь она хочет, чтоб я пошла на вечер в ту школу, и там она познакомит меня с Донькиным дружком Костей — он меня видел где-то с Галкой и просил познакомить. Сначала я наотрез отказалась — ну как это идти, зная, что предстоит вроде «официальное знакомство»? О чем-то говорить надо, улыбаться, за ручку здороваться. И вообще глупо, как сватовство в пьесах Островского. Но ведь Галка если уж вобьет себе что в голову, так от нее не отвяжешься! Да, честно говоря, подумала я и о том, что вот уже через месяц мне исполнится семнадцать лет, а я до сих пор ни в каких компаниях не бываю; училась танцевать, а на танцы ходить не с кем. И вообще — у всех почти наших девчонок есть свои увлечения, свои мальчики — шепчутся между собой, обсуждают, а я между ними как белая ворона. Правда, иногда появляется на горизонте Генка Соболев, но это не в счет. Короче, убедила Галка меня. Схожу, посмотрю, Галка очень их школу

хвалит. У них вечера часто устраивают всякие, не то, что у нас — два раза в год.

Рада я, что снова у нас с Галкой отношения налажены. Они с Адкой совсем разные, но как-то по-разному, а все же мне обе нужны. Сейчас быстренько наглажусь (ох, надоело мне мое «парадное» серое платье!) и бегом к Галке. Маме позвонила на работу, сказала, что иду на вечер «по случаю 8 марта». Она, видать, не очень довольна, что мы снова с Галкой вместе и, главное, что в чужую школу идем (пришлось это сказать), но отпустила, с условием, чтоб в десять была дома. Сторговались на 10 ч. 30 мин.

Что-то я так волнуюсь, будто это не обыкновенный школьный вечер, ждет меня там бог знает что, ну прямо как бал у Наташи Ростовой!

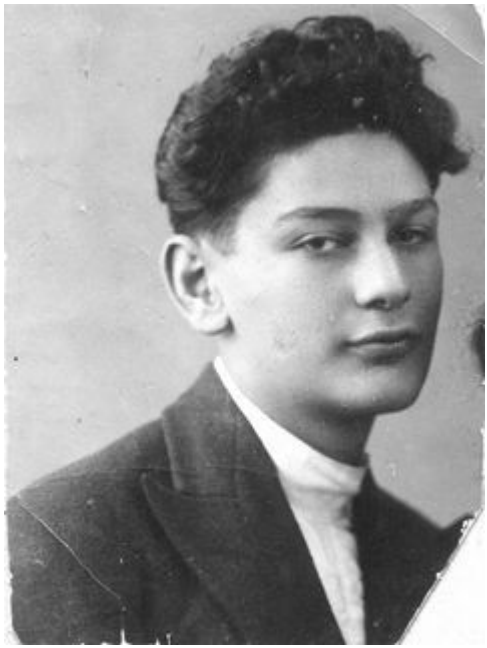
10 марта 1940 г.

В газету сегодня даже некогда заглянуть. Запишу только о том вечере, когда мы с Галкой ходили в 281 школу.

Мы тогда опоздали, но Донька с Костей ждали нас в раздевалке, буквально чуть не содрали у нас с плеч пальтишки (нянечек уже не было, и Донька, перемахнув через загородку, повесил их сам), и мы вчетвером помчались галопом по лестнице на верхний этаж. В темноте пробрались к нашим местам — хорошо, что мальчишки догадались занять стулья для нас. Никаких церемонных «знакомств» не было и не надо было придумывать, о чем разговаривать, так как концерт уже начался. Донька нас вскоре покинул — он выступал в акробатическом этюде. А Костя был вынужден отвечать на бесконечные Галкины вопросы: кто выступает, да из какого класса, да чтоб всех девчонок из их класса показал (мне кажется, Галка подозревает, что существует какая-то «соперница»).

Костя мне тогда мрачноватым и немного неестественным показался, будто какую-то роль играет: отвечает коротко, ни о ком доброго слова не скажет, к выступающим относится насмешливо. А потом я поняла, что, во-первых, он, видимо, меня смущался, к тому же он своей внешностью недоволен. Он очень «блондинистый», а за голубые глаза и нежный цвет лица его до сих пор «девочкой» зовут. Вот он и старается быть грубоватым, невозмутимым. Басит, ходит враскачку, усмехается иронически. Рядом с коренастым Донькой Костя кажется нескладно высоким и сутулым. Спорт он считает «детской забавой» для тех, кому «делать нечего». И как только они дружат с Донькой? Но все это я узнала позднее, а во время концерта Костя отвечал Галке на все ее вопросы, и я теперь тоже многих в их школе знаю.

Самодеятельность в их школе явно сильнее нашей. Хор просто отличный. И отдельные номера тоже интересные. Донька был очень хорош в своем новом синем тренировочном костюме (Галка, кажется, ревнует его к партнерше-акробатке). Но больше всего аплодисментов выпало на долю конферансье — Юрочки Хочинского, — так остроумно он представлял выступающих, комментировал их номера, рассказывал сам смешные истории. А под конец программы он и пел — сначала один, а потом с приятелем-пианистом, который, кстати, не только хорошо играет, но еще и поет. Они спели песенку своего сочинения, и им очень аплодировали. Вызывая, стали галдеть: «Пойте все вместе!». И тогда на сцену вытащили их третьего дружка (их так «мушкетерами» и зовут), и они очень здорово спели на три голоса «Сулико» и новую песенку Блантера «Когда душа поет и просится сердце в полет…» Главное, тихонько пели, слушая друг-друга — видать, давно уже спелись. Их прямо не отпускали со сцены. Выглядят они действительно как мушкетеры: все трое высокие и каждый по-своему какой-то заметный, яркий, хоть портрет с каждого пиши. Юрочка[11] (его все так зовут) даже слишком красивый — удлиненный овал лица, крутой подбородок, темные брови будто нарисованы и глаза близко к переносице. Будто принц из персидских сказок, только тюрбана на голове не хватает! Пианист совсем другой, именно «поэт» — худощавый, светло-русый, кольца волос со лба откидывает. Черты лица тонкие, от волнения румянец на скулах, и весь он какой-то вверх устремленный, светящийся, «со взором горящим». Когда играет, то чуть улыбается, и это ему очень идет. Третий выглядит старше их и петь явно смущается. Напомнил он мне кого-то, но не могу вспомнить, кого: крупная голова на широких плечах (от шапки черных волос еще больше кажется), крупные черты лица, сердитые сросшиеся брови. Белая апашка[12] подчеркивает смуглость. Рисовать его очень хорошо, и не акварелью, как поэта-пианиста, а острым пером, тушью набросок с него сделать бы. И где только видела портрет, похожий на этого парня?



Арнольд 1939 г

Получилось так, что именно с этим «сердитым» я познакомилась, а Галка об этом даже не знает и мне не хочется ей говорить. После концерта, когда включили радиолу, стулья и скамейки расставили вдоль стен и начались танцы. Галка из-за каких-то своих дипломатических соображение утащила Костю танцевать, бросив меня (что показалось мне немного обидным), и я отошла в сторону. Но там мальчишки громоздили скамейки уже вторым этажом и начали занимать места на «галерке». Сидеть вплотную к танцующим было неудобно, и я уже поглядывала, как бы и мне наверх забраться. А тут шагает по скамейкам тот самый суровый мушкетер, заметил меня, руку подает: «Ну, смелее!» Я влезла, прошла с ним по скамьям до стены и села там как в ложе. «Вот какие у нас отличные места!» — смеется (оказывается, он и смеяться умеет, и глаза у него под широкими бровями — серые, веселые!). И правда, сверху хорошо видно всех танцующих и не так душно.

«А я вас знаю, — вдруг говорит он. — Вы знакомая девочка нашего Кости Супрона». Я удивилась очень, но, оказывается, что Донька поручил ему наши места перед концертом стеречь, и так и объяснил — мол, четыре места: для него с Галкой и Косте с «его девочкой». И весь концерт он сидел за нами. Мне почему-то очень неприятно было, что меня уже за «костину девочку» считают, и я перевела разговор на другое: «А я вас тоже знаю! (Он начал на «Вы», ну и мне приходится так же) — вас мушкетером зовут». Он рассмеялся: «Это нашу троицу чуть не с первого класса так

окрестили. Но у нас есть еще и персональные прозвища».

«Атос, Портос и Арамис?» — спрашиваю. «Если бы, — говорит. — Нет, гораздо более прозаические. «Поэт», «Артист» и «Чокнутый». Можете определить, кому какое принадлежит?»

Я так и фыркнула. Ну конечно, он не «Артист» — это про Юрочку. И не «Поэт». Значит, он «Чокнутый»? Почему? Чем «чокнутый»?

«Ну, это лучше спросите у тех, кто меня так прозвал», — смеется. «А настоящее имя у вас есть?» Он привстал и чуть ли не каблуками щелкнул: «Разрешите представиться — Арнольд, или лучше — Алька». Ну, и я представилась. А тут музыка кончилась и он говорит: «Вам, видно, пора идти. Вас уже ждут». (Я так и не поняла — он дурачится или всерьез со мной на «Вы» говорит. Меня, кажется, впервые так называют). И действительно, Галка с Донькой и Костей меня уже ждут, я их сверху вижу, а они меня — нет. Пошла я к ним, хотя мне и не очень хотелось. И снова было неловко перед этим Алькой — вроде подтверждалось то, что я не сама по себе, а «чья-то девочка».

Продолжу завтра, а сегодня кончаю, уже поздно и мама велит гасить свет. (Предполагается, что я пишу «сочинение»).

28 марта 1940 г.

Вот, собиралась «завтра» закончить, а продолжаю аж через две недели — так у меня все закрутилось, что и с уроками-то еле управляюсь. Были за это время и всякие неприятности с физичкой, да уже вроде последняя контрольная перевесила итог в сторону твердой тройки.

Продолжу про тот «исторический» вечер. А он во многом действительно исторический: впервые у меня с того вечера появился знакомый мальчик, с которым мы «гуляем», говорим о всяких умных вещах и даже ходим на танцы! И никто из школьных девчонок об этом не знает — Галка не в счет. Ну, что ж, наверное, пора! Все же мне через десять дней исполняется семнадцать лет!

Итак, меня «нашли», и Галка, конечно, выговорила мне за то, что я «куда-то пропала», хотя сама же и оставила меня одну. Костя пригласил меня танцевать, а Галка с Донькой тотчас исчезли и появились лишь в конце вечера, судя по физиономиям, рассорившиеся вдрызг. Ну да это у них не впервой! Костя танцует хорошо, но сначала все молчал. Потом мы с ним понемножку разговорились. Домой шли пешком, по Фонтанке. Галка с Донькой сразу начали выяснять отношения и ушли вперед, а мы с Костей шли, далеко отстав от них, и я сначала никак не могла найти тему для разговора (как кончились танцы, Костя снова

умолк). О чем ни скажу — обо всем с насмешкою: «Чепуха это!», «Ерунда!» — и о спорте, которым Донька увлечен, и о фильме, который сейчас везде идет, «Волга-Волга». Фильм, правда, глуповатый, но ведь смешной, и актеры хорошие. Из всего Чехова ему почему-то один только «Ионыч» нравится — целую обличительную речь вдруг произнес против всяческих современных ионычей, которые только о том, чтобы сытно и безбедно жить мечтают. Будто меня надо убеждать в этом! Но все же он, видимо, мало читал Чехова: попробовала заговорить о «Доме с мезонином», о «Попрыгунье» — впечатление, что не знает их, но не хочет признаться. Говорит: «Конечно, и этот рассказ неплохой, но «Ионыч» — лучше». А потом случайно заговорили о машинах, о технике (я думала, что «Эмки» отличаются от «ЗИСов» только внешним видом), и Костю будто подменили! Оказывается, он прекрасно разбирается в двигателях внутреннего сгорания, уже имеет права, водит автомобиль, мотоцикл и даже конструирует сам какой-то мотороллер — вроде мотоцикла, но с маленькими колесами. Их в США выпускают, а у нас еще нет. И Костя уже седьмую модель делает. То есть он не только разрабатывает конструкцию, чертит чертежи, но и сам вытачивает нужные детали (в мастерской паровозного депо — отец у него машинист), подбирает из старых частей нужное и полностью своими руками делает эти роллеры! Я до сих пор и слова-то этого не знала. Последняя его модель имела скорость около 50 км/час, а скоро он будет испытывать новую — КАС-7 (Константин Андреевич Супрон) и предполагает, что она будет давать 75 км/час. Это по-настоящему увлеченный своим делом человек, не боящийся никакой работы, не в пример многим нашим мальчишкам. Он умеет слесарить, на токарных и фрезерных станках работать (и чем только они отличаются?). Руки у него в ссадинах, мозолях, как у настоящего рабочего, и мне теперь неловко за то, что я сначала отнеслась к Косте несколько свысока из-за того, что он не читал там чего-то, плохо знает Эрмитаж и ни разу не был в филармонии. Да я и сама-то в филармонии только два раза была, да и то не сама пошла, а меня Адка потащила.

В общем, я не жалею о том, что Галка познакомила меня с Костей, и теперь, когда я знаю, какой у него «конек», мне не надо придумывать тем для разговоров. Надо будет только немного хоть свою полную неграмотность в области техники одолеть, хотя бы в энциклопедии про двигатели внутреннего сгорания прочитать, а то Костя мне толкует про карбюраторы, я поддакиваю, а сама не могу представить, как этот карбюратор выглядит и какое у него назначение. Кто знает, может, в наше время быть абсолютно неграмотным в области техники более

стыдно, чем не знать музыку, живопись, литературу? Ведь не случайно лозунг сейчас — «Техника решает все!». Вот с какими мыслями я пришла с того вечера домой. А папа выругал меня за то, что поздно пришла, и маму заодно — зачем «распустила». И двойку — уже исправленную — помянул… А если бы он знал, какие разумные мысли у меня появились в результате этих «танцулек»! Ну, я, конечно, помалкивала и быстренько улеглась в темноте за своей ширмой на диванчике. Папа продолжал еще долго ворчать, а я уснула.

За это время я уже несколько раз встречалась с Костей. Наш маршрут — от Троицкого собора к Фонтанке и дальше, по набережной, до Калинкина моста и обратно. Здесь всегда малолюдно и меньше вероятности встретить кого-либо из знакомых. Он много рассказывает мне о технике, о разных изобретателях и о тех, «кто до всего своим умом дошел». Он считает, что высшее образование ни к чему — в любом вузе много лишних предметов, а самообразованием можно достичь больше. Очень любит Циолковского (он ведь был тоже самоучкой), цитирует его мысли о науке наизусть. К своему конструированию мотороллера Костя относится как к первой ступени на жизненном пути: «Выжму из этой модели все, что возможно, доведу до такого уровня, чтобы предложить в серийное производство, а потом чем-нибудь другим займусь». А последний раз сказал: «Может, я самолет когда-нибудь построю. Совсем новый принцип мотора крутится у меня в голове…». Самолет? Это, пожалуй, уж он чересчур хватил. Но, в общем, мне его увлеченность нравится.

Ходили мы с ним на танцы в Дом пионеров — там по субботам вечера старшеклассников — и я уже совсем прилично танцую.

11 апреля 1940 г.
В газете:
За выполнение и перевыполнение хозяйственных планов;
Сила большевистского слова;
Операции германских войск в Норвегии и Дании;
Поэт — трибун революции (о Маяковском);
Суд (кража обуви на фабрике).

Вот и прошел мой день рождения — 7 апреля. Так я ждала этого дня, но никакой особой радости он не принес. Вот если бы я могла отметить этот день по-своему: пригласила бы ребят из школы, а также Костю с Донькой, Адку, может быть, даже Генку Соболева — вот это был бы праздник! А так… Собрались, по обыкновению, все наши родственники — мамины сестры. Тетя

Катя с мужем дядей Ваней и Верушка с Алексеем (Алексей — папин младший брат). Зашла на часок и ушла папина сестра тетя Лена с маленьким Валькой. Приехала из Лигова бабушка. Все поздравляли, все подарки дарили (тетя Катя даже очень хорошую шерстяную кофточку), но все равно мне было как-то грустно. И папа в тот вечер был дома, и пироги у мамы очень вкусные получились — а все же это была одна из тех обычных встреч с родичами, которые у нас бывают несколько раз в год. Сначала, как водится, сидели за столом (просто чай с пирогами — стола с закусками и вином у нас не бывает). Разговор шел ни о чем. Потом женщины перешли на кресла, к круглому столику, и тетя Катя свою новую вышивку показывала (она и в гости всегда с какой-нибудь работой ходит — вышивкой или вязаньем), и мама мне велела тут же рисунок снять. Пока я этим занималась за своим письменным столом, у них о чем-то разговор тихими голосами пошел — бабушка за что-то Верушку отчитывала, та пыталась отшучиваться, но тетя Катя говорила: Не дури, слушай, когда мать говорит. А папа с дядей Ваней уселись за шахматы, но скоро бросили, так как Алексею не терпелось рассказать о каких-то беспорядках у него в типографии. Папа заспорил с ним, доказывая, что «совсем не так надо было действовать». Дядя Ваня поддержал Алексея, и папа уже злился и начал повышать голос. Всегда так бывает — как соберутся вместе, о чем бы ни зашел разговор, он всегда переходит в спор. Мама уже окликала их, пыталась перевести разговор на другое, но они только отмахивались. Наконец папа сказал: «Ладно. Здесь не место и не время обсуждать эти вопросы». Но тут уж дядя Ваня повысил голос: «Вот-вот! Чуть что — так сразу в кусты!», Леша захохотал, и я видела, что папа совсем рассердился. Тут вмешалась Верушка: «Хватит вам о политике. Давайте лучше петь!». И сама начала: «Однозвучно гремит колокольчик…». Мы с мамой подтянули, а потом и мужчины, и даже бабушка. У дяди Вани хороший бас и он всегда вторит, а Леша отлично играет на гитаре — его старая гитара у нас за шкафом висит и звучит только когда он с Верушкой к нам приходит. Они вместе хорошо спелись, и я люблю их слушать. Пели потом и «Тройку почтовую», и «Вечерний звон», и мамину любимую — «Ты знаешь край, где все обильем дышит». Вот эти полчаса, пока пели, были самыми лучшими за весь вечер. Лица во время пения у всех добрые становятся, задумчивые, и сразу заметно, как мама и ее сестры похожи между собой, и легко представить, что и бабушка в молодости была такой, как они, — русые, круглолицые, немного курносые, спокойные в движениях и речи. А у папиной родни чувствуется цыганская кровь (его мать была из цыган) — смуглые,

темноглазые, темнобровые, носы чуть с горбинкой, ноздри четко очерчены. И хоть папа невысокого роста и черты лица у него мелкие, а глаза серые, но он все равно похож и на Алексея, и на Лену, и на своего старшего брата Ванюшку (он у нас редко бывает). И вспыльчивые они все, но если Алексей легко переходит на шутку, то папа долго не может остыть после спора и остается раздраженным, замкнутым. Даже когда он подпевал вместе с нами, все же было видно, что поет машинально, а мысли его еще в споре. Пели недолго — уже в двенадцатом часу, когда Верушка с Алексеем затянули свою коронную «Ай да тройка, снег пушистый…», папа одернул их: «Да потише пойте! Ведь соседям мешаем!» (папа всегда о соседях вспоминает, когда даже заговорим громко). Верушка тут же прервалась на полуфразе и встала: «Алешенька! Пойдем домой, нас здесь не понимают!» — любит она дразнить папу. Мама было стала их уговаривать, да тут и тетя Катя с мужем засобирались (им далеко, на Петроградскую сторону), и бабушка (ей так совсем далеко — на Балтийский вокзал, а там еще на поезде полчаса до Лигово, но ночевать никогда не остается). Так все и разошлись.

Мама потом еще долго шепотом с папой разговаривала, а он все отвечал сердитым голосом. А я лежала за своей ширмой и думала о том, что этот день, хотя он так обыкновенно прошел, все же особый, вроде границы, отделяющей одну часть жизни от другой. И все, что у меня будет теперь происходить, я буду отмерять от него… И все, что было до него — это совсем не то, что будет завтра… Так я думала в тот вечер.

И вот уже три дня прошло, а ничего особенного не случилось. Но все же какое-то чувство нового куска жизни у меня есть. Впрочем, я напрасно жалуюсь на неудачно прошедший день рождения — все же он был отмечен и приятными сюрпризами. На другой день наша соседка Луиза Ивановна поздравила меня и вручила два билета на оперу «Русалка», на воскресенье, в Михайловский театр, где она поет в хоре. А в Эрмитаже я встретила Адку и она, оказывается, помнила о моем дне рождения, хотя я специально не говорила, а лишь когда-то, еще осенью, в разговоре упомянула. И подарила она мне маленького, величиной с двухкопеечную монету, серебряного козлика. Выточен удивительно — тонюсенькие ножки стоят на крохотной подставке, и прямо чувствуется, какой он упрямый — голова с рожками и бородкой нагнуты, будто так и прыгнет сейчас! Адка говорит — пусть этот козлик напоминает о том, что главное — это никогда не терять мужества. И, в общем, она права — для победы нужна не физическая сила, а сильный дух. Вот Аннета у Ромена Роллана сильнее всех мужчин была… этот маленький

адкин подарок радует меня очень, и я его теперь все время с собой ношу.

Впрочем, конечно, и туфлям на высоком каблуке, подаренным мамой и папой, я тоже обрадовалась — это первые в жизни взрослые туфли. Теперь на танцы в них можно будет ходить. Но адкин подарок особый — я почему-то верю, что он счастье мне будет приносить: так дикари верили в талисман. Ну и пусть я как дикарь — так приятно верить в чудеса! А в театр со мной Адка пойдет — так хорошо, что хоть раз я ее приглашаю, а то все она меня и в Филармонию, и на концерт.

27 апреля 1940 г.

В газетах:

О мерах по дальнейшему подъему сельского хозяйства в южных областях Казахстана;

О награждении орденами СССР работников НКВД;

Военные действия в Норвегии.

Сегодня Костя встретил меня после политинформации. Он зашел на фабрику, узнал где я, и когда я вышла, сидел на скамеечке рядом с вахтером и о чем-то весело разговаривал с ним. Оба они курили. Я очень растерялась, когда увидела Костю (шла я вместе со своими работницами), а он как ни в чем не бывало бросил окурок на асфальт, притопнул его каблуком и как-то вразвалочку подошел ко мне: «Привет!». Все глядели на нас, а я что-то буркнула в ответ и быстро пошла через проходную. Мне казалось, что все во дворе поняли, что это мой «кавалер» (ох, какое затхлое слово, но «жених» еще хуже, а «ухажер» тоже не лучше). Тогда Костя догнал меня уже на улице и рассердился: «Ты что? Может, стесняешься меня? Стесняешься, что у меня видок не тот?..». А он, между прочим, действительно, ходит в каком-то «расхристанном» виде, как сказала бы моя бабушка: куртка всегда нараспашку, из кармана шарф торчит, шапку то на лоб нахлобучит, то на затылок спихнет так, что на него прохожие оборачиваются. И ходит нарочно вразвалку. А тут еще выяснилось, что он курит…

В общем, мы потом дотемна ходили и все выясняли отношения. Я понимаю, что он очень обидчивый и считает меня «интеллигенцией» (гнилой), а себя — «потомственным работягой» (у него отец на паровозоремонтном работает и мать из рабочих, и сам он умеет и токарем, и фрезеровщиком, и слесарем). В чем-то Костя прав — у меня много всяких ненужных предрассудков, размышлений на тему «прилично-неприлично». Надо мне быть проще.

8 мая 1940 г.

В газете:

Глубже вникать в колхозную экономику;

Об изменениях в политике заготовок сельхозпродуктов (доклад Н.С.Хрущева на совещании киевского партактива);

О новых воинских званиях (маршала, генерала, адмирала — как в царской армии!..).

Я теперь разрываюсь между школой, Эрмитажем, Адкой, Костей… Адка посмеивается над моим «романом» и почему-то не относится к Косте всерьез. Я их познакомила. Костя встречал меня однажды, когда я была на занятиях в Эрмитаже, и мы с Адкой вышли вдвоем. Пошли вместе, и они как-то сразу начали пикироваться. Причем Адка оставалась спокойно-насмешливой, а он обозлился и стал петушиться. Мне было немножко неловко за него. То есть не за него, а за то, что он не умеет спорить, огрызается, повышает голос. И как-то слишком уверен в том, что все, что ему не нравится (или просто чего он не знает) — это, по его мнению, «чепуха» и «гниль». И вообще я почувствовала, что с моих слов Костя представлялся Адке совсем иным, чем при встрече. Не буду я больше сводить их вместе — слишком они разные.

Скоро в Эрмитаже наши зачетные доклады (как в институте). У меня тема — о портрете герцогини де Бофор английского художника XVIII века Гейнсборо. Чем больше я всматриваюсь в это лицо, тем более люблю эту женщину. Мне кажется, что знакома с ней: знаю, как она ходит, смеется, огорчается. Слышу ее голос… Достала книги об эпохе Гейнсборо, об его творчестве — как интересно, когда занимаешься чем-то не для отметки, а «для себя»! Теперь у меня в Эрмитаже появилось уже несколько любимых работ, к которым я отношусь как к «своим», и всегда нахожу минуточку, чтобы забежать к ним на свидание. Мне кажется, что и они рады меня видеть. Это «Вознесение мадонны» Мурильо, старушка Рембрандта, его же рыженькая «Камеристка», «Мужской портрет» Хальса и еще скульптура белого мрамора — девушка на коленях застыла в вечной мольбе, обращенной к небу («если долго смотреть на нее, то она начинает светиться и будто теплеет и дышит) — «Смирение» Бартоллини.

10 мая 1940 г.

Не знаю, что делать. Случайно я узнала такое, что и написать боюсь и не думать об этом не могу. Пожалуй, все же запишу (у меня есть такой тайник для дневника, что никто не найдет).

Запишу потому, что сейчас я не понимаю в этом деле ничего и сказать никому не могу. Даже Адке. А когда-нибудь, может, через несколько лет, когда я буду более политически грамотной, тогда разберусь во всем… А сейчас постараюсь только точно записать все, как было, и никаких мнений своих не высказывать. Хотя, как комсомолка, я должна была бы иметь свое мнение на этот счет. Но не могу. Потому что это очень трудно. Потому что это касается папы.

И, кроме всего, оттого, что я нечаянно влезла не в свое дело. Точнее, прочитала чужое деловое письмо, которое не имела права читать.

Вчера я рылась в ящике обеденного стола, где лежат папины бумаги и куда без него я обычно никогда не заглядывала. Не имею права. И маме не разрешается. Но сейчас папа в санатории, в Ялте, а мне очень нужен был лист хорошей бумаги для чертежа малого формата. Папа раньше мне такую бумагу давал — у него есть запас хороших блокнотов, мелованной бумаги, карандашей. Все это он с партконференций приносил.

И я решила взять лист бумаги сама, т. к. он приедет через неделю только, а мама скажет: «Без папы нельзя!». И вот я вынула из стола одну папку, другую — бумага есть, но тонкая. А когда развязала тесемки темной папки, то увидела, что там сверху лежат листы, напечатанные на машинке, и замечаю, что там часто фамилия Лаврентьева повторяется. И вдруг на середине страницы бросается в глаза фраза: «…Лаврентьев громко распинался о товарищах (перечень фамилий), как о вражеском охвостье…».

Я даже будто оглохла. Кто же смеет так говорить о папе?! И почему такую бумагу он хранит в своем столе?..

Конечно же, я прочитала эти листы с первых до последних строк. И даже не вспомнила о том, что нельзя читать чужие письма. А это письмо папа написал в мае 1938 года и требует, чтобы с него сняли обвинение в клевете на товарищей по работе. А обвиняли его, оказывается, публично, на партпленуме в феврале того же года.

И так страшно мне было читать все это, так как не могла понять, были ли основания его обвинять или нет. И еще — там фамилии его знакомых, которые я часто от него слышала, и он говорил о них как о хороших людях. А некоторых и я знаю: на даче в Мельничьем ручье жили рядом с семьей одного, другой — Кабалкин — у нас дома бывал, и папа с ним на стадион ходил — длинный веселый дядька… И вдруг папа о них и о других работниках сказал, что они «охвостье», и они «не проверены», и у них «зиновьевская практика работы»… А ведь Троцкий и Зиновьев еще давно врагами народа объявлены, и я помню, как папа

вырывал их портреты из своих книг, а фамилии вычеркивал черной тушью… Значит, получается, папа вроде обвинил тех, с кем работал, и даже других, в том, что они стали «врагами народа»?!

Все это очень трудно (и страшно) понять и поэтому я лучше возьму и перепишу сейчас из этого письма самое главное и спрячу в свой тайник, а потом когда-нибудь еще что узнаю или осторожно у мамы расспрошу и тогда, может, все разъяснится.

Значит, письмо это написано 3 мая 1938 года. «В Партком работников РК ВКП(б) Октябрьского района г. Ленинграда» (папа там работал, а в прошлом году его перевели в Горком, в Смольный в какой-то «оргинструкторский отдел»). А копия этого письма отправлена в Горком ВКП(б). Дальше цитирую прямо с письма: «Мне, как члену партии, на пленуме РК ВКП(б) 27 февраля (т. Никитиным) и на партсобрании работников РК 11-го марта (т. Маев) — в мое отсутствие, когда я был болен, предъявлено обвинение, на которое даю объяснение.

Т. Никитин: «…какие конкретные данные имелись у т. Лаврентьева по обвинению тов. Эркку, Гейликмана, Маева, Кабалкина и Шишина в том, что они являются охвостьем Шульмана?»

Т. Маев: «…т. Лаврентьеву, который громкогласно распинался на Пленуме РК о роспуске Бюро и дал информацию обследовательской комиссии о т.т. Маеве, Эркку, Кабалкине, как о «вражеском охвостье», не дали должного отпора и прошли мимо этого факта совершенно спокойно. Поведение Лаврентьева содержит в себе элемент карьеризма».

Говорю твердо на данное обвинение, что никогда и нигде я не давал сведений и не вел разговор, что т.т. Эркку, Гейликман, Маев, Кабаякин и Шишин являются вражеским охвостьем. (Этот факт проверялся т. Шваревым и он не подтвердился).

Я говорил комиссии Горкома на их заданный вопрос, что в Райкоме существовала семейственность, работники делились на группы, и одна из групп — это т.т. Николаев, Маев, Гейликман, Кабалкин, которые были ближе к Шульману и Диманису». (Но ведь если Шульман и Диманис враги народа, а названная папой группа «ближе» к ним, значит, он этим и обвиняет их всех… А как же он пишет, что «…никогда и нигде не давал сведений»?) «…По данному вопросу говорилось на Пленуме РК, что отражено в резолюции. Так что обвинение т.т. Никитина и Маева ни на чем не обосновано. Помимо этого мне предъявлено обвинение (т. Шваревым), что мое выступление на январском Пленуме Райкома является якобы необоснованным обвинением ряда товарищей, а также — о стиле работы, перешедшего от Шульмана

и Диманиса.

I. О стиле работы РК — мое выступление: «Мы говорили о стиле работы нашего РК партии, т. е. о том стиле, который перешел от Шульмана и Диманиса. Мы признали в своем решении, что в РК процветало подхалимство, семейственность, отсутствовала критика и самокритика, было еще раз подчеркнуто существование либерального отношения. Указывая ряд причин, ряд фамилий, когда первичные организации исключали из партии, а РК отменял эти решения, а между тем через некоторое время эти лица были арестованы» (из стенограммы Пленума). Решение январского Пленума РК, § 3 говорит: «Бюро РК не изменило еще систему работы Райкома, не устранило вредных методов работы, практиковавшихся врагами народа Шульманом и Диманисом».

Данное решение Пленума существует и на сегодняшний день, так что мое выступление правильно.

II. О том, что я якобы обвинил в своем выступлении т. Никитина в зиновьевской практике работы. Я говорил: «т. Никитин здесь однобоко говорил, а о себе не говорил. Он уже имел хвост и эта практика у него продолжается». (Так и написано — «имел хвост»… Это вроде как «вражеское охвостье» или просто о каких-то ошибках в работе?)

«…У Никитина имеется хвост и порядочный, это известно и нам и Горкому. Но на сегодня, в свете разбора сегодняшнего вопроса, мы не должны обходить, что знаем, и должны говорить все. Вы помните, что он имел в прошлом большую политическую ошибку — подписал политическое письмо. Второе — он уже будучи здесь в Райкоме подписал две рекомендации, а за эти рекомендации много нас греют — оказались впоследствии врагами народа.

В своем выступлении я ни в коем случае не подозреваю т. Никитина на основе данных фактов (подчеркнуто красным карандашом — Н.С.) в зиновьевской практике работы, но я имел в виду вредную практику Райкома, в частности т. Никитина, как 1-го секретаря — побольше исключить, поменьше принять…» (Опять не понимаю — если этот Никитин подписал две рекомендации, а потом это оказались враги, то, значит, он виноват в том, что «спешил» больше принять в партию, а вовсе не «побольше исключить, поменьше принять»…)

«…т. Никитин в своем выступлении на данном Пленуме смазал этот важный участок работы, отнеся все недочеты на время работы врагов народа Шульмана и Диманиса. Т. Никитин говорил: «Я должен сказать, мы устранили крупнейшие недостатки в работе Шульмана и Диманиса, которые здесь

существовали годами — это чтоб себя застраховать: покрепче ударить, побольше исключить. Я должен сказать, что за этот год все восстановлены по линии Горкома и КПК. (КПК — это, кажется, контрольная парткомиссия. — Н.С.) то исключенные не при мне, а до меня. Из мною исключенных никто не восстановлен. Наш Райком всегда хвалили за объективные решения дел и обоснованные исключения» (из стенограммы).

За то время, пока т. Никитин был 1-м секретарем, исключения и взыскания не уменьшались, а увеличивались. В декабре 1937 года был наибольший процент исключений (см. доклад т. Шварева на последнем партсобрании районного партактива). (Значит, папа против того, чтоб всех подозревали врагами, исключали из партии. Но тогда почему его самого обвинили в том, что он назвал «охвостьем» врагов понапрасну?..)

«…III. О том, что в своем выступлении я якобы огульно обвинил Бюро Райкома. Я говорил на Пленуме: «Я считаю, что большая часть Бюро РК — одни проверены, а другие еще не доведены до конца» (из стенограммы), и эта моя мысль сводилась к тому, что на отдельных членов Бюро РК и кандидатов имелись материалы и шли разговоры, которые не были известны Пленуму, а именно: о Зябко, т. Зеленине, т. Кокотихине, Гейликмане. В результате обсуждения Пленум вывел из состава Бюро 4 человека: Зябко был выведен и исключен из партии, т. Никитин — выведен из Бюро, а также освобожден т. Эркку». (Если папа указал на этих четверых, а их действительно вывели из Бюро, значит, он был прав? Они — «враги»? Но и Эркку, и Кокотихина я знаю, они были дружны с папой…)

В своем выступлении я не имел в виду обвинять Бюро в целом, а говорил только о проверке части членов Бюро. Свое выступление, где говорится «о большей части членов Бюро», считаю неверным.

IV. «О том, что я утверждаю в своем выступлении на Пленуме, что знали некоторые работники РК об участии в оппозиции Диманиса». (Как во многом обвиняют папу! И не просто так, а на Пленуме… Это ведь значит, что сотни людей все это слушали. А письмо его может два-три человека прочтут только. И не известно, убедил он их или нет…)

«…Я говорил: «Знал Николаев об участии в оппозиции Диманиса, но он был близок со многими работниками, у которых ничего не пройдет, чтоб не поделиться». (Не понимаю — т. е. разболтал им все? А должен был молчать? Но почему — ведь речь идет о работниках Райкома, партийцах!..)

«…Эта группа — т.т. Гейликман, Маев, Кабалкин (а вот с Кабалкиным папа просто дружил, года два назад мы с папой к

нему в гости ходили, и они вместе ездили на рыбалку. — Н.С.) и ряд других, — я беру на себя полную ответственность, что это не могло пройти так». (Из стенограммы) (Что «не могло пройти так» — то, что этот Николаев не мог не разболтать этой группе товарищей об участии Диманиса в оппозиции, т. е. что он враг? Так ведь это хорошо, что рассказал. А папа вроде его обвиняет за это. А если бы Николаев знал про Диманиса и молчал — его бы надо тогда обвинить в укрытии врага народа?.. Ничего не понимаю!)

«…Что знал т. Никитин об участии Диманиса в оппозиции, это установлено и на Пленуме РК (подтверждено им самим). Что же касается того, что рассказал обо всем Николаев т.т. Маеву, Гейликману и Кабалкину, то у меня и в данное время такое же убеждение. Свое выступление на Пленуме РК я не считаю клеветническим (Значит, даже так было сказано? — «клеветническое выступление»… Н.С.) и элементом карьеризма, как это старались изобразить т. Никитин на Пленуме и т. Маев на партсобрании работников РК ВКП(б)… (Значит — ни на одном Пленуме, а еще и на партсобрании об этом же говорили… — Н.С.), тем более, что факты такого, что я назвал целую группу работников РК «враждебным охвостьем», не существуют и что есть прямой вымысел т. Никитина и Маева, которые сами являются клеветниками по отношению ко мне. (Ох, ну зачем же — теми же словами… И самое ужасное — ведь в начале он не отрицает, что говорил о тех, кто «был близок к Шульману и Диманису», т. е. врагам, а другие — «имели хвосты» или «были не проверены»…).

Точно такие же предъявленные мне обвинения т. Шваревым (Еще и Шварев папу обвинял? Уже третий?..) по отношению к т. Никитину считаю в корне неверными и необоснованными. Читать мое выступление между строк — не дочитывая до конца не читая выступление т. Никитина (так написано — без запятых, без конца фразы. — Н.С.) Я говорил о вредной практике работы, которая особенно известна т. Швареву делавшему анализ прошлой работы РК по приему и исключению на Райпартактиве.

Признаю в своем выступлении неточности в части того, что сказал большая часть членов Бюро проверены, а другие не доведены до конца, правильнее было сказать — часть членов Бюро.

3 мая 1938 г.

Осень 1940-го

3 октября 1940 г.

В газетах:

Указ о призыве молодежи в ремесленные училища.

Об установлении платного обучения в старших классах средней школы и ВУЗах (с учащихся 8, 9, 10 классов — 200 руб. в год, в ВУЗах — 400 руб. В художественно-театральных — 500 руб. Платить надо уже сейчас не позднее 1 ноября, иначе отчислят).

Война в Англии и Франции продолжается (потери французов в войне с Германией — 100 тысяч убитых и 2 миллиона в плену).

Сентябрь пролетел так, что и не заметила. И записывать совсем отвыкла. Сегодня в школе только и разговору, что о плате за обучение. Некоторые ребята уже точно знают, что придется из школы уходить. Не все родители могут платить, особенно у кого большие семьи. А в ремесленных училищах и питание, и форма, вот и получается, что им прямая дорога туда…

Как-то стыдно перед теми, кто из школы уйдет. Чем мы лучше их?.. Только тем, что наши родители могут заплатить.

Поразили меня сегодня несколько строчек о войне Германии против Англии и Франции. Ведь пол-Европы уже захватили, бомбят Лондон, пал Париж… Одних французов убито сто тысяч! А у нас с Германией «договор о дружбе»… Да как же мы можем дружить с ними?! Хорошо бы с Алькой Бернштамом поговорить об этом, да мы с ним не встречаемся. Узнавала в Эрмитаже, он больше туда на занятия не ходит. А Костю спрашивать о нем не хочу.

С Костей у нас все по-прежнему: то ссоримся, то миримся. Недавно он катал меня на настоящем мотоцикле (настоящем — в смысле что не его изготовления, а просто у приятеля брал на время ремонта). Ездили в Пулково, на большой скорости. Мне было страшно, но все равно очень здорово. Когда возвращались обратно, то при въезде на Международный проспект справа, в глубине, в здании старого монастыря (Костя показал мне его) находится Авиационный институт, а с левой стороны проспекта — Институт автодорожного транспорта. И Костя сказал, что это единственный институт, в котором он, пожалуй, все же хотел бы учиться (в Автодорожном). И я тогда шутя сказала, что в таком случае я пойду учиться в институт напротив, в Авиационный: там студентам красивую форму дают — черные шинели и береты с «крылышками» серебряными.

7 октября 1940 г.

Вчера была общегородская воздушная тревога, и у нас в школе сорвались все занятия. На втором уроке объявили по радио: «Тревога!». Раздались удары по рельсу (это у нас сигнал «химического заражения»), и мы все понеслись по своим постам. Я — в санитарках, возле носилок. Пришлось напялить противогаз и таскать в «Пункт первой помощи» тех, кто «заражен». А в это время на улицах остановилось движение, гудели над головой «самолеты противника» и даже слышались залпы зениток. Наш медпункт очень скоро переполнен был «ранеными», и дали команду переносить «наиболее тяжелых» в пункт, который находился в помещении аптеки на другой стороне улицы. Наши мальчишки быстро сообразили, что так удобнее всего сбежать домой. А мы-то не понимаем, почему от нас только что все удирали, а тут вдруг сами набиваются со всякими «травмами». Потом разобрались, выбрали в качестве «пострадавшего» Женьку Левина и сторговались на решении задачек к контрольной по физике. Быстренько, рысью отнесли его на носилках через улицу (вчетвером тащили, не тяжело), серьезно прошествовали мимо милиционера, а в подворотне опрокинули носилки, вытряхнули нашего «пострадавшего» и убежали. С хохотом неслись мимо того же милиционера, и он похвалил нас за «оперативность»! Много смешного было в этот день. К вечеру «угрожающее положение» отменили и по радио рассказывали, в каких районах МПВО[13] проявили себя хорошо, а в каких — слабо. Кое-где все было очень серьезно организовано: настоящие пожары тушили, а на площади Лассаля даже будто прорвало водопроводные трубы и часть площади залило водой, но и с этим быстро сумели управиться. Вот вроде и серьезно проходят такие учения, но все равно кажется, что это просто игра. И не верится, что когда-нибудь может случиться настоящий налет противника или химическое заражение. То есть иногда мелькнет мысль — «а вдруг!..» — но тут же отгоняю ее от себя и не хочу, боюсь додумывать до конца.

За лето соскучилась по кино и теперь за месяц умудрилась посмотреть три фильма: «Дети капитана Гранта» и «Большой вальс» — это с Костей. (Всем почему-то нравится главная героиня в «Большом вальсе», а мне — невеста Штрауса, Поли). И еще неожиданно позвонил Генка Соболев и позвал на Чаплина («Огни большого города»). Генка уже на втором курсе медицинского, но остался таким же несерьезным и дурашливым. Ехали в трамвае до «Титана», и у женщины, сидящей рядом, хвост чернобурки лег на плечо Генки. Он взял его двумя пальцами, осторожно переложил на грудь женщины и спрашивает очень галантно: «Простите, а в ней блохи не водятся?»… Дама так и вспыхнула, а я фыркнула и

бегом на площадку. Генка с невозмутимым видом вышел вслед за мною. Я, конечно, выругала его, но не могла не смеяться. Он серьезно выслушал и обещал «исправиться». Никак не могу относиться к нему как к старшему, а ведь ему уже девятнадцать лет.

Об этом походе в кино Косте не говорила. Тем более, что встречаемся мы с Генкой раз в год, не чаще. А фильм с Чаплиным отличный, насмеялись так, что потом скулы болели.

12 октября 1940 г.

В газетах Указ Верховного Совета о том, что теперь инженеров, техников и квалифицированных служащих могут перевести с одного предприятия на другое, «независимо от территориального расположения». Это значит, что могут перевести куда угодно, хоть в Среднюю Азию! Правда, при этом выплачивают подъемные на всех членов семьи и оплачивают дорогу. Но все же если, к примеру, отца переведут куда-то, то все члены семьи — и жена его, и дети — должны бросить свою работу, школу и ехать с ним? И это на всю жизнь? А если кто не согласится и не поедет, то его будут считать «самовольно ушедшим с предприятия» и «предадут суду, согласно Указу от 26 июня 1940 г.». Вот так… «Предадут суду»… И еще: отменяются все трудовые договоры. Кто, к примеру, приехал в Сибирь на 2–3 года, их теперь имеют право оставить на столько, «на сколько надо для производства»… (Первая мысль, которая у меня мелькнула во время чтения этого указа: и даже Юрьева дня не будет? А ведь когда-то был «Юрьев день»…). Что-то меня так стали угнетать газеты… Каждый день беру в руки «Правду» и с опасением просматриваю сначала все заголовки, что еще нового ожидает всех нас?..

30 октября 1940 г.

В газетах:

По большевистски руководить переселением колхозников.

М.И. Калинин «О коммунистическом воспитании» (доклад).

Вчера собиралась на политинформации читать отрывки из доклада Калинина. Очень хорошо он говорит о доходчивости речи агитатора, о том, как надо уметь просто и ясно все объяснить, о чистоте русского языка. Но вышло так, что разговор застрял на первом вопросе — о переселении колхозников на Дальний Восток, в Сибирь и Казахстан. Оказывается, это очень волнует работниц, так как у многих есть родственники в деревне. А в газете пишут, что «сотни тысяч колхозников уже переехали и

успешно осваивают земли Дальнего Востока». Сотни тысяч!.. Я считала до сих пор, что, если в Европейской части страны земель пахотных мало, а на Востоке — много, то правильно, что переселяются и осваивают их. Но не задумывалась, что едут не только по желанию, а по плану, по разнарядке, должны покинуть родные деревни, свои края… Женщина одна рассказала, как их из Вологодской области переселяли в Сибирь, и как старик сказал: «Умру здесь, а не поеду», и тогда его милиционеры подняли с кровати и перенесли на телегу (он был больной), а в дороге он и правда умер. Рассказывала и слезы вытирала. И другие всхлипывать начали и рассказывать о своем. Но мастер тетя Дуся на них прикрикнула, чтоб они не мешали мне читать, и я еле довела политинформацию до конца. Пришлось прочитать и о том, что в Тамбовской, Воронежской и Курской областях план по переселению выполнен только на 50 %, и в этом виноваты местные партийные руководители, и план этот необходимо выполнить в ближайшее время… А про доклад Калинина только упомянула. Видела, что все молчат, но не слушают и думают каждый о своем.

Дома рассказала маме о том, как прошла моя политинформация. Она говорит, что ей тоже приходилось слышать, сколько горя причинило это переселение. Но обсуждать постановление правительства нельзя, наверняка имеются серьезные государственные причины для таких мер, может быть, военная угроза со стороны Японии, а у нас Дальний Восток слабо заселен. Поговорили и об июньском постановлении: о дисциплине и запрете перехода с одного места работы на другое. Мама очень довольна, что успела до этого постановления перейти на другую работу — в библиотеку Театрального института (там всего три человека и работа интереснее), а то так и пришлось бы навечно оставаться в этой огромной библиотеке, где маме не нравится. Маме тоже было непонятно июньское постановление, но папа объяснил ей, что причина вся в том, чтобы усилить государство, так как военная обстановка очень неспокойная. Неужели будет война?

13 ноября 1940 г.

В газетах:

Государственная дисциплина и борьба за план.

Прибытие в Берлин тов. В.М. Молотова и беседа его с г. фон Риббентропом и г. Гитлером (о чем — не сказано, но беседа продолжалась более двух часов).

Письмо И.В. Сталину от трудящихся Крымской АССР (письмо в стихах, огромное — на двух страницах. Подписали его 200000

человек).

Так странно — Гитлер же фашист, а с ним переговоры. На семинаре политинформаторов спрашивали об этом, и нам ответили, что взаимоотношения с Германией — это сложная политика, направленная на предотвращение войны.

Уже не впервые печатают в газетах письма Сталину в стихах. И я их, честно говоря, не читала. А этот раз прочла — очень уж большое, две газетные страницы полностью. И удивилась: во-первых, почему именно трудящиеся Крыма решили послать такое большое письмо — они что, любят его больше, чем другие? А во-вторых, даже неловко говорить… Стихи эти хоть и очень торжественные и, может быть, и от чистого сердца написаны, но очень уж слабые (в смысле поэзии). Но зачем же тогда такие длинные печатают? Сократили бы, оставили самое приемлемое, и тогда бы они приличнее выглядели… Может, еще переводчик дело ухудшил? (Авторы — группа крымских поэтов, а перевел В. Луговской).

Вот к примеру:

«Сталин, мы прославляем мудрую силу твою.
Ты дал нам свободу и счастье, цветущие дни весны.
Все нации, все народы в нашей стране равны.
Поют мастерицы над шелком, твой, Сталин, портрет вышивая,
Любовью ложатся узоры, сверкает игла, как живая».

Ну какие же это «стихи»?

Или еще:

«О, Сталин, твои пятилетки сокровище нам принесли,
Наш Сталин, могучие крылья ты дал Черноморскому флоту,
И грозные штормы не страшны для наших отважных пилотов».

Ну зачем Черноморскому флоту «крылья», а пилотам «грозные штормы»?

А вот дальше, на мой взгляд, даже что-то против Сталина получается: там есть такая фаза (часть ее) — *«Со Сталиным вместе борясь»* — это ведь по-разному можно понять… А в

контексте это выглядит понятнее, но просто неграмотно:

«Века за веками пройдут — будет вечен наш век золотой.
Потомки умножат страницы истории пережитой.
Со Сталиным вместе борясь, небывалое общество строя,
Со Сталиным вместе счастливую жизнь начинали герои».

Ну вот, начала и не могу остановиться: дальше тоже очень косноязычно переведено:

«В словах наших радостных смех и приветствия женщин счастливых.
Шелка, что расшиты узорами, девушек наших красивых,
Подобно орлу, распростершему крылья над кручею горной,
Поднялись народы, творящие счастье в стране нашей гордой!
Взгляни на весеннюю радость зеленых лугов и полей!
Взгляни на улыбки лежащих в своих колыбелях детей!
Родимый отец наш, прими благодарность от Родины славной,
Прими наш дестан (поэму) *как подарок народов великих и равных!»*

Понимаю, что это подарок, а как говорится, «дареному коню в зубы не смотрят»… Но ведь все же, те, кто печатал эти стихи, их читал… Интересно, а Сталин их читает?

И еще интересно: подписали это письмо 200 тысяч человек, так неужели все они прочитали эти длинные стихи, прежде чем их подписать? И как проводили читку и сбор подписей — по всем поселкам, по всем предприятиям и колхозам?

19 ноября» 1940 г.

На прошлой неделе поссорилась с Костей, и он до сих пор не звонил мне. Мы тогда договорились, что в воскресенье встретимся с ним в Детском селе, возле Лицея. Он приедет на мотороллере (закончил еще одну модель, и это был испытательный маршрут). Дело в том, что я теперь по воскресеньям езжу с родителями на базу отдыха. Раньше мы ездили в Сосновый домик в Петергоф (это когда папа работал в Райкоме), а после того, как папу перевели в Обком партии, мы ездим в Детское село, где обкомовская дача помещается в

прекрасном особняке кого-то из великих князей. Это двухэтажный замок, с башенками и амбразурами, с небольшим парком. Весь участок дачи огорожен высоким каменным забором, у ворот вахтер, и когда я еще летом ездила с девчонками в Детское и проходила по этой уличке, то даже и не подозревала, что за скучным забором скрывается такая красота. Прекрасно и внутри здания — большой холл, зимний садик с фонтанчиком, гостиная с камином, бильярдная. Каждой семье определяют по спальне (приезжают с субботы), там полированная мебель и ковры на полу. Но особенно хороши ванные. Одна на 1-ом этаже, другая — на 2-ом, большущие, облицованные голубым мрамором, с бассейном посередине. В общем, все в несколько раз лучше, чем в Сосновом домике. Но зато и публика здесь собирается еще более важная, чем там, и папа явно чувствует себя среди них неловко, а мы с мамой — и подавно. Папа играет на бильярде или в шахматы, а мы с мамой ни с кем из «дам» не знакомы (они как-то сами по себе, в своей компании), и стараемся весь день, между завтраком и обедом, гулять вокруг дачи, а если плохая погода — читаем.

Я говорила Косте, что езжу с родителями на базу отдыха, и он смирился с тем, что воскресные дни я занята. А в этот раз мы с ним сначала погуляли по Детскому (роллер вел за руль, или ехал почти рядом со мной на самой тихой скорости, или разгонялся и потом возвращался ко мне — на его машину все оборачивались и один дядька даже привязался, где такую достал, да неужели 90 км/час выжимает?). И Костя демонстрировал возможности своей машины. Но потом в моторе что-то испортилось, и мы направились к вокзалу, чтобы ему ехать на электричке. По дороге к вокзалу Костя довел меня до ворот дачи этой, и вдруг впервые до него дошло, что дача эта не простая. Особенно возмутил его вахтер у ворот и количество легковых машин в переулке (на поезде, с простым людом ездить, значит, гнушаются!). Да и весь замок с башенками и флюгерами, видневшимися над глухой каменной стеной, конечно, тоже не был похож на обычную «базу отдыха». А я еще имела глупость рассказать о зимнем садике и похвалилась ваннами, что мол, теперь, вместо того, чтобы в субботу стоять по часу в нашу баню на 1-ой Красноармейской, мы приезжаем сюда пораньше и успеваем выкупаться до того, как приедет основное «начальство». И тут все возмущение Кости «советскими барами» (?) обрушилось на меня!.. Я слушала его и возразить мне было нечего. В общем, он прав. Чувство неловкости за то, что я вместе с папой и мамой действительно стала вхожа (как пишут в романах) в «высшее общество», у меня было еще и в прошлом году, когда мы ездили на Петергофскую базу. Но

постепенно это чувство притупилось, и я просто радовалась каждый раз поездке, где можно так хорошо отдохнуть. А теперь, когда все еще шикарнее, а люди, приезжающие туда (и мы тоже), обслуживаются горничными, официантами, банщицами, — все это действительно похоже на «барскую жизнь». Отповедь Кости испортила мне настроение, и я пыталась как-то по-глупому оправдаться, мол, «ну а я-то в чем виновата…». Костя оборвал меня, резко повернулся и ушел.

А в это воскресенье я снова ездила с родителями в Детское и невольно замечала и то, как подобострастно здоровается с «гостями» мойщица ванной, и как многие за ужином были навеселе (подавали и вино), и какой у папы непривычно извиняющийся тон, когда он говорит со своим начальником отдела, и как мама стесняется своего платья… И было мне тоскливо и стыдно. В следующий раз под предлогом подготовки к контрольной в Детское не поеду.

28 ноября 1940 г.

В газетах:

Призыв в ремесленные училища закончен (в РУ за 15 дней призвано 601378 человек).

В числе этих призванных несколько десятков старшеклассников из нашей школы. Из нашего класса ушло шестеро. Вроде все правильно, нужно пополнять ряды рабочих, но почему-то грустно. Между прочим и Костя чуть не попал в училище, да мать уговорила отца дать закончить Косте школу, а тогда уж пойдет работать, так как институт теперь платный, и на это их зарплаты не хватит. (С Костей мы уже помирились — он мне позвонил и сказал, что пришел к выводу, что я, пожалуй, не виновата, так как дети за родителей не отвечают. Но он будет меня перевоспитывать. На том и порешили).

Ходила с Адкой на концерт в Филармонию. В программе были: 6-я симфония и 1-й концерт Бетховена. Впечатление какого-то ошеломления, так это прекрасно. Публика в Филармонии какая-то особенная: скромно одеты, сдержанны, многие знакомы друг с другом. Но зато как слушают музыку! Будто забывают все вокруг. Очень интересно было наблюдать за лицами, но скоро я сама целиком окунулась в музыку и тоже забыла обо всем. Молодец Ада — у нее абонемент, и она регулярно посещает эти концерты. Знания музыки пригодятся ей на кино-режиссерском факультете, куда она твердо решила идти. И не только решила, но и готовится. А я — и не решила ничего, и не готовлюсь. А учусь даже хуже, чем в прошлый год… Что-то уж очень мне

хочется плюнуть на все, Бросить школу и начать работать… Но где? И что я умею? Если б приобрести специальность какую-нибудь, лишь бы побыстрее. Главное, чтоб стать самостоятельной и чтоб папа не мог больше попрекать, что я еще «и копейки не заработала», а теперь, когда за учебный год на меня потратят сразу 400 рублей, и совсем тошно…

У меня все ухудшаются отношения с папой. Недавно у нас был скандал, и он теперь со мной не разговаривает. И оттого в доме гнетущая атмосфера и хочется уйти куда глаза глядят. А все из-за того, что он решил еженедельно контролировать меня, но когда увидел в дневнике две тройки — раскричался. Я огрызнулась, сказала, что это текущие отметки и к концу четверти, «можешь быть спокоен», исправлю. Вот эти слова его особенно рассердили, и он начал кричать, что я «на вечеринки и на Эрмитаж нахожу время, а на уроки — нет». Ну, «вечеринки» — это на счет того, что мы с Костей теперь ходим по субботам в Дом пионеров на танцевальные вечера старшеклассников и поэтому (и не только поэтому) я перестала ездить с родителями в Детское село на базу отдыха. Один раз они уехали туда без меня, но зато к нам приехала бабушка из Лигова, с ночевкой (явно по их просьбе). И это очень меня оскорбило — будто я нуждаюсь в «охране», Костя ко мне и так никогда не приходит. Да и домой я возвращаюсь всегда не позднее одиннадцати. Так пришла и на этот раз и подчеркнула бабушке, что, мол, тревоги о моей нравственности напрасны. Ну, тут бабушка выдала мне несколько «житейских истин» (услышала бы мама, возмутилась бы — бабушка все называет своими словами); я молча забаррикадировалась своей ширмой и легла спать, а бабушка еще долго ворчала на счет «современной молодежи». Когда вернулись родители, бабушка, видно, им во всем отчиталась и отказалась впредь караулить меня. А на следующее воскресенье получилось так, что уже папа по какой-то причине не мог ехать в Детское, а мне надо было в Эрмитаж (мы проводили зачетные экскурсии со школьниками). Папа тут сразу ко мне прицепился: «За уроки еще не садилась, а уже из дому! Никуда не пойдешь!». Я сказала, что вечером сделаю. Он: «Нет, сначала уроки, а потом всякие твои Эрмитажи!». Ну, и дошло до того, что он схватил мое пальто с вешалки, а я хлопнула дверью и ушла раздетой. День, как на зло, был дождливый и ветреный, пришлось зайти к Люське в нашем подъезде и одолжить у нее куртку. Но я была довольна, что настояла на своем. А когда вернулась, дома гробовая тишина, у мамы заплаканы глаза (ее жалко), папа уткнулся в газеты и даже за обедом не отрывался от них. Я в такой же тишине уселась за уроки, сделала их «на отлично», положила тетради перед ним и,

буркнув: «Я иду к Галке, вернусь в 10», — ушла.

5 декабря 1940 г.

День Сталинской конституции. Все газеты только об этом. Между прочим, вчера у меня были неприятности в связи с этой датой. Готовя стенгазету, я переписывала чертежным шрифтом передовицу, художественно оформлял газету Шурик Королев — получилось красиво. Прежде чем вывесить ее, понесли для проверки парторгу Вере Николаевне. Она прочитала и вернула, чтобы переписала все, да еще выругала меня. Оказалось, что имя Сталина нельзя переносить со строки на строку (разбивать на слоги) и, кроме того, нельзя писать сокращенно «тов.», а надо полностью — «товарищ И.В. Сталин». Так до ночи и просидела над переписыванием.

Вера Николаевна сказала, что «давно надо было об этом знать», а я, действительно, только теперь обратила внимание на то, что его имя печатают в газетах всегда крупно, жирным шрифтом, а если в списке, то не по алфавиту, а сначала его, а потом всех остальных. (Впрочем, членов Политбюро тоже печатают не по алфавиту, а в каком-то особом порядке, и папа замечает всегда, если одни фамилии начали печатать ближе к началу, а другие — дальше. Говорит, что это «неспроста»). Впервые задумалась я и о том, что на сегодняшнем торжественном собрании избирали не только обычный президиум, в который входят директор школы, учителя, комсорг и парторг, но и Почетный президиум — Политбюро ВКП(б) во главе с генсекретарем товарищем И.В. Сталиным. Так бывает и на всех праздничных вечерах — ноябрьских, первомайских. И всегда после объявления Почетного президиума все встают и долго аплодируют, пока не кончит аплодировать директор школы или представитель Райкома. И ведь то же самое в эти дни происходит на всех собраниях, во всех городах, на всех заводах и колхозах всей страны! И так из года в год… Так принято. А зачем?

Или вот еще, что смущает меня: почему И.В. не возражает, когда видит, как его портреты, скульптуры размещают везде, где только можно, вплоть до маленьких магазинчиков (такой портрет, украшенный кумачовыми бантами и бумажными цветами, выставлен сегодня даже в окне нашей керосиновой лавочки).

А на барельефах, на монетах, где четыре профиля классиков марксизма, он тоже на первом месте… Мне кажется, что Ленин не согласился бы на подобное. Вспомнила сейчас — у мамы в библиотеке время от времени по распоряжению Глав. ЛИТО (не знаю как это учреждение расшифровывается) проводится

проверка книжного фонда и изымается по спискам ряд книг, иногда несколько десятков названий. И так по всем библиотекам. Эти книги мешками отвозят в Коллектор. Все это делается вечерами, и мама тогда задерживается допоздна. Однажды мама сказала, чтоб я пришла после закрытия библиотеки помочь ей, где она с помощницей должна была по акту оформить много книг. Хотя эта работа секретная, но мама решила, что раз я комсомолка, то мне можно. И вот меня удивило, что среди многих книг незнакомых мне авторов, подлежащих списанию, была названа и книжечка писателя-антифашиста Леона Фейхтвангера, которая недавно была у нас дома — «Москва. 1937 год». Там он очень хорошо пишет о нашей стране и обо всем, что видел во время поездки по Союзу. За что же списывают эту книгу? Мама сказала, что она тоже удивилась сначала, но потом решила, что видимо из-за того, что в одном месте писатель говорит о скульптурах вождей, которые почему-то в нашей стране ставят в большом количестве и не всегда уместно. Так он видел бюст Сталина при входе на выставку картин Левитана в Русском музее, и ему непонятно, почему бы там не поставить портрет художника. (А ведь мы с мамой тоже были на этой выставке, и этот бюст мраморный я помню, и то, что он тогда нас ничуть не удивил — тоже помню). Тогда в библиотеке меня больше всего поразил не тот факт, по какой причине списывают те или иные книги, а просто само уничтожение книг, когда их привозят в Коллектор и принимают по списку, после этого сами библиотекари должны рвать эти книги (в присутствии комиссии), паковать в мешки (чтоб ни один листок не пропал), опечатывать и сносить в подвал, где мешки эти сжигают в кочегарке… Только после этого будет подписан акт сдачи. А если библиотекарь какую-нибудь книгу не сдаст, или нечаянно пропустит, то его уволят, а может быть, и еще хуже будет. Все это я выспросила у мамы, когда шли поздно вечером после работы в библиотеке. На все мои возмущения и недоумения мама сказала — так надо. И взяла с меня слово, что я никогда никому не буду говорить об этом. Я обещала. И никому не говорила, понимая, что могу подвести маму. А вот теперь вдруг все вспомнила и записала… Наверно, лучше бы вырвать эту страничку, но я лучше теперь буду и эту тетрадь хранить в своем тайничке (удивительно удобный получился — легко в него и положить, и достать). Но каким все же грузом лежит на душе сознание того, что надо что-то скрывать, прятать в тайник…

12 декабря 1940 г.
В газетах:
Депутаты Советского народа.

Великий вклад в марксистскую теорию (о выступлении тов. Сталина о государстве).
Наступление англичан в Ливии.
Итальянское отступление в Албании.
Десять лет Академии им. Сталина.
Револьвер Чапаева.

Сегодня идти с политинформацией к моим работницам, и что-то никаких мыслей у меня по поводу того, что в газетах: у англичан «наступление», у итальянцев «отступление», а что им нужно в Ливии и Албании, и кто прав, а кто виноват — ничего не знаю.

Хорошо, что хоть вопросы теперь не задают, молча все выслушивают, благодарят и расходятся. А если что читаю им дополнительно, то готовы часами слушать, хотя у всех дети, семьи. Говорят, что с Нового года десятиклассников освободят от всех общественных нагрузок, чтоб готовились к гос. экзаменам. Это, конечно, правильно, но расставаться с моей группой даже жалко — привыкла к ним.

26 декабря 1940 г.
В газетах:
Неуклонно осуществлять Указ от 26 июня.
Об ошибках при рекомендации комсомольцев в партию.
На англо-германском фронте.

В газетах снова об Указе от 26 июня, насчет закрепления всех на своих рабочих местах, и о том, что за опоздание на 5 минут — под суд. И многих осудили. Об этом шепчутся в очередях, рассказывают соседи на кухне… Но и говорить об этом как-то боятся. Я заметила, если двое говорят о чем-то государственном и подходит кто третий, то замолкают или переводят разговор на другое. Только Галкин отец, как выпьет, так говорит обо всем и ругается, а мать плачет и уговаривает его замолчать: «Погубишь ты нас, погубишь…». А он начинает тогда кричать: «Да что я, даже дома не имею права высказаться?!» — и мы с Галкой тогда скорее одеваемся и уходим. Я сначала думала, что Галка с матерью просто стесняются передо мной за отца, а теперь поняла, что даже боятся… То, что мой папа партийный работник и в Смольном работает, как-то и меня делает для них (по их мнению) чужой и опасной, и теперь я стараюсь реже бывать у них. Между прочим, я от отца Галки впервые узнала, что в колхозах давно уже все закреплены и не имеют права никуда уезжать без согласия председателя («А председатель — черта с два отпустит», — сказал

Иван Трофимыч и выругался). А если самовольно уедешь из деревни, то и не пропишут нигде, и на работу не возьмут, так как у них, оказывается, даже паспортов нет. (А как же Маяковский писал: «Я достаю из широких штанин…»? Но ведь крестьян больше, чем рабочих, а паспорта, значит, только у меньшинства?..). Так многие колхозники всю жизнь и сидят в своей деревне и даже в городе ни разу не были. Ну, старики, может, и привыкли, а молодые как же? Некоторых, правда, в ВУЗы направляют. Ну, а если нет среднего образования?..

Не знаю, почему-то очень затронул меня этот июньский Указ. Ведь мне тоже через полгода, может быть, работать придется, если в ВУЗ не поступлю. И так мне мечталось поездить, страну посмотреть. Я так и думала, что непременно поеду куда-нибудь — я ведь ни в Москве, ни в каком другом городе еще не была. И так бы хорошо, если в одном месте поработать, потом переехать, куда хочется, — и в другом месте начать работать. А получается, что никуда ехать нельзя, только разве если в отпуск? И всю жизнь жить на одном месте, на одной работе сидеть? А если работа не понравится?.. Ох, напрасно я, пожалуй, привыкла читать газеты — мысли теперь в голову лезут такие, о каких я раньше и не задумывалась. Вон Костя газет не читает и кроме как о своей новой модели мотороллера ни о чем не волнуется.

Дома у меня сравнительно тихо, так как я исправила почти все тройки к концу четверти и никаких «нарушений» не допускаю. Но отношения натянутые, папа со мной ни о чем не разговаривает, и, когда мама выходит из комнаты, всегда наступает гнетущая тишина. Я все же, видимо, после каникул брошу школу и перейду учиться в техникум — любой, лишь бы дали место в общежитии. Костя одобряет такой план: чем скорее я приобрету специальность, тем скорее стану независимой от родителей. В каникулы начну поиски места, куда мне податься.

Зима-весна 1941-го

2 января 1941 г.

Вот и Новый, 1941 год наступил! Что-то принесет он мне? Факт тот, что он во всем будет действительно Новый — ведь и со школой я в этом году распрощаюсь (и если мои планы осуществятся, то это может произойти совсем скоро!). И совершеннолетие наступает в этом году, со всеми вытекающими последствиями… И вообще новый кусок жизни начнется, потом ведь всегда придется говорить: «Это было еще когда я училась в школе, до 1941 года». (Как мама и папа говорят «Это было уже после революции», или «А вот помнишь, еще до революции, до 17-го года…»).

Встречали мы Новый год с Костей. В Доме пионеров был костюмированный бал для старшеклассников. И у нас с ним были настоящие костюмы — соседка Луиза Ивановна достала в театре. Костя сначала, как увидел свой костюм, так наотрез отказался надевать! А это действительно даже смешно, что когда-то мужчины носили такое: голубой бархатный камзол с серебряной отделкой, голубые атласные штаны до колен, туфли с пряжками, белые чулки и пудреный парик с «хвостиком», перевязанным черной ленточкой.

Но когда я облачилась в свое платье — тоже голубое, атласное, с отделкой из белых кружев, — то он понял, что рядом со мною, в своей куртке на молниях, будет выглядеть «странно». А о том, чтобы лишить меня возможности покрасоваться в таком одеянии, он и не заикался, понял, что это выше моих сил. И хотя он ругался и каждую деталь туалета долго осваивал (особенно его раздражали каблуки башмаков), но все же научился носить этот костюм. Рассказывал, когда репетировал дома перед зеркалом реверансы и поклоны (я его научила), так его родители ухохотались, глядя на него. Но когда мы пришли в Дом пионеров, разошлись по «костюмерным», где была суматоха переодеваний, где нам всем вручили черные полумаски, а потом, под музыку, выходили в зал уже преображенные и находили свои пары, тут сразу исчезла вся стеснительность и нас с Костей даже сфотографировали, и мы с ним в полонезе шли первыми. Танцевать в таких костюмах было приятно, и я действительно чувствовала себя «дамой». Костя тоже вошел в свою роль и даже догадался мне стул подать в перерыве и принес стакан газировки из буфета. Было очень весело, натанцевалась я «до упаду» и еле-еле добралась до дому к часу ночи (так мне разрешили). Судя по тому, как мы встречали Новый год, он и весь будет радостный,

необыкновенный, и вместе я буду не со школьными ребятами, а с Костей…

Да, чуть не забыла, Костя подарил мне открыточку, на которой изображен мотоциклист (белокурый, похожий немножко на Костю), а в коляске сидит женщина с развевающимися волосами и держит на руках мальчонку. Все они смеются и видно, что мотоцикл несется на большой скорости. Костя многозначительно сказал, что эта картинка символичная, что это наше с ним будущее… Я еще никогда не заглядывала так далеко вперед, но смотреть на эту открытку приятно. Кто знает, может, действительно Костя — «моя судьба»? Только меня смущает то, что он больше ко мне привязан, чем я к нему…

10 января 1941 г.

Каникулы прошли бездарно — умудрилась подцепить ангину и почти неделю просидела дома. Так и пропало время, намеченное для поисков работы или учебы. Мысли эти я не оставила, но совмещать это со школой и уроками будет трудно. Из-за болезни не попала я и на «Баядеру», билеты на которую купили для всего нашего класса еще до Нового года. Я так огорчилась, что мама взялась обменять мне билет на другой день, когда снова пойдет этот спектакль. (Хотя я еще ни разу не была в Музкомедии, но хотела посмотреть именно «Баядеру». Галка видела ее раньше с Донькой и говорила, что спектакль потрясающий.)

И вот вчера я была в театре. Одна, потому что Адка не хотела идти, а Костя уехал на все каникулы к родственникам в Новгород. И до сих пор не могу придти в себя от возмущения и даже, вроде, от обиды, ну как если бы меня обманули в чем. По радио я слушала сценки и арии из разных оперетт, и музыка мне нравится. Правда, я не понимаю, почему в этих спектаклях актеры говорят какими-то неестественными противными голосами. Но то, что я увидела, показалось мне до того глупым, что было просто удивительно, как это публике нравится — смеются, аплодируют, вызывают на «бис»… На сцене бегают, пищат какие-то дамы-кривляки, дурацкие «кавалеры» в цилиндрах и «принц» в чалме, дергаются как марионетки, ногами дрыгают, изображают «любовь» — смотреть противно. Я сначала пыталась пристыдить себя — мол, несовременная, наверно, я, если все в восторге, а до меня не доходит это искусство… Но когда на сцене появились девицы в прозрачных шальварах[14], с голыми животами и грудями, чуть прикрытыми серебряными тарелочками на шнурах, мне стало так тошно, что я встала и пошла через весь зал по центральному проходу, откровенно топая каблуками. На меня

оглядывались и шикали, а я даже усмехалась: «Вам это нравится? Ну и на здоровье! А меня — увольте!». Правда, в дверях билетерша меня чуть не тычками в спину выпроводила, ну да наплевать, хорошо хоть, что я одна была. Жаль только, что билет дорогой. И что там Галке могло нравиться? И как ей было не стыдно перед Донькой за этих девиц?

Из существенного, происшедшего за каникулы, пожалуй, стоит еще записать и еще одно мое недоумение, хотя это, как говорится, совсем «из другой оперы». На днях я, от нечего делать, взялась наводить порядок в книгах. Сначала среди своих учебников (они все умещаются в ночном столике возле кровати) отобрала те, которые могут еще пригодиться, а которые сдать в школьную библиотеку. А потом решила перебрать и все те книги, которые в тумбочке под аквариумом. В основном там папины книги, но есть кое-что и из беллетристики. И вот обтирая пыль с синих томиков Ленина, я перелистала некоторые из них, и оказалось, что там есть интересные письма, споры Ленина по разным вопросам. Здорово метко он иногда высмеивает своих противников. (По обществоведению нам задавали конспектировать некоторые статьи Ленина, но пользовалась тогда брошюрками, а Собрание сочинений в руки не брала). Потом взяла один из толстенных томов стенограмм партсъездов ВКП(б) — попался за 1925 год, XIV съезд, первый после смерти Ленина, — и начала перелистывать его с конца. Там напечатаны приветствия делегаций съезду от всяких заводов и фабрик. Речь у них часто совсем простая, даже малограмотная иногда, но говорят искренне, от души. И многие подарки съезду привезли. Одна делегация подарила макет мавзолея Ленина, другая — отремонтированный паровоз! (и куда только его поставили?), а от одной фабрики — расчески для волос! («Пусть этими расческами чешут того, кто пойдет вразрез с коммунистической партией!»). А одна ткацкая фабрика преподнесла портрет Сталина из лоскутков материи, которую делают на этой фабрике. Рабочие какого-то сахарного заводика на Украине привезли даже монумент вождя — И.В. Сталина, высеченный из глыбы сахара в 11 пудов весом. И так как в двери он не прошел, то его в фойе оставили и пригласили всех делегатов съезда во время антракта его посмотреть, и все аплодировали и смеялись (и Сталин тоже смеялся?). Потом я стала немного и в текст вчитываться, не все подряд, а то, что в глаза бросается. И вот удивило меня, как резко обрывали выступающих, какие выкрики с мест были грубые, и вообще шумно, видать, было в зале. И почему-то чаще всего ленинградских выступающих ругали, и мне даже обидно за них

стало. (Сейчас возьму этот том и кое-что, что попадется, выпишу для примера).

Вот Виноградова говорит: «Я красноречиво говорить не умею, выражаюсь как могу, по-рабочему, я 37 лет работаю и учил меня станок… Здесь обвиняют нашу ленинградскую делегацию, ее руководителей, это членов партии нашей ленинградской организации очень обижает. Кто может поверить тому, что вдруг т.т. Крупская, Зиновьев, Каменев — меньшевики? Мы знали и всегда будем держаться той мысли, что они являются первыми учениками и выполнителями ленинского учения». (Значит, даже Крупскую обзывали!)

А вот рабочий Путиловского завода говорит, что на съезде «рабочим замазывают рот», что резолюцию парторганизации их завода не поместили в газете и на съезде не хотят слушать. А ему в ответ с мест крики: «Бросьте здесь демагогию разводить! Кончай пожалуйста!». Он: «Тут товарищи говорят: демагогия. Никакой демагогии нет». Голоса: «Довольно, слезай, хватит болтать. Долой!» (Шум, звонок председателя). Он: «Хорошо, товарищи, я приеду на завод, а когда меня спросят: “Ну, как отнесся съезд?” — я скажу: не давали ничего говорить против съезда и все».

Моисеенко: «Ничего, пошлем своих докладчиков, они расскажут» (Шум). Он: «Нехорошо это, товарищи. Если вы тут говорите о внутрипартийной демократии, а сами в то же время выступающего от станка рабочего прерываете, не даете говорить»… В общем, так и прервали его, не дали выступать.

И еще один рабочий с фабрики Халтурина пытался выступить, и тоже его прерывали: «Вас послали приветствовать, а вы что?!». Он даже сказал: «Меня не испугаешь. Я скажу то, что хотел сказать!», но его тоже оборвали, высмеяли, и он закончил, как и предыдущий рабочий: «Рабочие сказали мне: ты, тов. Горелов, привези нам, как съезд отнесся к твоим словам. А я, товарищи, заявляю, что на съезде мне не давали говорить»…

Да что же это получается?! Ведь партия рабочих и крестьян. Даже если эти выступающие чего-то не понимали, неправильно говорили, то разве можно было с ними так?! Да и не только с ними. Даже Надежду Константиновну Крупскую обрывали грубо и одергивали, когда она в защиту ленинградцев выступала. Не буду уж цитаты приводить — мне прямо не остановиться, готова чуть ли не целые выступления из этого тома переписывать, так они меня разволновали почему-то. Конечно, я не могу вникнуть в суть этих споров, но вот сама обстановка, крики, прерывание выступающих, грубость — все это меня очень поразило. Не ожидала я, что на таких высоких собраниях может такое быть.

Уберу этот том стенограмм XIV съезда на место, а там еще и

XV-й, и XVI-й и XVII-й стоят. Когда-нибудь соберусь с духом, полистаю и следующие — может, там стали по-другому государственные дела обсуждать.

Интересно, как папа относится к этим материалам съезда? Ведь он сам был участником ленинградских конференций, где выбирали делегатов на съезд, и там наверняка тоже спорили, какие-то резолюции готовили. У него есть групповая фотография, где он среди участников такой конференции. Он член ВКП(б) с 1919 года и, наверное, мог бы разъяснить все непонятное. Но сейчас у меня с ним такие отношения, что лучше ни о чем его не спрашивать. Да и видно, что у него самого какие-то неприятности — домой приходит поздно, усталый и сердитый. И почти ни о чем не разговаривает ни со мной, ни с мамой.

12 января 1941 г.

Снова школа. Снова разговоры о госэкзаменах да о повторении материала, да о том, что можно пересдать некоторые чертежи, зачеты и прочие «хвосты». Мне тоже предстоит всем этим заняться. И надо немедленно решить: или я ухожу из школы в техникум, или доучиваюсь и иду в ВУЗ. Но в какой? Наши ребята уже почти все выбрали институты, куда пойдут, и уже начали почитывать литературу «по специальности». А уж за оценками гоняются — даже противно. Я никаких рекордов побивать не собираюсь и даже успела схватить троечку по немецкому. Но все же решить вопрос о том, куда мне пойти учиться дальше, надо. Даже папа вдруг спросил о том, «какие у меня намерения» после школы. Меня насмешило старомодное слово «намерения», и я сказала, что «мои намерения, кажется, склоняются в пользу театрального института». Так он прямо взвился и сразу на маму: «Это еще что за новости?!» И мама еле убедила его в том, что я просто «дурю», и что водила к себе в библиотеку только для того, чтобы я помогала в расстановке книг, а не для того, чтобы завлечь актерской профессией. Ну, и тут же разговор переключился с меня на то, зачем мама согласилась работать в таком несерьезном институте. Папа давно ее за это ругает. А я тогда благополучно улизнула под шумок на субботние «танцульки» с Костей. А театральный институт мне действительно понравился, конечно, я и не думаю туда поступать — сказала только для того, чтобы позлить папу. Но сам по себе театральный институт очень симпатичный. Это старый особнячок на тихой Моховой улице, с беломраморной лестницей на два пролета, огромной зеркальной стеной справа, у входа (я в это зеркало чуть не влетела, когда пришла первый раз). А на втором этаже — белый танцевальный зал с широченными окнами. Там

часто звучат аккорды шопеновского «Полонеза», и студенты актерского факультета парами входят в распахнутые двери на очередные занятия ритмикой и танцем. Тут же — маленький театральный зал и сцена, где целыми днями репетируют что-то. А возле дверей толпятся и те, кто в гриме, в костюмах разных времен, и те, кто пытается проникнуть в зал в качестве зрителей.

Я однажды попала на последний акт дипломного спектакля, простояла до конца, зажатая между студентами возле самых кулис. И хотя все актеры были совсем рядом и было видно, как они волнуются, но понравилось мне очень, больше, чем в настоящем театре. А что они играли, я даже и не знаю, что-то из Шиллера, кажется, со шпагами, — спрашивать было неудобно.

А библиотека мамина рядом с этим залом, в двух комнатах сумрачных и торжественных, будто католический собор: стены обшиты деревянными панелями с резьбой, шкафы с книгами тоже старинные, книги, альбомы по искусству — очень интересные, и многие еще дореволюционных изданий. Я рада, что могу иногда, «как своя», бывать в институте, и меня уже там некоторые знают как «дочку зав. библиотекой».

Вот, отвлеклась, и забыла, что завтра у меня политинформация, а я уже не помню, когда в руках газету держала, надо будет мне снова регулярно записывать главное.

Просмотрю вчерашнюю «Правду». Ого! Оказывается, мы заключили еще один договор с Германией: «О Советско-Германской границе от реки Игарки до Балтийского моря» (что-то я не понимаю насчет этой границы). И еще: «Коммюнике о советско-германском соглашении об урегулировании взаимных имущественных претензий по Литве, Латвии, Эстонии» («Имущественных»? «Взаимных»? — тоже не понимаю). И о переселении их населения. (А зачем переселять-то?).

И еще в газете: «Хозяйственное соглашение между СССР и Германией до 1-го августа 1942 года», где сказано, что «сумма предусмотренных взаимных поставок весьма значительно превышает рамки первого договорного года». Вот это понятно: взаимно торговать будем, а чем больше друзей, тем лучше. Да, вспомнила — во время каникул в «Правде» вдруг напечатали очень веселую комедию Корнейчука «В степях Украины». Я даже отдельные сценки из нее маме вслух читала — она же теперь в театральном мире и ей надо знать молодых драматургов, да еще таких, чьи пьесы даже в «Правде» печатают.

20 января 1941 г.

Прошла всего одна неделя, как я ничего не записывала, а произошло столько, что не знаю с чего и начать. Мы снова

поссорились с папой. Он прицепился к какой-то мелочи, я огрызнулась, а кончилось тем, что он кричал и обвинял маму в моем плохом воспитании. Я ревела и кричала в ответ, а мама металась между нами. Но зато я впервые высказала все: и о том, что за десять лет он ни разу не был в школе и не знает ни моих учителей, ни друзей; и что не я сама его интересую, а только мои отметки; и о том, что из-за него школьные ребята у нас дома бывать не любят; и про дачи и праздничные пайки из распределителя; и про то, что попрекает меня тем, что ни копейки не заработала; и про унизительный контроль за каждым моим шагом, будто я дрянь какая… Сказала, что я уже не девчонка и сама буду решать, как мне жить дальше.

Он хлопнул дверью и ушел, вернулся поздно ночью. Мама просила меня одуматься и извиниться перед папой, а я укрылась с головой одеялом и сделала вид, что сплю, а сама всю ночь думала о том, как мне быть дальше. Теперь изменилось все, и я больше не могу оставаться на иждивении родителей. Изменилось за последнее время и мое отношение к школе. Вовсе не обязательно кончать ее ради аттестата и ради неизвестно какого, но непременно «наивысшего» образования. Меня сейчас примут на второй курс любого техникума или училища, и через два года я уже буду иметь специальность и полную самостоятельность. В техникуме бывает производственная практика и там немного платят. И вечерами еще можно подрабатывать, хотя бы уборщицей.

Изменилось и мое отношение к себе. Хватит мне быть в роли маленькой девочки, которой диктуют с кем дружить, в какое время являться домой, какие книги читать, и даже о чем можно думать, а о чем нельзя, так как еще «не доросла», и «главное мое дело — учить уроки и тройки не получать».

И вот уже два дня, как я утром ухожу вроде в школу, а сама иду по адресам всяких техникумов и училищ (из телефонной книги выписала), чтоб найти, где примут меня сейчас, в середине года, и где есть общежитие. А профессия — безразлично какая, любому делу можно научиться и хорошо работать. Пока еще ничего подходящего не нашла, но вроде в строительном обещали место в общежитии, но только в июне, после того, как разъедутся на практику. Я еще и треть адресов не объездила и надеюсь, что в конце-концов найду себе и место, где можно учиться, и угол, где можно жить.

Костя все эти мои планы очень одобряет и даже сказал, что если у меня с общежитием не получится, то он поговорит с родителями, чтобы временно жить у них на кухне. Но мне как-то не хочется у них, даже временно: получится, что я действительно

Костина «невеста» (его мама шутя меня так назвала однажды, и я теперь избегаю заходить к ним домой).

Вот такие у меня дела… Понимаю, что в школе тоже предстоит скандал, когда выяснится, что я не только не болею, но и прогуливаю и вообще ухожу из школы. Ну да наплевать — все равно после того, как определюсь, придется идти за документами и объясняться. А если начнут прорабатывать, то напомню, что уже паспорт имею, а через два месяца и совершеннолетней стану и, значит, по Конституции, имею полное право распоряжаться собой. Только вот худо будет, если по комсомольской линии возьмутся… Как бы выговор не схлопотать. Ну, а если я хочу пополнить ряды рабочего класса — разве это государству во вред, разве противоречит задачам комсомола?

5 февраля 1941 г.

Вот сколько времени прошло после последней записи. Перечитала январскую страницу и все так вспомнилось… Ведь я тогда действительно чуть не бросила школу. Но, как ни странно, за эти две недели все более или менее утряслось, и я дома, продолжаю учиться и даже имею некоторые успехи. Во всяком случае, троек у меня пока больше нет, и надеюсь так держаться до конца учебного года. Не знаю, может, это малодушие — принять решение, а потом отступиться от него. Но мне кажется, что именно пересмотр своего решения потребовал большего усилия воли, чем принятое решение бросить школу. А было так: я уже совсем было договорилась о переходе на 2-й курс строительного техникума (на ул. Марата), как вдруг выяснилось, что мне надо заплатить 30 рублей за учебу. Я совсем забыла, что обучение в техникумах платное. Я думала, что они приравнены к ремесленным училищам. А оказывается, платить надо, да еще все тридцать рублей, а не половину, так как им безразлично, с начала года я подключилась ко второму курсу или в середине. Эта финансовая проблема сразу вышибла меня из равновесия. Я уже начала думать о том, нельзя ли где занять, а потом найти вечернюю работу и постепенно расплатиться. Но ведь заработаю гроши, а ведь и жить на что-то надо.

И тут встретились мы в Эрмитаже с Адкой, и по дороге домой рассказала я ей о всех моих делах, предполагая, что в принципе она поддержит меня и, может быть, даже посоветует, где достать деньги. И она действительно подсказала мне, где можно немного подработать — репетиторством! А я об этом как-то совсем не подумала. Дело в том, что сама она уже с осени занимается русским языком с какими-то латышами (взрослыми!), и эти деньги откладывает на будущее, когда поступит на режиссерское

отделение ВГИКа и будет жить в общежитии, вдали от мамы. Это мама ее нашла такую работу. Но ведь и я могу заниматься подобным образом, но, конечно, не со взрослыми, а с младшеклассниками. У завуча всегда есть список тех учеников, чьи родители ищут репетитора из числа старшеклассников. Я так обрадовалась этой идее, что на другой же день побежала к завучу (у нас очень хороший старичок) и он, на мое счастье, имел одно такое место, хотя в основном все распределялись еще осенью. И с легкой руки Адки я уже дважды занималась с четырехклассницей Любочкой, которая так стесняется меня, что говорит шепотом. Но зато и слушается беспрекословно. Ее мама малограмотная и хочет, чтобы я через день делала с ее дочкой все уроки. Получаю за каждое занятие по 3 рубля. Конечно, сумма не «ах», но на первую «зарплату» я все же позволила себе «разгуляться»: купила одно пирожное, и еще осталось на две тетрадки и два перышка «Рондо». Зато плата за следующий урок убрана в металлическую коробочку из-под чая: это начало моего «фонда освобождения от материального ига родителей». Правда, долго же мне придется копить этот «фонд», но все же от сознания того, что за каких-то 3–4 недели я могла бы обеспечить себе плату за техникум, я проникаюсь уважением к самой себе. И что бы мне об этом раньше позаботиться!

Итак, с финансами решено. Но вот что касается перехода в техникум, Адка против этого плана решительно возразила. И без эмоций, спокойно и убедительно доказала, что это было бы ошибочным шагом. Учиться осталось каких-то четыре месяца, и поэтому разумнее поднатужиться, закончить школу (но непременно без троек), получить аттестат и идти тогда в любой ВУЗ или работать — как захочу. Но выбор возможностей будет тогда гораздо шире. Параллельно учебе зарабатывать хоть немного и откладывать на будущее. Эта сумма всегда пригодится, раз я решила в любом случае уйти потом из дома в общежитие. Оставшиеся месяцы потратить на то, чтобы выработать в себе предельную работоспособность, иначе и в ВУЗ не попасть, и учиться там так, чтобы получать стипендию, не удастся. Все это я и сама понимала, но особенно Адка поддела меня тем, что я уходом в техникум по существу ищу лазейку для ухода от трудностей, так как сделать сейчас рывок и вытянуть себя с привычного уровня «троечницы» труднее, чем появиться в техникуме в качестве «без пяти минут окончившей школу, но покинувшей ее по таинственным обстоятельствам» (Адка очень смешно изображает меня), где, как известно, на общеобразовательные предметы смотрят сквозь пальцы. Ведь то, что в школе засчитывается на троечку, там может быть принято и

как 4 и 5. Я и сердилась на Адку, и смеялась, но понимала, что во многом она права. В общем, стиснула я зубы, выслушала все выволочки по поводу прогулов, засучила рукава и засела за подгон материала по всем предметам. Пришлось оставить Эрмитаж, хотя и очень жалко. С Костей встречаемся только по воскресеньям, после того, как закончены домашние уроки. Помимо «хвостов» и текущих заданий, готовлюсь и по экзаменационным билетам. И, как ни странно, мне вдруг понравилось так напряженно заниматься! Понравилось получать первые твердые четверки. И уроки с белобрысенькой очкастой Любочкой нравятся.

В общем, наступило у меня какое-то активное и напряженное время, заполненное с утра до вечера делами, и жить мне стало интереснее. Даже мелькает в голове: и кто мне мешал с самого начала года включиться в такой ритм?

Да, а с моей группой на фабрике решено заниматься до мая (меня спросили: «Не помешает учебе?». Я сказала: «Не помешает»). Поэтому продолжаю бывать с политинформациями у них. И на все времени хватает, даже сама удивляюсь.

Запишу хоть в конце из вчерашней газеты:

Большой портрет К.Е. Ворошилова. Приветствия по случаю 60-летия, награждение орденом Ленина.

Присвоение имени тов. К.Е. Ворошилова Академии Генерального штаба Красной Армии.

Указ о разделении Наркомата Внутренних дел СССР на Наркомат Внутренних дел и Комиссариат Гос. Безопасности. Нарком Внутренних дел — Л.П. Берия. Нарком Гос. Безопасности — В.Н. Меркулов.

И еще Указ: тов. Берия назначен зам. председателя Совета Народных Комиссаров СССР.

17 февраля 1941 г.

Активная жизнь продолжается. Есть уже явные успехи, и меня хвалят. Мой «фонд» понемножку растет, я сказала маме, что зарабатываю, и предложила накопленную сумму ей на хозяйство, но она отказалась и сказала, чтобы я тратила их по своему усмотрению, а для нее уже и в том облегчение, что не надо выкраивать мне на тетради, кино и прочие мелочи. Видимо, папа уже знает об этом, да и мой дневник теперь подписывается теперь без всяких замечаний, и в доме у нас наступила тишина и замирение.

Газеты привыкла читать даже в те дни, когда у меня нет политинформаций. Непременно просматриваю хотя бы по заголовкам. А уж когда берусь за эту тетрадь, то будто кто

подталкивает меня: не забудь записать, что сегодня главное в газете. Записываю по вчерашней газете:

Доклад тов. Маленкова «О задачах парторганизаций в области промышленности и транспорта».

«Таймс» о возможности германского вторжения в Англию.

Англо-американское сотрудничество (Рузвельт готов передать Англии дополнительное количество эсминцев).

Наш полет в стратосферу (субстратостат с аэронавтами А. Фоминым и Г. Голышевым поднялся на высоту 12138 м. Полет продолжался 2 часа 54 минуты).

4 марта 1941 г.

Происходит что-то сложное в делах международных — не могу разобраться. Под рубрикой «В Наркоминделе» сказано:

Болгарское правительство «дало согласие на ввод германских войск в Болгарию, имея при этом целью сохранение мира на Балканах».

А мы отвечаем, что:

«Советское правительство не может разделить мнения болгарского правительства о правильности последнего в данном случае, т. к. эта позиция, независимо от желания болгарского правительства, ведет не к укреплению мира, а к расширению сферы войны и к втягиванию в нее Болгарии».

Мы обвиняем Болгарию в том, что она вроде «расширяет сферу войны»? Но ведь не она ввела свои войска на территорию другой страны, а Германия. И ведь Болгария «дала согласие» на ввод немецких войск наверное лишь потому, что если б она и не разрешила, то эти войска все равно бы ввели, если Германии это понадобилось. Ведь еще летом, как-то очень быстренько, немцы заняли Чехословакию. А почему мы Германию не обвиняем?

И еще сказано тут же: «Советское правительство, верное своей политике мира, не может ввиду этого оказать какую-либо поддержку болгарскому правительству в проведении его внешней политики».

Снова не понимаю — они просили у нас помощи, а мы говорим, что не можем им помочь потому, что «верны своей политике мира». Это как если на улице грабят прохожего, а мы проходим мимо, так как мы «против драк вообще»?

Неловко признаться, но я теперь отбираю для политинформации те газеты, в которых нет сложных вопросов, а вот такие, как эта, к примеру, откладываю в сторону, и упоминаю об их содержании совсем кратко. Особенно стараюсь не распространяться о делах международных.

В делах личных у меня тоже возникли сложности. Только я похвалилась тем, как удачно у меня получилось с работой, — и не трудно мне трижды в неделю делать уроки с четвероклассницей, и постепенно растет сумма, которой могу распоряжаться по своему усмотрению. Но… вчера Любочкина мама поблагодарила за то, что дочка ее уже получает хорошие отметки, за то, что теперь она самостоятельно, без напоминаний садится за уроки (слушать это мне было приятно), и сказала, что теперь Любочка сможет заниматься без меня. Мне оставалось только сказать, что я тоже очень рада Любочкиным успехам, пригласить ее заходить ко мне, если возникнут трудности, получить последнюю трешку, попрощаться (Любочка даже обняла меня) и уйти. Так закончилась моя трудовая деятельность. Уже заходила к завучу, но новых уроков пока не предвидится. Надо искать что-то другое, но что? Где?

Накопилось у меня за это время 27 рублей. Обнаруживаю у себя проявление некоторого «скупердяйства»: надо бы мне потратить несколько рублей на всякие свои мелочи, да жалко. Даже в кино собралась было на «Богдана Хмельницкого», да потом убедила себя, что фильм, наверное, не очень интересный, да и трешку из коробочки вынимать не хочется. Вот так-то, наверное, и «гибнут люди за металл»!

14 марта 1941 г.

В газетах:

О присуждении Сталинских премий в области науки (Лысенко, Обручеву, Прянишникову, Бурденко, Капице и др.). А в области искусства — Корнейчуку, Шостаковичу, Шолохову, Эйзенштейну, Улановой, Тарасовой, Барсовой, Козловскому, А.Толстому.

Указ об обязательной поставке государству яиц. Установлен план сдачи на каждый квартал (о сдаче поставок по молоку, шерсти, сыру, брынзе были указы раньше).

В школе у меня дела идут нормально. Высвободившееся от уроков с Любочкой время даже пригодилось — начала заниматься с группой наших ребят по билетам к гос. экзаменам. Собираемся на квартире у Женьки Левина (он здорово математику и физику знает), занимаемся по часу, а потом устраиваем перерыв длиной в одну патефонную пластинку и танцуем. Получается очень толково: и не устаем, и весело.

Наш химик Александр Александрович пригласил нас всех в воскресенье на День открытых дверей в Технологический институт. Из нашего класса ходило несколько человек. Я тоже пошла, хотя знала, что в этот институт я поступать не хочу —

химия для меня трудна. Но было очень интересно: огромные аудитории (это ведь еще дореволюционный институт), лаборатории, пропахшие всякими запахами и набитые сложнейшим оборудованием. Перспективы у химии, конечно, большие, но это не для нас — так мы решили с Галкой, когда шли вместе домой. Галка ведь собиралась в физкультурный институт им. Лесгафта, но ее родители категорически против: «Всякие там гимнастики — это баловство, а не профессия», считает ее отец. И поэтому, если уж родители соглашаются на высшее образование для нее, то только при условии «солидного, серьезного» института. Примерно такая же ситуация и у меня. «Женские» профессии врача и педагога мы с Галкой для себя тоже отвергли — медицина меня просто отвращает. Между прочим, звонил Генка Соболев, он уже на втором курсе, и тоже агитировал, чтоб я шла в их медицинский. Но я с ходу отказалась. А он, чудак, стал еще рассказывать о том, какие у него успехи на практических занятиях в анатомичке — так я его даже слушать не могла! На педагогический филфак я бы, пожалуй, пошла, но если бы по окончании преподавать только литературу. Но там ведь большую часть времени отдают русскому языку, а для меня и изучение его, и преподавание одинаково малопривлекательны.

Остается только инженерная профессия. Конечно, никаким «творцом» я в этом деле не стану. Но исполнителем, может быть, буду и не хуже других. Черчение я люблю, к машинам отношусь с большим уважением (правда, я и боюсь одновременно этих самых машин. Ну да постепенно привыкну — вон к Костиному мотороллеру я уже отношусь с симпатией и даже разобралась немного в двигателях внутреннего сгорания). Итак, буду учиться на инженера (как у Маяковского — «Я б в рабочие пошел, пусть меня научат»). Но какого профиля инженер подойдет мне, вернее, я к какому профилю «подойду» — это еще неясно. Мы с Галкой Грачевой решили следить за объявлениями в «Вечерке» о Днях открытых дверей и ходить по институтам, так, смотришь, что-нибудь себе и выберем. И хорошо бы идти в один институт — все легче, когда в незнакомой обстановке не одна.

8 апреля 1941 г.

Вот мне и 18 лет! Совершеннолетие! Что хочу, то и могу делать! Правда, честно говоря, еще совсем не ясно, чего же я хочу, и еще менее понятно то, что же я действительно могу. Но все равно почему-то очень радостно!

Мой день рождения неожиданно прошел даже весело и приятно. Получилось так, что в связи с тем, что в этом году ранняя Пасха, 6-го апреля, мы с мамой поехали в этот день к

бабушке в Лигово (папа уехал в командировку). Хотя бабушка в церковь не ходит, но праздники такие соблюдает и приглашает к себе в гости. Вот мы и решили, что у бабушки заодно отметим и наш с мамой день рождения (мама родилась в марте, но для удобства этот день отмечается вместе, 7-го апреля).

Мы с мамой накануне испекли пирожки, тетя Катя достала творог и сделала настоящую ванильную пасху в деревянной форме, Верушка прибежала на вокзал уже в последнюю минуту, но зато с горшочком цветущих гиацинтов. Как по заказу и день был теплый, солнечный — настоящая весна! — и я смогла обновить свое новое пальто, сшитое из папиного габардинового плаща цвета «беж», с модными деревянными пуговицами (Костиным подарком — сам выточил на токарном станке). Все было в этот день удачно: и на поезд успели, и вагон был полупустой, а как поехали — за окном все от солнца искрится, небо голубое — настоящий праздник!

Пришли к бабушке, а у нее все занавески, все салфетки накрахмалены и подсинены до голубизны, на окнах расцвели герани и фуксии, а на столе — любимая бабушкина роза три бутона раскрыла! А как поставили рядом лиловые гиацинты, да расставили вокруг куличи (бабушкино непревзойденное искусство — высокие, душистые!), да крашеные яички, да пасху, да пироги всякие, да принесли начищенный до золотого сияния фырчащий самовар, так глаз от стола не отвести — так красиво было!

И тут стали меня подарками одаривать (дополнительно к новому пальто и желтому кожаному портфелю с двумя замками — папа мне свой подарил, и очень кстати, так как мой стал совсем неприличным). И получилось, что меня нарядили буквально с головы до ног: тетя Катя связала мне пуховый берет и шарфик салатного цвета (очень подходит к цвету пальто), Верушка подарила маленькую дамскую сумочку (мне давно такую хотелось) и пару фильдекосовых чулок[15] (тоже весьма ценное приобретение). И даже бабушка сделала мне подарок — связанные из тонких белых ниток кружевной воротничок и манжеты. Я их сразу приметала к платью, и мое парадное серое платье стало сразу очень нарядным. Конечно, я тут же и берет с шарфом и новым пальто примерила, и с новой сумочкой в руках побежала в переднюю и повертелась там перед зеркалом (Верушка смеялась, что напрасно я и чулки не надела). И должна сказать, что я себе даже понравилась и, главное, в таком облачении я действительно похожа уже не на школьницу, а на студентку. Жаль только, что рост у меня маловат — всего 157 см.

Не считала я себя до сих пор «барахольщицей», но,

оказывается, все-таки очень приятно получить в подарок так много красивых и нужных «тряпок». А Верушка еще начала меня причесывать по-разному, и все обсуждали, и пришли к выводу, что мне больше не надо черный бант на затылке носить (я отращиваю волосы), а лучше подстричься коротко, более современно. В общем, получилось так, что я в этот день была в центре внимания. Мама похвасталась тем, что получила от меня подарок, приобретенный на заработанные деньги (а мне было действительно приятно купить из своей «зарплаты» для мамы хорошие духи), и меня принялись хвалить за это и за то, что учиться стала лучше, и просто за то, что «такая большая выросла». И даже пуговицы, сделанные Костей, очень одобрили, расспрашивали про него и сказали, чтобы я пригласила в одно из воскресений к нам, чтобы с ним познакомиться. (Не пойдет он знакомиться…).

Потом Верушка заспешила куда-то, и хотя ее удерживали, она все равно уехала. У Верушки «роман» с каким-то семейным человеком. И бабушка, и тетя Катя с мамой очень осуждают ее за это. Бабушка считает, что все это оттого, что у нее детей нет и «много времени свободного». Тетя Катя на эти слова вспыхнула и сказала, что у нее тоже детей нет, но дядя Ваня никогда не имел оснований в чем-то упрекнуть ее. На этом разговор оборвался, видимо из-за меня — смешно, будто я еще маленькая. Я поняла, что Верушка, наверно, разведется с Алексеем, и огорчилась — они казались мне всегда такой хорошей парой. И Алексея жалко: как он будет без нее? Он называет ее «мой пушонок», «моя Веруська». Смотреть на них — веселых, красивых — всегда приятно. И бывать у них, в их крохотной комнатушке на Лермонтовском, я тоже очень люблю.

Пришел с ночной смены Николай, посидел с нами немного за столом и ушел спать. А мы после обеда отправились гулять, благо день стоял такой теплый. Бабушка показала свои клумбочки и грядки, где что посеет, где что уже осенью посадила. Ни у кого в доме не вырастают такие красивые цветы, как у нее! Бабушка не удержалась и уже взялась за грабли, за лопату, но мы, конечно, отняли у нее, усадили на скамеечку и по ее указаниям немножко убрали мусор и прорыхлили землю. Дворик у бабушки окружен черемухой и сиренью. Когда все зацветает, то голова от ароматов кружится! Как только закончу с экзаменами в школе, стану приезжать в Лигово, чтобы здесь, в тишине и красоте, готовиться к сдаче экзаменов в институт. Бабушка вообще зовет пожить у нее все лето — ведь на дачу мы в этом году не поедем, А что, может, и все лето поживу. Буду на взморье ходить. Костя со своим роллером приезжать будет — в Гатчину съездим, в Петергоф, в

Павловск.

Уже к вечеру мы все отправились к дяде Васе — это старший бабушкин сын, он с семьей живет тоже в Лигово, но на другом конце. Бабушка положила в корзиночку несколько красных яиц, завернула в салфетку большие ломти пасхи и кулича — внучат угостить, у дяди Васи трое ребят.

Живут они в половине маленького деревянного домика, комнатки тесные, душные. Дядя Вася сидел за круглым столом, подвыпивший и веселый. Его жена Мария, видимо, только что ссорилась с ним, ребята — Толька, Игорь и Олежка — возились на кровати. Увидев нас, все засуетились, дядя Вася бросился нас усаживать, Мария спешила убрать бутылку и рюмки со стола, и даже ребята притихли. Тольку мать вытолкнула вперед, чтобы поздоровался с нами, и он очень застеснялся, когда бабушка стала угощать его принесенным, а тетя Катя спрашивать, как он учится в школе, озорничает ли. (А что ответишь на такие вопросы?) Хоть это и мои двоюродные братья, но вижу я их редко — раза два в год приезжают они в Ленинград. Когда я была меньше, то любила играть с ними. Все они белоголовые, румяные, сероглазые. У Тольки волосы очень красиво вились крупными кольцами, закрывая лоб и уши, но теперь ему уже 13 лет, его остригли и стал он такой стеснительный, что и со мною не только что играть, но и говорить не отваживается: голову опустил и что-то бубнил в ответ. А по глазам видно, что только и ждет, чтобы удрать и снова «давить масло» из Игорька и Олежки.

Побыли мы у них недолго, от чаю отказались, дядя Вася что-то невразумительное плел о своей новой работе, Мария начала жаловаться на него и заплакала. Тетя Катя сказала, что они оба виноваты, намекнула, что Мария тоже не прочь приложиться к рюмочке. Дядя Вася захохотал: «Вот, вот! В кои веки мои дорогие сестреночки к нам в гости собрались! Я уж подивился — с чего бы это? А оказывается, они надумали нас уму-разуму учить! Ну уважили! Ну спасибо! — и стал по клоунски раскланиваться. Бабушка резко оборвала его: «Детей бы постеснялся!» — и первой встала из-за стола. Мария догнала нас на веранде, еще что-то рассказывала и плакала. Мама обещала ей поговорить с кем-то насчет другой работы для дяди Васи, а то он на этой сопьется.

Так мы ушли в испорченном настроении. По дороге говорили о дяде Васе, вспоминали, каким красивым и веселым был он в молодости, каким отличным мастером был — «Любая работа в руках горела!». Как играл на гитаре и мандолине, как хорошо пел. А потом — «Как с цепи сорвался». Думали, что семья его образумит, дети, а получилось наоборот. «И в кого только он такой уродился?» — повторяла бабушка, а потом сама себе

ответила: «Видать, в отца он пошел. Весь — батя родимый».

А ведь правда, Иван Кондратьевич, мой дедушка, по рассказам мамы, в молодости был тихим, добрым, очень уважали его за то, что прекрасный кузнец. Но с каждой получки он напивался и, когда приходил домой, то все ребята прятались под кровать, а бабушка вооружалась скалкой и начиналась тут баталия… И бабушка часто в синяках ходила. А как протрезвеет, прощения просит и снова тихо живет до очередной получки. Я его помню, он умер семь лет назад. Стеснительный старичок с тихим голосом и рыжеватой бородкой, он казался мне похожим на «дедушку Калинина». Тетя Катя, мама и бабушка начали вспоминать свое детство, как из Лигово каждый день в школу на поезде ездили, как бабушка успевала за ночь перестирать, высушить, а утром выгладить всю одежку для всех пятерых, так как на смену нечего было надеть. Да к тому же бабушка старалась, чтобы ее дети выглядели «не хуже господских» и потому крахмалила оборочки и кружевца для девочек, мальчиков наряжала в короткие штанишки, светлые рубашки, чулки, которые так быстро рвутся (до сих пор бабушка умеет великолепно штопать). К огорчению бабушки, волосы у всех детей, кроме Васи, не вились, и вот она вечерами закручивала всем волосы на папильотки, а утрами расчесывала прекрасные кудри. И все соседки говорили: «Дети у Анны Михайловны — как куколки!». Тетя Катя с мамой и теперь, через столько лет, вспоминают, как было больно и неудобно спать в этих папильотках, как Верушка однажды проснулась ночью и плакала, пытаясь содрать их с головы: ей приснилось что-то страшное. Но рассказывают об этом смеясь и не осуждая бабушку — «Красота требует жертв». Вспомнили о том, что и Колю, младшенького, любимца всех, очень красивого в детстве, бабушка до шести лет одевала как девочку, и кудри (тоже завитые) у него были до плеч. Его детская фотография до сих пор стоит у бабушки на этажерке, ну будто головка с картины Грёза! Только очень уж суровый взгляд у этого «ангела». Так вот, Коля в конце-концов взбунтовался и однажды остригся наголо. Бабушка тогда очень плакала. Но зато Николай отвоевал себе право быть мальчиком.

Снова заговорили о дяде Васе — он с детства был очень живой, ласковый, но одновременно и озорник отчаянный. Бабушка его и наказывала по-всякому, и била — ничего не помогало. Но нашлось одно наказание, которое пугало его больше всего, — это когда его привязывали на весь день веревкой к ножке стола и ставили перед ним только кружку воды и горбушку хлеба. Правда, забывал он наказания быстро, не озлоблялся, к матери снова ластился и любил играть и нянчиться

с младшими сестренками. А когда родился Коля, он вдруг сбежал из дому и около года был «в бегах». Потом снова вернулся в семью, устроился учеником в мастерскую. Его там хвалили, он быстро начал зарабатывать и превратился в такого красивого и бойкого молодого человека, что на него «все барышни заглядывались». А теперь он уже и отец семейства, а пьет все больше и больше. Видимо, он в дедушку уродился.

А Николай совсем другой: он и в детстве был молчуном, играл всегда один. А теперь ему уже 28 лет, живет он с бабушкой, не женился. Выучился на механика, работает на электростанции возле вокзала. На работе его очень ценят, он не пьет, не курит, все деньги до копейки бабушке отдает. Но бабушка побаивается его, жалуется, что иногда «неделями от него слова не услышишь», и ждет она не дождется, когда он, наконец, женится.

Слушала я бабушкины размышления о том, почему у нее такие непохожие сыновья, и пришла к выводу, что наверное к Васе и к Коле в детстве очень по-разному относились, вот у них и характеры стали разные. Бабушка в молодости была властной, строгой (ее до сих пор все ее дети, и я, конечно, только на «Вы» зовут). В детстве я ее боялась. Но ведь Колю она очень любила и любит больше всех своих детей (сама говорила), почему же он так суров с нею и даже будто не очень любит? Сложно все с этими любовями…

Проводили мы бабушку до дому и отправились на вокзал. Приехали домой уже заполночь.

Чтобы закончить о своем дне рождения, еще надо сказать и об Адкином подарке. Она подарила мне сборничек стихов Маргариты Алигер. Это имя я впервые слышу. Многое мне очень понравилось и особенно — стихи, которые начинаются словами:

«Я хочу быть твоею милой,
я хочу быть твоею силой…»,

а кончаются:

«Где б ты ни был, — меня ты встретишь,
все равно ты меня заметишь,
и полюбишь меня навек!».

В общем, я рада и своему дню рождения, и подаркам, и тому, что уже весна (правда, сегодня снова хмуро и слякотно). И главное тому, что скоро лето, институт и много всякого неизвестного, но интересного!

Расписалась я сегодня и чуть не забыла — завтра же у меня политинформация, а газеты до сих пор не просмотрены. Сейчас быстренько перелистаю их «по диагонали».

Ну вот. Перелистала. Международные события даже дважды перечитала. И снова остаюсь в недоумении, как баран перед новыми воротами. Ну вот как, к примеру, понять такое: 6-го апреля в газетах опубликован «Договор о дружбе и ненападении между СССР и Югославией». А 7-го апреля очень коротко, без комментариев, сказано, что Германия объявила войну Югославии и Греции, и уже совершен налет германской авиации на Белград.

Но ведь если мы заключили договор о дружбе с Югославией, то должны бы вступиться за нее? Или хотя бы одернуть Германию? Несмотря на то, что они тоже наши друзья. А мы молчим… Может, это мы еще не успели среагировать и на днях что-нибудь скажем официально по этому поводу? Буду следить за газетами ежедневно.

А вот за эту тетрадь сяду, наверно, не скоро — очень уж большая загрузка в школе, и вечерами, после уроков, я еле добираюсь до кровати. Даже с Костей «встречаемся» только по телефону.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Лето-осень 1941-го

21 июня 1941 г.

Все! Школа закончена! Даже не верится. Сегодня вечером вручение аттестатов и выпускной бал. А потом начинается новая жизнь!

И я решила пешком пройтись по своему любимому маршруту — на Петроградскую сторону. Взяла с собой несколько бутербродов, книжку (которую потом ни разу и не открыла) и отправилась. По Фонтанке до цирка, там свернула к Садовой, посидела в Михайловском садике (как в нем малолюдно, тенисто, как таинственно просвечивают сквозь деревья пламенеющие стены Михайловского замка. Зелень и багрянец — так красиво!). Потом через Летний сад прошла и не могла налюбоваться вековыми липами и кленами, их умыло ночным дождем и они будто помолодели. А как вышла на набережную, так просто дух захватило — до чего же красиво вокруг! Нева сегодня почти синяя, белые облака в ней мельтешат, на другой стороне голубеют в дымке минареты мечети. Шпиль Петропавловки как солнечный луч слепит, а вдали, будто плывет, Биржа в обрамлении Ростральных колонн. Шла я через Кировский мост, все останавливалась и мысленно старалась как бы сфотографировать город в различных ракурсах: сначала противоположный берег, а потом оборачивалась и впитывала все то, что там осталось. А потом попробовала медленно повернуться, чтоб круговая панорама получилась — вот если такую цветную фотографию можно было бы сделать! Но тут ко мне подошел молоденький милиционер, козырнул и сказал: «Гражданочка, здесь нельзя останавливаться». Я в ответ рассмеялась, козырнула, сказала: «Слушаюсь!» и побежала. Бегать-то разрешается? На мосту так здорово обдувало ветром — платье стало, как парус и несло меня вперед. Следующую остановку я сделала у памятника «Стерегущему». Возле скамейки, где я сидела, смешной мальчишка дрессировал щенка. А щенок почувствовал, что у меня в сумке хлеб с колбасой и начал скулить и лезть ко мне на колени. Пришлось вытащить мои припасы и поделить их на три части. Общими усилиями мы быстренько все умяли, щенок после этого решил, что я его новая хозяйка и увязался вслед за мной. Мальчишка догонял его, тот вырывался, еле отвязалась от них.

С удовольствием прошлась по улице Красных Зорь. Я люблю эту улицу, но получалось так, что я по ней только ездила на трамвае. А тут шла не спеша, разглядывала людей, дома, даже во

двор дома, где жил Киров, заглянула. Дом этот отремонтирован, и скоро здесь откроют музей Кирова. На площади Льва Толстого мне очень нравится здание банка, похожее на старинную крепость. В саду имени Дзержинского сделала еще одну остановку — посидела на искривленном стволе плакучей ивы, их тут много на берегу Невки. Неподалеку трамваи, машины, а здесь тишина, стрекозы кружатся, будто не в городе, а где-нибудь в деревне. И даже хорошо, что этот парк неухоженный, с заросшими дорожками, и в нем можно посидеть на травке.

Потом прошла по запутанным улочкам между дач и домов отдыха Кировских островов и оказалась возле Елагина дворца ЦПКО. И только здесь почувствовала, как устала. Нашла скамеечку в тени, рядом с теннисной площадкой, и решила, что буду сидеть здесь до полного отдохновения. Но уже через полчаса я забыла про усталость. Дело в том, что в теннис сначала играли двое мужчин и, видать, оба хорошие мастера — наблюдать игру было очень интересно. Потом один ушел, а другой стал отрабатывать удары возле стены спортпавильона. И так у него это ловко получалось, что и мне очень захотелось попробовать. Он заметил это и предложил мне ракетку. Сначала я очень волновалась и у меня плохо получалось, а потом все лучше и лучше — звонко так мячик ударяет: Звон! Дон! Гон! (ракетка — стена — асфальт). И снова: Звон! Дон! Гон!

Так мне это понравилось, что я и про усталость забыла и уже жалела, что нет второй ракетки, и мы не можем поиграть вдвоем. А дяденька этот (еще не старый, лет 25–27, наверное) начал уже мне всякие приемы показывать: «Левый удар бери!», «Правый!», «Режь боковым!», зовут его Илья Николаевич, но просил называть без отчества, по имени только. Он сказал, что у меня есть быстрота реакции и «прыгучесть». И сказал, что если я хочу, то могу приходить сюда тренироваться. Он здесь бывает через день. Мне, конечно, очень хотелось бы научиться играть (вспомнилось, как в Левашово играли взрослые вечерами в теннис и так же звонко стук мяча о ракетку раздавался). Но у меня нет ракетки, а купить ее трудно и дорого. Илья сказал, что у него дома есть старенькая, в ней только сетку нужно починить, и он может отдать ее мне. Я согласилась (с ним как-то очень легко сразу, будто мы одного возраста и давно знакомы). Он дал мне свой телефон, чтоб я позвонила ему на следующей неделе, предупредила, когда приеду, и он тогда принесет мне ракетку. В следующую неделю он работает с утра и поэтому тренировка может начаться часов в пять. А сегодня он занимался с утра, так как идет на работу во вторую смену. И тут он заспешил, и я тоже решила ехать домой. Пошли вместе к центральному входу Парка.

Илья купил эскимо, а оно растаяло, и мы смеялись, что все пальцы были липкие и пришлось руки в пруду мыть. Он инженер-электрик. Спросил меня про родителей, про то, есть ли сестры, братья, и посочувствовал, что я одна. А у него младшая сестра, и он ее очень любит. Потом про институт заговорили. Он думал, что я уже студентка. Похвалил авиационный. Я сказала, что боюсь экзаменов по физике и немецкому. Он сказал, что по физике мог бы со мной позаниматься, а его мама всю жизнь немецкий преподавала и тоже могла бы помочь. Разумеется, я отвергла эти предложения, а он сказал: «Ну и напрасно. Себя хвалить не стану, а мама у меня действительно умеет быстро обнаружить пробелы в знании языка и найти способы их быстрого преодоления. Да и человек она легкий — она всем нравится». Наверное, он прав и говорил от души, но я все равно как-то не могла согласиться на такую помощь.

Мы сели на трамвай, Илья Николаевич живет близко от ЦПКО — угол Большого и Введенской, и когда мы уже подъезжали к остановке, он вдруг начал уговаривать меня зайти к ним пообедать: «Вот познакомишься с мамой и сама увидишь, что все гораздо проще, чем тебе кажется. И кроме того, у нас сегодня окрошка! Ну, решайся!». И так мне захотелось согласиться! И так я сразу поверила в то, что мама у него очень хорошая и что она ничуть не осудит меня за то, что я, незнакомая еще вчера, вдруг пришла к ним «на окрошку». И окрошки очень захотелось… Но я мужественно сказала «Нет!» сама себе, а Илью Николаевича поблагодарила и сказала, что позвоню на следующем неделе.

С тем и расстались. А когда проезжала мимо дома угол Введенской и поглядела на окна угловой квартиры над гастрономом, то вдруг ясно поняла, что этот дом может быть моим домом. И что все это зависит только от меня… И что я понравилась этому человеку, и не «просто так» понравилась, а серьезно. И в зависимости от того, захочу продолжить это знакомство или нет, так и сложится моя дальнейшая судьба. И так теперь будет всегда. И мне стало страшно. И стало радостно — я сама должна буду решать, по какой дороге мне идти. И если уж ошибусь, пенять будет не на кого, только на саму себя. (А где-то я читала, что, возможно, не человек выбирает судьбу, а судьба выбирает человека…). Еще не знаю, позвоню ли я Илье Николаевичу, но знаю, что он позвонит мне.

Приехала домой, пообедала и проспала как убитая два часа. А теперь уже привела себя в порядок, нагладилась и вот в ожидании Галки, которая зайдет за мной, чтобы вместе идти на вечер в школу, коротаю время за этой тетрадью. Можно бы ее и бросить. Причина, по которой завела я ее в прошлом году,

исчезла. Но все же, видимо, время от времени буду продолжать записывать — привыкла отчитываться самой себе.

Завтра, как отоспимся, поедем всем классом на пароходике в Петергоф. В понедельник перебираюсь в Лигово, и начинаются мои каникулы. Недельку отдохну, а там впрягаюсь в дела экзаменационные. Мне почему-то кажется, что в институт я попаду (тьфу! тьфу! Как бы не сглазить!).

Но самое главное — с сегодняшнего дня школа позади и начинается совсем новая жизнь!

А когда думаю о сегодняшнем дне, то в памяти ярче всего только то, как слепило солнце на Кировском мосту, да как ветер раздувал платье. Да еще звон мяча о ракетку слышу: Звон! Дон! Гон! Звон! Дон! Гон!

22 июня 1941 г.

ВОЙНА! Началась война. С фашистской Германией. Уже перешли границу и идут бои. В четыре утра бомбили Киев, Минск, другие города.

Пишу и не верю этим словам — бомбили?! Уже льется кровь?! В четыре утра?.. В четыре утра мы с ребятами возвращались с набережной Невы… Шли вдоль Крюкова канала, пели тихонько «Любимый город может спать спокойно…». А в это самое время!..

Объявили по радио в 12 часов. Я только встала и чай пила. Папа и мама дома были тоже — воскресенье. Праздничный пирог на столе по случаю окончания школы. Приготовились слушать веселую воскресную передачу про милиционера. Там песенка есть: «Давайте не будем, не будем, гражданин…». И вдруг вместо этой песенки — «Внимание! Внимание! Слушайте чрезвычайное сообщение…». И выступил Молотов. Война!..

Что же будет? Папа сказал, что, конечно, фашисты получат по заслугам, но все это очень серьезно. Взял документы и ушел в военкомат. Мама хватается то за одно, то за другое, и все у нее из рук валится. Соседи на кухне, в коридоре говорят только об одном. Слышно, как за стеной у Долиновых плачет Белла — у них ведь маленький только недавно родился, а тут с мужем придется разлучаться.

Я не могла оставаться дома, что-то надо было немедленно делать. Мы с ребятами собирались сегодня встретиться и ехать на пароходике в Петергоф. Как это все далеко уже — выпускной бал, танцы, смех, всякие планы… А прошло всего несколько часов…

Папа ушел в военкомат, надо было и мне немедленно что-то делать важное и нужное. Вспомнила, что наши противогазы не перезаряжались еще с осени — я все собиралась, да откладывала

(ох, неужели химические отравляющие вещества применять будут!). Навесила на себя все три сумки с противогазами и чуть не бегом на Садовую, где районный пункт ОСОАВИАХИМа[16]. Но там было закрыто. Дворничиха сказала, чтобы завтра утром приходила. Шла по Фонтанке домой и в голове не укладывалось: ведь сегодня ночью, сегодня шли мы здесь с ребятами и ни о чем даже не подозревали.

Все люди на улице идут быстро, ни на кого не глядя. Многие женщины заплаканы. Даже дети как-то притихли. На углу включенный репродуктор, еще раз послушала выступление Молотова. Собралась толпа, все слушали молча, видать, тоже не в первый раз. И так же молча расходились.

Пришла домой. Позвонил Костя. Мы пошли с ним по магазинам. Мама велела купить крупы, макарон, взять всего побольше. Но папа сказал, чтобы не устраивали паники, а купить лишь как обычно, что действительно нужно, и не делать никаких запасов (папу уже оформили в военкомате как старший комсостав и сказали, чтоб ждал: вызовут в ближайшие дни).

Мы с Костей ходили по улицам, заглядывали в магазины: действительно, некоторые начинают запасаться продуктами, покупают всего помногу, часто очереди возникают там, где их раньше не было. Я купила хлеб, постное масло и только кило пшена, хотя отстояла в очереди — не хотелось поддерживать паникеров. Зашли в кондитерский на Международном, купили по сто грамм тянучек. Я подумала, что Костя, может, в последний раз ест конфеты — ведь завтра он идет в военкомат — и сунула ему в карман свой кулечек, когда прощались. Обещал завтра сразу же из военкомата позвонить. Мама его очень плачет, и поэтому они с отцом отложили военкомат на завтра. Как-то ни о чем невозможно ни говорить, ни думать, только одно в голове, и мы рано разошлись. Неужели его завтра уже не отпустят домой? А куда мне? Может, в медсестры или на военный завод? Но я же ничего не умею! Может, поехать в свой Авиационный институт? Там что-нибудь подскажут, может, курсы какие-нибудь. Посоветуюсь завтра с Адой.

Устала от всего так, что засыпаю на ходу, хотя всего девять вечера, ложусь. Первая ночь войны. Сколько же их еще будет?!

23 июня 1941 г.

Ночью около двух часов жутко завыли сирены. Первая боевая тревога! Все высыпали на улицу. Ночь лунная, дома освещены зеленым светом, будто декорации. В небе гудели самолеты (наши?), метались лучи прожекторов. Появились дежурные по подъезду, милиционеры — загоняли всех в подворотни, а женщин

с детьми размещали в квартирах первых этажей.

Почему-то не было страшно, а только очень интересно.

Мальчишки удирали от матерей и дежурных на чердак и оттуда наблюдали залпы зениток со стороны Пулково. Когда ребят согнали с чердака, то взрослые окружили и слушали их. Ребята уверяли, что видели воздушный бой. А сегодня утром сказали, что действительно, несколько фашистских самолетов прорвались к городу, и один из самолетов был сбит над Песочной… Мы когда-то там на даче жили…

Звонила Адка. Всех латышей спешно эвакуируют на Урал. Бегает, оформляет документы. Удастся ли встретиться…

Костя позвонил. Сказал, что у него пока все в порядке и он устраивается на работу в железнодорожные мастерские.

Позвонил мой новый знакомый Илья Николаевич, попрощался, завтра уходит на фронт.

25 июня 1941 г.

Радио не выключаем. Утром сводка с фронтов, потом читаем об этом же в газетах. И молчим. Молча спешим по своим делам. Папа — в военкомат, мама — в свою библиотеку. У них там при райкоме создается комиссия по проверке готовности к противовоздушной обороне, мама в составе этой комиссии по улицам, примыкающим к Моховой, где Театральный институт. Есть такая комиссия и на нашей улице, во всех домах жильцы очищают от хлама чердаки, подвалы, готовят запасы песка и т. д. Я вечерами тоже вместе со всеми носила ведрами песок на чердак, белила каким-то противопожарным составом деревянные перекрытия. А с утра ухожу искать работу. Решила идти на завод. Хочу токарем по металлу — Костя посоветовал именно токарный станок и немножко объяснил его части и принцип работы. Но обошла все заводы и мастерские вдоль Обводного канала (здесь их особенно много), но почему-то в отделах кадров посмотрят на меня и отказывают, не объясняя причины.

Костя уже работает в железнодорожных мастерских. Его устроил туда отец, а сам уехал с военным эшелоном: его мобилизовали как машиниста. Я думала, что Костя пойдет добровольцем, но он решил работать, и я стараюсь теперь не говорить на эту тему. Многие мальчики из нашей школы уже подали заявления в военкомат, и я видела, как их строем вели на учения. Среди них — Женька Левин, Коля Кузнецов, Гоша Шавгулидзе, Аркашка Львович. А Котька Кудряшов и Додька Блехман подали заявления в Медицинскую академию и проходят учения там. Позвонил Генка Соболев — всех парней из Медицинского института перевели в Медицинскую академию и

готовят ускоренными темпами как военных врачей.

Мы с Галкой ездили в «свой» Авиационный институт, узнали, что приемных экзаменов не будет и мы с нею приняты по аттестатам. Но когда начнутся занятия — неизвестно. А пока надо принести справку с места работы либо записаться в стройотряд института. Там уже маскируют здание, переводят оборудование куда-то в центр города, а вокруг роют траншеи — ведь институт размещен в старых корпусах бывшего монастыря, в самом конце Международного проспекта, возле трамвайного кольца Средняя Рогатка. А здесь возводится «линия обороны»… Даже произнести эти слова страшно: «линия обороны Ленинграда проходит возле последних домов Международного»… А наша 1-ая Красноармейская улица пересекает Международный в начале его… Не верю! Все это делается просто потому, что так положено. На всякий случай. Вот и оконные стекла велели заклеивать узкими полосками бумаги на случай бомбежки, чтоб не вылетели от взрывной волны. И все окна в домах теперь перечеркнуты белыми крестами. И у нас дома я тоже наклеила. Утром, как откроешь глаза, так сразу видишь эти кресты, и первая мысль — война! Да и во сне об этом помнишь — радио не выключено, и всю ночь стучит метроном. А днем, между сводками с фронтов, звучат марши, военные песни времен Гражданской войны и еще одна, новая, от которой мурашки по коже:

«Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна —
Идет война народная,
Священная война!»

28 июня 1941 г.

Сводки с фронтов ужасные. Каждая кончается словами: «После ожесточенных боев наши войска были вынуждены отступить… Оставить…» такой-то город, населенный пункт. Как же так?! Что же происходит? Неужели они сильнее нас?!

Но ведь еще неделю назад мы пели: «Броня крепка и танки наши быстры». И еще песня: «Нас не трогай, и мы не тронем… А затронешь — спуску не дадим!». И еще много других хороших песен вспоминается…

В городе уже появились беженцы — те, кто испытал бомбежку, обстрел, бросили свой дом и с детьми приехали в Ленинград. Некоторые — к родственникам, большинство — к «никому». Их где-то расселяют. Тех, кто с детьми, отправляют дальше. Вообще предложено уехать из Ленинграда многодетным

семьям. И отдельно детей отправляют, без родителей, до осени. Все вокзалы переполнены уезжающими: с Балтийского и Варшавского провожают на фронт, с Московского — детей и тех, кто уезжает на восток, в глубь страны.

Вчера я провожала папу. Мама простилась дома, т. к. была вызвана в райком по месту работы на инструктаж по эвакуации учреждений. На Балтийском вокзале все забито военными и провожающими. Крики, слезы женщин, команды собирающих свои отряды, музыка, ребятишки, шныряющие под ногами, гудки паровозов… И — жара. Очень жаркие дни стоят, и от этого все кажется еще более странным и нереальным. Папа не хотел, чтобы я на перрон с ним шла, и мы посидели с ним немножко в тени, на досках возле товарных складов. Ни о чем толком поговорить не удалось. Просил, чтоб я «не глупила» и берегла маму. («Не глупила» — это он насчет моих попыток весной уйти из дома и стать самостоятельной). Он доволен тем, что я в авиационный институт поступила. И то, что буду работать, одобряет тоже. И вообще мы с ним, кажется, впервые почувствовали близость, желание понять друг друга… И вот надо расставаться. Мне вдруг так страшно стало. Папа в военной форме выглядит незнакомым и будто ему неловко в ней. Очки к форме не идут, и он их все время поправляет. Он батальонный комиссар, с одной шпалой в петлице, политработник, и я постеснялась, не спросила, почему ему винтовку не дали, а только револьвер в кобуре. Ведь на фронте всякое может случиться… Простились мы так, будто он в очередную командировку едет… А когда шла домой и навстречу отряды мобилизованных, вдруг поняла, что, может быть, все эти мужчины идут по Ленинграду в последний раз. Не все, но некоторые из них… И страшно стало вглядываться в их лица. И стыдно перед ними за то, что они идут туда, к вокзалу, а я — навстречу им, оттуда…

7 июля 1941 г.

Уже неделю работаю. На судостроительном заводе им. Марти (это за Калинкиным мостом, там, где Фонтанка в Финский залив впадает).

Я поняла, почему меня в отделах кадров не брали на работу. Приходила в светлом платьице, с черным бантом на затылке (отращиваю волосы) — ну, и не внушала доверия. А тут, по совету Кости, повязала косынку на голову, надела серый рабочий халат, на ноги — тапочки. И сразу — взяли! Учеником токаря. Работа сменная: неделю в ночь, неделю в день. Смена — 12 часов, без выходных. Я предупредила, что принята в Авиационный институт, показала студенческий билет. На это мне сказали, что с началом

занятий меня отпустят. Вышла на работу в ночную смену. Прошла через проходную и чуть не заблудилась, пока свой цех нашла. Подъемные краны, рельсы, паровозы, корпуса кораблей на стапелях… А в цехе темно, только светлячками лампы возле каждого станка. И оглушительный грохот парового молота. Дикий лязг и скрежет пилы по металлу (меня всегда корежит, даже если кто вилкой по тарелке скрипнет). Станки стоят не ровными рядами, как я представляла, а группами по 5–6 штук. С трудом видны станки ближайшего участка, а дальше все тонет в темноте. Лица работающих различаются смутно, лишь когда наклоняются к детали, ярко освещены только руки и резец, снимающий с детали блестящие змейки стружки. Гул от станков такой, что невозможно разговаривать — надо кричать в самое ухо. Над головой время от времени с грохотом катится подвесной подъемный кран с грузом (вдруг уронит…).

Пока разыскивала свой участок, меня несколько раз в упор засвечивали лампочками — разглядывали, и я тогда совсем ничего не видела и останавливалась. Хорошо, что меня взялась проводить женщина, которая собирает в тележку стружку и вывозит из цеха. Мой наставник — токарь седьмого разряда Петр Иванович Молочник. Не старый еще. Но какой-то очень стеснительный. Отвел меня к свободному станку (ДИП-200), начал объяснять, где шпиндель[17], где суппорт[18], но увидев, что я это уже знаю (от Кости), дал задание «обдирать» заготовки. Постоял, пока я управилась с одной, и ушел на свое место. Работа эта однообразная и не очень приятная: ржавую болванку, размером в три стакана, закрепляешь, включаешь станок на малую скорость, и резец снимает окалину. Ржавая пыль, стружки летят в глаза, в нос (в очках почему-то никто не работает, и мне не дали тоже). Не хватает сил туго закрепить деталь, она быстро разбалтывается и начинает «бить» по резцу. Приходится выключать станок и все начинать сначала.

На соседнем станке работает мальчишка из ремесленного училища, лет четырнадцати, наверно, маленький, стоит на ящике. Но работает легко, даже с лихостью какой-то, и посмеивается, видя, как я буквально повисаю всей тяжестью на ключе, когда закрепляю деталь. Подошел вразвалку, посмотрел: «Эх, какие же у тебя ручки-то махонькие…». Взял ключ и сам закрепил и ошкурил болванку на большой скорости так, что она задымилась. Включил подачу эмульсии (белая жидкость, льется на металл, чтоб охладить деталь), и стала заготовка красивой, будто никелированная. Сказал, чтоб и дальше с эмульсией работала — опилок меньше летит и руки целее будут. И чтоб скорости не боялась. А если понадобится что — достаточно лампочкой в его

сторону посигналить (она на гибком шланге укреплена). Зовут его Степа. Так у меня стало сразу два наставника. После наглядного урока мне сразу легче и интереснее стало работать, и к полуночи, когда делали перерыв на десять минут и слушали сводку с фронта, у меня на металлическом стеллаже возле станка лежали в три ряда блестящие заготовки (это для минометов детали). Мой мастер (старший) подошел, похмыкал и ушел к своему станку, ничего не сказав. Ночью была тревога, завыли сирены, но никто не выключил станков, и я не слышала, когда был отбой. Обед в два часа ночи, на 30 минут. Устала ужасно. Сидела, прислонившись к стене, на куче стружек, покрытых брезентом, вместе со всеми запивала кипятком свой домашний завтрак (у меня хлеб с селедкой был и зеленый лук — хотела Степку угостить, да он на время перерыва исчезает). Тошнит от запаха машинного масла — пропахло им все вокруг, и руки, и халат. Очень хотелось спать. После перерыва работать значительно труднее: все плывет перед глазами, слепит блеск деталей, страшно заснуть и упасть на станок. Часа в три уже не было сил — ходила в умывалку, мыла лицо, но ничего не помогало. Когда начала совсем клевать носом, вдруг мне в плечо шлепнул комок стружек — я так и дернулась в сторону. Оглянулась, смотрю — Степка своей лампочкой мне маячит. Позвал идти с ним в «точилку», где резцы точат. Я пошла, посмотрела, какие бенгальские огни получаются при заточке резцов об огромные жернова точила. Но сама затачивать побоялась — мне это Степка делает. Рядом с точилкой хозяйственный закуток: там навалены горы метелок из прутьев и отдельно — палок к ним. Здесь сравнительно тихо, а визг пилы кажется терпимым, и я его почти не замечаю. Степка скомандовал, чтобы я прилегла и поспала минут десять — он разбудит, а сам устроился под скамейкой, где у него припасена дерюжка, чтоб укрыться: даже если кто зайдет и сядет на скамью, то не заметит.

Я разбросала возле стены веники, чтоб получился «окопчик», легла и моментально уснула. Потом Степка растолкал меня, я умылась и уже до утра дотянула легче. К восьми утра пришел мой сменщик (очень красивый парень, между прочим), назвался Матвеем и долго учил меня, как чистить и смазывать станок при пересмене. Обидно, что я устала так, а он будто не понимает и насмешливо заставляет драить станину до блеска. Мой наставник Петр Иванович постоял немного рядом, и Матвей что-то пошутил насчет того, что «наш Петр умеет себе учеников подбирать…» — тот его оборвал и ушел, не попрощавшись. Так кончилась моя первая рабочая смена.

Брела я домой вдоль Фонтанки и засыпала на ходу, как лошадь. Дома спала часов до трех дня, потом что-то делала по маминым поручениям, а в восемь вечера уже снова стояла у станка.

Уже на третий день мне дали точить самостоятельно мелкие бронзовые детали. Пригодилось, что я хорошо разбираюсь в чертежах. Детальки такие хрупкие, что я боюсь их слишком жестко закреплять, чтоб не помять. В результате, когда включила станок на большую скорость, деталь разболталась, вылетела из патрона и, пролетев над головами работающих (к счастью!), врезалась в витрину передовиков производства. Степка так хохотал!

Детальки получаются красивые, но очень трудно соблюдать точность (до двух микрон!). Часто останавливаю станок и проверяю кронциркулем. Все же пять штук запорола (сама заметила), а из ОТК вернули мне только одну и сказали, что для начала это совсем неплохо. Правда, норму я не выполняю. Устаю до предела обычно к трем-четырем часам и, по договоренности со Степкой, ухожу на 10 минут вздремнуть под «его» скамейку. В дневную смену работать значительно легче. Но зато днем к концу смены очень есть хочется, т. к. все всухомятку, что из дома взято. Заводская столовая от нашего цеха далеко, там много народу и не успеть. Когда иду на работу или обратно, замечаю, как город с каждым днем меняется, становится все более суровым, прифронтовым. Витрины магазинов завалены мешками с песком, забиты досками. В скверах, на площадях роют щели-укрытия. Много военных. Бесконечные отряды мобилизованных шагают к вокзалам, а навстречу им, от вокзалов — потоки беженцев. Их сразу узнаешь — с узлами, с котомками за спиной, с ребятишками. Очень жарко: возле киосков с водой, бочек с квасом выстраиваются очереди. Вечерами город погружается в темноту. Трамваи, машины идут тихо, освещаются лишь синими подсветками. Окна во всех домах замаскированы, дежурные за этим строго следят и, если заметят хоть щель, — хозяина комнаты ждут неприятности. Ночи еще светлые, и в небе до утра плавают серебристые рыбины противовоздушного заграждения. Когда их спускают на землю, они огромные, вроде дирижаблей.

У меня сегодня пересмена, и потому получился свободный вечер, вот я и спешу записать обо всем. Заодно уж пусть и о смешном. Дело в том, что вчера после работы со мной по пути шел мой мастер Петр Иванович. Он живет где-то у Сенной площади, и по Фонтанке шли вместе. Я устала и, еле ворочая языком, отвечала на всякие его вопросы: где собираюсь учиться и для чего на завод пришла. А когда прощались, то он вдруг

пригласил меня в кино «завтра», т. е. сегодня. Я постеснялась отказаться и согласилась. И сегодня вечером, хоть мне очень и не хотелось, отправилась я на Садовую в «Ударник» на картину, которую уже видела, — «Антон Иванович сердится». И только я подумала о том, что я Косте потом скажу, как тут и он навстречу идет. Он знал, что у меня свободный вечер впервые за долгое время. Я минутку поколебалась, говорить правду или нет, и решила сказать. Но моя правдивость оценена не была. Получился очень неприятный разговор, и я прибежала в кинотеатр запыхавшись, в последнюю минуту. Мой спутник так явно обрадовался, что мне стало неловко — ведь он не знал, что я пошла только для того, чтобы не обидеть, все-таки он взрослый человек… Но только мы сели и начался журнал, как завыли сирены и сеанс прекратился — тревога! Всем пришлось спуститься в фойе, благо оно в подвале, и проторчали там более часа. Петр Иванович пытался развлекать меня, но я уже думала лишь как бы скорее домой добраться и ничего толком не слушала. Он, видно, понял это и совсем замолчал. Кончилась тревога, хотел Петр Иванович меня проводить, но я наотрез отказалась и галопом понеслась домой. Мама сегодня дежурит в ночь на работе, бабушка легла спать, Николай придет не раньше двенадцати — вот я и могу спокойно сидеть над своей тетрадью.

Да, забыла сказать: с нами вместе теперь живут бабушка с Николаем (мамин младший брат, тридцать лет, работает на ГЭС и в армию его не взяли, хотя он и записывался добровольцем). Они пешком пришли из Лигово — там почти все сгорело в первые же дни налетов.

Странно — война идет, сводки с фронта такие, что читать страшно, в городе роют окопы, бомбоубежища строят, а жизнь идет своим чередом, как говорит моя бабушка. И я вот думаю не только о войне, но и о Косте, и о моем красивом сменщике Матвее, и о том, что впервые ходила в кино со взрослым дядей, который вроде за мной ухаживает. И когда вспоминаю, как сегодня налетела на Костю и, как заяц, рванула в другую сторону, мне становится так смешно… Наверное, я все-таки очень легкомысленная! Кончаю, пора спать. Только бы тревоги больше не было!

15 июля 1941 г.

Сводки ужасные. Бои идут под Лугой (я там в пионерском лагере была). Тревоги по нескольку раз в день. И почти каждую ночь. Устаю здорово, но с нормой уже справляюсь. К счастью, мои отношения с мастером никак не изменились после того злополучного похода в кино, будто ничего и не было. Впервые

делала деталь с нарезкой — трудно, зато интересно. Работа токаря мне определенно нравится: из ржавых, неуклюжих заготовок получаются блестящие, красивые и, главное, нужные детали. Мне нравится даже то, что деталь снимаешь со станка, а она — теплая, будто живая. И к запаху машинного масла привыкла.

28 июля 1941 г.

Нет времени и сил записывать. Работаю уже самостоятельно. Присвоили третий разряд. Делаю мелкие детали, которые требуют большой степени точности. Почти без брака — из ОТК хвалили. В воскресенье, когда пересмена с ночи на день, взяли обязательство работать дополнительно еще четыре часа — кончаем не в восемь утра, а в двенадцать дня, т. е. шестнадцать часов подряд. Эти четыре часа проходят как в полусне: руки работают, а голова время от времени отключается, и вдруг видишь обрывки снов. Часты ночные тревоги, но в щели, вырытые возле цеха, не уходим. Очень страшно грохочут зенитки вокруг завода. Плохо, когда тревога перед концом смены и приходится задерживаться до объявления отбоя. Знаю, как мама и бабушка волнуются в таких случаях.

У нас дома, как и у всех, окна закрыты светомаскировкой — бумажными шторами, а сверху — байковыми одеялами, чтоб не оставалось щелей. Убирать эту маскировку на день трудно, поэтому только отгибаем угол, и днем в комнате полумрак. Вечерами включаем лишь настольную лампу, а как тревога — тушим везде свет, чтоб не нарушить маскировку, если вылетят стекла.

Хотя и устаю здорово, вечерами прихватываю два-три часа от сна и работаю с жильцами нашего дома: сгружали песок с трамвайных платформ, насыпали его в мешки. Мешками закладывают витрины магазинов, памятники. Рыли щели в соседнем сквере и в Польском саду (там стоят зенитные орудия и во время тревог они грохают так, что стекла звенят).

Когда начинают выть сирены, все должны спуститься в убежище (оборудовали в подвале). Мы с мамой и бабушкой бежим к тете Лене (она с трехлетним Валькой живет за углом, на первом этаже) или, если наше дежурство, поднимаемся на чердак и выходим на крышу — сбрасывать зажигалки, тушить пожар, если возникнет. С крыши весь город как на ладони. Луна яркая. Грохот зениток, рев самолетов, зеленые лучи прожекторов чертят по всему небу… Но вроде пока все атаки наши самолеты отбивают. Один раз видела, как в перекрест лучей поймали немецкий самолет и вели его в сторону Пулкова — там, говорят,

и подбили.

От папы было одно письмо: ему присвоено звание майора и он батальонный комиссар. Пишет, чтоб за него не беспокоились. Алексей, папин брат, тоже на фронте (а Вера, его жена, как раз этой весной с ним разошлась и ушла к какому-то Владимиру. Недавно она приходила к нам, плакала и о чем-то шепталась с мамой).

Наши мальчики уже на фронте. Как-то они там? Галка проводила своего Доньку — он попал в морские части и очень доволен. Из той троицы мушкетеров, которые пели на школьном вечере, когда мы познакомились с Костей, ушли добровольцами Алька Бернштам и Петя Уманский. А красавец Юрочка Хочинский освобожден по близорукости и поступает в Театральный институт. Неудобно говорить об этом даже самой себе, но мне теперь трудно встречаться с Костей. Он провожает меня иногда на завод, когда иду в ночную смену, и мы говорим обо всем, кроме того, о чем будто условились молчать… Отец Кости ушел на фронт, хотя ему уже около пятидесяти лет, а Косте как-то устроил бронь, и тот явно рад, что его «не тронут».

26 августа 1941 г.

Из газет:

В течение 23/VIII наши войска продолжали вести бои с противником на всех фронтах, и особенно упорные бои на Кингисеппском, Смоленском, Новгородском и Одесском.

Письма в «Правду»: «Держитесь стойко, товарищи ленинградцы! — пишут нефтяники Баку, — «В эти дни, когда над городом нависла непосредственная угроза вторжения кровавых гитлеровских банд, мы умножаем свои усилия на каждый литр горючего».

Из Ташкента: «Мы с вами, дорогие друзья!».

В фонд обороны внесен ценный взнос от семьи Лермонтовых — внучатых племянников поэта: старинные золотые серьги с бриллиантами, которые оценены в 20 тысяч рублей.

После упорных боев оставлен Новгород.

Вот такие сводки с фронта. Налеты на город все чаще и чаще. По нескольку раз в день тревоги. В продовольственных магазинах опустели все полки. По карточкам почти ничего не дают. Талончики на крупу и мясо уходят на обеды в столовке завода. Вместо жиров выдали по 500 г сыра.

Многие уже эвакуировались — заметно меньше детей на улицах. Опустели некоторые квартиры. Из нашей уехали Долиновы с ребенком, Таточка Ладынина с матерью и бабушкой

(приглашали к себе в Калининскую область, но мы сказали: «Ни за что из Ленинграда не уедем»). Уехала с театром в Среднюю Азию Луиза Ивановна Кенго, а мужа ее почему-то арестовали (говорят, потому, что немец…), и бабушка их осталась теперь одна. В квартире нашей только Сыромятниковы — Вера Степановна с сестрой Валей и восьмилетним Женькой, старушка Кенго да мы четверо.

Получила получку, купила себе материал на зимнее пальто (очень красивый черный искусственный каракуль) и даже отдала шить. Самой стыдно — такое вокруг делается, а я вот о новом пальто думаю. Но ведь с другой стороны, это первая в моей жизни вещь, приобретаемая на свои деньги, и будет это пальто расклешенное, на оранжевой атласной подкладке. Из пальтового материала уже сшила себе черный берет…

Запишу уж заодно и еще о «мелочах жизни», которые, к сожалению, ноют как зубная боль. Очень неприятно, что я умудрилась поссориться с бабушкой. Вообще-то я люблю ее, удивляюсь ее мужеству, с каким она бросила свою квартиру в Лигове (никогда не жалуется), тому, что в свои почти 70 лет не падает духом, подбадривает тех, кто паникует во время тревог. Но у нее появилась какая-то болезненная подозрительность ко всему, что связано с едой. Свой паек выкупает сама, завязывает в тряпочку хлеб, прячет его. А тут дали сыр, и вдруг ей показалось, что от него отрезан ломтик. А была дома утром только я… Так я обиделась на ее подозрение, что ответила грубо. И вот теперь бабушка решила с Николаем питаться отдельно. И мне, и маме это очень неприятно…

9 сентября 1941 г.

Вчера сильнейший налет в 7 вечера — за Обводным, в конце Международного. Загорелись Бадаевские склады, где все запасы продовольствия. Черный дым полз над городом, и огромное зарево — будто второй закат солнца на южной стороне. Даже до нашей улицы доносится запах гари. В 10 вечера еще тревога — снова бомбили. Мы с мамой были на крыше — чуть не сбросило взрывной волной. Пожары во всех районах города. На днях видела, как разбит дом на Невском, 119. Обрушилась передняя стена и все комнаты обнажены… Есть убитые.

За август положение ухудшилось. Сдали Лугу. Оставлена Мга и прекратилось железнодорожное сообщение. В газетах обращение Жданова и Ворошилова к ленинградцам: «Суровая опасность над городом». Снизили нормы хлеба (служащим — 400 г, детям и иждивенцам — 300). Я уволилась с завода, т. к. получила вызов из института. Но занятий пока нет — все на

оборонных работах. Я сначала рыла окопы вместе со студентами Авиационного института и помогала в перевозке имущества института в новое помещение, на пр. Майорова (Международный, возле Средней Рогатки, где старое здание, сильно бомбят). А потом попросила разрешения работать на участке, где мамин театральный институт копает противотанковые рвы (это в районе Пискаревки, ездим туда на трамвае, до кольца). Ребята веселые, много шутят (один нашел череп лошади и читал монолог Гамлета). Хорошо поют свои студенческие песни. Но и работают тоже здорово. Стараюсь не отставать, и на руках у меня мозоли не сходят. Среди первокурсников увидела Юрочку Хочинского. Он явно дружит с одной девчонкой — Люсей, и я через нее познакомилась с ним, сказала, что видела их троицу, когда они дали на школьном вечере в прошлом году. Он рассказал, что почти все ребята их класса, ушедшие на фронт, погибли — их отправили в бой без винтовок (надо добыть себе оружие в бою…). Алька Бернштам контужен был так, что потерял на несколько дней речь и зрение. Сейчас его выписали из госпиталя и вроде уже лучше, но дали белый билет.

Поссорилась с Костей и, видимо, теперь навсегда. После последней ссоры мы помирились. Но он зашел вчера, а я спала после смены. Хотел оставить записку, и бабушка сказала, чтоб взял бумагу на письменном столе. А там среди тетрадей он обратил внимание на эту, толстую. Наверное, открыл, прочитал что-то про себя и решил, что имеет право читать все. Взял тетрадь домой, а мне оставил записку, чтоб «не беспокоилась». Возмутилась я страшно — ведь это все равно, как письма чужие прочитать! А сейчас пришла с работы — тетрадь на месте и в ней письмо. Пишет, что после того, что он прочитал, и вообще узнал «некоторые детали» моего истинного отношения к нему, он считает, что нам лучше не встречаться. Не знаю, может он и прав. Но моя обида на него ничуть не меньше, чем его — на меня.

Продолжаю 14 сентября. На оборонные работы ездим с мамой по-прежнему с театральным институтом. Рвы огромные, в четыре метра глубиной. Неужели здесь могут появиться немецкие танки?! Отсюда очень страшно смотреть, как летят на город бомбардировщики, как «ястребки» отгоняют их, как вспыхивают залпы и облачка дыма от зенитных орудий и как один за другим появляются пожары. Смотришь — и бессилен помочь, и не знаешь — цел ли твой дом, твои близкие… Хорошо, что хоть мы с мамой тут вместе.

По окончании смены (чередуемся то в день, то в ночь) устаем так, что в трамвае спим даже стоя. Дорога длинная — больше полутора часов, а если застанет тревога, приходится выходить и

прятаться в подъездах домов или в щелях. Тревоги теперь бесконечны и по нескольку раз в сутки. Больше всего мечтаю выспаться. И об еде мысли лезут в голову (чтоб досыта). Еще раз снизили нормы хлеба — служащим 300 г, детям 300, иждивенцам — 250. Какие длинные очереди в булочных и как медленно они двигаются! Ведь каждый паек отвешивают с аптекарской точностью, а возле прилавка все молча следят за стрелкой весов… Мы с мамой берем с собой на работу мешок и, прежде чем ехать с окопов домой, ходим по полю и ищем остатки капустных листьев или невыкопанную картошку. Но так делают многие, и ходить приходится все дальше и дальше. Из этих темно-зеленых, с гнилью, листьев варим горькие щи (раньше такая «хряпа» шла только на корм скоту). Жалеем, что совсем не запасли крупы или муки. Осталась в буфете случайно банка крахмала да пучок сухих листьев петрушки — вот и заправляем теперь щи ложечкой крахмала и щепоткой этой пахучей травки. Выдали по 200 г постного масла — мама добавляет в тарелку и немножко масла. Получается что-то вроде клееобразной похлебки. Если хорошо посолить и горячая, то даже насыщает. Вот если б хлеба побольше… Но хлеб сушим сухариками и сосем (как конфеты), когда пьем чай утром и вечером — так на дольше хватает. Бабушка с Николаем питаются теперь снова вместе с нами, но хлеб выкупают по карточкам отдельно. Как-то очень стыдно, что ее паек на 50 г меньше, чем у нас с мамой. Но, правда, у Николая рабочая карточка и вместе получается одинаково с нами.

Когда мама дежурит в институте, то ночует там, в бомбоубежище, и я тогда еду ночевать к ней. Беру с собой рюкзак (в нем карточки, документы, самое необходимое из одежды на случай, если вернемся, а дома нет — так теперь все делают). А все остальные нужные вещи — белье, обувь зимнюю, которую еще не носим, даже кое-что из посуды — все, что может понадобиться на случай, если останемся бездомными, — запаковали в мешки, подписали фамилии свои, и лежат эти тючки в углу. Если дом рухнет, то такие узлы легче откопать под развалинами. (Конечно, при условии, что будет кому раскапывать…) В бомбоубежище Театрального института (он находится в старинном особняке на Моховой улице) живут сейчас многие студенты и преподаватели, как в общежитии. И в свободные часы между работой и тревогами там идут занятия. (В моем авиационном институте занятия начнутся в октябре). В одном углу на койках сидят «театроведы» и им что-то из истории шекспировской драматургии рассказывают, в другом — «режиссеры» обсуждают постановку своего будущего спектакля, в третьем — о системе Станиславского с «актерами» речь идет или даже сценки разные

репетируют. Меня здесь уже за свою принимают, и я помогала в подготовке костюмов для одной концертной бригады, которая готовила программу для выступления в госпитале (ох, сколько уже раненых! Почти все школы, дома культуры, детские сады превращены в госпитали).

19 сентября 1941 г.

Заняты Стрельна, Пулково. На стенах листовки — «Враг у ворот». Объявлено всеобщее обязательное военное обучение мужчин от 16 до 50 лет. Замаскированы огромными сетками с аппликацией зелено-бурых пятен зенитные батареи на Марсовом поле и на других площадях, закрашены серой краской шпиль Адмиралтейства и купол Исаакиевского собора. Возле Московских ворот и у Кировского завода стоят «надолбы» — крестовины, сваренные из рельсового железа, на случай прорыва танков. Тревоги ежедневно, по нескольку раз. Вчера вечером сильно бомбили наш район. Мы с соседями нашего подъезда сидели в дворницкой (в подвале только те, у кого дети, — там все переполнено).

К полуночи вроде поутихло, и мы вышли во двор, но вдруг буквально над головой жуткий нарастающий вой и через мгновение — грохот взрыва. Было полное ощущение, что это конец, и, странно, как-то в секунду будто пронеслась перед глазами вся жизнь, и я спешила вспомнить (успеть вспомнить!) что-то самое главное. Утих грохот, и я поняла, что осталась жива… Обнаружилось, что лежу на земле, как и мама, и все, кто был рядом. Оказалось, бомба упала на соседнюю улицу, на 2-ю Красноармейскую, и разрушила угловой дом. Много жертв…

Бабушка наша нашла себе работу — плетет маскировочные сети. Огромные мотки пряжи приносит с той самой фабрики игрушек, где я проводила политинформации (будто тысяча лет прошла с тех пор). На фабрике этой теперь шьют брезентовые рукавицы, маскировочные халаты, и на дом выдают плести сети (на них потом наклеют куски ткани, будто осенняя листва). Бабушка умеет плести рыболовные сети и с этой работой прекрасно справляется, научила и меня плести, и соседку. Как свободная минута, так помогаю ей и отношу готовую продукцию. Мама на работе готовит библиотеку к эвакуации. Но мы решили: если даже ее институт эвакуируют, мы останемся и не уедем.

Недавно шла через Невский — все витрины закрыты щитами, мешками с песком, сняли с постаментов и увезли коней с Аничкова моста. А на гранитном основании, осиротевшем без этих буйных коней, приклеен большой лист со стихами Джамбула[19]:

«Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
Мне в струе степного ручья
Виден отблеск невской струи.

Дальше переписываю с газеты — тронули эти стихи меня до слез почему-то…

Если вдоль снеговых хребтов
Взором старческим я скольжу,
Вижу своды ваших мостов,
Зорь балтийских голубизну,
Фонарей вечерних рои,
Золоченых крыш острия…
Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
Не за тем я на свете жил,
Чтоб разбойничий чуять смрад,
Не затем вам, братья, служил,
Чтоб забрался ползучий гад
В город сказочный, в город — сад…
Не затем к себе Ленинград
Взор Джамбула приворожил!
А затем я на свете жил,
Чтобы сброд фашистских громил,
Не успев отпрянуть назад,
Волчьи кости свои сложил
У священных ваших оград.
Вот зачем на Север бегут
Казахстанских рельс колец,
Вот зачем Неву берегут
Ваших набережных края…»

(и так дальше — эти стихи по-восточному длинные). Кончаю, опять тревога.

20 сентября 1941 г.

Вчера сильнейший налет. Бомбили в районе Охты и Старо-Невского, Прямое попадание в госпиталь угол Суворовского. Огромный пожар, много жертв. И сегодня из-под развалин откапывают. А ведь это были беспомощные раненые, которые даже спуститься в убежище не могли…

24 сентября 1941 г.

Сегодня у нас с мамой выходной день. Ей в институте дали билеты на спектакль «Сирано де Бержерак», и мы весь день провели в театре, так как несколько раз спектакль прерывался из-за тревог. Играли актеры театра им. Ленинского комсомола, но в помещении Малого оперного, т. к. их здание пострадало от бомбежки. Начался спектакль в 12 часов. Мы вышли из дома рано и шли почти всю дорогу пешком — на трамваи рассчитывать не приходится, после каждой тревоги чинят пути. Два дня назад огромная бомба попала в Гостиный двор, разворотила все внутри. Пожар продолжается до сих пор. Шли мимо, и так было неправдоподобно — горит внутри коробка такого вечного, казалось бы, такого неотъемлемого от Ленинграда, от каждого из нас Гостиного, а жизнь продолжается, каждый спешит по своим делам. Мы вот даже в театр идем… Между прочим, после каждой тревоги, когда выходим из бомбоубежища, прежде всего задаешь вопрос: «Исаакий цел?.. Адмиралтейство живо?..» И услышав — «Пронесло на этот раз», с облегчением вздыхаешь: ну, значит, еще ничего. Еще жить можно.

Спектакль отличный. Главную роль играл Чесноков[20], да так, что несколько раз его прерывали аплодисментами. Но до чего же было обидно, когда на самом интересном месте появлялся из-за кулис администратор и извиняющимся голосом объявлял «вынужденный антракт из-за очередной тревоги»! Взрослые, как дети, пытались его уговаривать — мол, продолжайте, мы все привыкли к тревогам и все равно в подвал не пойдем. Но тот был неумолим, занавес закрывался, выстрелы зениток слышались все ближе и публика нехотя спускалась в бомбоубежище. Много среди зрителей военных, некоторые с повязками, видать, из госпиталя. Были и такие, кто узнав, что бомбят Выборгский район, поспешили уйти. Мы с мамой решили остаться до конца, благо паек хлеба взяли с собой, а в буфете продавали газированную воду, и мы так «пообедали». Первая тревога продолжалась почти полтора часа, и мы жалели, что не захватили с собой вязание. Многие женщины доставали из сумок рукоделие и время тревоги у них не пропадало даром. Вторая тревога была короче, но прервала последний акт, когда Сирано приходит в монастырь к Роксане, смертельно ранен, а она об этом не подозревает… Близких разрывов не было слышно, только зенитки, и мы не уходили из ложи. Молодцы актеры — понимали, что впечатление нарушено, и по окончании тревоги сыграли это действие еще раз с начала и до конца (было страшно — вдруг опять прервут!). Последние строки монолога Сирано такие мужественные, такие прекрасные, что, наверное, не только я, но и

все, кто был на этом спектакле, шли домой и мысленно повторяли себе:

«…Дорогу гвардейцам — гасконцам,
которые даже на солнце
наводят кромешную тьму!».

К стыду своему, я не знала до сих пор этого драматурга — Ростана, и теперь возьму у мамы в библиотеке, прочитаю, что у него еще есть. Правда, читать некогда, если только во время тревог, когда грохочет не слишком близко.

На днях шла поздно по Загородному проспекту домой, спешила, но возле Пяти углов началась тревога и загнали в бомбоубежище. Как поутихло, выскользнула мимо дежурных и перебежками от одной подворотни до другой добралась до Витебского вокзала. Тут уж совсем тихо стало (хотя отбоя еще не объявили и во всех репродукторах стучал метроном), и я пошла спокойно вдоль Технологического института. На улице — ни души. Но вдруг слышу, впереди кто-то звонко запел: «Сердце красавицы склонно к измене…», и так сразу весело стало! Вгляделась — впереди по бульвару идет парнишка и поет! Я взяла да и подтянула ему следующий куплет. Он оглянулся, рассмеялся и еще громче запел. Так и дошли мы до площади под собственный аккомпанемент. С герцогом покончили, перешли на арию Тореадора. С сожалением свернула я на свою улицу и еще долго слышала — «Тореадор, смелее в бой!». Потом наступила тишина, снова один метроном стучит. Я бодренько добежала до нашего дома, и тут вдруг как ахнет! Как загрохочет все вокруг! Я как подкошенная свалилась на ступеньки подъезда и даже расплакалась — очень уж испугалась… А потом сообразила: ведь это просто зенитки в Польском садике дали залп!

С октября начинаются занятия в моем авиационном институте. Пока я продолжаю помогать маме на ее работе по упаковке книг. Если удается, присутствую на лекциях театроведческого факультета, а иногда и актерского. Даже принимала участие в этюдах на «внимание», которые проводил с первокурсниками режиссер Леонид Федорович Макарьев[21].

Много времени занимают всякие хозяйственные дела. Прежде всего надо успеть в перерывах между тревогами отстоять очередь за хлебом (а вчера, например, было за сутки 11 тревог). Ездила, а вернее, ходила по окраинам города в поисках лавчонок, где еще есть керосин. Газ отключили, и снова вернулись примусы, керосинки, хорошо, что мы их еще не выбросили. Но и керосин в городе кончился, и теперь у нас в комнате поставлена крохотная,

будто игрушечная, печурка на ножках — купили по случаю на рынке. Труба от нее изгибается и вставлена прямо в дверцу нашего камина. Заготовка дров для печки тоже моя обязанность. Дрова теперь на вес золота (можно купить на рынке вязаночку дров за пайку хлеба). Мы с Николаем распилили остатки того, что было у нас в сарае, и перенесли все домой, положили в кухне (там вылетели стекла и холодно, как на улице). Теперь я каждый день беру несколько поленьев, несу вниз во двор, там колю их на маленькие короткие чурочки, потом складываю в мешок и волоку их снова на четвертый этаж. Так обидно, когда эти дровишки разгорятся, уже чай закипает, а тут тревога, и приходится заливать водой пламя. Это необходимо — многие пожары начались именно из-за того, что оставили непотушенной плиту. На печурке утрами сушим ломтики хлеба (так их на дольше хватает), целыми днями держим горячий чайник (когда пьешь кипяток, не так чувствуется голод), вечерами сидим вокруг, греемся и читаем, шьем. Электричество частенько отключают, а свечку бережем — она у нас одна. До вечера мне хлеб дотянуть не удается и болтушку из крахмала — «суп», ем пустую, без ничего… Унизительное это чувство — зависеть от своего желудка: и не хочешь, а он все время напоминает о себе.

27 сентября 1941 г.

Случается по десять налетов в день. Сильно бомбят район Кировского завода, оттуда переселяют жителей на Петроградскую сторону, на Васильевский остров. Достается и нашему району. После отбоя тревоги, которая продолжалась до полуночи, сбегала к дому Кости. Оказалось, там бомба угодила в Фонтанку, разрушена только набережная, и стекла во всех домах вылетели. На обратном пути увидела Костю — он шел от нашего дома. Уже не в первый раз замечаю его на нашей улице после тревог, видать, тоже волнуется. Он меня не заметил, и я его окликать не стала.

1 октября 1941 г.

Снова снизили нормы хлеба: рабочим 300 г, служащим и детям — 200. Начались обстрелы города из тяжелых орудий со стороны Пулкова. Это страшнее, чем налет, т. к. внезапно и без объявления тревоги.

Вернулся с фронта Алексей, папин младший брат, муж Веры. Он был ранен под Новгородом в ногу, чуть не отняли. Хотя и выписали его из госпиталя и дали белый билет, ходить он почти не может и лежит в пустой квартире один (соседи уехали). Буду теперь во второй половине дня ходить к нему. Надо старый стол кухонный на дрова расколоть, печку топить (достали ему такую

же печурку, как у нас) и просто поговорить. Устает он от одиночества, тяжело уход Веры переживает. О ней он никогда не говорит, но стал очень нервный, озлобленный, чуть что — кричит, ругается. Мама просила, чтоб я его успокаивала, не позволяла волноваться, но он любой разговор сворачивает на то, чему был свидетелем на фронте: как их часть отступала, сколько людей погибло… Да с такой болью рассказывает, что его слушать просто страшно. Он считает, что в подготовке к обороне многое было не сделано или сделано плохо. Рассказывал и то, что действительно, многие отряды добровольцев, особенно молодежи, отправляли в бои без оружия… я об этом и раньше слыхала, но не верила.

В бомбоубежище Алексей не спускается — не может, да и не хочет. «Один черт, где подыхать», — говорит. А меня, как смеркается, гонит домой, т. к. вечерами постоянно налеты и мама беспокоится. И так жутко оставлять мне его одного в темной квартире. И когда на другой день иду к нему, боюсь завернуть за угол 10-й Красноармейской (их дом на Лермонтовском) — вдруг там уже только развалины… Приходила Верушка, расспрашивала об Алексее, просила узнать, не согласится ли он, чтобы она приходила на смену со мной ухаживать за ним. Но он ответил так, что я даже не рискнула точно передать ей, а просто сказала — не ходи, не надо. Она заплакала и ушла.

Алексей привез немного солдатских, засохших как камень сухарей. Я разбиваю их молотком, жарю на сковородке (нашли в шкафу бутылку с остатками постного масла) и заливаю крутым кипятком — получается очень вкусная похлебка. Мне стыдно перед мамой и бабушкой, что я эти дни подкармливаюсь возле Алексея, но мама сказала, что дополнительный ежедневный маршрут да то, что я стираю там понемножку, убираю — все это как дежурство в госпитале, поэтому не грешно, если выпадает на мою долю лишняя тарелка супа. Но в том-то и дело, что ведь для Алексея эта тарелка не «лишняя». Я понимаю это и каждый раз хочу отказаться, но он прикрикивает, чтоб я «не ломалась», говорит насчет того, что я «растущий организм». И я не выдерживаю и сажусь вместе с ним. А устаю я последнее время сильнее еще и оттого, что раза два в неделю хожу отправлять письма Адке на главпочтамт. Эвакуировались они с мамой еще в конце августа (в сентябре уже была перерезана железнодорожная связь, и теперь мы в кольце…). Они уезжать не собирались, но почему-то вдруг всем латышам велели выехать в Киров. На сборы дали один день, и мы попрощались с нею только по телефону. Обещала ей регулярно писать обо всем, что здесь у нас. А о разрушенных домах, чтоб сообщить незаметно для цензуры, договорились об условных фразах, вроде была я по такому-то

адресу у наших общих знакомых. Привыкла я уже эти письма-отчеты посылать, а на главпочтамт отношу, т. к. иначе могут и не дойти. В такие дни устаю здорово, потому что в общей сложности это около десяти километров получается. А как доберусь до дому, то и у Алексея, и у себя одни и те же дела: нарубить дровишки, вынести ведра (канализация не работает), принести воду (водопровод теперь часто отключают), помыть, убрать… Когда же сяду наконец к растопленной печурке, нет сил двинуться. И спать очень хочется все время. Но здесь непременно завоет сирена, и уж тут не до отдыха. Если тревога застает меня у Алексея, то мы тушим печку и слушаем: если близко гремят зенитки — пережидаю, а если вдали, то бегу домой, стараясь не попадать на глаза дежурным, иначе сразу в подворотню загонят.

Была в своем авиационном институте. Говорили, что занятия начнут с 1-го октября, да вот еще на неделю откладывают. Трудновато будет сочетать все мои обязанности с институтом. Теперь самые обычные дела вырастают в проблему. К примеру, замучились с баней: то нет воды, то простояли в очереди, а там горячую воду отключили, одна холодная… А теперь в нашу баню снаряд попал и надо ходить в ту, что на Обводном канале, а работает она два раза в неделю.

Написала про снаряд, который в баню попал, и вспомнила.

Возвращалась я на днях от Алексея, уже в сумерках, спешила, и возле Троицкого собора хотела обогнать телегу, на которой что-то везли прикрытое брезентом. Сначала не поняла, думала — дрова везут. Сзади брезент сдвинулся, вгляделась — обнаженные трупы. Навалены друг на друга, как дрова. Внизу — женщина, голова запрокинулась, и длинные рыжие волосы метут асфальт… А на лице этом голые ноги мужские. Покачиваются в ритме шагов лошади, которая тянет телегу… И так мне пронзительно страшно стало. Так все это противоестественно, противочеловечно. Женское лицо, золотые волосы… И ноги по этому лицу стучат. Мертвые ноги… И живая лошадь мерно переступает — для нее это просто груз…

Как закрою глаза, все снова вижу…

18 октября 1941 г.

Начались занятия в институте. В аудиториях холод, сидим в пальто. Очень ветреная и холодная в этом году осень. Дыры в окнах забиты фанерой. Крышки столов поцарапаны и пробиты осколками снарядов, с трудом пристраиваешь тетрадь так, чтобы карандаш не прорывал бумагу.

Курс моторостроения будут читать ускоренными темпами, чтобы уже следующей осенью нас можно было использовать на

практике как техников. Замечаю, что с трудом понимаю некоторые лекции по сопромату, по математике, — кружится голова, клонит в сон. Интереснее и легче на лекциях по механике, по начертательной геометрии — здесь все более конкретно, зримо. Многое надо проходить самостоятельно, и я теперь не расстаюсь с учебниками даже в бомбоубежище. Но чаще во время тревог мы теперь не выходим, а собираемся все во внутреннем коридоре квартиры, куда поставили кухонные столы возле печурки, стулья, а бабушка Кенго даже свой сундучок, на котором и спит здесь.

Часто отключают электроэнергию, и вечерами жжем остатки елочных свечей. Когда кончатся, придется переходить на «коптилку», как у соседей. Алексей уже смастерил и себе, и нам.

Теперь после института иду к Алексею (по дороге выкупаю хлеб по его карточкам, и каждый день боюсь: случись что со мною, и он останется без хлеба, совсем один). А как управлюсь с хозяйственными делами, так садимся у печурки, и он помогает мне разобраться в том, что не поняла на лекции или в учебнике. Нога у него почти зажила, но ходит с трудом и больше лежит. Похудел он сильно и ослаб — мужчины труднее переносят голод. Сухари у него кончились, с военного довольствия его сняли, и теперь он, как все, имеет только то, что дают по карточкам. Правда, у него рабочая категория.

В столовой получаю на него и себе суп (водичка, где плавают крупинки) и кашу ячневую (на порцию — две-три столовых ложки). Дома все это смешиваем, разводим кипятком (чтоб побольше), разливаем поровну в две алюминиевые миски. Нормы хлеба снова снизили — рабочим 300 г, служащим и иждивенцам (т. е. маме, бабушке и мне) — 150. Если б хоть хлеб был настоящий, а то сырой, тяжелый. Говорят, что в хлеб теперь целлюлозу примешивают и еще что-то.

Бомбят по-прежнему. Особенно вечерами, когда люди с работы идут. Трамваи, троллейбусы почти не ходят, т. к. не успевают ремонтировать пути. Сильные пожары. Их не тушат, если люди спасены, и они тлеют неделями. Сгорел Народный дом и Американские горы (пламя даже в нашем районе было видно). Бомба попала в Зоосад, много зверей погибло, и слон в том числе. Некоторые животные разбежались, и их ловили по улицам.

Почти во всех домах прекратилась подача воды. У нас тоже идет с перебоями, часто приходится ходить за водой в прачечную, на первый этаж. Соответственно вышла из строя и канализация, и каждой семье приходится заводить свое ведро. Ведра эти со всего дома выносят сливать в угол двора, возле помойки, и для тех, у кого окна во двор, это ужасно. В учреждениях, где много людей,

эта проблема еще трудней. И вообще, должна сказать, что данное житейское обстоятельство угнетает чрезвычайно…

По пути в институт видела, как выносили утром из бомбоубежища трупы тех, кто не успел спастись — прорвало водопровод и их всех затопило…

Не могу больше записывать — нет сил ни физических, ни душевных. Когда пишу, все снова встает перед глазами… Уберу тетрадь эту в свой тайник до лучших времен.

Через много лет. То, что запомнилось

Кажется, это было в конце ноября. После бомбежки начался пожар в доме угол Лермонтовского и десятой Красноармейской (это напротив дома, где жил Алексей). Жильцы выехали, а коробка здания еще долго тлела и дымилась — пожар никто не тушил. По пути к Алексею я несколько дней ходила мимо этого дома и однажды заметила в разбитой витрине магазина неподвижную фигуру мужчины. Он сидел скорчившись в уголке и спал, видать, согрелся у тлеющих углей. На следующий день он был на том же месте, но уже лежал на боку, подтянув колени. А когда я увидела его и через день в той же позе, то поняла, что он умер. Потом витрину занесло снегом.

* * *

Перед ноябрьскими праздниками стало известно, что парад и демонстрация отменяются. Все понимали, что в эти дни город будут бомбить с особенным ожесточением. В ночь с 6-го на 7-е мама дежурила в институте, и я вечером должна была приехать к ней, чтобы ночь провести вместе.

Думала выбраться из дому засветло, но задержалась в очередях — по карточкам выдавали яичный порошок. Трамвай тянулся как черепаха, и была мысль лишь об одном: как бы успеть доехать хотя бы до Невского раньше, чем начнется тревога. Вот уже и Невский, мне выходить на следующей остановке, радуюсь, что так удачно. Но только вагон тронулся — завыли сирены!.. Немцы пунктуальны — ровно семь часов. Хотела отсидеться в вагоне, но кондукторша всех выгнала, пришлось идти в подворотню возле углового гастронома. По радио в это время начали трансляцию торжественного заседания из Москвы, и из всех репродукторов звучит голос Сталина. Речь его, по обыкновению, медлительная, с большими паузами, с таким знакомым акцентом. А в это время грохочут зенитки, гудят самолеты, все ближе разрывы бомб…

Улучив момент, когда отвернулся милиционер, перебежала через Невский. И попала в руки дежурной, которая загнала в подъезд возле книжного магазина. Здесь в темноте сгрудилось не менее сотни человек — теснота, плачет ребенок. От выстрелов зениток глохнет в ушах. Вдруг два разрыва бомб совсем близко! Дом вздрогнул, стоящие на пороге выбежали, и я вместе с ними — узнать, куда угодили бомбы. Оказалось — одна во двор больницы на другой стороне Литейного. Здание, кажется, не

пострадало (а там ведь госпиталь), но что-то загорелось и на небе появились красные всполохи. А вторая, говорят, упала где-то в районе цирка. Но ведь это совсем близко от Моховой, где институт!

Прижимаясь к стенам, короткими перебежками, спешу дальше. Вот и длинное здание бибколлектора. На всех этажах его зияют безглазые окна, а на тротуаре сверкающая дорожка битого стекла — видать, от взрывной волны все враз вылетели. Ночь лунная, и эта сторона Литейного залита зеленым светом. Бегу по осколкам стекла, ноги скользят как по льду, падаю, поднимаюсь, снова падаю. Порезала в кровь колени, но это мелочь, главное — скорей добежать до Моховой. Гул самолетов затихает, залпы зениток только издали, и снова начинаю слушать голос Сталина — такой же размеренный и спокойный. И еще какие-то странные звуки доносятся со стороны Фонтанки — тук, тук, тук… Будто включен мотор трактора, мирно так стучит, как летом в деревне. Это меня успокаивает, я замедляю шаги, осталось пройти переулок Белинского и свернуть на Моховую. Поворачиваю за угол и застываю от ужаса — вся Моховая в огне! мечутся багровые люди, мелькают каски пожарных, грузовые и пожарные машины перегородили улицу и никого не пускают. Какие-то команды, крики, плач… И над всем этим — языки пламени, кажется, что все дома горят одновременно. И звук пожарного насоса совсем рядом — тук, тук, тук! А я-то думала, что это трактор… Пытаюсь прорваться сквозь цепь дежурных, которые выводят в узкий проход между машинами плачущих женщин и детей — меня отшвыривают. Тоже плачу, что-то кричу. Пролезаю на коленях под машиной, бегу мимо горящего дома и замечаю, что впереди пламени нет. Горят только два угловых дома возле церкви, а дальше вроде все спокойно. Уже видно здание института — старинный особняк, д. № 34. Но вот, не доходя до него, дом № 36, где до войны была глазная клиника, а теперь военный госпиталь. Возле этого дома снуют люди, выносят носилки с ранеными, некоторых ведут под руки. Подбегаю, вижу, что медикам помогают студенты института, преподаватели. Оказывается, в госпиталь попала бомба, но не взорвалась, повисла между перекрытиями, и всех госпитальных переселяют в соседние дома, в том числе в здание театрального института. Я тут же включаюсь в дело, среди мечущихся людей разыскиваю ходячих раненых. Они все с повязками на глазах, беспомощно вытянув руки идут неизвестно куда. Я увожу их в подъезд института. Там в вестибюле и двух больших аудиториях первого этажа на полу раскладывают матрасы и при свете коптилок медперсонал госпиталя размещает своих подопечных. Здесь же студенты и

преподаватели института. У всех какое-то взвинченное суматошное настроение — громко перекликаются, рассказывают, где и как их застал вой и грохот бомбы, о том, как не успели даже испугаться, но у каждого мелькнула мысль — это все! это конец! Почему-то не было разговоров про то, отчего бомба не взорвалась, никто не упоминал, что она может быть замедленного действия и оставаться в здании опасно.

Я побежала разыскивать маму. Пост дежурного возле телефона в деканате — это маленькая комната на первом этаже, окно которой выходит во двор госпиталя, где висит сейчас между этажами бомба… Мама очень обрадовалась, что я добралась благополучно, рассказала, как при падении бомбы вздрогнул весь дом и «казалось, что все провалилось в тартарары». Когда пришла в себя, то обнаружилось, что вся комната засыпана кусками штукатурки, вылетели фанерки, которыми были заколочены рамы, смело папки и бумаги со столов. Но, к счастью, мама в этот момент находилась в углу, отгороженном от окна огромным старинным шкафом. Стекла в нем лопнули, но сам шкаф выстоял.

Помогла маме прибрать немножко, заколотили снова окно, вытряхнули из шкафа все папки, позвали парней и передвинули шкаф, заслонив окно. После этого мама обошла все здание, убедилась, что все в порядке — госпитальных напоили чаем, и они спят. Дежурные МПВО на местах. Прибыла специальная команда и оцепила место, где упала бомба (сказали, что утром ее, видимо, будут разминировать). Хотя здание института входит в опасную зону в случае взрыва, но почему-то переводить всех людей в другое место не стали, и мы успокоились. Может быть, эта бомба вообще без взрывателя, бывало и такое.

Мы с мамой тоже напились чаю и улеглись спать на клеенчатом диване под охраной нашего могучего шкафа. Нам серьезно казалось тогда, что он надежно заслоняет нас. Ночью звонил телефон и мама что-то отвечала, а я спала без просыпу, радуясь, что до утра не было больше ни одной тревоги. Утром мама сдала дежурство, и часов в десять мы отправились домой. Серенький денек, моросил дождь со снегом. Прошли мимо тлеющих стен углового дома. Внутри все выгорело, осталась одна коробка. Посреди улицы громоздились остатки мебели, жильцы что-то откапывали, сносили с кучи уцелевшие веши. На углу Литейного и Некрасова зашли в столовую, взяли на карточные талоны по пол-литровой баночке пшенного супа и побрели домой. Так странно было — день праздничный, 7 ноября, а все вокруг будто вымерло. Редко, когда военная машина проедет или прохожего встретишь. Вагоны трамваев стояли друг за другом — где-то вчера порвало провода. Узнала, что по Садовой линии

трамваи еще ходят. Свернули на Невский и пошли туда. Здесь было немножко оживленней, но все равно в голове одно: впервые за всю жизнь в этот день — и без демонстрации, песен, музыки. Правда, репродукторы были включены, и шла трансляция парада из Москвы. Но от этого еще более унылым и даже страшным казался Невский. Заколоченные витрины, осиротевший Аничков мост без Клодтовских коней, застывшие троллейбусы, закопченное, без стекол, здание Публичной библиотеки, обгорелые, изуродованные ряды Гостиного… И люди бредут медленно, ни на кого не глядя, как слепые…

Как ни странно, но некоторые уцелевшие лавчонки Гостиного двора в этот день работали, и мы зашли в угловой и удачно купили несколько мотков белых ниток. Бабушке теперь хоть дело будет, она давно собиралась шторы на окна вязать. (Шторы эти были начаты бабушкой в бомбоубежище, продолжены и закончены мамой уже после войны и теперь, спустя сорок лет, висят на наших окнах в праздничные дни).

* * *

В конце ноября или начале декабря (мне помнится, что 6-го декабря, но, может быть, я ошибаюсь) состоялся симфонический концерт в здании Филармонии. Музыка, звучавшая тогда, потрясла и на всю жизнь осталась особенной, «из тех дней».

Билеты на концерт дали маме в институте. Начинался концерт днем, и мы вышли из дому еще в сумерках, так как идти предстояло пешком, и путь не близкий. Двигались медленно (уже начали отекать ноги), по тропинкам, протоптанным между сугробами, мимо разрушенных зданий и многодневных пожарищ. Пустынной была Сенная площадь, тянуло дымом от обгоревших рядов Апраксина двора и Гостиного. Проходя через Невский, стали встречать прохожих, которые шли в одном с нами направлении, тоже, видать, на концерт, и мы сразу приободрились — значит, концерт состоится. А когда свернули на улицу Бродского, то, совсем как в мирное время, стояли страждущие и спрашивали, нет ли лишнего билетика. И мы, почти стесняясь, достали свои билеты (они были из плотной бумаги вишневого цвета) и, подымая их над головой, с трудом протиснулись среди тех, которые толпились в дверях, уговаривая контролера пропустить их без билета. По-видимому, это многим удавалось, т. к. зал был переполнен. Медленно подымаемся по беломраморной лестнице, минуя гардероб. Молодых не отличить от старых — закутаны в платки, шали, на ногах валенки или самодельные стеганые сапоги с галошами (такие были и у меня). Много военных — с перевязанными руками или на костылях,

некоторые еле идут в сопровождении медсестер, перед ними расступаются, пропуская вперед.

В зале сумрачно и будто все обледенело. Колонны покрыты инеем, тусклый дневной свет еле пробивается сквозь полукружья верхних окон, великолепные хрустальные люстры укутаны чехлами.

Наши места в третьей ложе слева, но там разместилась группа раненых, и мы уступаем им стулья (еле уговорили), а сами встаем возле колонны. Появляются оркестранты, и мы забываем о холоде и усталости — почти все они во фраках. Пусть при этом у некоторых шарфы и валенки, но главное — концертная форма соблюдена несмотря ни на что! Аплодируем — и радость, и гордость за них, и тревога — как же им, бедным, будет холодно! Как замерзли их покрасневшие руки!

Появляется Лев Оборин[22] — с нездоровой отечной полнотой, движется медленно, подходит к самой рампе — очень «домашний», словно старый знакомый каждого из нас — вглядывается в лица, кивает кому-то, досадливо отмахивается от аплодисментов. Долго усаживается, чтоб удобнее, а все оттаивают, расслабляются. Может, впервые за полгода.

Начинается музыка. И такое полное растворение в ней!.. Будто перенесли нас всех в другой мир — мир весны, тишины и солнца. Это Третий концерт для фортепиано с оркестром Чайковского. Вдруг внезапное пробуждение: сначала не могла понять, почему в зале поднялся какой-то шумок, почему на сцене рядом с оркестром (продолжающим играть) какой-то человек стоит, а его жестами, шиканьем, буквально гонят, чтоб прочь уходил. Оказывается, начался артобстрел этого района, и администратор вышел, чтобы прервать концерт. Но публика просит, умоляет, и он в нерешительности подходит к Оборину, к дирижеру. Те, улыбаясь, кивают на зал, и администратор на цыпочках скрывается за кулисами. И все с облегчением снова погружаются в волны утешающей, врачующей музыки Чайковского. Но теперь уже сквозь музыку мы слышим разрывы снарядов — дальних, и не очень дальних. Несколько военных тихонько пробираются между рядами к выходу. Как-то сейчас в районе нашего дома? Знаю, что и мама думает о том же. Но если б мы и ушли с концерта, то все равно домой добрались бы не скоро — нас заставили бы переждать обстрел в бомбоубежище.

Отзвучала музыка, и Оборин, дирижер, музыканты принимают шквал благодарности от слушателей и, в свою очередь, пытаются передать свои чувства всем собравшимся, всем, кто в этот день пришел сюда, преодолев слабость души и тела.

Удивительная атмосфера возникает в зале — все мы как одна

большая семья. Многие подходят вплотную к эстраде, что-то говорят оркестрантам, солисту, те отвечают. И даже в пререканиях с администратором публика ведет себя сплоченно, словно взрослые дети. Отшучиваются, доказывая, что никто, мол, из ленинградцев давно не бегает в убежище по каждому сигналу тревоги, ведь они по десятку раз в день случаются. Администратор продолжает уговаривать спуститься в подвал, т. к. второе отделение все равно не начнется до отбоя тревоги. Некоторые послушали его (кажется, соблазнил кипятком, который можно там получить). Но большинство осталось, сгрудились вокруг сцены. Просят Оборина поиграть «просто так». И он играет — тихо, словно для себя — из «Времен года» Чайковского «Баркаролу», «Осеннюю песню», все те милые пьесы, которые у каждого ассоциируются с домом, покоем, счастьем…

А разрывы все громыхают. Один совсем близко — вздрогнуло здание. (Позднее узнали — в Пассаж попал). Фантастические аккорды от слияния нежных звуков рояля и разрывов, завывания снарядов. И от сочетания несочетаемого, от контраста чувств, мыслей — какая-то душевная переполненность, то, что трудно объяснить словами. Замечаю у мамы слезы на глазах. И не только у нее. Неловко разглядывать эти изможденные, такие беззащитные сейчас лица, но хочется запомнить их, вобрать всех в себя. Опускаю глаза, чтоб скрыть, что и у меня комок в горле.

Потом Оборин ушел отдыхать, а мы с мамой устроились в затемненном уголке на банкетке, медленно съели (сосали) принесенные с собой сухарики сегодняшнего пайка — по два сухарика, длиной и толщиной в мой указательный палец. Один уже был съеден утром, с кипятком, а четвертый, последний, оставлен на вечер, когда будем варить «суп» из крахмала. Прижавшись друг к другу немножко подремали.

Отбой тревоги дали часа через полтора. И когда стали рассаживаться, я вдруг увидела, что из рядов, неподалеку от нашей ложи, мне машет рукой какой-то военный. Вглядываюсь и с трудом узнаю: мальчик из моего класса, тот самый озорной Венька Прайс, в которого я была влюблена в течение шести лет и по этой причине умудрилась ни разу за все школьные годы не только не поговорить с ним, но даже, кажется, и стоять рядом не отважилась. А тут он смеется, показывает на свободное кресло возле него. И я ему очень обрадовалась, вся моя дурь вмиг прошла. Сели мы вместе (мама тоже уже имела место), и с удовольствием поговорили, пока оркестр усаживался. Оказалось, он через два дня на фронт уходит. О наших ребятах друг другу рассказали, кто что знал. «Слушай, а мы ведь с тобой, никак, впервые разговариваем? — вдруг спрашивает. — Отчего это ты

всегда в школе от меня как заяц от волка бегала?». «Так я же влюблена была в тебя, вот и боялась даже в глаза взглянуть». Он так и расхохотался — «А теперь не боишься?». «А теперь не боюсь! И вообще я тогда такая дура была». Посмеялись мы оба. А тут и второе отделение началось. (По окончании концерта Венька спешил в часть, взял мой адрес, обещал писать. Но ни одного письма я от него не получила. Позднее узнала, что он погиб).

Пятая симфония Чайковского… Об этом не расскажешь. Музыка будто взяла нас всех в свои объятия и не выпустила, пока не замолк последний звук, Это был такой мощный заряд энергии, силы духа, что даже самый слабый не мог не почувствовать обновления и прилива мужества. Помню лишь, что все смахивала рукой слезы и повторяла про себя: «Это про Победу. Эта музыка будет звучать в день Победы!..». А лирические темы, казалось, рассказывают о прекрасном будущем, которое наступит после войны. И в заключение, в финале — снова нарастающие (все приближающиеся!) шаги Победы!.. Через много лет я узнала, что в этой симфонии звучат силы грозного рока, трагической судьбы. Но вот в том, 1941-м, я услышала в этих аккордах ликующую неотвратимость Победы. И убеждена — все как один в зале испытывали то же. Это было видно по лицам, по глазам. Какие тогда были светящиеся лица!..

И оркестранты знали, что играют музыку Победы. Казалось, что вкладывают в исполнение все свои силы, уже переступают грань возможного, так как убеждены — этим подвигом служат приближению Победы!

По окончании помню чувство ирреальности, головокружения. Вместе со всеми аплодировала, что-то выкрикивала. Многие подошли к сцене, жали руки, пытались обнять музыкантов.

Не помню, как шли домой. Вернулись затемно. Но знаю, что заряд мужества, веры в то, что силы добра победят зло — все это дал нам этот концерт, концерт подвига музыкантов и дирижера. Кто знает, может быть, этот концерт и помог выжить и перенести все то, что еще предстояло пережить…

Декабрь 1941-го

Сильнейшие снегопады и морозы. Улицы утопают в сугробах. Кое-где виднеются намертво вмерзшие вагоны трамваев и троллейбусов. Омертвевшие остовы безглазых домов обросли инеем. От тех домов, в которых еще теплится жизнь, протоптаны узкие тропинки. Эти снежные ходы сливаются в извилистую пешеходную дорожку, которая петляет то по одной стороне улицы, то по другой, прижимаясь к домам и огибая завалы. Колея для редких автомашин прокладывается танками лишь по центральным магистралям, но и ее быстро заносит снегом. Прохожие редки. Бредут еле-еле, укутаны в шарфы и платки по самые глаза — не отличишь мужчину от женщины.

Обычные для ленинградской зимы короткие пасмурные дни в этом году превратились в сплошные сумерки — рассветало только около двенадцати, а уже с четырех все вновь наливалось синей мглой. Ночью призрачный лунный свет заливал весь город, делая беззащитным перед налетами.

Ненавидели в ту зиму луну. Но и невольно замечали фантастическую страшную красоту мертвого города в этом лунном сиянии. Буквально будто отпечатался на какой-то фотопластинке в моей памяти силуэт Троицкого собора на фоне призрачно-зеленого неба, когда я шла куда-то поздним вечером по нашей 1-й Красноармейской…

Сейчас удивилась — куда же я могла идти вечером, удаляясь от дома? И вспомнила — это я к Косте шла. А было так. Неожиданно пришло письмо от папы (военный привез — почта не работала уже). Он писал, что отправил нам посылку с оказией. За ней надо идти на Петроградскую сторону, на площадь Льва Толстого. Радость была огромная. Но и путь длинный, готовилась я к этому походу, как на Северный полюс. Все, что было теплого, бабушка с мамой на меня накрутили, заставили утром съесть тарелку горячего крахмального супа, саночки достали хорошие, со спинкой, старое пальтишко к ним привязали, чтоб посылку укутать и от мороза, и от чужих глаз, а то ведь и отнять могут.

Отправилась я затемно и шла по тому маршруту, по которому весной школу прогуливала — через Сенную площадь, по Садовой, мимо Михайловского замка, мимо Летнего сада, по Кировскому мосту, и так — до площади. Кажется, именно эти воспоминания о том, как выглядел этот путь весной, и помогли мне пройти его вновь. По дороге отдыхала, сидя на саночках и боясь уснуть. Шагала ровно, как автомат, чтоб беречь силы. Совсем не помню людей, которые вручили мне посылку. Какая-то темная, как

пещера, комната, и в углу, при свете коптилки, вижу несколько вещевых мешков, среди которых долго ищут мой. Я боюсь, что его не найдут. Все же нашли, и я, не раскрывая, на ощупь сразу поняла — две (!) буханки хлеба, банка консервов и большой мешочек с крупой! Такое богатство! Теперь спасены, теперь будем жить!..

Не помню, как шла обратно. Знаю только, что все волновалась, чтоб никто не понял, какой груз я везу, и радовалась, что так хорошо замаскировала посылку пальтушкой и крепко привязала к санкам.

Уже смеркалось, а я почему-то шла другим путем (наверное, он казался мне короче, хотя это явно не так), свернула по улице Горького, мимо Госнардома, Зоосада, мимо сгоревших Американских гор. На повороте к Тучкову мосту небо полыхает заревом — уже много дней горит большой угловой дом и никто его не тушит. Пламя, уже вялое, нестрашное, вспыхивает в разбитых окнах, тлеет в грудах развороченных балок. Снег рядом с домом розовый и будто теплый, а левее, где Нева, все обрублено густой синевой — оказывается, уже совсем стемнело. Я медленно брела по этой кромочке розового снега, тянула за собой санки и, наверное, дремала на ходу. Вдруг споткнулась о какое-то бревно и упала. Упала не больно и, привалившись к бревну, немножко полежала, отдыхая и разглядывая огонь. Очень не хотелось двигаться — тепло… Но надо идти дальше. Приподымаясь, оперлась руками, «бревно» качнулось, и рядом с собою я увидела белое лицо — труп мужчины в черной шубе, Это я, значит, на него голову положила. Стало жутко. Заспешила из круга розового снега и уже в полной темноте — через Тучков мост, мимо Биржи, через бесконечный Дворцовый, к Исаакию и по проспекту Майорова — до дому. Путь этот совсем не помню, знаю только, что он был таким. В памяти только темный подъезд нашего дома и острая мысль: мы теперь так богаты! Не только хлеб, но и целый мешок крупы (килограмма три, наверное!). Значит, одну буханку можно отдать Косте. Видела его недавно, еле шел, держась за стены домов, меня не узнал… Но тогда надо сделать это сейчас же, не заходя домой. А посылку пока спрячу под лестницей. (Видимо, я тогда уже была больна. Потом выяснилось, что у меня температура, и я пролежала неделю не вставая). Помню, как будто в бреду развязываю мешок, достаю одну буханку, голова кружится от запаха хлеба, но почему-то и мысль не приходит о том, чтоб отщипнуть кусочек, снимаю платок, которым была повязана сверху шапки, укутываю в него буханку, прячу ее за пазухой, а мешок заталкиваю под лестницу. Все это в кромешной тьме и лихорадочно торопясь. Потом иду снова по

пустынной нашей улице по направлению к десятой Красноармейской, и вот тогда-то я вдруг поразилась неправдоподобной красоте лунной ночи…

Долго стучалась в дверь. Открыла мать Кости (он в ночную смену работал). Сначала не узнала меня, все разглядывала, приблизив коптилку к самому лицу. Когда увидела буханку, испугалась, отталкивала от себя: «Не надо! Ты ее где-то украла. Не надо…». А потом заплакала и взяла.

Как шла домой, не помню. Одна картинка только ярко: уже лежу в кровати, укутанная всем теплым, пью горячий чай, вокруг меня суетятся мама и бабушка, смеются и плачут одновременно. Мама осторожно разрезает буханку и протягивает мне ломоть настоящего черного пахучего хлеба, а на нем кусочек маслянистых рыбных консервов…

Эта посылка спасла нас. О второй буханке я ничего не сказала маме ни тогда, ни теперь, когда прошло уже 42 года. И до сих пор не знаю, большой ли был мой грех в этом поступке или не очень. Не о молчании я говорю, а о самом факте: украла хлеб, т. е. посягнула на жизнь своих самых близких. Но — и спасла жизнь другую. Единственным оправданием, пожалуй, может быть лишь то, что я тогда была уверена — мы теперь обеспечены! Ведь кроме хлеба и консервов еще и крупа! А ее можно тянуть бесконечно долго. Значит, «излишек» можно и должно отдать тому, кого хотя уже и не люблю (все растаяло в июле), но чувствую себя в ответе за него… Так, или примерно так, я размышляла тогда. А скорее всего и совсем не размышляла, а просто поддалась движению сердца. А в мешочке, между прочим, оказалась не крупа, а соль. Папа, по опыту Гражданской войны, знал, какая нужда может быть в соли, и прислал нам ее. Так что наши «неиссякаемые» запасы кончились очень скоро… А Костю с мамой эта буханка действительно спасла. Уже в феврале он вдруг пришел ко мне и принес «к 8 марта», как он сказал, бутылочку рыбьего жира — тоже большую драгоценность. Мы долго жарили на этом вонючем жире лепешки из дуранды[23], и этим он помог в самые трудные дни нам. (Так, значит, поступок сердца все же не исчезает бесследно и вызывает ответную реакцию. А все вместе сохраняет ниточку жизни. Я и в дальнейшем совершала «неразумные» поступки, но никогда не жалела об этом, даже если это кончалось плохо для меня…).

В декабре почти прекратились налеты. Но зато начались ежедневные обстрелы. И это еще страшнее, так как внезапно. Хотя и объявляли по радио, что такой-то район подвергается артиллерийскому обстрелу, но направление все время менялось и было трудно предугадать, откуда опасность. Но у всех наступило

такое безразличие (отупение?), что не обращали внимания на призывы радио, на свистки и окрики дежурных МПВО, и во время обстрела не прекращали движения, а лишь для вида постоим в подворотне, а как дежурный отойдет, выйдем и, прижимаясь к стенкам, продолжаем свой путь, если не загонят в следующую парадную или двор.

Так и я спешила однажды в двадцатых числах декабря на зачет в институт. Вышла уже на Измайловский, а тут начался обстрел — садят снарядами прямо откуда-то из-за Варшавского вокзала. Я, перебежками от одного дома к другому, добралась до моста через Фонтанку. Помню не страх, а какой-то азарт был: «Да неужели не сумею проскочить?». И радовалась, когда смогла обмануть милиционера, будто в нем и была основная опасность. А на мосту вдруг почувствовала, что снаряды пролетают со свистом буквально у меня над головой и охватил меня такой страх, что легла на снег и ползком переползла на другую сторону. Разрывы слышались совсем рядом и земля вздрагивала. Потом затихло, и я быстро добежала до института. Он разместился в новом здании Текстильпрома на проспекте Майорова (там теперь, кажется, филиал Дома моделей одежды). Поднялась на верхний этаж, по длинному коридору подошла к своей аудитории, приоткрыла тихонько дверь — за столами сидит уже вся группа, человек двадцать, в профиль ко мне стоит педагог, что-то объясняет. Я решила переждать, пока он кончит. Вдруг толчок и оглушительный взрыв. Я будто оглохла и отключилось сознание на мгновение. Оказалась на коленях, руками вцепилась в косяки распахнувшейся двери, а там, будто в замедленном кино, потолок изгибается, выпучивается и медленно рушится на головы сидящих… Все тонет в облаках известковой пыли. Педагог что-то кричит и вышвыривает меня в коридор, где уже толпа бегущих из других аудиторий к лестнице. Дальше ничего не помню. Не знаю, сколько погибло тогда. Если бы чудом не задержалась у двери, то была бы вместе со всеми…

Таким запомнился декабрь. К концу месяца город будто вымер. Редкие прохожие. И все чаще встречались саночки, которые тянут за собой женщины, а в них кто-то завернутый в тряпье — то ли обессилевший, то ли уже мертвый. Утром выйдешь из дому и непременно увидишь два-три трупа возле подъездов — за ночь вынесли, чтобы потом проезжающая машина забрала и увезла на кладбище. Постепенно в каждом районе появился свой неофициальный морг. Неподалеку от нас таким моргом стала площадь за Троицким собором, возле забора больницы. А у нас в доме трупы складывали штабелями, как дрова, в старом «каретном» сарае. Туда же отнесли и маленькую

старушку Кенго. Она умерла тихо и незаметно в своей комнате — сначала думали, что она спит. А к Новому году вдруг с кем-то переслали письмо от ее дочери, Луизы Ивановны, из Ташкента, где был Михайловский театр. Спрашивала, как живем, тревожилась за маму, интересовалась, жива ли их кошка… Помню, с какой жестокостью написала я в ответ, что не только кошка, но и мама ее умерла. И никакого сочувствия к ней не испытывала, очень уж возмутил меня этот вопрос о кошке… Письмо это писала я, сидя возле «елки». Цветок аспарагуса продолжал быть зеленым, и я украсила его серебряным дождем и мелкими стеклянными игрушками. Очень обрадовались обнаруженным в коробке елочным свечам и нескольким грецким орехам, завернутым в фольгу. К Новому году была большая радость — первая прибавка хлеба: рабочим 350 грамм, детям и служащим — 200.

* * *

Для Арнольда Бернштама декабрь 1941-го был началом работы над задуманным им делом всей жизни — политэкономией социализма. В ноябре он похоронил отца (откопал его в развалинах возле дома № 9 на Литейном) и с тех пор начал регулярно ходить заниматься в Публичную библиотеку. Только это и спасло тогда — так он сказал много лет спустя. В подвале библиотеки работал тогда один читальный зал и там, при свете коптилок, ежедневно собирались те «сумасшедшие», которые не могли существовать без книг даже в то страшное время. По рассказам знакомой библиотекарши, были среди них и военные, и ученые, и какие-то чудаки, которые изучали самые разнообразные вещи — от изготовления зажигательных смесей для «бутылок-гранат» и переработки целлюлозы для добавки в хлеб, до астрономии и истории революционных теорий. Арнольд был тогда, видимо, одним из тех немногих, кого интересовала литература по общественно-социальным вопросам. Он изучал тогда первоисточники политэкономии и приступил к разработке тех проблем теории социализма, которые были еще не решены или, на его взгляд, имели ошибочные концепции.

* * *

С сентября по декабрь было самое тяжелое время для Ленинграда за всю Блокаду. Вот цифры за этот период, опубликованные через много лет: бомбили 97 раз, артиллерийский обстрел 106 дней, на город упало 3296 фугасных бомб, около 100 тысяч зажигательных и 30 тысяч артиллерийских

снарядов. Это 76 % фугасок и 96 % зажигательных бомб за Блокаду всех четырех лет. Разрушено и повреждено было за эти месяцы 2325 зданий, 22 моста, возникло 634 пожара.

1942-й г

В начале января 1942 года соседка Вера Степановна попросила меня сходить с ее восьмилетним Женькой на Елку — получила два билета на работе, и там будут давать какое-то угощение. Начало в 12 часов дня, вышли еще затемно. Закутан Женька до бровей, везла его на саночках. Путь неблизкий: до середины Литейного, а потом направо, по Некрасова, в здание кукольного театра. Дорогу не помню. В памяти только сумрачное фойе, где вокруг чахлой елочки (и откуда ее достали?) десятка два чуть живых молчаливых ребятишек. Играет на баяне слепой баянист и руководительница пытается создать хоровод: поет сама, вызывает детей в круг… Но вслед за нею движется не более пяти-шести самых сильных. Но и они отучились улыбаться.

Остальные сидят с матерями вдоль стен и смотрят строго, как маленькие старички. У взрослых на глазах слезы. Пройдя разок вокруг елки, дети уже устали, и матери разбирают их, вновь укутывают в платки и шубейки. Холодно, как на улице. Все нетерпеливо поглядывают на двери комнаты, где готовится угощение. Воспитательница в костюме Снегурочки торопливо дочитывает стихи и приглашает всех встать в пары. Звучит марш и открываются двери. При входе сдаем свои билеты и нас усаживают за длинный стол. Перед каждым стакан горячего чая, несколько леденцов, два круглых печеньица и на блюдечке кусочек желе малинового цвета. Выпиваем чай с одним печеньицем, а остальные заворачиваем и убираем в мешочек. Не знаем, как быть с желе — съесть такую красоту мальчику жалко, но вижу, как хочется ему хотя бы «попробовать». Уговариваю съесть мою порцию, а вторую заворачиваем в бумажку и будем всю дорогу по очереди нести на ладонях, чтоб удивить потом его маму. Как добирались до дому, не помню, а как несли это желе и боялись, что оно примерзнет к бумажке (а если спрятать за пазуху — растает!) — это помню.

Видимо, в эти же дни, или перед самым Новым годом, был и мой поход в Медицинскую Академию. Меня давно мучила совесть, что приготовленные еще осенью две пачки папирос для наших «академиков» — Котьки Кудряшова и Додика Блехмана — я все так и не собралась отнести. Генку Соболева не предполагала увидеть, так как еще в ноябре он звонил, что старшекурсников отправляют в Среднюю Азию, и он должен был уже уехать. Папиросы эти я обнаружила случайно в тумбочке, за томами сочинений Ленина. Папа сам не курил, но любил, чтоб было в запасе для гостей и, спрятав куда-нибудь, потом забывал о них.

Папиросы были «подарочные» — синие коробочки с картинкой палехской тройки. Конечно, их можно было сменять на хлеб, но я еще осенью решила, что отнесу папиросы ребятам и убрала подальше, чтоб не менять решения.

Был морозный солнечный день и оттого все разрушенные дома, утопающие в сугробах улицы, замерзшие трамваи и троллейбусы особенно рельефны и страшны. В большом доме, угол Литейного и Пестеля, обрушилась вся передняя стена, а межэтажные перекрытия, обстановка комнат сохранились (оранжевый абажур на фоне синих обоев раскачивался от ветра…). Чуть дальше, на глухой стене дома, обращенной к садику, огромная довоенная реклама — круглолицая девчонка уплетает ложкой из банки повидло, и надпись: «А я ем повидло и днем!». Дико видеть среди ледяных глыб домов эту вызывающе глупую улыбку полного довольства. И одновременно жалко эту девчонку — ее лицо пробито многими осколками снарядов и дыры в холсте зияют кирпичной пылью, будто кровоточат раны. И при этом — вечная улыбка…

Проходила мимо дома № 9 на Литейном, дом Альки Бернштама. Могла встретить его. Но тогда не встретила… (А девчонку с рекламы и тот, взрезанный сверху донизу дом, угол улицы Пестеля, он тоже запомнил на всю жизнь: каждый день мимо него ходил зимой 41-го — 42-го).

Очень трудно и холодно было идти через Литейный мост — здесь всегда ветер, а тут еще и мороз. Видела вмерзшие в лед подводные лодки. Темные полыньи, к которым тянулись по тропинкам люди с бидонами и ведрами… Устала очень, но успела к обеденному перерыву. К столовой Академии уже строем подходили курсанты, и я, в группе женщин, стояла возле дверей, высматривая своих. Окоченела совсем, а их все нет и нет. И тут вдруг окликают меня, смотрю — Генка Соболев! Оказывается, первокурсники теперь в другое здание переведены и я напрасно жду их здесь. А он вот еще не уехал, их буквально на днях должны эвакуировать в Самарканд. Он уже пообедал и очень сокрушался, что не знал обо мне и ничего мне не принес. Передала я ему папиросы: одну коробку ему, а другую — ребятам. Отказывался себе оставлять, да я уговорила. Обещал сегодня же найти моих первокурсников. Пошел провожать меня и рассказал: вчерашней ночью, когда вернулся после дежурства в общежитие, увидел, что угол здания срезан снарядом и их комната — тоже. Погиб его друг, музыкант. Раскапывали весь день и нашли только голову его. А потом — флейту… Рассказывал, и все снимал и протирал очки. Потрясла его эта смерть, видать, до основания. Хорошо, что я пришла и он смог хоть выговориться. Проводил до

моста. Обещал непременно писать, как только они доберутся до Самарканда. Взял с меня слово, что я сразу же сообщу ему туда, если у меня изменится адрес. Я обещала. Как вернулась домой — не помню.

У меня стало много свободного времени. Занятия в институте прекратились после того декабрьского обстрела. Перестала ходить и к Алексею — он находился в больнице с каким-то психастеническим синдромом (я пару раз была у него, и он показался мне вполне нормальным, только очень раздраженным и злым). Конечно, обязанности у меня оставались — одни очереди за хлебом сколько времени и сил отнимали. Иногда очередь выстраивалась с вечера, и тогда приходилось отмечаться по номерам, которые писали на ладонях (помню, как у меня однажды был 273 номер). Моим делом было и обеспечение дровами — колола на маленькие чурочки старые стулья, ящики кухонных столов. Потом и до них самих дошла очередь. Бабушка умела очень экономно разжигать и поддерживать огонь в печурке. Пили кипяток с четвертушкой подсушенного хлеба от своих трехсот грамм (это с Нового года). Мама уходила на работу, а я выносила ведра из туалета (выливали их во дворе, возле помойки. И эта смерзшаяся горка расползалась все шире и шире. И весной должна была растаять). Потом ездила с саночками на четвертую Красноармейскую за водой — там был водопроводный кран. Привозила по половинке ведра или в бидоне, иначе не донести по лестнице на наш четвертый этаж. Очень хотелось все время спать, но знала, что это опасно. Некоторые так и не выходили из дремотного состояния. Заставляла себя больше двигаться, хотя частенько отекали ноги и становились как ватные. Оставаться на весь день в темной комнате с бабушкой (она много спала) было тяжко тоже, и я в те дни нередко ходила с мамой в институт, помогать ей упаковывать книги — институт готовился к эвакуации.

В начале января вдруг приехал на два дня с фронта папа. Его часть находилась под Волховом. Ничего не помню толком — сплошное какое-то лихорадочное состояние. Много и громко разговариваем, пьем чай с сахаром и сухарями (папа привез полнаволочки). Нагрели докрасна печурку — папа расколол кухонную дверь, и мы не экономим топливо. Вздумали вдруг передвигать мебель (чтоб заслониться шкафом от окон — дует очень), и хотя, конечно, все делал папа, а мы только суетились вокруг, но страшно устали и будто опьянели от сытости и радости. Папа не ожидал, что жизнь в Ленинграде дошла до такого уровня, когда и жизнью-то ее трудно назвать. Разумеется, он слышал о том, что совсем плохо, но не представлял себе, пока

не увидел собственными глазами. Очень расстроился тем, что мы так изменились, тем, как мало у нас сил, и ругал себя за то, что не привез муки, крупы. Говорил, что на улицах города страшнее, чем на фронте — там у них окопы, землянки, а тут от снарядов никакой защиты. И в бомбоубежище не спасешься — еще большая угроза быть погребенным под развалинами. Слушали его и уверяли, что мы ко всему привыкли и нам ничего не страшно. Советовал все же подумать об эвакуации. Мы ни в какую, мол, теперь и бомбят меньше, и хлеба вот рабочим до 300 грамм прибавили, а служащим — 200. Да еще сухари, которые он привез! Теперь бы только до весны дотянуть. И еще: если бы мне на работу устроиться, а то у меня пока еще карточка служащая, как у студентки, но ведь институт закрыли и в следующий месяц получу иждивенческую.

Папа с утра уехал с военной машиной развозить посылки и обещал заехать в Райком, похлопотать насчет моего трудоустройства. Вечером он уезжал, и уже все было устроено. Меня приняли на работу в качестве секретарши в приемной первого секретаря Октябрьского Райкома Платонова.

Райком находился в старинном здании со сводчатым подъездом на перекрестке Садовой и проспекта Майорова, так что мне ходить не так уж далеко. Приходила я затемно, рубила на щепочки очередной ящик письменного стола в одном из пустующих кабинетов и топила печурку в кабинете Платонова. (Платонов хороший, спокойный дядька, строгий, но справедливый). Потом зажигала свечи, укрепляла каждую в баночке, чтоб не задуло нечаянно, и ставила эти светильники — один на стол Платонову, другой — к себе, в приемную, т. к. окна забиты фанерой и завешены для тепла портьерами. После этого открывала двери тем, кто уже стоял в очереди в коридоре (кто сидел на подоконнике, кто — на полу, привалясь к стенке. Бывало, к концу рабочего дня наткнешься и на труп где-нибудь в закоулках этого промерзшего здания…). Входили закутанные до глаз фигуры, клали на стол свои заявления, документы (все об эвакуации, или о переселении из разбитой квартиры, или о детях, которые остались сиротами). Рассаживались на стулья вдоль стен и наступала тишина. Все дремали. Я закутывала ноги и спину зеленой суконной скатертью из зала заседаний и записывала в журнал, кто и по какому вопросу. Некоторых сразу направляла в жилищный отдел или в детскую комиссию. Ровно в 11 быстро проходил к себе Платонов и начинался прием. Многим он вынужден был отказывать, и я видела, как мучился от этого. Я тоже не могла поднять глаз на тех, кто выходил из кабинета расстроенный, заплаканный. Бывало, и кричали, и ругались. И

очень радостно, когда просьба человека удовлетворена, и мне остается лишь по резолюции Платонова выписать карточку для направления на эвакопункт или объяснить, как оформить документы для детского дома, больницы или столовой. Будто я сама раздавала эти дары — мне улыбаются, благодарят.

Однажды среди посетителей пришел высокий, в шинели, с костылем. Лица тонут в темноте, я их плохо вижу — свеча освещает только руки и документы. Военный с костылем проходит вне очереди сразу к моему столу и слышу хриплый злой голос Алексея: «Где тут первый секретарь?! Пропустите меня немедленно!». Я объясняю, что у него сейчас люди, и вот другие тоже ждут. Он узнает меня: «А, родная племянница! Ну уж хоть ты-то не дашь мне подохнуть здесь? Куда ни приду, и везде — погодите, повремените… А куда годить, когда нету сил?». Теперь, когда сидящим в очереди понятно, что мы родственники, я тем более не могу пропустить его без очереди, и не знаю, как быть. А он, видя мою растерянность, говорит еще громче, с какой-то издевкой и в мой адрес: «Конечно, устроилась тут на теплом местечке! Все вы одинаковые, чиновники». Я пытаюсь узнать, что у него за дело, как сказать о нем Платонову. Он: «Я сам ему все расскажу, пусть послушает!». И громко, чтоб было слышно через двери, начинает путано рассказывать о том, как трое суток, ожидая эвакуации, жил на вокзале. Как «замерзали, дохли, а эти чиновники все обещаниями кормят». На голос вышел Платонов, просил успокоиться, рассказать все толком. Оказывается, Алексею после больницы дали разрешение на эвакуацию и он с саночками отправился на Финляндский вокзал. А там еще не отправлена предыдущая группа (отменили состав), а тут новый народ прибывает. И снова отменили поезд и предложили всем временно разместиться в здании вокзала. А через три дня объявили, чтоб все возвращались по домам, т. к. эвакуация задерживается на неопределенное время. Но Алексей видел, как какую-то отобранную группу ночью отправили, и теперь он пришел в свой Райком партии, где состоял на учете, добиваться справедливости. Платонов выслушал все и сказал, что ничем помочь не может — несколько дней действительно был перерыв в отправлении составов, т. к. бомбежкой разрушило линию возле Борисовой гривы. Там сделан какой-то объезд и по нему решено эвакуировать только женщин с детьми и раненых. Алексей кричал, что уезжали не только с детьми, но всякие «свои», «блатные», ругался. Было ужасно. Я подумала, что он наверное действительно стал психически больным. Пыталась проводить его, но он обругал и ушел ругаясь и плача. Больше я его не видела… (Ему удалось уехать. Где-то в Махачкале он встретился с

Верушкой и они вновь помирились. По окончании войны вернулись в Ленинград, и вскоре Алексей умер от рака легких).

Моя работа в райкоме кончилась через месяц из-за того, что я нарушила (превысила) свои обязанности, и Платонов уволил меня. А случилось так, что в один из дней, когда Платонов был в отъезде, на прием пришли два молодых солдата — латыша. Они выписались из госпиталя и имели направление в Киров, т. к. были списаны подчистую и имели белый билет. Не помню подробностей, но, видимо, они должны были уже на общих основаниях получать документы через наш эвакуационный отдел, но сначала взять резолюцию Платонова. И вот его не было, и они очень расстраивались, что не успевали уехать с составом, который отправлялся этой ночью. А следующий отправлялся только через неделю, а им негде жить, и паек, выданный на неделю, кончился. Мне было не только жаль этих солдат, в двадцать лет ставших полными инвалидами, но и очень хотелось, чтоб они скорее уехали в Киров, т. к. там ведь моя Адка была. Чтоб привет ей передали, обо мне рассказали. Ну, и она им поможет, как сумеет. Короче, решила я взять грех на душу, оформить им карточку для отъезда и отправить в эвакуационный отдел так, как если бы их направил Платонов, а утром во всем повиниться ему и передать ему все документы солдатиков. Он наверняка не откажет в своей резолюции задним числом, т. к. все документы у них в порядке. Ну, поругает меня, конечно, не без того. А зато как приятно их обрадовать! Так и сделала. Уж как благодарили они меня! (Между прочим, до Ады они так и не добрались, как я позднее от нее узнала, может, случилось что в дороге… Не верю, чтоб они просто забыли сходить по адресу, который я им дала).

А на следующий день Платонов молча выслушал меня, а потом сказал: «Сформулируйте, пожалуйста, коротко и четко совершенное вами». Я сформулировала. И ужаснулась сама тому, как это звучит. Он спросил: «Ну и как должен поступить руководитель со своим подчиненным в подобной ситуации, да еще по законам военного времени?» — «Освободить от занимаемой должности», — ответила я. «Правильно, — сказал он. — Сдайте все дела Кате из канцелярии и можете быть свободны. И запомните этот урок на всю жизнь». Я запомнила. Он был прав. Он мог подумать, что я еще кому-то из родных так сделать могла, если уж для чужих на это пошла…

Лишение работы в первых числах февраля 1942 года было катастрофой. Необходимость каждый день вставать, идти (около трех километров) на работу, быть на людях, хоть маленькое, но нужное дело, потом — возвращаться домой с баночкой «супа» из

какой-то непонятной крупы и знать, что это мной заработанная заметная добавка к нашему вечернему «обеду» — все это очень поддерживало и физически, и морально. Карточка у меня была, как и раньше, служащая. Теперь ее сменят на иждивенческую. И что я папе напишу…

Забыла сказать — к этому времени мамин брат Николай (тот, что вместе с бабушкой пришел к нам осенью из Лигова и работал на электростанции, которая давала ток для военных предприятий, потому у него была бронь) — так вот, Николай получил повестку в Военкомат и призвался в армию. Но дня за два до этого он вышел из дому и не вернулся. Мы узнавали про него в Военкомате, но он и туда не приходил. Так он и пропал… Наверное, умер где-то на улице. Он очень ослаб и труднее переносил голод, чем мы с мамой и бабушкой. Не хотел двигаться, с трудом заставляли его умываться. Частенько ему трудно было идти домой, и он после смены оставался на работе и там спал. Мы привыкли к его отлучкам, поэтому не сразу обеспокоились, когда он исчез… (Попытки узнать о его судьбе уже после войны ничего не дали).

Итак, к моменту, когда меня уволили с работы, мы жили втроем — мама, бабушка и я. Надо было немедленно думать о новой работе. Но найти ее было очень трудно. Разумеется, мечталось и о рабочей карточке, пусть хоть и самая трудная работа. Начались долгие изнурительные походы в поисках работы. Обходила сначала все учреждения, мастерские, госпитали неподалеку от дома. Но нигде ничего. Потом стала удаляться кругами все дальше и дальше. И тут особенно бросилось в глаза, как за месяц еще больше вымерз и будто умер город. Уже не тропинки среди сугробов, а снежные траншеи почти по пояс. Заиндевелые стены домов и айсберги развалин. Спутанная сеть оборванных проводов обросла мохнатым ледяным мхом. И над всем этим сквозь дымные сумерки чуть пробивается багровое солнце. Такое редкое в прошлые годы, и вдруг зловещее, будто излучающее холод и смерть…

Наступило отупение и будто атрофировались все человеческие чувства. Помню, как шла по узкой снежной тропе, а впереди меня маячила фигура прохожего. Вот он остановился, долго копошился с одеждой, присел, привалясь к снежной стенке… Я уже приближалась к нему и поняла, что этого человека застал приступ поноса… Но и не подумала вернуться или переждать, механически продолжала передвигать ноги и прошла мимо, почти задевая сидящего на корточках. Ни у меня не было стыда, ни у него.

Случалось и хуже. Не имею права умолчать и об этом. В один

из февральских вечеров к нам пришел друг Николая еще по жизни в Лигово, его тезка — Коля Триер. Был он такой страшный и слабый, что еле узнали: кожа обтянула лицо и обнажила оскал десен. Весь закопченный, видно, не мылся совсем. Зарос щетиной. Сел возле печурки, выпил кипятка и стал дремать… И вот, жутко вспомнить о себе, но это было… И у меня, и у мамы с бабушкой одновременно появилась мысль: «Он не жилец уже. И спасти его нам нечем…». И вслед за этим боязнь, чтоб он не умер здесь, у нас… И бабушка стала расталкивать его, будить. Уговаривала идти домой — уже поздно. Мы с мамой молчали и не мешали этому. Он с трудом встал и ушел, держась за стенку. Больше мы его никогда не видали. (Недавно я спросила маму, помнит ли она этот случай. Она его забыла…).

В феврале 1942-го в течение недели умерли все три моих двоюродных брата, дети бабушкиного старшего сына Васи. Он был на фронте, а его жена Мария с детьми жили где-то в Гавани. Когда умер Толя (14 лет), то не было сил хоронить его и труп положили в чулан. Потом через несколько дней скончались и оба младших, Олег и Игорь. Их отнесли туда же. А когда пришла похоронная команда и стали выносить, то увидели, что крысы обгрызли трупам ноги. С этого времени Мария помешалась… Так рассказала их соседка по квартире. Были это белокурые сероглазые мальчишки. Толя все злился, что голова у него в крупных завитках, «как у девчонки», и даже пытался остричь себя наголо. Озорник был большой и весельчак… Дядя Вася вернулся после окончания войны без ноги. Ходил на костылях, много и страшно пил. А как выпьет, то всегда пел и плакал. Он гитарист был отличный. Потом уехал куда-то на Север и исчез…

Ходить каждый день в поисках работы не было сил. Все чаще ноги становились как ватные и отнимались на несколько часов. Перестала ходить на работу мама: театральный институт эвакуировался в январе, а мы ехать с ними отказались. Все труднее становилось справляться с необходимыми домашними делами. Да и каждое, даже самое простейшее, выросло в сложнейшую проблему, для решения которой каждый раз требовалось предельное напряжение всех сил и, главное, воли. Так, для того, чтобы утром встать с кровати, надо было буквально заставить себя силой. Мы спали с мамой вместе, чтоб теплее, и укутывались не только двумя одеялами, но еще и ковром. В комнате темно, холод, как на улице, — вместо стекол фанерки. Во сне виделось что-нибудь из мирной жизни и непременно про еду. А тут сразу вспомнишь обо всем, и так захочется продлить сон… Потребность в сне стала какой-то патологической, могли спать бесконечно — и под вой сирены, и при грохоте обстрелов.

Хорошо, что нас было трое, и когда на одну из нас нападало такое сонное оцепенение, то остальные двое пугались и всеми способами старались из этого состояния вывести. Сначала «заболела» сном бабушка. После того, как нам с мамой можно стало утрами поспать подольше, мы все чаще не хотели будить друг друга и так дремали допоздна, и тут уж бабушка начинала ворчать, нарочно гремела дровишками, пустыми ведрами, напоминала об очереди за хлебом, и это вынуждало нас подняться.

За водой приходилось ходить на четвертую Красноармейскую, где был пожарный кран и из него медленно бежала струйка. Вокруг все обледенело и кран оказался в ледяной воронке, на которую взбирались и как-то приспосабливались удерживаться, пока бидон наполнялся водой. Выстраивалась очередь, все с саночками, на которых ведра, кастрюли или просто чайник. Очень трудно было привязать к саням наполненную посуду, чтоб довезти до дому по ухабам и не пролить. Частенько проливали и снова возвращались в очередь, тропа поэтому была обледенелая и двигались по ней чуть не на карачках. А самое трудное было — подняться с бидонами, наполненными этой драгоценной водой, по лестнице на наш четвертый этаж: ведь лестница тоже вся обледенела,

Разумеется, берегли каждую каплю воды. Но пили много, кипяток — единственное спасение от холода и создает иллюзию наполненности желудка. А ведь надо еще хотя бы умываться каждый день. От возни с печуркой и коптилками (свечи давно кончились) были в копоти и лица, и руки. Немножко теплой воды наливали в тазик и, намочив полотенце, обтирались. Иногда пытались обтереть и тело — частями, т. к. холодно: сначала одну руку оголишь до плеча, быстро обмоешь ее и сразу снова кофту наденешь, потом — другую… А уж голову если раз за месяц удавалось вымыть, то это уже хорошо. Про стирку и говорить не приходилось — просто убирали грязное белье «до лучших времен».

И вот как мы ни старались поддерживать чистоту (многие, знаю, даже умываться переставали, не было сил или воды), все же у нас завелись вши. Сначала стала чесаться голова. Посмотрели и ужаснулись… Разыскался у бабушки частый гребешок, начали ежедневно вычесывать голову, уксусом протирать, одеколоном. Потом и во внутренних швах белья стали насекомые появляться. Переоделись во все чистое, все старое выбросили, а через несколько дней снова зуд во всем теле. И это было, пожалуй, самой последней каплей — такой ужас нас охватил, такое бессилие… Бабушка рассказала, как в прошлую голодовку, во

время Гражданской войны, тоже вши заедали тех, кто совсем ослаб. А потом эпидемия тифа началась…

И мы впервые начали всерьез задумываться об отъезде. Я к тому же совсем отчаялась найти работу. Уж оформилась было санитаркой в госпиталь (в здании школы угол Крюкова канала и проспекта Декабристов, напротив ДК им. Первой пятилетки), но когда отправилась уже на дежурство, то увидела, что госпиталь горит и раненых на саночках развозят по другим больницам. Загорелся ночью, от снаряда, и говорили, что некоторые из окон верхнего этажа выпрыгивали. Нашла потом место рабочей в морге Максимилиановской больницы (и карточку рабочую давали), но посмотрев, как надо из подвала по крутой лестнице выносить трупы, поняла, что у меня просто не хватит физических сил на это…

Бабушка все надеялась, что Коля еще вернется, но тут и она надежду потеряла и дала согласие на отъезд. Мама начала оформлять документы. Как доживали февраль, плохо помню. Какие-то отдельные моменты только. Как долго варили «студень» из старых папиных ремней и заправляли его лавровым листом — «для запаха». Как ели эту бурую вонючую массу, похожую на клей. Как молотком разбивала куски «дуранды», похожие на обломки штукатурки (по карточкам получили — это прессованные жмыхи, которые остаются после выжимки постного масла, т. е. шелуха семян, по существу), и, замесив из этой «муки» и кофейной гущи тесто, жарили на рыбьем жире лепешки (на том, что Костя принес) и, помнится, было очень вкусно…

В феврале было новое увеличение норм хлеба — рабочим уже целых 500 г, служащим — 400, иждивенцам — 300. Но сытости не ощущалось, умирать стало еще больше. Мертвых везли по улицам иногда на листе фанеры, к которому привязаны веревки, иногда и просто волоком, закутанных как мумии в одеяла. Встречались и умершие по дороге — обходили их стороной, и, самое жуткое, в душе ничего не отзывалось, полное оцепенение…

Усилились снова обстрелы, а с ними — и пожары. (Вот теперь, через сорок лет, узнаю, что за февраль 1942 года по городу было выпущено 4770 снарядов и с 1-го января по 1-е марта возникло 1578 пожаров).

Уезжали мы в последних числах февраля. За нами приехала машина, которая заезжала еще за несколькими семьями. Если б маме не удалось достать эту машину, то до Финляндского вокзала мы бы просто не смогли добраться. Ехали сквозь дымно-багровые сумерки. Заходящее солнце и множество догорающих домов освещали город, и был он зловещим и призрачным. Отпечаталась в памяти панорама с Литейного моста: силуэт

Петропавловки и чуть видные Ростральные колонны на фоне тлеющего пожарища заката.

На перроне вокзала тюки, узлы, и между ними копошатся люди, сами похожие на узлы — закутаны в платки, шубы. Многие не могут ходить, их привезли на саночках. Подошел состав — старенькие дачные вагоны. Хорошо, что грузиться помогали солдаты. Почти никто не был в состоянии втащить свои вещи на высокие ступени. Сначала разместили лежачих больных и женщин с детьми. А когда дошла очередь до нас, то вагон был набит до предела — сидели на вещах и в проходах, и в тамбуре. Мы еле втиснулись и кое-как разместились возле открытых дверей туалета, который был доверху забит тюками и чемоданами. Поезд отошел уже в темноте и шел очень медленно, без огней, часто останавливался, и тогда был слышен грохот зениток и дальнобойных орудий. Было очень холодно, дремали и снова просыпались. Глубокой ночью прибыли на станцию Борисова грива. Там кромешная тьма. Солдаты помогали каждому выйти из вагона, подхватывали вещи и тут же грузили в подходящие одна за другой машины. Грохот орудий был совсем близко. В небе метались лучи прожекторов.

В грузовых машинах-фургонах сидели вплотную друг к другу, не видя лиц, и у каждого была одна мысль — Господи, хоть бы пронесло! — т. к. знали, что ледовая дорога обстреливается и многие машины проваливаются в полыньи. Машины натужно ревели и медленно-медленно ползли по ледяным торосам. Временами вдруг увеличивалась скорость, начинало трясти, и мы понимали, что проскакиваем опасный участок. Казалось, что ехали целую вечность, хотя путь длился не более трех часов. И наконец чувствуем, что едем уже по ровной дороге и не слышно выстрелов. Приоткрыли брезент, чуть рассветает и видны силуэты изб, построек. Вся машина наполнилась плачем, причитаниями: «Приехали! Большая земля! Живы!». Обнимали сидящих рядом. Плакали и смеялись одновременно… Бабушка громко читала молитву: «Отче наш! Иже еси на небеси. Да святится имя Твое!..». А машина уже заворачивает к какому-то двухэтажному зданию из бревен, похожему на церковь — здесь находился эвакопункт. Шум, суетня. Выгружают из машин, слабых несут на носилках, ищут свои вещи, и все спешат в здание.

Кое-как, волоком, тянем свои тюки и мы. Входим, и застываем на пороге — огромный бревенчатый зал освещен многими лампами, которые кажутся тусклыми из-за пара, клубящегося над столами, за которыми едят сотни людей… Пар клубится и над огромными котлами возле кухни, над длинной очередью людей к этим котлам. Лязг металлической посуды,

гомон, смех, плач… И над всем этим пьянящий, одуряющий запах сытной еды и хлеба… Кружится голова и все дрожит и мелькает в глазах от слез, которые забываешь смахивать…

Получаем по полбуханки белого хлеба, по миске наваристого мясного супа с пшеном…

(Вот пишу сейчас, и снова слышу запах и вкус. И снова слезы застилают глаза… Не могу писать. Продолжу потом…).

Нам казалось, что, переправившись через Ладогу, останутся позади все ужасы войны и начнется новая, пусть трудная, но все же какая-то нормальная жизнь. Но нам предстояла еще длинная дорога. Мы хотели добраться до станции Сонково, неподалеку от Рыбинска, где в деревне жили родители наших соседей по квартире — Зинаиды Ивановны Ладыниной. Она с дочкой уехала туда еще осенью и оставила нам адрес. И вот эта дорога, не слишком длинная по километрам, но затянувшаяся на 17 суток, чуть совсем не доконала нас.

На эвакопункте Ладоги погрузили всех нас в товарные вагоны и потянулся состав каким-то окружным путем, через Череповец и Вологду в Ярославль. Но больше стояли, чем двигались, пропускали бесконечные военные эшелоны с орудиями, солдатами в сторону фронта, и составы с ранеными — на восток. Нам выдали талоны, по которым на станциях, где есть эвакопункты, можно было получать питание. Но поезд двигался неравномерно, стоял иногда по двое суток в поле или на полустанке, где нет эвакопункта, и после сытного обеда в Ладоге переносить снова голод стало еще мучительнее. Получив паек, многие не имели сил растянуть его на несколько приемов, съедали все сразу и потом болели. (Вообще, вероятно, было неразумно сразу кормить так обильно и выдавать по полбуханки хлеба зараз — желудок не справлялся, начались поносы, а некоторые умерли в дороге от заворота кишок).

Товарные вагоны имели только несколько рядов деревянных нар да железную печурку в углу, труба от которой тянулась в верхнее окошечко. Двери тяжелые, не было сил открывать их на каждой остановке, поэтому оставляли широкую щель и сквозь нее сильно дуло. Все стремились утесниться в теплый угол, но места не хватало. Не хватало и мест на нарах. Поэтому мы примостились на своих тючках и первые несколько суток спали по очереди. Потом, от станции к станции, народ убывал. Кто прибыл на место, кого отправляли в больницу, несколько человек умерло. На крупных станциях состав обходила санитарная команда и забирала больных и мертвых. Так и мы постепенно разместились на нарах.

Когда подъезжали к станции, где будут кормить, то все

спешили из вагонов, чтоб занять очередь к раздаточному окну, набрать кипятку, разжиться дровишками для печки. Детей и тех, кто не мог двигаться, оставляли сторожить вещи. Обычно давали, кроме хлеба, кашу, которую мы разбавляли кипятком и получалась сытная похлебка. Мы с мамой и бабушкой не позволяли себе съедать все за один раз и поэтому избежали расстройства желудка. (Но вообще с проблемами естественных надобностей было унизительно трудно. Как только состав затормозит — высыпает из вагонов народ и, оглядевшись, и, чаще всего, не обнаружив никаких туалетов, спешат в конец состава, где присаживаются рядами вдоль колеи. А что было делать?)

Нередко поезд останавливался на дальних путях, и чтоб добраться до эвакопункта, надо было пролезать под вагонами. Потом таким же образом с полными мисками и бидоном с кипятком — обратно. И дрожать при этом, чтоб состав не ушел. А ведь остановки были и среди ночи, тогда все это надо было проделывать в кромешной тьме. Помню, как металась между составами, не могла отыскать свой — его перегнали на другой путь. Чудом встретилась с мамой, которая побежала искать меня. Плакали обе. Но успели.

И еще ужасным было то, что снова напали на нас вши. Да это было и немудрено. Все спали вповалку, вплотную друг к другу и не раздевались. Женщины откровенно «искались» в головах друг у друга. При свете печурки и единственного фонаря «летучая мышь» осматривали белье и одежду. Не миновали этого и мы.

Дорога запомнилась как бредовый сон. На какой-то станции задержались надолго, и мы с мамой даже вышли на городскую площадь. И там увидели, что шоферы военных машин торгуют из-под полы хлебом. Решили купить и мы, так как боялись остаться без запаса. Сторговали полбуханки за 30 рублей. Быстро завернули в платок (за спекуляцию могли оштрафовать) и поспешили в вагон. А когда попробовали хлеб, то почувствовали сильный запах бензина. Да такой, что даже заткнув нос нельзя было есть — и на вкус этот хлеб был пропитан бензином! Нарезали кусками, положили в мешочек — может, промерзнет и отобьет запах. Но так и не смогли есть его и потом, уже в деревне, скормили скоту эти сухари… Как мог тот солдат продать нам его? Ведь видел, знал, что мы дистрофики…

Еще помню, как где-то наш состав стоял сутки, а потом сказали, что уйдет только утром. И очень захотелось мне в здание вокзала пройти, чтобы поспать в тепле. Но там битком было набито военными и нас не пускали. Но какой-то молоденький матрос разговорился с нами — все про Ленинград расспрашивал, а потом пообещал маме, что до двух часов ночи, когда ему на

дежурство идти, он устроит меня на вокзале, затем проводит до нашего эшелона. И я спала в духоте и махорочном дыму, сидя на полу, на солдатском вещевом мешке, положив голову на колени этому незнакомому парню. А он даже пошевелиться боялся и укрывал мои ноги шинелью. И то ли отсидела я ноги, то ли они в тепле отекли, но еле довел он меня до состава и потом еще двое суток я не могла ходить — отнялись снова, как уже бывало в Ленинграде.

Как ехали последние дни, совсем не помню. Знаю только, что в Рыбинске была пересадка на местный переполненный поезд, и это было ужасно. Нас отталкивали мешочники, мы плакали и совсем отчаялись. Но нашелся кто-то добрый, забросил в выбитое окно наши узлы и каким-то образом втиснул нас в вагон, вернее — в тамбур. Так в нем и ехали до утра, на рассвете высадились на тихой маленькой станции Сонково. Тут же подвернулись розвальни, запряженные лохматой лошадкой, и бородатый дядька, причитая и охая, погрузил нас, укрыл соломой, овчинным тулупом, и мы будто провалились в сон. Откроешь глаза — над заснеженным полем розовеет утренняя заря, мирно поскрипывают сани и неспешно трусит лошадка, понукаемая однообразным «Но… Но…» И оглушительная тишина и покой…

Не помню как приехали, как встретили нас. Всплывает перед глазами уже вечер, керосиновая лампа на столе, огромная, пышущая жаром русская печь, из которой женщины ухватами достают чугунок с водой и наполняют корыто, стоящее на полу. Окна завешены дерюжкой, все тонет в облаках пара и тепла — мы готовимся к мытью. Бани в этой деревне нет, здесь моются… в русской печи. Когда сойдет жар, выгребают угли, стелют солому, забираются туда и, усевшись на колени, согнув голову, чтоб не задеть сажу, моются из кадушки, воду в которой меняет и подает кто-нибудь из домашних… Уговаривали и нас попробовать такой способ. «Все косточки прогреются, вся хворь жаром выйдет!» — но у нас не было сил на такой эксперимент и поэтому решили ограничиться корытом. Когда же разделись и начали по очереди омовение, то ужаснулись сами тому, какие мы исхудалые и страшные… Женщины деревенские плакали, мыли нас, как малых детей. От горячей воды, тепла, мы совсем ослабели…

Отвели нам угловую комнатку, где стояла кровать с вязаным подзором и горой подушек, стол под образами, шкаф и большой фикус в деревянном ящике. Я спала на полу, под этим фикусом, а мама с бабушкой — на кровати. Таким блаженством было просыпаться от давно забытых криков петуха, мычания коровы. Слышать, как хозяйка принесла ведра с водой, затапливает печь, тихонько гремя ухватами, как мяукает кошка, ожидая свою

порцию молока… Сквозь заиндевевшие окошки слепило зимнее радостное солнце, пылали на подоконниках герань и бальзамин. Так приятно было сидеть на широких лавках, гладить теплые, серебристые от старости бревенчатые стены, ходить в шерстяных носках по чисто намытому полу, покрытому домотканными половичками…

И как трудно было дождаться, когда по избе разнесется одуряющий запах вареной картошки, и нас позовут завтракать… Хотя корова плохо доилась и хозяйка отдавала молоко в семью брата, погибшего на фронте, но все же и для нас оставляли немного, и мы пили чай, забеленный молоком, а иногда доставалось и по стакану парного, от которого кружилась голова. Домашний деревенский хлеб (пусть и с примесью отрубей), толченая картошка, которую запекали в глиняных мисках до румяной корочки, хрустящая квашеная капуста — было это все так вкусно, так неправдоподобно прекрасно, что прямо не верилось в реальность настоящего. Перед глазами вставал Ленинград, и все, кто там сейчас, горло стискивало, и нередко за столом то у одной, то у другой начинали капать слезы, и никто не спрашивал отчего — и так все было понятно…

Как бы ни были сыты, всегда хотелось унести со стола хоть корочку «на потом». Стеснялись этого, но не могли удержаться. Хозяйка заметила и насушила маленькие сухарики, и мы понемножку, но все же постепенно опустошали мешочек, лежащий на печке.

Пытались хоть чем-то помогать хозяйке, но скоро убедились, что толку от нас мало: ни воды принести, ни полы помыть нам не под силу. Но потом нашли себе дело — что-то перешивали, штопали, надвязывали, и к нам скоро начали приходить с заказами, а оплата — то пара яичек, то стакан крупы, и это очень подбодрило нас. Бабушка, обнаружив прялку, тут же начала «трепать»[24], «сучить»[25] (раньше я и слов таких не знала) и прясть шерсть, а потом и вязать носки и варежки. С нею расплачивались уже то мисочкой муки или картошки, и мы были так рады, что мы больше не сидим на шее у добрых людей, которые сами еле сводят концы с концами, т. к. должны были не только сдавать обязательные поставки молоком, яйцами, мясом и хлебом, но и дополнительные, в фонд фронта. А весной все запасы кончались, не хватало скотине корма, и это только сначала нам показалось, что живут здесь прекрасно. Вскоре увидели, как в тесто замешивают с мукой не только отруби, но и перемолотую картофельную шелуху, как ежедневно варят пустые щи из промерзшей капусты, как каждое яичко прячут в сундучок, чтоб, не дай Бог, не разбить нечаянно, или чтоб внучок не

выпросил раньше, чем налог будет сдан… А семья была не маленькая — кроме хозяйки еще невестка с ребенком, дочь с девочкой-подростком и параличный дед.

Все они из-за нас теснились в одной «горнице», и за стол садились после того, как поедим мы. Хозяйка еще помогала растить ребятишек в семье сына, о котором каждый вечер гадала на картах — жив ли…

Как только мы немного окрепли, так начали узнавать, где можно бы найти работу с жильем. Познакомились мы с семьей, жившей неподалеку, эвакуированной из Новгорода. У них были такие же проблемы, как и у нас. Трудней всего было с картофелем, купить его было невозможно — в каждом доме берегли остатки на посадку. Рассказывали, что в соседней Ярославской области живут богаче и там можно выменять картофель на одежду. Двое эвакуированных женщин взяли меня с собой (они уже однажды ходили в такой поход), погрузили на саночки у кого что было — обувь, платья, полотенца, хотя все это и самим было очень нужно, ведь увезли из дома только самое необходимое — и отправились от одной деревни к другой, оставаясь на ночевку там, где застанет ночь. Сначала стыдно было стучать в окна чужих домов, раскладывать в избах «товар», торговаться, а потом вроде и привыкли. Обменяли все и, возвращаясь через четыре дня, везли каждая по полмешка картошки, немножко крупы, сала…

Вскоре мы переехали в деревню Чернуху Краснохолмского района Калининской области, где мама устроилась счетоводом, а мне предложили быть зав. избой-читальней, без зарплаты, за рабочую карточку хлебную. Маме оплата была установлена в трудоднях, расчет — после уборки урожая, осенью. Пока же дали аванс: полпуда ржаной муки и немного пшеницы, которую нужно было перемалывать на «крупорушке». Выделили нам и пустую избушку. Мы втроем отмыли ее от вековой грязи и копоти. Бабушка, конечно, прежде всего повесила на окна крахмальные белоснежные занавесочки — из своих головных платков сделала. Мы набили соломой мешки, укрыли их домашними одеялами — получились «кровати» (сколько раз ночью расползались доски и скамейки, на которых громоздились наши постели, и мы оказывались на полу…). Огромную русскую печь выбелили и синькой провели кантик. Топили ее редко — на нее много дров надо, так она и стояла «для красоты», а посередине избы сложили нам маленькую печурку. И хотя ржавая труба не украшала наше жилье, но все приходящие к нам соседки останавливались на пороге и одобрительно говорили: «Ну, баско у вас! Ну, баско…»[26]. В их избах тоже бывала парадная комната, где все

блистало порядком и чистотой (особенно заметной по контрасту с грязной захламленной кухней). По-видимому, их удивляло, что у нас не было разницы между тем, что для повседневного житья, и тем, что для праздников или гостей. Везде чисто, любое полотенчико, любая тряпка настираны, да еще обвязаны кружавчиками (на это у бабушки всегда времени хватало). Ну и по моей инициативе избушка всякими способами украшалась — какие-то полочки для книг и мелочей сооружала, бумажный абажур на лампу (которая чаще мигала, чем горела, и зачастую приходилось сидеть вечерами с керосиновой), букетики из еловых веток и колосков по стенам развесила, а как пошла зелень, менялись букеты по сезону. Стали нам дарить горшки с цветами, и скоро все подоконники превратились в вечно цветущие оранжерейки. Бабушка умела выхаживать любой погибающий цветок. Наша жилая комната была одновременно и конторой, где весь день толпились люди, и лишь под вечер наступала тишина. Честно говоря, такая жизнь «на людях» утомляла, да и трудно было поддерживать чистоту — полы мыть по два раза в день приходилось. Но зато мы чувствовали, что не одни, что к нам относятся как к родным, что всегда готовы помочь, чем могут. Столько искренних друзей приобрели мы там!.. (Прошло сорок лет, а мы до сих пор получаем с мамой письма из Чернухи).

Началась наша деревенская, очень простая и деловая жизнь. Мама осваивала финансовое делопроизводство колхоза, и председательша — мужеподобная и веселая (а на лентяев — и матершинница великая) — Антонина Михайловна громогласно толковала маме все способы, как свести концы с концами отчетов перед районом. Учила нас запрягать лошадь (так мы и не одолели этого искусства). Частенько они обе уезжали в Красный Холм, за 25 километров, и возвращались вечером. Наутро собирали всех колхозников в сельсовете (одни женщины да старики) и рассказывали о всех новостях: и что слышали в Райкоме о сводках с фронта, и какие новые поставки или подписка на военный заем, или о сборе подарков для фронтовиков. Все это касалось каждого, собирались на такие собрания все, даже ребятишки, а потом еще долго обсуждали по домам, а то, чего не поняли, приходили расспрашивать к маме или к председательше (ее так все звали). И зачастую у нас дома вечерами получались стихийные «посиделки». Женщины приходили с вязаньем, с веретенами, устраивались возле лампы (если засиживались поздно, то и керосин с собой в маленькой бутылочке приносили). Бабушка тоже пряла, шерсть «скубала»[27] и «трепала». Вязали носки и рукавицы, и для себя, и для посылок на фронт. Говорили на таких посиделках больше о тех, кто на фронте, да о том, как кому-то в

одной деревне похоронка пришла, и женщина эта все глаза проплакала, о потом оказалось, что он жив. То ли в плену был, то ли «особое задание» выполнял и даже орденом награжден… И сколько бы таких историй не рассказывали, бабы слушали и плакали — у каждой было о чем и о ком плакать…

Я пыталась наладить какую-то работу в избе-читальне. Днем эта большая комната в старом церковном доме была вроде «приемной» сельсовета. Здесь ругались бригадиры, распределяли наряды на работу, сновали уполномоченные из района, толпились в очереди женщины перед дверями «секретарши Нюрки», от которой зависело, поставить печать сразу на бесчисленные справки, копии документов, пособия, или покуражиться. Нюрку эту все дружно ненавидели «за гонор», но боялись и заискивали перед ней. К вечеру я проветривала избу от махорочного дыма, мыла полы, раскладывала по столам газеты, зажигала большую керосиновую лампу и начинались мои «мероприятия»: читала вслух газеты (желающие послушать были всегда — старики и ребятишки), читала книжки и для ребят (а их с удовольствием слушали и старики). А когда собиралась молодежь (девчата всех возрастов и парни — «недомерки», 14–16 лет, которые и пахали, и косили, и дрова рубили, и потому чувствовали себя взрослыми, дымили цигарками, матерились, задирали девчонок), начиналась возня, смех и чтение приходилось кончать. Когда же только появлялся гармонист Федя, так сразу начинались танцы.

Керосин надо было экономить, поэтому я тушила лампу и выпроваживала всех на улицу, благо снег уже сошел и перед клубом была вытоптана сухая площадка. Рассаживались на завалинке, на крыльце, на куче бревен и допоздна «дробили» девчонки, выкрикивая озорные частушки. Парни выходили в круг редко, но частушки выкрикивали время от времени, стараясь перещеголять друг друга.

Пока вечера стояли прохладные, устраивали и молодежные посиделки по очереди, у тех, кто имеет большую избу и чьи родители разрешают собираться. Девчонки сами бегали по домам, собирая керосин (по ложке с каждого, кто пойдет), уговаривали гармониста (он всегда ломался), готовили избу — убирали столы, доставали скамейки. И когда собирались, то, рассаживаясь и балагуря, парни явно вели себя приличнее, чем на улице, да и девчонки, принаряженные, оживленные, создавали атмосферу праздника. Так же все вращалось вокруг гармониста, так же плясали подгорную и кадриль, но уже и вальс просили играть, и краковяк даже парни соглашались станцевать (правда, паясничая, чтоб скрыть смущение). И пели — протяжные песни и

фронтовые, те, что по радио слышали. Потом, парами, группками понемногу расходились и еще долго раздавались то в одном конце деревни, то в другом, песни.

В дневные часы я обходила «рабочие участки» своих четырех деревень: амбары, где готовили семенной фонд, бурты, где перебирали картофель, ремонтные мастерские, швейную мастерскую, где шили маскировочные халаты и рукавицы, т. е. все места, где одновременно работали по 10–15 человек, и читала им газеты, рассказывала о Ленинграде, обо всем, что спрашивали. В швейной мастерской несколько дней подряд читала «Радугу» Ванды Василевской [28]. (Кто-то привез из Москвы в издании «Роман-газеты», на серой бумаге, зачитанная до дыр). Это была первая почти документальная повесть о зверствах фашистов в оккупированных районах. И я читала с трудом — слезы застилали глаза, и женщины слушали и плакали. В рабочее время удавалось прочитать немного — полчаса в обеденный перерыв, и начали приглашать меня в гости вечерами, чтоб продолжить чтение. Так посиделки превращались в «чтецкие вечера», и прослышав, в какой избе сегодня книжку читать будут, туда приходили и женщины с ребятишками («Не шкните[29]! Чтоб вас и слуху не было!»), и те старики, кто еще не совсем «обезножил». Меня усаживали в «красный угол», возле лампы, ребят распихивали по углам и на печке (и тех, действительно, «ни слуху ни духу» не было слышно — старшие глазели, а младшие засыпали), рассаживались с вязанием, прядением вокруг и готовы было слушать «хошь до петухов». Читала и про войну, и Чехова, и из «Педагогической поэмы» Макаренко — все, что удавалось достать. Когда совсем хрип голос и я выдыхалась, предлагали или чаю с моченой брусникой, или даже кружку молока — «горло промочить» и уговаривали: «А ты не стесняйся, пей. Ведь это не шутка, сколь долго читала…». И всегда обсуждали прочитанное так увлеченно, как если бы все рассказанное в книге происходило на их глазах и в их Чернухе, иногда до спора доходило. Выговорившись, детные бабы разбирали своих ребятишек. Тут и плач разбуженных, и возня — где чьи обувки, и воркотня мамаш. А как все затихало, оставшиеся начинали гадать на картах о своих мужьях, сыновьях, читали письма с фронта, пели протяжные грустные песни.

Сошел снег, все начали копаться в огородах. Рыли грядки и мы. А председательша А.М. Букова моталась от избы к избе и ругалась по-черному: пора пахать, сеять, а все на своих участках. Да еще с тягловой силой был «полный зарез», как говорила она. В колхозе осталось только две бракованных кобылы, а всех остальных отдали на фронт. И теперь из хлевов выводили

отощавших кургузых коровенок, и из них надо было выбрать тех, на которых предстояло пахать и боронить. Бабы тоже ругались, кричали: «Хушъ силком бери — не отдам!». А потом плакали, смирялись, загоняли несчастную скотину в упряжь, иначе хоть самой впрягаться в борону. Глядеть, как мучились женщины, мальчишки-подростки с этой пахотой было ужасно… Бывало, вдруг сорвется корова и побежит через все борозды в сторону, к травке, да запнется плугом за камень и рухнет она, ломая ноги, а женщины с плачем подымают ее. Но все же, с грехом пополам, обработали землю и посеялись. Большая часть земли отводилась под лен, и я впервые увидела, сколько маяты с ним.

Летнее солнце почти полностью излечило нас от дистрофии, и я ходила вместе с девчонками на прополку, на косьбу (ворошила сено), хотя выдыхалась быстро и должна была часто отдыхать. Зарабатывала я трудодни и на дерганье льна. Оказалось это очень трудным делом. К концу дня руки покрывались волдырями, их приходилось обматывать тряпками. Но все равно свою норму (восемь соток) я выполнить не могла и девчата помогали дергать, оставляя мне более легкое — вязать снопики и расставлять их для сушки. Потом расстилали лен, потом мочили, сушили, трепали — длинный и очень трудоемкий процесс. Научилась я всему этому и была очень горда, когда и мне осенью выдали немножко муки и зерна, из расчета 400 грамм на трудодень.

Продолжала и работу в избе-читальне, читала сводки с фронта, очерки И. Эренбурга, К. Симонова, А. Толстого. Помню, как потрясла нас публикация в «Правде» пьесы Корнейчука «Фронт». Значит, на фронте встречаются и глупые, бездарные командиры, которые губят солдат, посылая их на бессмысленную смерть. Плакали женщины, думая о своих мужьях, сыновьях, поражались, что «эдакое да печатают». А когда прочитали (в газете тоже) пьесу К. Симонова «Русские люди», то решили немедленно готовить спектакль. Правда, у нас была только первая часть пьесы и окончания ее мы не знали — газета эта почему-то не пришла на нашу почту. Быстренько распределили роли (мне единогласно поручили главную роль девушки-партизанки), и уже через пару недель мы показывали спектакль в избе-читальне. Зал был переполнен, успех огромный, может быть, оттого, что заканчивался спектакль песней на торжествующей, оптимистичной ноте. А о том, что герои пьесы в конце трагически погибают (тоже с песней), мы тогда не знали.

С наступлением тепла молодежь начала устраивать посиделки на улице, в каждой деревне на своем излюбленном месте. В Бекренях собирались под окнами избы-читальни, а у нас

в Чернухе — на бревнышках возле деревянного моста через речушку. Дробь на мосту получалась звонкая и четкая, а голоса девчонок разносились так далеко, что на них отзывались проснувшиеся петухи. Парней было мало и все «недомерки» — 14–15 лет. Старались они выглядеть взрослыми (да и работали ведь за мужиков), поэтому курили махорку и матерились. Плясать они стеснялись и, если кого из них выталкивали в круг, топтались на месте, выкрикивали какую-нибудь частушку (чем грубее — тем считалось ими лучше) и спешили спрятаться за спинами дружков. Девчонки непременно старались перепеть парней и отвечали озорными, часто очень смешными частушками, которые сочинялись мгновенно. Иногда всей компанией ходили в другие деревни, а те приходили к нам. Так создавались стихийные «ансамбли песни и пляски», главным стремлением их было перещеголять соперников и в песнях, и в плясках. Я обычно была среди болельщиков и очень переживала за свою «команду». В такие вечера чувствовала себя молодой, беспечной, и война с ее ужасами казалась отодвинутой куда-то далеко, в прошлую жизнь, которая привиделась во сне. Но утром брала на почте газеты, узнавала о похоронках, которые приходили то в один, то в другой дом, слышала, как воют бабы, — и война снова приближалась вплотную.

Осенью мне предложили идти работать в школу, учительницей биологии в 5-й класс. Смешно было — какая я учительница! Но согласилась. Папа тогда как раз прислал посылку, в которой была для меня гимнастерка (офицерская — шерстяная, с накладными карманами на груди) и мягкие русские сапожки. Темная юбка у меня была и, облачившись в эту форму, подпоясавшись широким ремнем с медной пряжкой и соорудив себе «взрослую» прическу, я почувствовала себя намного старше своих учеников и мой страх перед ними прошел. За книгами в библиотеку приходилось частенько ходить пешком за 20 км, в районный центр — маленький городишко Красный Холм. Выходила из дому засветло. Идти одной было страшновато. Деревни по пути отстояли друг от друга на расстоянии 5–6 км, а в одном месте был переход в 10 км, и иногда за всю дорогу лишь двух-трех прохожих встретишь. Редко, когда попадались попутчики с подводой, а чаще и обратный путь шла пешком, домой приходила уже ночью. Трусила очень, но храбрилась и для бодрости пела песни. Особенно трудно было одолевать этот путь осенью, когда развезет дороги, и зимой в буран и метели.

Набрала я книг по биологии, очень интересными оказались труды Тимирязева. Читала вечерами маме с бабушкой о строении

растений как увлекательный роман. Кроме того, приносила из библиотеки том за томом собрания сочинений Шекспира, и этого чтения нам хватило на всю зиму 1942–1943 года.

А в школе страшным оказался лишь первый урок — все боялась, что недостаточно взрослой выгляжу, а потом быстро наладились отношения с ребятами. Они меня слушали хорошо и вроде не замечали, что я совсем девчонка. Несомненно, что моя военная форма тоже сыграла свою роль. Зная, что я приехала из фронтового Ленинграда, ребята по-видимому и меня принимали за фронтовичку.

И, кстати, проработав месяц-другой в школе, я и сама начала все чаще задумываться о том, что пора мне отправляться на фронт. Я уже чувствовала себя окрепшей, здоровой и считала, что справлюсь с любым делом, которое мне поручат. Считала, что мой значок Ворошиловского стрелка, полученный в школе, и сданный минимум по санитарному делу вполне достаточны, чтобы проситься на фронт. Понимала, что мама будет очень расстроена, и поэтому отправила заявление в военкомат, ничего не говоря ей.

Весна-лето 1943-го

Минул 1942 год. Хотя уже произошли решающие битвы под Москвой и Сталинградом, сводки с фронтов оставались тревожными. Получила письмо от Генки Соболева (разыскал мой адрес через соседей по ленинградской квартире) из Самарканда, куда была эвакуирована Медицинская академия. Их отправили на фронт, и он уже был военным фельдшером где-то под Севастополем. Наладилась переписка с Адой Неретниеце. Она поступила на режиссерское отделение ВГИКа в мастерскую Сергея Герасимова. Галка из Ленинграда на мои письма не отвечала.

Зима уже была на исходе, когда я вдруг получила официальное письмо из военкомата — меня могли взять вольнонаемной в банно-прачечный комбинат какой-то военной части. Ответ нужно было дать в течение пяти дней в райком комсомола. Честно говоря, огорчилась я очень: вместо фронта вдруг прачечная… И, наверное, где-то в тылу. Но потом мне стыдно стало. Можно ли бояться грязной тяжелой работы, если идет война. И я решила не отказываться. Рассказала все маме с бабушкой. Только теперь могу себе представить, как восприняли они эту весть, но тогда мне показалось, что отнеслись они к моему намерению вполне «сознательно» и, в общем, спокойно. Попробовали меня отговаривать, но быстро сдались и начали собирать в дорогу.

Мама поехала провожать меня в Красный Холм (дали нам подводу для такого случая). Приехали мы за два часа до назначенного мне, и мама сказала, что ей нужно зайти по делам к секретарю райкома партии, который находился в одном здании с райкомом комсомола и военкоматом, а я осталась на телеге ждать ее. Через некоторое время она выходит и говорит, что меня просят зайти тоже в райком партии. Я удивилась. Пришла я в кабинет к секретарю, думала, что он напутствие хочет дать или поручение какое, а он мне: «Сколько килограмм ты можешь поднять?». «Да, не знаю, — говорю, — наверное, десять, двенадцать…». Он: «Ну, а этот несгораемый шкаф можешь сдвинуть? Ну-ка, попробуй». Я попробовала — ни с места. «Вот видишь! А ведь он всего пуд весит. А в банно-прачечном комбинате мокрое белье, котлы с водой придется пудами ворочать. Там знаешь какая сила и здоровье требуются!». Я пыталась убедить его, что главное — попасть на фронт, а там, может быть, меня в медсестры возьмут… Он смеется: «А вот меня, к примеру, ты могла бы протащить шагов двести? Нет? Не можешь? Какая же тогда из тебя медсестра? Ты же балластом

только там будешь!». И так он меня этим «балластом» обидел, что я чуть не расплакалась. А он позвонил при мне в военкомат, сказал, что брать меня нецелесообразно и что о моем трудоустройстве он сам подумает. И предложил мне работать инструктором в райкоме комсомола: «Нам нужны грамотные инициативные люди. Здесь ты больше принесешь пользы фронту».

На том и порешили. Странно, что я тогда самостоятельно не додумалась до тех простых истин, о которых говорил секретарь. За словами «Иду на фронт» я даже и не пыталась увидеть конкретно то, чем мне придется там заниматься, и не соразмеряла требования со своими реальными возможностями. А ведь и в повседневной деревенской жизни я нередко убеждалась в том, что мы с мамой вроде и окрепли, но в действительности еще во многом отстаем от своих сверстниц. До сих пор нам было не под силу донести до дому два ведра воды — с одним еле справлялись, отдыхая несколько раз. Поехали мы в январе за дровами в лес (в эту зиму нам уже не давали готовые дрова, надо было заготовлять самим), и когда срубили несколько молодых березок, то это уже почти вконец исчерпало наши силы. А после того, как обрубили ветки и, почти по пояс в снегу, потащили их к дороге, где стояла лошадь, то убедились, что с этим нам просто не справиться. До вечера провозились, и только когда разрубили стволы на две части (что было тоже нелегко), смогли притащить эти дровины к саням. А деревенские женщины делали это играючи.

А как выматывала нас пилка дров… Да и от простого мытья полов темнело в глазах и кружилась голова. Видно, все наши силы остались в Ленинграде.

Итак, вместо романтических представлений о фронте, я оказалась в роли инструктора Краснохолмского райкома комсомола. Секретарем был только что вернувшийся из госпиталя и списанный подчистую Андрей Басс. На фронт он ушел с третьего курса института имени Баумана в Москве. В Красном Холме жили его родители. У него была ампутирована по плечо правая рука. Был он живой, остроумный, свое несчастье прятал за шуточками, учился все делать левой рукой и не терпел, когда ему помогали. Но иногда прорывалась у него горечь, что института теперь ему не закончить (там чертить надо много) и надо искать себе какую-то специальность.

Работать с ним было интересно. Он придумывал и как помочь детским домам (которым не хватало питания, одежды, воспитателей), и чем порадовать отличившихся на работе комсомольцев, и как лучше организовать сбор посылок на фронт, и какой репертуар подобрать для агитбригады. Многие его

поручения я выполняла самостоятельно и радовалась, что меня хвалят. Жила я в кабинетике райкома, где стоял клеенчатый диван возле письменного стола и был шкаф, в котором рядом с деловыми папками хранилось и мое имущество.

Наступил апрель 1943 года, весна была ранняя, и я с удовольствием бродила по вечерам по городку, сидела над рекой, ходила в единственный кинотеатр. Частенько меня сопровождал Андрей. Он был старше меня лет на пять, казался очень взрослым, но относился ко мне по-товарищески и было с ним легко и просто.

Однажды в разговоре девчат из отдела учета я узнала, что Андрею кто-то шутя советовал жениться, а он сказал, и совершенно серьезно, что это не для него, так как он не считает возможным связывать судьбу какой-либо девушки со своей. И хотя он не сказал ничего про свою инвалидность, но все поняли это именно так и не посмели переубеждать его, переменив разговор на другое.

Этот рассказ запомнился мне. После несостоявшейся попытки свершить нечто большое и важное я вновь искала куда бы «определить» себя. Мне казалось необходимым как-то оправдать свое существование. Постепенно в голове моей созрел новый план: если я сама не могу свершить ничего существенного, то моих сил хватит на то, чтобы стать полезной, нужной кому-то другому. Вот Андрей не может кончить институт из-за того, что потерял руку. Но я ведь хорошо черчу, могу еще лучше научиться и, если бы мы были вместе, я бы делала за него все чертежи и он бы окончил институт. И не только в институте дело — ему всю жизнь будет трудно без руки. А я могла бы стать его правой рукой… Значит, смысл моей жизни мог бы определиться, если бы я стала его женой. Но он никогда не отважится сделать предложение, даже если бы и полюбил меня. Правда, он сейчас меня воспринимает только по-приятельски (как и я его), но это не важно. В результате доброго отношения можно привыкнуть друг к другу и полюбить. Значит, мне нужно самой сделать ему «предложение» и переубедить его, если будет возражать…

Так, или приблизительно так, думала я тогда. О том, что скрывается за словами «стать мужем и женой» я умудрялась каким-то образом не позволять себе задумываться. В моих представлениях только рисовались картинки того, как ночами я склоняюсь над чертежным столом, самозабвенно черчу что-то, а Андрей уговаривает меня отдохнуть и приносит мне стакан чая… А когда мелькало в уме, что, по-видимому, замужество повлечет за собой и какие-то другие обязанности, я мгновенно отмахивалась от них и даже, кажется, допускала возможность

договориться о «чисто товарищеских отношениях». Во всяком случае, на данном этапе меня больше всего волновало, как убедить его в разумности моего плана, да каким образом перейти с обращения «вы» на «ты». Очень уж трудно мне это было, но понимала, что «надо».

Приняв решение, я немедленно перешла к действию, изложила Андрею четко и определенно все преимущества такого делового союза и, не дожидаясь возражений, вышла из его кабинета, дав ему на размышления три дня. Тогда я как раз уезжала на какую-то комсомольскую конференцию в Бежецк, и это мое отсутствие было кстати.

Поездку помню смутно. Переполненные вагоны, ночь, проведенная на какой-то маленькой станции, где солдаты тихо пели тогда еще новую для меня песню «В кармане маленьком моем есть карточка твоя, так значит, мы всегда вдвоем, моя любимая…». Тронула она меня до слез, я ее выучила и напевала про себя, смутно ощущая, что я чего-то лишаю себя, приняв такое бесповоротное решение о замужестве. Но об отступлении не могло быть и речи, и я продумывала все новые и новые аргументы в предстоящем решающем разговоре с Андреем. В том, что он будет возражать, я не сомневалась. Как и в том, что сумею его переубедить. Помню разбитый снарядами вокзал в Торжке и старинный городишко Бежецк, в котором уцелела лишь главная улица. О чем была конференция — не помню.

По возвращении было все так, как я и предполагала. Андрей после рабочего дня пришел в мою комнатушку, говорил о том, как он тронут моим предложением и почему он все же не может принять его… Я сидела на своем клеенчатом диванчике и, как мне казалось, возражала ему весьма убедительно. Он сел рядом, умолк, о чем-то задумался, и я уже решила, что он приходит к выводу, что я права. Вдруг он обнял меня своей единственной рукой и поцеловал в щеку. Инстинктивно я вскочила и оттолкнула его. Он не удержался и вместе со скользким валиком дивана упал на пол. И это было ужасно! Если б у него была вторая рука, он бы не упал… А тут я невольно не только выдала свою нерасположенность к нему (сердечную? физическую?), но и стала причиной его унизительной беспомощности. Он быстро вскочил, пытался превратить все в шутку, а мне было ужасно стыдно. Я просила извинить меня и что-то говорила насчет того, что «постепенно я привыкну…». Вот в этот момент со всей неотвратимостью передо мною и встала мысль о том, что, видимо, никакими «товарищескими» отношениями обойтись не удастся… И тут же, как заклинание самой себе, что-то о том, что «Раз уж так надо, то постараюсь привыкнуть. Вон, девчонки моего

возраста на фронте какие испытания переносят…» — вторую половину фразы я произносила, конечно, только про себя, на это у меня ума хватило. Хотя одновременно охватил и страх: можно ли привыкнуть? А не обманываю ли я его и себя? Уж в этом я признаться не могла. Но Андрей, видимо, все понял и сказал: «Ты хорошая девочка. Спасибо тебе за все. Ты хотела помочь мне так, как если бы прикрепить к стулу отломанную ножку. Стул так починить можно. Но построить на таких основаниях совместную жизнь — нельзя. Вот когда-нибудь полюбишь и поймешь. А теперь давай забудем этот разговор и останемся друзьями, да?».

Так закончилась моя очередная попытка найти смысл, оправдание своей жизни.

Хотя Андрей призывал остаться друзьями и вел себя так, будто ничего не случилось, но в отношениях наших появилась неловкость, которая мешала открыто смотреть в глаза. Я старалась не оставаться с ним наедине, мне стало трудно работать с ним вместе. И тут вдруг появился хороший выход из этого положения. Однажды под вечер, когда все уже из нашего здания ушли и я принесла из столовой что-то себе на ужин, зашла ко мне сторожиха и сказала, что секретаря райкома комсомола спрашивают два фронтовика, а так как его нет, то пусть я к ним выйду. Оказалось, что двое летчиков с Западного фронта были в командировке на одном заводе, где-то поблизости от Красного Холма. Теперь, в оставшиеся сутки, хотели с помощью нашего райкома найти несколько девушек-добровольцев, которые могли бы работать как вольнонаемные в БАО (Батальоне аэродромного обслуживания). Желающих поехать на фронт у нас был большой список, и поэтому наутро, через ту же сторожиху, я вызвала десяток толковых девчат, чтобы летчики побеседовали с ними и сами решили, кого брать.

Усадив за чай фронтовиков в своем кабинетике, я начала дотошно расспрашивать их о том, какие именно работы есть в этом БАО и в какой обстановке они там находятся. Те объяснили, что в основном у них весь штат обслуги аэродрома имеется, но недостает несколько грамотных исполнительных девушек для работы в подразделениях связи, а также в отделе статистики при штабе, поэтому обязателен строгий отбор и рекомендация райкома. БАО передвигается вслед за передислокацией аэродрома. В настоящее время они только что обосновались на новом месте где-то в районе Белорусского фронта (как я узнала позднее, неподалеку от недавно освобожденных Великих Лук).

В общем, слушая летчиков, я уже решила, что лучшего случая отправиться мне на фронт трудно найти и утром, подавая Андрею список вызванных для собеседования девушек, включила в этот

список и свою фамилию. Андрей молча прочитал список, взглянул на меня, но ничего не сказал и подписал его. Через сутки, съездив домой и попрощавшись, я уже ехала еще с тремя девушками и летчиками, отобравшими нас, в военном эшелоне, который шел на запад. Наши спутники на остановках бегали отоваривать продовольственные талоны, отвоевывали лучшие места при пересадках. От старинного городка Торопец мы уже ехали на грузовой машине, укутанные полушубками, так как был конец апреля и ночами очень холодно. Вокруг были места, где недавно шли бои — мертвая земля, мертвые леса и деревни, мертвые останки техники. Уже в сумерках подъехали к Великим Лукам, к тому, что когда-то было городом. Бесконечные ряды печных труб среди кирпичных развалин. Ни одного уцелевшего здания. Остановили машину для заправки, и со всех сторон охватила жуткая тишина этого города-призрака. Тянуло запахом гари и трупов. Даже мужчины были подавлены и спешили уехать.

На место прибыли ночью, но нас встречали, повели в жарко натопленную маленькую столовую, сытно накормили и разместили в девчачьем общежитии — деревенской избе, густо уставленной койками.

Спать, хотя и очень устали, не могли: то удалялся, то приближался рев самолетов, доносился гул тяжелой артиллерии. Потом мы к этим звукам привыкли и уже не замечали.

БАО оказался обычной деревушкой на берегу извилистой речки в окружении плакучих ив. Каким-то чудом здесь почти не было следов бомбежки, только остов сгоревшей церкви напоминал о войне. Все подразделения БАО размещались в избах, амбарах, складских помещениях бывшего колхоза. Новый дом с вывеской «Сельсовет» был занят под штаб, а в клубе — бревенчатом бараке — иногда даже устраивали танцы (в те вечера, когда у летчиков не было вылетов).

Меня определили диспетчером статистической службы при штабе, где начальником был пожилой дядя, майор по званию и, по смешной случайности, имел фамилию Майоров. Был он строгий внешне, но очень добрый по существу и очень справедливый. Ко мне утром поступали десятки сводок с цифрами потерь людского состава, техники, о количестве сбитых самолетов, о бомбежке объектов и прочих событиях, а я их расписывала по определенной форме и передавала шифровальщикам, откуда эти сведения шли на телеграф, радио и по другим инстанциям. Работа эта требовала предельной точности и внимания. Среди дня иногда получался перерыв в один-два часа, и тогда мой начальник разрешал мне выйти погреться на солнышке. Но только так, чтобы слышать телефон:

как звонок, так сразу бегу обратно. Работали мы с одной девушкой в две смены, иногда вызывали на дежурство и ночью.

Водили нас, новеньких, и на аэродром — он был километрах в трех от БАО. За сосновым лесочком большое поле, а почти вплотную к сосняку, под навесами, крыши которых покрыты зелеными ветками, — самолеты. Перед каждым взлетная дорожка, и вырываются они из своего убежища как разъяренные шмели и быстро взмывают вверх. Были среди самолетов и маленькие истребители, и тяжелые бомбардировщики. Где-то глубоко в лесу был склад бомб, откуда ночами тянулись вереницы натужно рычащих грузовиков, но к той территории нам нельзя было даже приближаться. Дежурные летчики находились в землянках возле своих самолетов. Спускаешься под землю и ожидаешь, что попадешь в темноту, в сырость, а там неожиданно светло и даже щегольски чисто, потолок и стены обиты светлой деревянной дранкой (из такой в мирное время корзинки для клубники делали). Пол застлан струганными досками, вдоль стен лежанки, а в центре столик и на нем даже букетик полевых цветов. Не знаю, все ли землянки были такие, но этой летчики явно гордились и показывали ее с удовольствием. Выглядел аэродром очень мирно и даже уютно. Но вот из командного пункта выбежал дежурный, затрещали зуммеры телефонов, и мгновенно несколько групп обслуги засуетились вокруг своих машин, к ним побежали летчики, на ходу натягивая перчатки и шлемы, взревели пропеллеры и через несколько минут машины в воздухе. И неизвестно, вернутся ли они…

Бомбежки аэродрома еще не было, видно, пока его еще не обнаружили. Но однажды, когда я с девочками шла из столовой, вдруг раздались залпы зениток и с оглушительным ревом на бреющем полете пронесся немецкий разведчик — «рама» (два фюзеляжа на общих крыльях). Вид у него был зловещий, я таких раньше не видела. Все бросились врассыпную, и было чувство полной беспомощности. Но второго захода он не сделал. Его подбили, и он упал далеко за лесом, взорвался и сгорел. Если бы его упустили, не миновать бы нам тогда бомбежек.

По сводкам, которые доставляли в штаб, было видно, что наши летчики проводили очень серьезные операции, подбивали немало машин противника, но и сами имели потери. По возвращении с задания быстро разносился слух — все обошлось благополучно или санитарная машина прямо с аэродрома увезла кого-то в госпиталь. Бывали и невернувшиеся.

Однажды под вечер привезли к нам на машинах группу партизан — их должны были ночью забросить в тыл врага. Разместили их в одном доме, туда и еду носили. Уже в темноте

они вышли посидеть на завалинке (нам не разрешали к ним подходить), и мы услышали песню, медленную и суровую: «Ой, туманы мои, растуманы…». Пели тихо, будто вслушиваясь в каждое слово, и среди голосов выделялся один очень низкий бас. Мы все притихли, и в памяти отпечатался каждый звук, каждое слово этой песни. Я тогда услышала ее впервые. Самих партизан мы так и не увидели. Вечерами в девчачьем общежитии много говорили о летчиках, об их полетах: ведь у каждой был «свой» среди летного состава или техников. Подружки ночами шептались о своих переживаниях, случалось, бывали и слезы — друг не вернулся с задания или попал в госпиталь, и тогда все вместе утешали. Вместе радовались успешному возвращению с задания, награждениям летчиков. Хохотали, вспоминая, как известный лихач Леша сделал вираж над поселком и, проносясь бреющим полетом над столовой, где работала его Надя, покачал крыльями (как это делал всегда, когда уходил в полет), а командир как раз вышел в этот момент на крыльцо, увидел это, погрозил кулаком и по возвращении сделал Леше разнос.

Из разговоров я поняла, что здесь почти обязательно каждая из девушек должна иметь своего «друга». А когда пыталась сказать что-то насчет того, что, мол, я не собираюсь «романы заводить», не для того я сюда приехала, меня подняли на смех: «Никуда не денешься! К тебе ведь и так уже присматриваются и, может быть, кто-то уже и выбрал. Вот будут танцы, тогда и определится, кто на тебя глаз положил…». Я вспомнила, что действительно, когда мы, новенькие, идем в столовую или возвращаемся с дежурства (а мы на первых порах все стайкой ходили), то встречные летчики разглядывали нас, отпускали шуточки, пытались познакомиться. И в штаб заглядывали с чепуховым делом, лишь бы поболтать. Мой Майоров их гонит и на меня вроде сердится, хотя я и не виновата. Все определится на танцах, сказали девчата.

И вот, когда случилась нелетная погода и большая часть состава БАО была вечером свободна от дежурства, объявили в клубе танцы. В нашем общежитии срочно гладили платья, сооружали прически. Нам, вольнонаемным, разрешалось по такому случаю быть в «штатском». Мы с удовольствием облачались в свое, домашнее (у кого было, конечно, во что переодеться, некоторые так и остались в гимнастерках и сапогах). Когда пришли в клуб, там уже раздавались звуки аккордеона и танцевало несколько пар. Томящиеся в ожидании летчики, тоже парадные, начищенные, набритые, немедленно окружили нас, разобрали своих девушек и сразу в зале стало тесно от танцующих.

Я, еще с двумя девочками, отошла было к стенке, но увидела, как от группы нетанцующих отделился невысокий, черноволосый, как мне показалось, очень суровый летчик, и неспешно двинулся через зал, не сводя с меня глаз. И вспомнила, что уже видела его — он заходил несколько раз в штаб, но никогда не заговаривал со мною. Теперь же, когда он в упор смотрел на меня, я почувствовала себя как кролик перед удавом. Не помню, сказал ли он хоть что-то, — просто взял за руку и вывел в круг танцующих. Танцевал он строго, в замедленных ритмах, а когда музыка кончалась, отводил меня в сторону и держал за локоть, будто не сомневался в том, что и дальше я буду танцевать только с ним. О чем-то спрашивал, я что-то отвечала и боялась смотреть на него и толком даже не разглядела его лицо. Мелькнуло только, что оно будто вырезано из дерева.

По акценту поняла, что он грузин, а потом он назвал себя — Вано Мгелоблиошвили, из Кутаиси. Было ему лет тридцать, по моим представлениям, уже старый. О том, чтобы отказать ему в танце или согласиться на чье-то приглашение, не могло быть и речи. Да меня больше никто и не приглашал. На того, кто ко мне приближался с таким намерением, Вано только взглядывал, и этого было достаточно, чтобы тот сразу тормозил и менял курс.

Я поняла, что девчонки были правы — здесь свободной оставаться невозможно и теперь я для всех буду «девочкой грузина Вано».

Конечно, он провожал меня, держал так же церемонно за локоть и вел какой-то обязательный, как он видимо считал, разговор ни о чем. При прощании поцеловал в щечку и сказал, что вернется после полетов через три дня и после ужина будет ожидать меня на скамеечке возле нашего общежития. Возразить я не осмелилась.

Девчонки смеялись над моей растерянностью, одобряли выбор (будто я «выбирала»). Вано был известен как отчаянно храбрый летчик и как абсолютно не реагирующий на заигрывания девчат «молчун». На танцах он обычно лишь мрачно поглядывал на всех, подпирал стенку. А уж если он пригласил меня танцевать и даже проводил — это значит всерьез, и не дай мне Бог посмотреть теперь на кого-нибудь другого… Перепугалась я отчаянно. А когда через три дня увидела как вокруг скамеечки ходит мрачно покуривая «мой грузин», поняла, что никуда мне теперь от него не скрыться.

Снова гуляли вдоль речушки, снова он больше молчал, чем говорил, а когда возвращались, он сказал, что хочет на мне жениться, что нечего мне быть в армии среди мужчин, что он договорится о моем увольнении и отправит меня в Кутаиси к его

маме и я там буду ждать его… Все это было сказано так, будто уже все решено и мое мнение его даже не интересует. Когда я согнала с себя ошеломление от услышанного и пыталась сказать, что не собираюсь замуж, он прервал: «А ты нэ говори, нэ говори сейчас ничего. Ты молодая, глупая, ты счастья своего нэ понимаешь». Поцеловал меня, толкнул в калитку и ушел. Тут уж я всю ночь проплакала, ужасалась: что же мне делать?! Девчонки на другой день утешали меня, говорили: «А ты подумай. Может, и правда надо за него выходить. Он только с виду сердитый, а так — хороший… И видишь, у него все всерьез, сразу взамуж предлагает, а не как другие, лишь бы время провести…».

Я думать даже не хотела, чтобы выходить за него, пусть он и очень хороший человек, может быть, но меня ужасало, что в его присутствии меня почему-то охватывал такой страх, что я цепенела и ничего не могла возразить ему. Боюсь я его взрослости, боюсь рассердить его. И даже, пожалуй, боюсь обидеть. Будто я виновата в чем-то перед ним — он ко мне, девчонке, со всей душой, а я…

В общем, совсем я расстроилась. А тут еще подружки внушают: «Теперь он от тебя ни за что не отстанет — грузины, они такие…». И рассказали историю, как в подобной ситуации какой-то грузин зарезал девушку, чтобы она «никому не досталась».

Я уж тут совсем духом упала, даже майор Майоров это заметил, весь день косился на меня, потом спросил: «Ты что? Заболела? Или случилось что?». Я вдруг разревелась и все ему рассказала. Он помолчал, погмыкал: «Да, с этими грузинами шутки плохи». Подумал и предложил, чтобы я недельку подежурила в ночную смену в штабе, у телефона. Может, Вано за это время от меня и отстанет.

Я очень обрадовалась и, когда пришел мой «жених», сказала ему о приказе начальства. Вано огорчился, но возразить ему было нечего, буркнул только: «Схожу за газеткой, здесь на крылечке посижу, пока не стемнело». И сидел, как сыч длинноносый на перилах крылечка, а когда стемнело, еще долго мелькал под окнами огонек его папиросы.

Так бывало все вечера, когда он не летал. Майор мой, столкнувшись с ним пару раз у крыльца, снова сказал: «Да, видать, дело здесь серьезное». А я маялась тем, что после того разговора так и не отважилась сказать Вано правду, что женой его быть не могу, и он мое молчание принимает за согласие…

Пока я была занята своими проблемами, БАО начали готовить к передислокации на запад, ближе к фронту. Но я как-то на это не обратила внимания. Меня больше волновало, почему

Вано перестал появляться на своем «дежурном посту». Может быть, мое осадное положение окончилось? Но вот я получила записку, которую принес «друг Вано», из которой я узнала, что его отозвали на несколько дней в тыл (как я поняла, за получением новой техники). По-видимому, этому товарищу было вменено в обязанность присматривать за мной — слишком часто стал мне попадаться этот товарищ на глаза.

Обрадовалась я передышке от необходимости жить в постоянном напряжении, отменялись мои ночные дежурства, я понемногу начала успокаиваться и думать о том, что все как-нибудь само собой образуется. Но страх перед возвращением Вано и моей непонятной обязанностью быть «верной» ему у меня сохранялся и, когда объявили очередной вечер танцев, я не пошла в клуб, так как знала, что кто-нибудь меня непременно пригласит танцевать и все это может плохо кончиться. Так я чувствовала, что и на расстоянии каким-то образом завишу и уже подчиняюсь Вано. И это меня очень угнетало.

В эти дни пришло письмо от мамы. Она получила вызов из Томска, куда эвакуировался Ленинградский театральный институт. Писала, что решила туда не ехать, так как на бабушку вызова нет да и вообще, наверное, скоро в Ленинград разрешат возвратиться и нет смысла забираться так далеко в Сибирь. Но мне предлагала подумать. Если захочу, то смогу там поступить на театроведческий факультет и учиться. В конверте лежал официальный вызов на мое имя.

Такой поворот был совершенно неожиданным, и я растерялась. Но одновременно стала все настойчивее пробиваться мысль: а не есть ли это «знамение» судьбы и решение всех моих проблем? Исчезну, и Вано меня не найдет. Но не будет ли мой отъезд дезертирством?

Рассказала все майору Майорову, со всеми своими сомнениями. И он сказал: «Поезжай и учись. Здесь на твое место любую грамотную девчонку поставят и все обойдется. А то, что если не грузин этот, то все равно кто другой тебя к рукам приберет — это факт. Ведь все девчата в батальоне постепенно «распределяются» и находят себе женихов. Некоторые с такой целью сюда и прибыли». (Сказал он все это более прямолинейно и грубовато). Разговор этот снял тяжесть с моей души и я подала рапорт с просьбой уволить меня по семейным обстоятельствам. Мне быстро оформили документы. Написала я письмо Вано, где просила не искать меня и простить за то, что не сказала сразу, что не могу быть его женой, и уехала в Томск.

Переполненные составы, бесконечные остановки, толпы атакующих вагоны, с трудом отвоеванное место на багажной

полке, с которой боюсь упасть во сне, духота, ругань, плач, смех… А за окном — желтеющие поля и березовые колки, редкие деревни — бескрайняя Сибирь, о которой я знаю только по книгам. У меня тогда была попутчица — молодая женщина, тоже из вольнонаемных, работала в столовой БАО. Она ехала в Пермь к матери, рожать. Ее муж, летчик, провожал нас, помог сесть на поезд. Мы с нею подружились в дороге и обещали писать друг другу. Позднее из ее письма я узнала, что вскоре после нашего отъезда аэродром бомбили, было много жертв, поселок сгорел. Невольно подумаешь о судьбе: ведь если бы не пришел мне вызов из института, то я бы тоже вместе со всеми была во время этой бомбежки на аэродроме…

Осень 1943-го

Огромный, кишащий людьми, как муравейник, Новосибирский вокзал. Мне удалось пересесть в почти пустой состав, идущий на Томск, и последние часы своего путешествия провела комфортабельно. Стояла у окна и не могла насмотреться. Поезд круто заворачивал на север, и мимо проносилась рыжая тайга, горящая в лучах заходящего солнца. Очень понравился город — старинный, разбросанный на холмах, опоясанный синей Томью. На узеньких улочках бревенчатые двухэтажные дома в кружеве резных наличников. Центральный проспект по-купечески нарядный и вальяжный, каждый дом стремится хоть чем-нибудь перещеголять соседний — затейливой кирпичной кладкой, белой лепниной на красном фоне, балкончиками, башенками на углах. Есть и особняки начала этого века. Несмотря на запущенность и оббитую штукатурку, их сентиментально-розовые или светло-зеленые стены, увитые гипсовыми гирляндами цветов, причудливая форма окон и дверей — то округленные, то стрельчато высокие — невольно привлекают внимание. И хотя каждый из них в пределах двух-трех этажей, все же выглядят они представительно и солидно. Проспект уступами круто подымается вверх и завершается огромным парком, в глубине которого белеет величавое здание Университета.

Ленинградский театральный институт разместился в большом угловом доме в нижней части проспекта, возле площади с торговыми рядами. Дом этот похож на крепость — из красного кирпича, с башенками и узкими амбразурами окон. В довоенное время в верхнем этаже этого дома находились различные учреждения, ведомства и, в том числе, комитет по делам искусств. Теперь комитет уступил свои кабинеты под общежитие нашему институту. И студенты, и преподаватели после полутора лет кочевой жизни обосновались здесь кто как мог: спали на стульях, на письменных столах и просто на полу. Готовили какую-то пищу во дворе, на печурке из кирпичиков, утрами бегали умываться вниз к ларьку с газированной водой (воды в здании не было). Щеголяли в немыслимых костюмах. Со времени отъезда из Ленинграда выменяли на хлеб все, что взяли с собой, поэтому поистрепались до неприличия и одежда, и обувь. Местный театр пожертвовал из своей костюмерной что мог, и девчата перешивали себе платья из юбок с кринолинами, а у парней в разбитых сапогах могли быть бархатные штаны с застежками ниже колен или камзол с остатками кружевных манжет. Но не унывали, много смеялись, пели, вечерами уходили на берег Томи

и жгли костры, звучали гитары, и тогда совсем похоже было на цыганский табор. Пристанище в Томске было временным. Со дня на день ожидали переезд в Новосибирск, где было обещано нормальное помещение для занятий и для жилья.

А пока подрабатывали кто где мог: на погрузке, на сельхозработах, концерты давали — и платные, и шефские в детдомах и госпиталях. Устраивали импровизированные вечера и для собственного удовольствия. Там я услыхала «жестокий романс», в котором рассказывалось, как институт поселился «На чердачном этаже, на углу Нахановича…» (так называлась эта улица в Томске, угол проспекта) и дальше пелось «со слезой»:

«…Комитет по искусству
расположен был в нем.
Комитет был сухой,
И как вобла бездушный.
И молчал… И скучал
Старый до-о-ом…».

И дальше длинная трогательная история о том, как помолодел и ожил дом с приездом новых жильцов. Подобный фольклор рождался тогда буквально на глазах.

Специально для новичков (институт объявил набор на актерский и театроведческий факультеты) был организован вечер, где «ветераны» разыграли театральное действо о своих странствиях от Ленинграда до Сибири. И хотя путь этот был очень нелегким, во многом даже драматичным, все же рассказывалось об этом весело, с шутками и песнями собственного сочинения. Из Ленинграда выехали в январе 1942 года (тогда нам с мамой предлагали тоже уехать, но мы отказались). Во главе с директором института Николаем Евгеньевичем Серебряковым (который в Новый год похоронил свою жену), отправились около 150 студентов (некоторые с родителями) и человек 20 преподавателей (у троих были дети 8–12 лет). Среди студентов парней было мало, десятка три — белобилетники или те, кто уже побывал на фронте и по ранению был списан подчистую. До Кубани добирались поездом, а там началось наступление немцев. И тогда, где на попутных машинах, а чаще пешком, прошли через Северный Кавказ к побережью Каспия, оттуда на паромах — в Среднюю Азию. Но ни в Алма-Ате, ни в Ташкенте помещения для института не нашлось и было решено начать новый учебный год в Новосибирске, где уже находился Ленинградский драматический театр имени Пушкина и, значит, обеспечены преподавательские кадры по актерскому

мастерству, а Ленинградская филармония обеспечит музыкальное образование. Не решен был только вопрос с помещением, и пока Николай Евгеньевич пробивал этот вопрос в Новосибирске, все с нетерпением ждали от него телеграммы, когда же можно выезжать и когда начнем учиться.

Так вот эта драматическая эпопея «Великого переселения» воспроизводилась «в лицах», и так весело, с таким юмором, что представление шло под несмолкающий хохот, а сопровождающая его песня стала гимном института. Песню эту сочинили и исполняли под гитару два общепризнанных барда — Сергей Боярский и Сергей Николаев. Оба они ушли на фронт с третьего курса, но вернулись после ранений инвалидами, намереваясь окончить институт. (Сын Боярского, Михаил, теперь тоже поет под гитару и очень популярен, а Николаев — актер Пушкинского театра).

Из этой длинной и веселой песни помню некоторые куплеты:

«От Севера до Юга
Мы шли с тобой, подруга,
От Ладоги к Каспийским берегам.
Пускай нас мочит дождик,
Пускай морозит вьюга,
Мы все ж вернемся к Невским берегам!
На родную Моховую
Мы придем издалека —
Ведь недаром уходили,
Говорили —
Ну пока! Пока!..
На Минеральных водах,
Мы ели бутерброды,
И пили прохладительный нарзан.
И как это случилось,
Что все переменилось,
И нам пришлося драпать на Баксан…
А дорога института
Широка и далека,
Ведь недаром уходили,
Говорили — Ну, пока! Пока!..
И мамочки, и папы,
Все научились драпать,
И стали вроде конницы лихой.
Кто бросил чемоданчик,
Кто вывернул карманчик,
А кто пришел в Осетию босой.

А дорога института
Широка и далека.
Ведь не даром уходили,
Говорили — Ну, пока! Пока!
Идет печально мальчик,
Идет по дороге в Нальчик,
Никто его не встретит на пути,
И вузов представитель,
Сбежал, оставив китель,
И даже управдома не найти…
А дорога института
Широка и далека…» и т. д.

Через несколько лет мне рассказывали, что когда институт вернулся в 1945 году в Ленинград, то, выйдя с вокзала на Невский, преподаватели и студенты построились рядами и пошли посредине проспекта, распевая во все горло:

На родную Моховую
Мы пришли издалека!
Ведь не даром, уходили,
Говорили — Ну, пока! Пока!

Меня, к сожалению, тогда вместе с ними не было…

А той осенью 1943 года для меня началась веселая и суматошная жизнь. Меня быстро приняли в свой кружок театроведки-старшекурсницы (поселили в их комнате) и начали всячески опекать. Достали какой-то фанерный щит «передовиков производства» и, положив его на ящики письменного стола, устроили мне шикарное ложе. Мое зимнее, «под каракуль», пальто было в качестве матраца, а все бельишко, завернутое в узелок, подушкой. Осудили мою прическу — сколотые за ушами косички, долго вертели во все стороны и наконец решили, что мне нужна прическа из пышно взбитых волос (для этого надо было накручивать на ночь пряди волос на тряпочки). В результате получалась прическа в стиле конца XIX века — на прямой пробор, а сзади волосы заколоты шпильками в большой узел, спускающийся на шею. Преобразовав таким образом свой облик, невольно захотелось и платья немного удлинить, и двигаться спокойнее, и реагировать на все сдержаннее, «по-взрослому». Мои наставницы все это одобрили. Но когда я, по примеру некоторых актрисуль, попробовала накрасить себе ресницы, строго отчитали меня и убедили, что это "не мой стиль" и что косметика делает

меня вульгарной. Как и сережки (была и такая попытка). Все эти уроки оказались благотворными — более никогда не соблазняли меня внешние украшения. Помогли они продать на барахолке мою военную форму и русские сапожки. Взамен приобрела я черные «лодочки» и отрез темной ткани, из которой сшила удлиненную юбку-клеш. Так было завершено мое «внешнее оформление». Среди таких мирных домашних забот я чуть не забыла, что мне еще предстоит сдать вступительные экзамены. Когда я пришла на собеседование к преподавателю по истории театра — очень деликатному, худощавому до изможденности И.И. Шнейдерману, то он быстро убедился в том, что мои представления о театре весьма поверхностны. Помолчав, предложил мне подумать над парой вопросов, которые он мне задаст сейчас, а отвечать на них можно завтра или даже послезавтра… Кроме того, мне надо написать рецензию на спектакль или фильм. Вопросы были: о Станиславском (к счастью, я читала и «Жизнь в искусстве», и «Работу над собой», правда, еще давно, в Рождествено). А второй вопрос был о пьесе Ибсена «Доктор Штокман». От растерянности, уловив только неизвестное мне имя какого-то «доктора», я даже не поняла, что он имеет отношение к Ибсену, о котором тоже ничего не знала, кроме того, что он написал «Пер Гюнта». Пришла я в комнату к моим театроведкам совсем убитая: «Про Ибсена надо, и еще про какого-то доктора… Штокана, что ли…». Девчонки хохотали, а потом весь вечер рассказывали о драматургии этого норвежского драматурга и о самых важных этапах в истории русского театра. Моими учительницами были Дина Шварц (последние двадцать лет — бессменный зав. литературной частью Большого Драматического театра им. Горького, у Товстоногова), Кира Заремба (тоже теперь известный театровед), Валя Ковель[30] (актриса Пушкинского театра, а последние годы — БДТ). На следующий день смотрела фильм «Принц и нищий», написала рецензию (к моему удивлению, это мое самостоятельное сочинение даже одобрили мои опекунши). Полистала в библиотеке книги о театре (так приятно было сидеть в библиотеке, среди студентов, будто мирное время…). На следующий день благополучно сдала экзамен и была зачислена на театроведческий факультет.

Среди студентов встретила нескольких знакомых, которых помнила еще по работам на рытье окопов под Ленинградом, встречала в бомбоубежище института. Среди них Люсю Красикову, очень простую, располагающую к себе. Полненькая, широколицая, с громким голосом и смехом она, на мой взгляд, была не похожей на студентку актерского факультета, мне легче

было представить себе Люсю среди девчат на сенокосе или на посиделках (кстати, она и частушки отлично умела петь). Но, как я поняла позднее, эти данные «простушки» особенно ценились постановщиками спектаклей. И еще больше удивилась я, когда узнала, что Люся замужем, и муж ее — красавец Юрочка Хочинский. Юрочка оставался таким же «принцем» из сказок Шехерезады — меланхоличным, томным, принимающим как должное суетню вокруг себя. А теперь вокруг него неустанно хлопотали две женщины — Люся, которая хотя и с юмором, но всячески старалась освободить Юрочку от всех тягот кочевой жизни, и его мама, худенькая седая женщина лет 45-ти, у которой после смерти мужа вся жизнь сосредоточилась в любви к сыну, к невестке, к будущему ребенку, который должен был появиться через несколько месяцев. Возможно, что не о такой жене для сына она мечтала, но выбор сына был для нее непререкаем: раз Юрочке с этой женщиной хорошо, значит и для нее она хороша.

Юра, в качестве главы семейства, должен был зарабатывать, и эта нелегкая в те годы проблема разрешилась необременительным и даже приятным для него образом — за ним все более утверждалась известность эстрадного певца, и его наперебой приглашали с концертами в различные клубы и организации. У него был приятный «бархатный» баритон, а репертуар — самый популярный: «Землянка», «Вечер на рейде», «…ты все так же будешь нравиться в этом синем платьице», «В парке Чаир распускаются розы». И, конечно, только что появившаяся песня из кинофильма «Два бойца», которую не могли слушать без слез — «Темная ночь». Юра, кажется, один из всех студентов института имел тогда твердый заработок за счет концертов. У остальных в основном были шефские концерты и только изредка платные.

Было забавно наблюдать, как в день концерта обе женщины оберегали дневной сон Юрочки, потом священнодействовали с облачением его в парадную форму (и костюм, и белая рубашка, и ботинки — все единственное, все чиненное-перечиненное). Встречали после концерта с возгласами, спешили дать умыться, усадить за стол, тревожно спрашивали, хорошая ли была публика, как принимали. Юра отвечал коротко, с нарочитой невозмутимостью вынимал из внутреннего кармана заработанные деньги, а из боковых карманов выгребал груду записок с «заявками», а иногда и с объяснениями в любви от своих многочисленных поклонниц. Люся перечитывала их все, возмущенно пофыркивая, но, видать, была довольна такими свидетельствами успеха своего «принца».

Семья Хочинских занимала особое положение, так как была

пока единственной семьей в институте, так сказать, «показательной». Всем было приятно побывать в домашней обстановке, которую они сумели создать в своей крохотной мансарде. Я стала запросто бывать у них после того, как выяснилось, что могу шить всяческие распашонки и чепчики.

Однажды я зашла к Хочинским и застала там шумную компанию, как это частенько случалось в те вечера, когда Юра был свободен от концертов. «Хозяин дома» восседал за столом возле полуведерного закопченного чайника. По карточкам выдали постный сахар и по этому случаю каждый внес свою долю в общий фонд и мог теперь до отвала упиваться чаем, заваренным Юриной мамой на каких-то только ей известных душистых травках. Одни уже кончили чаевничать и понемногу исчезали «по-английски», другие спешили занять освободившиеся места, кто-то рассказывал с серьезным видом нечто такое, что все остальные покатывались со смеху, на супружеской койке возле гитариста утеснилось, как кильки в банке, не меньше десятка любителей хорового пения и сосредоточенно разучивали вполголоса какую-то новую песню. Юрочка взирал на все это со своей неизменной благожелательной улыбкой. Люся одновременно встревала в разговор, подпевала гитаристу и следила за тем, чтобы напоить всех поочередно чаем из нескольких разнокалиберных кружек.

У окна, отстранившись от всех, курил высокий парень в гимнастерке, синих галифе и сапогах. «Фронтовик? Но почему без погон? И такая пышная шапка курчавых волос, вроде не полагается по уставу…». Люся окликнула его, протягивая стакан чая, и я узнала Арнольда Бернштама, Альку, с которым так мимолетно встречалась в Ленинграде. «Школьный друг Юры», — представила его Люся. «Да мы вроде знакомы», — негромко откликнулся он и пожал мне руку. Меня смутил его строгий неулыбчивый взгляд. Спросил только, на каком я факультете (как и раньше, обращаясь на «вы», отметила я), вроде не услышав ответа, тут же будто выключился, отошел и снова застыл, прислонясь к оконной раме и отхлебывая чай из стакана. Он изменился за эти два года — еще пышнее стала его шевелюра, суровее срослись над переносицей темные брови, заострились черты смуглого лица. Военная форма подчеркивала его подтянутость, широкие плечи, сдержанность движений и жестов. И, главное, про него уже нельзя было сказать «мальчик» — стал взрослым.

От Люси узнала, что после гибели отца Арнольда в ноябре 1941-го мать его, Нелли Борисовна, долго болела и, видимо, что-то случилось у нее с психикой. Арнольд ухаживал за ней, как за ребенком, всю блокадную зиму. Весной 42-го они выехали в

Саратов и, немного оправившись, добрались до Новосибирска, куда раньше была эвакуирована сестра его матери Клара Борисовна. Алик поступил на заочное отделение истфака Томского университета и за один год прошел два курса. Нелли Борисовна начала поправляться, но весной 43-го у нее внезапно случился инсульт, и она умерла. Алик очень тяжело переживал кончину матери и с тех пор совсем замкнулся в себе, много занимается, подрабатывает ночами на разгрузке барж, а свободными вечерами бывает только у Хочинских. Он никогда не вступал в общую болтовню, пережидал, когда уйдет очередная веселая компания, и тогда начинал рассказывать Юре о том, что интересного читал в библиотеке, о чем думал, к каким выводам приходит. (Он продолжал начатую еще в Ленинграде работу по проблемам политэкономии социализма). Юра внимательно слушал его, иногда возражал, и тогда Алик горячился, вскакивал, начинал быстро ходить из утла в угол, говорил быстро, увлеченно, стремясь разъяснить, убедить. Я иногда присутствовала при таких дебатах, но мы с Люсей бывали заняты шитьем одежек для новорожденного и почти не прислушивались к разговорам мужчин — слишком уж далекой и непонятной была для нас суть этих споров. Иногда Юра пасовал перед полемическим напором Альки: «Кончаем! Я на сегодня уже ничего не воспринимаю», а Люся без церемоний напоминала, что уже поздний час, и мы уходили вдвоем. Чувствовалось, что он еще не остыл и мысленно продолжает диалог. Я задавала какой-нибудь вопрос, касающийся тех проблем, о которых они толковали с Юрой. Кое-что из их разговоров у меня в голове все же невольно застревало. Алик, сперва недоверчиво покосившись, — «А вам это действительно интересно?» — начинал объяснять вроде нехотя, потом увлекался, один вопрос цеплялся за другой, и в результате разражался целой лекцией. Настроение у него улучшалось — дар пропагандиста был явно присущ ему. Любопытно, что я, задавая сначала вопросы только для того, чтобы показать, что и мне не чужды «серьезные интересы», постепенно начинала понимать суть тех вещей, о которых раньше и не задумывалась, и уже расспрашивала его, не стесняясь обнаружить свою дремучую неграмотность во всем том, что в школе называлось скучным словом «обществоведение» (а по этому предмету, между прочим, у меня была даже четверка). Обнаружилось, что ответ на любой вопрос общественного характера у меня сводился к усвоенному «правилу» или лозунгу. Не помню сейчас конкретных тем разговоров в те осенние вечера в Томске, но знаю, что первым и важным итогом было осознание того, что мне необходимо учиться размышлять обо всем

самостоятельно и не бояться подвергать сомнению любые догмы. Сохранилось ощущение того, что именно в тот год начался процесс моего внутреннего взросления, будто я с одной ступеньки жизни перешла на другую.

Внешние события между тем развивались своим чередом. В октябре институт наконец переехал в Новосибирск и начались занятия. Под общежитие отвели две громадные комнаты на верхнем этаже серого дома на центральной площади (сейчас там на первом этаже — Дом книги, а на верхнем размещаются всякие учреждения). Почти вплотную друг к другу стояли двухэтажные металлические койки и, таким образом, в каждой комнате разместилось около семидесяти человек — и преподаватели с детьми, и студенты. Исключение было сделано только для Хочинских — для них переоборудовали умывальную комнату, и они поселились в этой серой коробке с цементным полом и сетью водопроводных труб по стенам. Но даже и тут сумели создать видимость уюта и домашности.

При расселении в двух больших комнатах долго спорили, как быть с мальчишками, — парней было меньше, чем девчат, и выделить отдельную комнату им не могли. В конце концов, по жребию, их всех подселили к одной девчачьей комнате, символически перегородив ее театральной кулисой. Утрами, проснувшись, долго торговались, кому вставать первыми, — те, кому посчастливилось, закрывались с головой одеялами и спешили поспать еще хоть десять минут, пока одевается и умывается другая половина рода человеческого.

Преподаватели первое время жили вместе с нами и я сблизилась со своими соседями — Еленой Львовной Финкельштейн и ее десятилетним Игорем. С ними еще была старенькая тетя Катя. Елена Львовна вела у нас курс зарубежного театра. Сначала я сдружилась с мальчиком — он скучал в отсутствие матери, и я научила его играть в «веревочку» и «камушки». А потом и Елена Львовна начала относиться ко мне как к своей. Через некоторое время преподаватели переселились в гостиницу «Советскую» на Красном проспекте, и я частенько приходила к Елене Львовне, играла с Игорем, что-то перешивала и очень дорожила этими домашними вечерами.

Появился у меня и еще один дом, где я изредка тоже могла отдыхать от общежития — на улице Челюскинцев, дом 5, возле вокзала, где жила моя новая подруга Женечка Лихачева (называю этот адрес, так как к нему буду еще возвращаться). Девушка эта поступила, как и я, на первый курс театроведческого факультета, и я ее сразу заметила среди новеньких и привязалась к ней чрезвычайно. Нравилась она мне своей независимостью, живым

характером, тем, что при своем небольшом росте ходила всегда с высоко поднятой головой, была насмешливой, дерзкой, а иногда и злой: так умела отчехвостить, что ее даже мальчишки побаивались. Мне было приятно, что она выделила меня среди других, сидела на лекциях рядом со мной, приглашала к себе домой. Жила она вместе с мамой, которая работала в аптеке. Их комната напоминала мне нашу ленинградскую. Такой же стол под абажуром посредине, диван с валиками у одной стены, а у другой стены — пианино. Женя хорошо играла и этим совершенно покорила меня. Гостеприимством я старалась не злоупотреблять, и Женя даже иногда сердилась, что я так редко к ней прихожу. И не догадывалась, что все дело было в том, что почти всегда меня там угощали жареной картошкой… Большую сковороду шкворчащей на свином сале картошки ставила на стол Женечкина мама, и я не имела сил отказаться от такого соблазна. Потом казнила себя, понимая, что в трудное военное время поставить на стол угощение — это значит оторвать от себя. Да еще такой деликатес, как жареная картошка! И я решила по возможности реже бывать у них.

Дружба с Женечкой очень радовала меня. Я знала, что в любую минуту могу поделиться своими секретами, посоветоваться по житейским делам, к ее мнению я всегда прислушивалась.

Черноглазая хорошенькая Женечка заменила мне семейные вечера у Хочинских. Люся родила Сашку и целиком была занята ребенком, Юра полностью посвятил вечера концертной деятельности, и «посиделки» в их доме сами собой прекратились. Поэтому и с Арнольдом мы стали реже видеться. Он переехал в Новосибирск и жил с теткой Кларой Борисовной в маленьком домике напротив здания театра «Красный факел». Рядом с их домом была библиотека — в здании клуба им. Сталина. Она размещалась на первом этаже, а на втором был концертный зал симфонического оркестра Ленинградской филармонии. Вот в этой библиотеке и занимался Алик с утра и до вечера, делая перекур через каждый час на десять минут. Только в это время и можно было с ним поговорить. Или в те вечера, когда оркестр выступал с новой программой. Тогда он заканчивал занятия раньше и шел на концерт.

С началом занятий в институте дни оказались загруженными до предела. Учебные аудитории нам определили в здании недостроенного оперного театра. Внешний облик театра был уже полностью завершен, но внутри продолжались отделочные работы, монтировалось оборудование сцены, налаживалась отопительная система (ох и намерзлись же мы зимой в этом

огромном каменном лабиринте!). Столы для занятий стояли в вестибюле, в нишах будущего гардероба, в тупиках подковообразного фойе и даже в ложах темного зрительного зала. Почти все наши учебные закутки были лишены естественного света и поэтому освещались времянками — лампами на длинных проводах, прикрепленных то на строительных лесах, то на стене, то на перилах лестничной площадки. Переходя в течение дня из одной «аудитории» в другую, мы были вынуждены каждый раз привыкать к новому освещению и от этого утомлялись глаза, было трудно записывать лекции.

И почти всегда мерзли, и почти всегда были голодны. Голод обострился с наступлением холодов и стал хроническим. С утра по пути к театру покупали по карточке (служащей) свои пятьсот граммов хлеба (горького, с полынью), и за время первых лекций, отщипывая по крошке, съедали его вплоть до корочки. В обед шли в рабочую столовую, тут же в подвале театра, где получали по карточкам тарелку щей из хряпы (темные верхние листья капусты, которые в мирное время шли на корм скоту), порцию лапши «с мясной подливкой» (вернее — «с воспоминаниями о мясе») и стакан киселя — розовой водички с привкусом сахарина. Ужина не полагалось, а готовить в общежитии нельзя — электроплитки были запрещены, и комендант безжалостно конфисковывал их, если обнаруживал. Да и не из чего было готовить — в магазинах пусто, а на рынке цены дикие. (Между прочим, местное население питалось сносно, почти все имели свои огороды, ездили по селам, что-то меняли, покупали. Во всяком случае, когда бывали дома у студентов-новосибирцев, явного голода не видели. Да и выглядели они и одевались не в пример нам…).

После занятий шли в библиотеки (там тепло, а в общежитии зимой промерзало все насквозь). Ребята с актерского факультета бежали на репетиции, на шефские концерты в госпитали, некоторые подрабатывали в помсоставе театра «Красный факел», который отдал свое помещение Ленинградскому театру им. Пушкина, а сам давал спектакли в здании Дома культуры поселка Кривощеково. Были счастливцы, которым давали маленькие роли и в родном Пушкинском театре. Ирине Карташовой, студентке второго курса, даже доверили роль Дездемоны, и она сыграла несколько спектаклей в паре с самим Ю. М.Юрьевым[31].

Те студенты, у кого вечер оказывался свободным, чтоб заглушить чувство голода и отдохнуть от шумного общежития, принаряжались и шли на спектакль театра им. Пушкина или на концерт Ленинградской филармонии, благо на каждый вечер для

института выделяли несколько контрамарок на свободные места. И всегда это был праздник, даже если этот спектакль смотрели в десятый раз. Да разве могли надоесть, пусть и ежевечерние, встречи с такими мастерами, как Н. Черкасов, Н. Симонов, А. Борисов, В.А. Меркурьев, Ю. Толубеев, Ю.М. Юрьев, Е. Корчагина-Александровская и многими-многими другими прекрасными актерами. И хотя свободные места в зале бывали редко, и зачастую весь спектакль смотрели, примостившись на ступеньках балкона или стоя за последними рядами кресел, все равно дорожили этими театральными вечерами чрезвычайно, разыгрывали контрамарки по жребию, и очень огорчались, когда оказывались в проигрыше. Единственным утешением в таких случаях была возможность попасть на концерт филармонии, где выступал симфонический оркестр. До сих пор я была не слишком приобщена к музыке, самым сильным впечатлением остался концерт в декабре 1941 года, когда под аккомпанемент орудийных выстрелов в промерзшем беломраморном зале Ленинградской филармонии мы слушали Пятую симфонию Чайковского. И вот теперь тот же прекрасный оркестр под руководством Евгения Мравинского[32]! Каждая новая программа — это событие. Мравинский — это нечто поразительное, большее, чем дирижер. Он воспринимался как заклинатель, творец музыки, которая рождается именно в эти мгновения под его удивительными руками из инструмента под названием «оркестр»…

Каждую новую программу оркестра открывал вступительным словом профессор Иван Иванович Соллертинский[33] — человек поразительно эрудированный в области искусства и музыки. Владел он более чем двадцатью языками. Каждая его беседа о конкретных произведениях программы превращалась в блестящую лекцию, далеко выходящую за рамки данной темы.

Возможность несколько раз послушать одни и те же произведения мировой классики приносила несомненную пользу. Углублялось понимание музыки, появлялись любимые композиторы, посещение концертов становилось потребностью. То же и со спектаклями: мы невольно начинали замечать разницу в трактовке одних и тех же ролей разными исполнителями, учились отличать «почерк» одного режиссера от другого, бывали подчас свидетелями истинного вдохновения, взлета солирующего актера, а вслед за ним и всего актерского ансамбля. Случались и провалы, когда вроде все как обычно, а души спектакля нет — одна лишь внешняя форма. Все эти впечатления не проходили даром и постепенно обостряли «слух» на фальшь, на подделку под искусство.

Каждый день был насыщен новыми впечатлениями, новыми встречами, новыми мыслями. Очень интересными были и занятия. Каждый предмет был по-своему увлекательным: история античной литературы и искусства, история западно-европейского театра, история русского театра, история изобразительного искусства и музыки, основы актерского мастерства и режиссуры, история костюма. И все это не считая критических семинаров, где мы учились обсуждать спектакли, писать рецензии, а также практических занятий по технике речи и вокалу. Одновременно изучались два языка — немецкий и французский. Эпизодически появлялись факультативные курсы. То вдруг известный кинорежиссер Г.М. Козинцев[34] читал свою экспозицию к задуманному им фильму «Гамлет», то вдруг приехал специалист по истории христианства и провел серию бесед о Библии, то дополнительно к курсу истории музыки согласился выступить у нас в институте с циклом лекций И.И. Соллертинский, и на эти лекции сбегались не только все студенты, но и преподаватели. К сожалению, этот фейерверк музыкальных лекций оказался очень кратковременным: весной, внезапно, Иван Иванович Соллертинский скончался.

Помимо лекций, разумеется, нужно было много читать, готовить курсовые работы, сдавать зачеты и сессии, так что скучать или бездельничать было некогда.

Но если у театроведов дни были заполнены до предела, то на актерском факультете нагрузка была еще выше — помимо теоретических курсов (почти в таком же объеме, как и у нас) у них основное время было занято актерским мастерством, сценической речью, ритмикой, танцем, гримом. Сверх того — бесконечные репетиции, работа над этюдами, фрагментами и сценками — на первых курсах, и над дипломными спектаклями — у старших. Здание оперного театра после восьми вечера закрывалось, и все репетиции переносились в общежитие. Каждый тупичок в коридоре, каждый закуток между койками, лестничные площадки и даже умывалка превращались в «сценические площадки». Вероятно, со стороны наше общежитие немножко смахивало на филиал сумасшедшего дома. И в такой обстановке умудрялись читать, заниматься (не всегда же пойдешь в библиотеку, да там нужно было еще заранее занимать места). Ну и, естественно, что все эти, так сказать, «дела производственные» тесно переплетались с буднями общежитского быта. Решались проблемы постирушек и законспирированных (от коменданта) поздних ужинов, обсуждались и ссоры, и примирения, и голосованием решался даже вопрос, за кого из двух Сергеев выйти замуж Вальке Ковель. (Решили, что пока не стоит выходить

ни за одного из претендентов. Вышла она по окончании института за кого-то третьего. В настоящее время она играет в Ленинградском БДТ). С вечера договаривались, кто сможет завтра прогулять одну-две пары лекций, чтобы понянчиться с младенцем Хочинских. Люся уже приступила к занятиям, а бабушка у них прихварывала и одна не справлялась. (В настоящее время Александр Хочинский[35] работает в Ленинградском ТЮЗе, а также снимается в кино). В общежитии было холодно, голодно, шумно и суматошно. Однако каждый чувствовал себя членом большой дружной семьи, знал, что ему помогут в трудную минуту.

Присматриваясь к студентам актерского факультета, невольно появлялось желание попробовать и себя на этом поприще. Иногда, во время репетиций, меня просили почитать роль за кого-нибудь отсутствующего, и я потом долго не могла отделаться от желания продолжить работу над этим образом, ревниво следила за тем, как играет эту роль настоящая исполнительница, и мне казалось, что у меня получилось бы не хуже. Мысленно примеряла на себя некоторые роли в театральных спектаклях — понимала, что у меня очень ограниченный диапазон (вряд ли я могла бы играть острохарактерные роли), но кое-что, мне казалось, было по моим возможностям. Понемножку зрело решение, что с нового учебного года я приму участие в конкурсе на актерский факультет и в случае удачи буду заниматься на обоих факультетах параллельно. В принципе это было возможно, лишь бы хватило сил и способностей. Что касается способностей — это было еще неясно, а вот в отношении сил сомнений у меня не было: казалось, что меня хватит на все!

Несмотря на полную, вроде бы, поглощенность институтскими делами, в каждом из нас жило постоянное чувство Войны. Оно было как боль, как вина — «Вот, мы здесь в тылу, учимся, смеемся, на концерты бегаем, а там…». А там, на фронте — у кого отец, у кого брат или жених. У многих родные остались в Ленинграде… Жили тревогами, надеждами, от письма до письма. У меня было все относительно благополучно. Из маминых писем знала, что папа на Волховском фронте, стал политруком дивизии, награжден орденом Красной Звезды. Еще я изредка получала письма от Генки Соболева. После эвакуации Медицинской академии в Самарканд и окончания 3-го курса их всех отправили на фронт фельдшерами. Служил он в госпитале где-то на Украинским фронте, конечно же, было очень трудно, но письма присылал бодрые, о переделках, в которые попадал, рассказывал даже с юмором. Так что мне повезло — я получала

письма, и в них не было беды. Но далеко не у всех было так, некоторые ежедневно ходили на почтамт и не получили не одного письма. Другие получали письма, над которыми долго плакали…

Не покидали мысли о Ленинграде. Как-то там? Когда же прорвут блокаду? Вечерами, когда укладывались спать и тушили свет, нередко устраивали «прогулки» по Ленинграду. Намечали маршрут и затем во всех подробностях вспоминали каждый дом, каждый мостик и перекресток, решетки набережных, скверы и магазины — сначала по одной стороне улицы, потом — по другой. Спорили, уточняя детали. И всегда это был довоенный Ленинград, город мирного времени. А о блокадном вслух не говорили — он был у каждого свой, как незаживающая рана.

Любой день начинался и завершался сводками с фронта. В сводках все чаще называли освобожденные города, поселки. Совершился долгожданный перелом и наша Армия неотвратимо и упорно двигалась только на Запад. Но ведь продолжались ожесточенные бои, продолжала литься кровь и каждую минуту погибали сотни, тысячи наших солдат… И так странно было осознавать, что мы находимся в таком отдалении от пожарищ войны, что грохот орудий сюда не доходит, хотя он не умолкает ни на минуту вот уже почти три года…

Война была далеко от нас, но напоминала о себе ежедневно реально, зримо. Население города четко делилось на военных и штатских, Все права и привилегии безоговорочно отдавались военным — и на транспорте, и в очередях, и в разрешении всяческих конфликтов. Большинство военных — раненые или списанные «подчистую» — в старых шинелях или ватниках, стеганых штанах, серых ушанках «на рыбьем меху», в кирзовых сапогах, а то и «бахилах» с обмотками. У всех у них что-то общее в лицах — все они обожжены войной. Среди них встречались и пьяные. Тогда вспыхивали ссоры, а то и драки. Особенно страшно ругались и дрались инвалиды. Прибывшие на несколько дней в город фронтовики, в отпуск или по делам, были заметны своими добротными полушубками, новенькими цигейковыми ушанками и валенками. Встречались и такие военные, у которых особая щеголеватость формы сочеталась с подчеркнутой выправкой и самоуверенностью. В них безошибочно можно было узнать тыловиков, которым удалось всю войну провести вдали от фронта.

На контрастные группы делилось и штатское население. Большинство одеты плохо, с наступлением холодов все закутались в платки, нелепые пальто и ватные «фуфайки», никто не стыдится рванья или одежды «с чужого плеча» (многие

женщины явно донашивали пальто своих ушедших на фронт мужей). Все спешат куда-то, лица озабоченные, погруженные в себя. И на фоне этой безвозрастной толпы особенно выделялись отдельные личности в прекрасных шубах и пуховых платках, белых фетровых «чёсанках»[36] или ботах до колен, те, что помоложе — в дорогих меховых шапках, с чернобурками на плечах, ярко накрашенные, при серьгах и кольцах. Особенно поражало то, что они шли по проспекту, никого не замечая вокруг и ничуть не стыдясь своего прущего через край благополучия.

Тех, кто в эти военные годы наживался на горе других, было, по-видимому, не так мало, но эта сторона войны была скрыта где-то в теплоте уюта квартир и частных домов сибиряков. По временам эта жизнь (пена жизни?) выплескивалась на улицы, в рестораны, какими-то залихватскими гульбищами, голосистым пением и плясками под баян. Проносились иногда под вечер мимо промерзших трамваев, мимо громады заиндевевшего театра парные сани, запряженные невесть откуда взявшимися рысаками, и лихо подкатывали к Центральному ресторану. Слышался женский смех.

Но эта тайная жизнь военного времени была скрыта от посторонних глаз: огромные окна ресторана задергивались плотными шторами, окна бревенчатых домов в переулках с наступлением сумерек наглухо задраивались деревянными ставнями на железных болтах.

Однажды мне довелось как бы заглянуть за плотно задернутые шторы ресторана. Кто-то рассказал, что там в меню, среди прочих блюд, есть дешевые «крупяные биточки» всего 15 рублей за порцию. Соблазнившись этими биточками, мы собрались небольшой компанией и решили «разгуляться» по случаю получения стипендии. Безумие, конечно, — эта сумма равнялась четверти нашего месячного довольствия (правда, некоторые, как и я, получали еще помощь от родителей), но искушение было слишком велико. Оживленно болтая, разыгрывая завсегдатаев, благополучно миновали бородатого швейцара. Но на пороге зала невольно застыли — грохот оркестрика, громкие возгласы, смех, ругань… Чадно, дымно. Нашелся свободный столик возле дверей, где легче дышалось. Официант, скривившись, принял наш куцый заказ и надолго исчез. Понемногу огляделись: почти нет штатских, одни военные всех чинов и званий, да их женщины — накрашенные, разгоряченные вином, которые так лихорадочно спешат поймать свою «удачу», что на них неловко смотреть. Да и на пьяненьких офицеров в орденах и медалях смотреть тоже почему-то стыдно. Пьют, поют, танцуют, выясняют отношения. Кружится голова от запахов

сытной мясной пищи (цены в меню — умопомрачительные! Но заказанное нами «блюдо» действительно самое дешевое). С максимализмом двадцатилетних мы сурово осудили весь этот ресторанный угар: «В то время как другие сейчас на фронте сражаются, а эти, здесь… с этими бабами…». Но, пожалуй, это было справедливо только по отношению к «тыловикам», а что касается фронтовиков, вырвавшихся на несколько дней из пекла — а таких в зале было тоже немало — то, может быть, только такая встряска «загулом» и могла спасти их психику от всего уже пережитого и того, что еще предстоит. Если, конечно, удастся просто выжить… В общем, мы уже были не рады, что нам пришла в голову идея переступить порог ресторана. А тут еще нас заметили, начали приглашать танцевать. Мы дружно отказывались и не чаяли, как дождаться своего официанта. За соседним столиком троица танкистов окликнула нас и провозгласила тост «За милых девочек!». А затем, считая, что таким образом знакомство состоялось, подхватили свой столик и, чуть не уронив всю посуду, вплотную подвинули его к нашему. И тут же объявили, что будут смертельно обижены, если мы не выпьем за их друга, «Звездочку» которого они сегодня обмывают. К счастью, пока искали для нас бокалы, официант принес наши злополучные котлетки из пшенной каши, мы заглотили их, не чувствуя вкуса, расплатились и удрали, несмотря на бурные протесты «трех танкистов, экипажа машины боевой», как пелось о них в хорошей песне. Ни в какие сомнительные заведения мы с тех пор не ходили.

Впрочем, не только в таких злачных местах, как ресторан, можно было нарваться на оскорбление, на недвусмысленное предложение — вечерами идти в одиночку по улицам, даже в центре, было небезопасно. Старались ходить группами или просили наших мальчиков проводить. Но встречались и женщины, которые явно искали «клиентов». И это тоже была оборотная медаль военного времени.

И еще одна примета тылового города военных лет — госпитали. Почти во всех зданиях школ, техникумов, некоторых институтов разместились госпитали, и все они были переполнены, мест не хватало. Наш институт шефствовал над соседним госпиталем — он занимал угловой дом напротив общежития (там теперь Высшая партшкола). По очереди дежурили в «своих» палатах: помогали нянечкам, санитаркам, писали письма, читали, пели под гитару и без нее. Были и бригады из студентов актерского факультета, которые давали концерты, я с двумя девочками была прикреплена к палате, где лежали с ранениями рук и ног, но уже выздоравливающие,

которые учились ходить на костылях и протезах, разрабатывали суставы и подвижность конечностей. Мы по мере сил помогали им. Самое страшное у них оставалось позади, поэтому в нашей палате, не в пример другим, частенько раздавался и смех, и шутки любили — тут радовались каждому шагу, каждому вновь обретенному навыку. Но встречались и перенесшие ампутацию, в состоянии тяжелейшей депрессии. Было их безумно жалко, было с ними тяжело и страшно. И все же наша палата была легче других. Девочки, которые дежурили в палатах «спинальников» или «полостных операций», или ранений лица и головы, приходили после дежурства совершенно вымотанные и со слезами рассказывали о своих подопечных.

Случались и радостные события. Это, прежде всего, когда по радио сообщали об успехах на фронте, об освобожденных областях, городах. За осень — зиму 43-го освободили Курск, Гомель, Киев, и каждое такое сообщение воспринималось как праздник. А в январе 44-го началось долгожданное наступление под Ленинградом, и 27 января Блокада была прорвана! Что творилось тогда у нас в общежитии! И обнимались, и плакали, и мечтали, что теперь уже совсем скоро вернемся в Ленинград!

Запомнился и день, когда в Новосибирск приехал на несколько дней отдыха трижды Герой Советского Союза летчик Александр Покрышкин. Весь город вышел встречать его, на площади возле театра состоялся митинг. И мы, конечно, были там, жадно слушали рассказ о боях, в которых он участвовал, старались запомнить его лицо, его манеру говорить — понимали, что перед нами герой, мужество которого войдет в историю. На этом митинге было объявлено, что именно здесь, в начале бульвара Красного проспекта, будет поставлен скульптурный памятник герою, и старушка — мать летчика расплакалась, когда ее поздравляли и благодарили за такого сына.

Случались в эти дни и радостные события, так сказать, местного значения. В один из морозных воскресных дней, когда можно было подольше поваляться, не вылезая из-под одеяла, и мы все дремали, вдруг Ирина Карташева (та, что играла Дездемону) поднялась на постели и разбудила нас: «Девочки! Послушайте, какой я сон сейчас увидела! Будто открывается дверь и сюда входит мой Миша! В шинели, прямо с фронта!..» (Миша — ее жених, от которого давно не было писем). Проснулись все обитатели комнаты, начали убеждать Ирину, что это хороший сон, что, значит, скоро письмо получит. И в это время входит вахтерша и спрашивает: «Которая тут Карташева? Ты? Подымайся, иди гостя встречать — к тебе солдатик с фронта прибыл!»… «Мишенька!» — крикнула Ирина и бросилась, как

была, к двери. А там уже стоит высокий в шинели до пят Миша Погоржельский! Мы глазам своим не верили, но вот, случается же такое! Многим после этого хотелось верить в чудеса — надеялись на возвращение без вести пропавших, на воскрешение тех, на кого пришли похоронки… Но чудеса повторяться не любят. Хотя странные совпадения, пересечения судеб в те годы, как мне кажется, случались чаще, чем в мирное время.

Произошло такое и со мной.

Однажды я пришла к Елене Львовне, а у нее знакомая, тоже ленинградка, Мария Давыдовна. Она рассказывала Елене Львовне о своем безвыходном положении: ее сын Петя был демобилизован из-за болезни, тяжелой формы туберкулеза, и теперь уже не встает с постели. Мария Давыдовна живет с ним на частной квартире, снимает маленькую избушку где-то возле железной дороги. Первую половину дня она ухаживает за сыном, а после обеда уходит на работу (она работала администратором в театре им. Пушкина), возвращается уже затемно. Петя остается на это время совсем один. Раньше в доме была хоть старушка-хозяйка, а теперь та уехала к родственникам. И хотя сын уверяет, что для беспокойства нет оснований, но она-то знает, как ему тоскливо и трудно наедине со своими тяжелыми мыслями. Хорошо бы найти кого-нибудь, кто бы мог навещать Петю, — ничего делать не надо, просто посидеть с ним.

Елена Львовна сказала: «Может быть, кто из студенток взял бы на себя роль сестры милосердия? Вы, Нина, поспрашивайте в общежитии». А Мария Давыдовна оживилась: «И правда! Узнайте. А я заплачу, как за уход за больным».

Но я уже решила, что возьмусь за это сама. И, разумеется, никакой платы мне за это не нужно. Тем более выяснилось, что речь идет всего о трех-четырех часах в день: после обеда Петя спит и приходить надо не раньше пяти часов. Мария Давыдовна очень обрадовалась моему предложению, а Елена Львовна пообещала договориться в институте, чтобы меня освободили от дежурств в госпитале — фактически я тоже буду занята уходом за военным.

Договорились о всех мелочах: как накормить его, когда давать лекарства, и на следующий день я пошла на свое новое дежурство.

Тихая узкая улочка, крыши бревенчатых домиков, кусты в палисадниках — все запорошено первым ноябрьским снегом. Ни одного прохожего не встретила, пока дошла до нужного дома. Медлила, прежде чем войти в калитку. Избушка в три окошечка кажется необитаемой, голубые ставни закрыты, ни одного следа возле крылечка. Что за человек ждет меня за ставнями этого

домика? Справлюсь ли? Страшновато… Но все же осмелилась, осторожно прошла по чистому снегу, нашла в условном месте ключ на крылечке и через темные сени очутилась в кухоньке с натопленной печкой. Дверь в комнату завешена освещенной изнутри занавеской. Раздается голос мягкий и какой-то улыбчивый: «Это вы, Ниночка? Проходите, я здесь…».

И сразу моя робость проходит. Я еще не вижу говорящего, но знаю, что это очень добрый и очень хороший человек. Отодвигаю занавеску, вхожу — комната тонет во мраке. Яркий круг настольной лампы освещает только голову и руки лежащего на кровати. Чуть кудрявятся русые волосы и бородка, изможденное до прозрачности лицо, ласковые глаза, слабая, будто извиняющаяся за что-то улыбка. Кисти рук поверх одеяла — тонкие, чуткие, о таких говорят «руки музыканта». Петя помогает мне освоиться, объясняет где чайник, где лекарства, советует, как мне устроиться так, чтобы и светло было (я пришла с вышиванием), и тепло от стенки кухонной печки, и мне сразу становится легко и просто с ним. Я рассказываю ему обо всем подряд — и о жизни в общежитии, и о занятиях, и о налаженных «деловых контактах» с соседним ремесленным училищем, где учатся девчонки из области. Мы для них платья шьем, вышиваем блузки, а они нас подкармливают из своих деревенских харчей. Пете все интересно и он очень хорошо слушает. Говорим о книгах, рассказываю о спектаклях и концертах.

О себе говорит мало, о болезни лишь вскользь: «В Красноярске прошлая зима была очень суровой, вот и простыл…». (Он был направлен в первые дни войны в Красноярское военное училище). С шутливой покорностью принимает лекарства и пьет овсяный отвар, ни на что не жалуется, хотя его лихорадит, и градусник он мне не показывает — «Да какое это имеет значение!».

Четыре часа проходят незаметно, Мария Давыдовна возвращается с работы, радуется тому, что Петя оживлен и все предписания врача выполнены, она уговаривает меня выпить стакан чаю.

Так прошло мое первое «дежурство», и на другой день я уже шла туда как в родной дом.

На второй или третий вечер, когда я разогревала на кухоньке ужин для Пети, послышались шаги на крыльце, кто-то без стука вошел в сени, привычно пошаркал ногами о коврик и, рывком отворив тяжелую дверь, застыл на пороге. Я тоже оцепенела — в сумерках мне показалось, что вошедший очень большой и черный. И вдруг услыхала изумленное: «Это вы?» — и узнала Алика. Я так удивилась, что не могла сразу ответить, а из

комнаты за моей спиной уже раздавался голос Пети: «Это ты, Алик? Проходи. Ниночка, знакомьтесь, это мой школьный друг, Арнольд». «Да мы знакомы», — сказали мы оба, входя в комнату и удивляя Петю. Но еще больше были изумлены этой случайностью мы сами. Мне почему-то очень знаменательным показалось это новое пересечение наших путей. Об этом же говорил мне позднее и Арнольд.

Впервые я узнала, что Петя и есть тот самый пианист и поэт, который был «Атосом» в школьной троице мушкетеров. Но если Юра Хочинский закрутился в своих семейных делах и был у Пети лишь однажды, то Алик посещал его регулярно и дружба их еще более окрепла.

Приятно было видеть, как светлеют их лица при встрече, как увлеченно слушает Петя Арнольда и как серьезно относится Алик к каждому замечанию или сомнению, высказанному Петей. И вообще я здесь поняла, что к Хочинским Алик ходил только потому, что был тогда очень одинок, хотя и знал, что Юра не очень-то интересуется его проблемами, а вот с Петей он может поделиться всеми своими мыслями, идеями и, главное, получить в ответ новую мысль, толчок к новым размышлениям.

На обратном пути Алик рассказывал мне о Пете, о том, какой он прекрасный человек, какой умный и талантливый. Петя не только отлично играл на пианино, но еще мальчиком начал писать стихи, да такие, что его приняли в литературное объединение при ленинградском Доме писателей. А теперь вот так тяжко болен. Все началось с военного училища в Красноярске, куда его отправили осенью 1941 года. Казармы, где разместили курсантов, почти не отапливались, кормили, одевали плохо, большая часть занятий проходила на открытом воздухе, а зима была суровая, сибирская. Но командиры были, видимо, убеждены, что именно так и следует закалять «ленинградских интеллигентиков» (слово «интеллигент» было в армии ругательным), повторяли суворовское «тяжело в учении — легко в бою». В результате, когда курсантов начали отправлять на фронт, московская комиссия обнаружила, что большинство из них истощены, жестоко простужены, а у некоторых болезнь запущена до неизлечимости. Кого отправили в госпиталь, кого списали по инвалидности. Так Мария Давыдовна увезла Петю в Новосибирск на носилках, как лежачего, и врачи сказали, что надежды на выздоровление мало…

Рассказывал все это Алик с такой болью за Петю и ему подобных, с такой ненавистью к тем «идиотам из Красноярска, которые столько молодежи загубили», что невольно мелькала мысль: доведись ему встретиться с теми «идиотами», он был бы с

ними беспощаден. И вообще чувствовалось, что в гневе он может быть страшен. «Да если бы только в одном Красноярске творили такое, — сказал он в заключение, — ведь и у нас в Ленинграде было не лучше…» — и надолго замолчал. Шли мы по темным заснеженным улочкам, метель задувала в лицо. Алик шагал, упрямо наклонив голову в большой мохнатой шапке, крепко держал меня под руку, но будто забыл обо мне, и я боялась нарушить молчание. Подходя к общежитию, я все же спросила: «А что, в Ленинграде было не лучше?». И он, сразу поняв, о чем я, очень коротко, будто отталкивая от себя всплывшее в памяти, рассказал, как их, добровольцев-десятиклассников, сначала учили шагистике и ружейным приемам в Летнем саду, используя вместо винтовок бутафорские деревянные «ружья». Затем отправили на фронт, под Кингисепп с голыми руками — оружие должны были «добыть в бою»… «Удивительно ли, что почти всех нас там и положило. Я еще хорошо отделался — шарахнуло так, что очнулся уже в госпитале…».

Об его ранении я знала уже от Люси Красиковой. О том же, что в результате контузии терял зрение и речь, он ничего не сказал. Я заметила, что он вообще не любит говорить о том, что может вызвать сочувствие или жалость. Так он не говорил тогда о матери, хотя я знала, что он не может не думать о ней — слишком мало времени прошло с того майского дня, когда он похоронил ее.

Ежедневно я бывала у Пети. Два-три дня в неделю стал приходить к нему и Алик. Полюбила я эти вечера. Петя всегда встречал меня улыбкой, с интересом слушал обо всем, что я рассказывала, и я забывала о том, что он болен. Вернее, я помнила об этом, но не верила в безнадежность его положения. В домике тепло, тихо. Мне уютно сидеть с вышиванием в старом кресле, на высокой спинке которого устраивается хозяйский кот. Иногда Петя негромко читает стихи и посмеивается, когда я стихи Блока принимаю за его произведения и, наоборот, его — за блоковские. Поэзию я знаю плохо. Если Петя чувствует себя хуже, то я читаю ему вслух «Войну и мир» (я стесняюсь сказать ему, что хотя мы в школе этот роман и «проходили», но читала я раньше только про мир, а вот теперь впервые читаю все подряд и удивляюсь, что и о войне все понятно и интересно). Обычно за час до того, как мне надо уходить, приходит Алик. Мы с Петей узнаем его еще по тому, как он громко оббивает от снега ноги на крыльце (круглый год он ходит в тонких офицерских сапогах), как шумно разоблачается в кухне из своего бессменного кожаного пальто (иногда оно промерзает до того, что может стоять на полу колом), вытряхивает от снега свою лохматую шапку (это

единственная вещь, подходящая для сибирской зимы) и наконец появляется, отодвигая занавеску в проеме двери и склоняя голову под низкой притолокой: «Ну как вы тут?». Этим неизменным тревожным вопросом он как бы объединяет нас троих в одну семью: будто пришел старший и спешит узнать у младших, как они тут без него? Все ли в порядке? И мы, конечно, уверяем его, что у нас все хорошо. И Алик, потирая замерзшие руки, занимает свое место возле теплой кухонной стенки или, разговаривая на ходу, мерно ходит из угла в угол, временами останавливается у спинки кровати в ногах Пети, выслушивает его и, отвечая, снова ходит — сидеть он не любил.

Мне нравится слушать их разговоры. Это не споры, как бывало у Юры Хочинского, а размышления вслух — они как-то очень хорошо понимают и дополняют друг друга. У Пети Алик будто оттаивает, у него смягчаются черты лица, уходит суровость, обнаруживается, что он умеет улыбаться и эта улыбка очень красит его. К Пете он относится с нежной заботливостью, и я чувствую, как этот круг сердечного внимания распространяется и на меня. Мне так спокойно в этом доме, будто я обрела сразу двух братьев.

Петя с большим интересом слушает Алика о том, как движется его работа по политэкономии социализма, что он прочитал за последние дни, о чем размышлял. Нередко переключались на воспоминания о школьных годах, о всяческих проказах и розыгрышах, и тогда было видно, какие же они еще в душе мальчишки, несмотря на свои двадцать лет. К воспоминаниям о Ленинграде присоединялась и я, и тогда выяснялось, что много путей наших пересекалось. Так, например, в ночь на 22 июня я со своими ребятами и их класс гуляли в одно время по набережной Невы, могли раньше встретиться на выставке Левитана в Русском музее или на спектакле «Ромео и Джульетта». Было в их рассказах и такое, чего я не могла видеть или знать, и от этого мне стало почему-то грустно. Грустно от того, что я не была на дне рождения Пети 3-го мая 41-го года, где собрались все ребята их класса и на длинном столе с белоснежной скатертью возле каждого прибора лежали букетики фиалок, а за открытыми окнами плыла белая ночь. Тогда Петя читал свои стихи о счастливом будущем, играл на пианино, и все много смеялись и пели… Они оба так рассказали об этом дне рождения, что я будто побывала там, увидела их таких веселых и молодых, почувствовала запах фиалок. И как жаль, что это только «будто бы»… Большей частью этими вечерами я слушала их и старалась не мешать, понимая, как важны для них эти часы общения. Домой шли вместе с Аликом. Тогда наступало мое

время. Можно задавать ему любые вопросы, говорить обо всем, что приходит мне в голову. И будь то мой рассказ о конфликте, возникшем в общежитии, или вопрос из области тех, которые «обсуждать не положено», он никогда не торопился высказать свое мнение, а начинал обычно с встречного вопроса: «А если бы, предположим, ситуация сложилась иным образом… (и проигрывал данный конфликт в новом варианте), как бы вы оценили мотивы каждой стороны?». Или говорил: «Давайте подумаем вместе…». И мы начинали размышлять вместе, и было это мне очень интересно. После нескольких аналогичных упрощенных «задачек» я уже сама приходила к решению более сложных вариантов. Вспомнила я и все свои столкновения, возникавшие в спорах с папой, и те недоумения, которые оставались после некоторых событий в общественной жизни. Так, одним из моих вопросов был такой: «Сталин — это знамя в чьих-то руках или он сам Знамя?». Не помню всего хода рассуждений, но знаю, что тогдашние выводы о роли личности в истории были более убедительными, чем последующее изучение этого раздела в институтском курсе истмата[37].

Умение размышлять логично, конечно, необходимо. Но выявлялось и мое полное невежество в области истории. Можно ли было считать знаниями те обрывочные сведения, которые сохранились у меня в голове от школьных учебников? Если предметы по истории искусства и литературы меня увлекали, то к курсу Всеобщей истории, который нам читали в институте, я отнеслась формально, по-школьному, ограничиваясь лишь конспектами. Алик подсказал мне и узловые моменты исторических эпох, и книги, которые расширяли и углубляли страницы учебника, и мне впервые стало интересно заниматься этим предметом.

Как-то в разговоре Алик упомянул Кампанеллу и поняв, что я об этом имени знаю лишь понаслышке, рассказал об его «Солнечном городе», да так рассказал, что это слушалось как увлекательный детектив. У него несомненно было дарование пропагандиста. И я уже сама просила его продолжать эту «серию», и от встречи к встрече, по пути домой, он рассказывал мне и о других идеологах социальных утопий: о Томасе Море, о Сен-Симоне, Фурье, Оуэне. Все услышанное было новым для меня и чрезвычайно интересным. А когда Алик перешел к деятелям русского освободительного движения, то к нашим стихийно возникшим «семинарчикам» захотел присоединиться и Петя: «Что это ты Ниночке завлекательные истории рассказываешь на морозе? Давай уж рассказывай здесь, и я послушаю». И теперь они с Аликом оба вспоминали все то, что знали, читали о

декабристах, о петрашевцах, о народовольцах. В основном рассказывал Алик, а Петя дополнял его. Интересными были не только факты, но и анализ ошибок, замыслов и причин крушений. Я впервые открыла для себя неисчерпаемость мемуарной литературы. Оказалось, что в Новосибирске отличные фонды в областной библиотеке, которая комплектовалась еще до революции, и на меня сильнейшее впечатление произвели воспоминания П. Кропоткина, В. Фигнер, Н. Морозова.

Предполагалось, что наши домашние семинары постепенно дойдут и до темы «Октябрьская революция и строительство социализма». Алик говорил, что здесь еще много спорного, проблематичного. Рассказывал, как ему неожиданно повезло с материалом по этой теме: когда он с матерью эвакуировался из Ленинграда, то лето-осень 42-го года они жили в Саратове, в каком-то старом доме бывшего политссыльного. И на чердаке этого дома Алик нашел большое количество книг, да таких, какие не найдешь ни в одной библиотеке: стенограммы всех съездов партии, книги и брошюры всех оппонентов Ленина, материалы дискуссий первых лет революции о профсоюзах, о крестьянстве, о НЭПе. Петя шутил, что этот щедрый подарок судьбы Алик должен расценивать как подтверждение закона о том, что «Случай — это неосознанная необходимость». Именно эта возможность изучить, сравнить позиции «pro» и «contra»[38] позволили ему глубже понять и осмыслить историческое развитие нашей страны. Вот уж воистину «На ловца и зверь бежит».

Но до вопросов новейшей истории мы так и не успели дойти. Наступила весна. В начале мая Мария Давыдовна уезжала с Петей в Шадринск — там жили их дальние родственники. Она надеялась, что среди соснового бора Пете летом будет лучше, чем здесь, возле железной дороги. И кумыс там можно было достать.

Проводы Пети были очень грустными. Мы с Аликом пришли на вокзал. Пришел и Юра Хочинский. И когда Петю из машины скорой помощи вынесли на носилках на перрон, то мы вдруг поняли, что он обречен и видим мы его в последний раз… Вероятно, это отразилось на наших лицах, и он пытался ободрить нас, шутил, но от этого было еще тяжелее. Предчувствия нас не обманули — осенью Петя умер.

Наши встречи с Аликом продолжались и после отъезда Пети. Теперь он заходил вечерами в общежитие и мы уходили с ним бродить по городу. Еще зимой, когда я от Пети спешила иногда на спектакль или концерт, Алик шел вместе со мной, и потом говорил, что благодарен мне — без меня он остаток вечера просидел бы над книгами. Оказалось, что у нас схожие вкусы, и это еще больше сближало. Обсуждали мы с ним и мое намерение

поступить с нового учебного года на актерский факультет, продолжая параллельно заниматься на театроведческом. Он одобрял этот план, и мы вместе искали материал для чтения на конкурсе. Остановились на фрагменте из «Войны и мира» («…В начале 1806 года Николай Ростов приехал в отпуск…»), монологе Лауренсии из драмы Лопе де Вега «Фуэнте овехуна» («Дозвольте мне войти в союз мужчин и дайте место женщине средь них!»). Меня сначала немного смущала резкость, острота этого характера, но Алик уверял, что у меня получается. По вокальному репертуару наши мнения разошлись. Алику нравились русские народные песни, которые я напевала у Пети — «Позарастали стежки-дорожки», и другая — «…Мой ненаглядный, мой нехороший». Но я все же остановила свой выбор на романсе Даргомыжского «Мне грустно оттого, что весело тебе», хотя это было и труднее, чем песни.

Больше посвящал меня в свои дела и Алик. Так, он пытался разъяснить содержание своей работы, над которой трудился уже более года. Формально это была дипломная работа, но фактически выходила за рамки диплома и по содержанию, и по объему (около 500 страниц). Читал отдельные главы, но для меня это было сложно, и тогда он излагал мне популярно основные тезисы своей концепции. Содержанием работы было исследование природы конфликтов в период перехода от социализма к коммунизму. Арнольд приходил к выводу, что в процессе развития нашего общества все более явственно проявляются тенденции, свидетельствующие о том, что противоречия между производительными силами и производственными отношениями будут все более и более обостряться. Эти его выводы не согласовывались с общепринятыми положениями Сталина о том, что эпохе социализма свойственны только эволюционные конфликты.

Говорил он мне и о том, что ему крайне недостает оппонентов, людей, с которыми можно было бы всесторонне обсудить эти вопросы, подискутировать. Среди преподавателей Томского университета он не видел такого, кому можно было бы довериться. Для защиты диплома достаточно первых глав работы, и его научный руководитель знаком только с этими главами и никаких серьезных замечаний не высказал.

Я вспомнила о преподавателе нашего института, который читал политэкономию старшекурсникам (о нем говорили как об очень умном и порядочном человеке) — Николае Николаевиче Власове. Алик тоже слышал о нем добрые отзывы и решил, что имеет смысл с ним встретиться и уже в процессе беседы определить, в какой степени можно будет обсуждать

интересующие его вопросы. Он попросил меня устроить эту встречу.

Я со своей стороны тоже была заинтересована в такой встрече. Дело в том, что после того, как мы с Аликом все чаще стали появляться в библиотеке, в общежитии, на концертах, все мои друзья по институту стали считать его «моим мальчиком» и запросто могли сказать: «Вон, твой философ бродит под окнами, видно, тебя ждет». Алика уважали за серьезность, за энциклопедичность знаний, удивлялись его умению работать в библиотеке с предельной целеустремленностью, но к его увлечению скучнейшей, по их мнению, политэкономией и философией относились с насмешливой снисходительностью, за глаза называли «философом».

Девчонки в нашей комнате предостерегали от чрезмерного увлечения этим «сумасшедшим философом»: «А вдруг он шизик?». И даже Люся Красикова говорила: «Конечно, Алька отличный парень, но вот его всяческие идеи… Бог знает, куда они его заведут». Моя подружка Женечка Лихачева, кажется, ревновала меня к Алику — я теперь все реже бывала у нее и мы встречались только на занятиях. Возможно, что он нравился ей самой, и она обижалась, что при встречах, когда она подходила к нам и пыталась завязать общий разговор, он замолкал, отвечал односложно и явно относился к ней равнодушно. (Как-то я спросила Алика о Жене, и он сказал, что ему скучно с девушками, которые ни на минуту не забывают о том, что они красивы).

В общем, противоречивость в восприятии Алика окружающими была неприятна мне. Конечно я ни на минуту не сомневалась в том, что он в здравом рассудке, но мне все же хотелось, чтобы кто-нибудь из взрослых определил, насколько серьезно все то, чем занимается Алик, нет ли здесь действительно чего-то от мании величия. Шуточка ли! Замахнуться на разработку теории, создателями которой являются великие классики марксизма-ленинизма!

Поэтому я решила, что встреча с Власовым поможет не только Алику, но и мне — она прояснит что-то и для меня.

После занятий я подошла к Николаю Николаевичу и спросила его, не мог бы он встретиться с моим знакомым, студентом томского истфака, который нуждается в консультации по диплому. «И вообще, мне было бы интересно знать ваше мнение о нем», — добавила я. Он дал согласие и пригласил нас обоих к себе домой.

В ближайшее воскресенье мы пошли к Н.Н. Власову. Это был наш первый «выход в люди», и каждый по-своему волновался о том, как пройдет эта встреча. Николай Николаевич

воспринимался нами как безусловно взрослый человек, но, вероятно, ему было лишь немного больше тридцати. Он недавно женился на студентке нашего института, которую я хорошо знала, и от этого у меня была еще дополнительная неловкость. Мне казалось, что Гале будет стыдно при нас называть уважаемого преподавателя на «ты», и я заранее стеснялась этого. Но как только нам открыли двери, все оказалось легко и просто. Хозяин дома сразу увел Алика в свой «кабинет» — так он, смеясь, называл угол возле письменного стола и полок с книгами, а мы с Галей расположились за ширмочкой на диване, где у них была «гостиная», и мы сразу нашли с ней общий язык: она приболела и ее интересовали все институтские новости. Я болтала с нею и одновременно прислушивалась к тому, что за ширмой. Но скоро я успокоилась. Николай Николаевич беседовал с Аликом серьезно, очень увлеченно и, главное, очень уважительно, на равных. И по тону Алика, по тому, что он затрагивал и те вопросы, о которых сначала думал не говорить, я чувствовала — разговор этот ему очень важен и встреча удалась.

Пробыли мы там около трех часов. По дороге домой Алик говорил, что ему было очень интересно, что он многое перепроверил для себя и получил поддержку по основным своим положениям. Но одновременно понял, что некоторые моменты еще недостаточно проработаны и требуют обдумывания.

На следующий день я подкараулила Николая Николаевича при выходе из института и пошла провожать его до остановки трамвая. «Ну, что вы можете сказать о моем… (и запнулась — «женихе»? Но он еще никогда не говорил мне об этом) о моем мальчике?» — неловко закончила я. А он, отвечая, подхватил это словечко: «Такие мальчики, как этот, раз в десять лет рождаются. У него голова логика. Он позволяет себе ставить такие вопросы, рассматривать такие проблемы, о которых мы, старшее поколение, даже и задумываться-то боимся…». И добавил: «Но то, чем он занимается, в наше время очень опасно. Очень».

Я сказала Алику об опасениях Власова. Он ответил, что и сам это понимает. И что, к сожалению, сейчас приходится работать в расчете лишь на «ящик письменного стола». Но так в истории бывало неоднократно — идеям свойственно опережающее развитие. Но он убежден, что наступит время, когда появятся целые научные коллективы («может быть, даже институт»), которые будут заниматься разработкой проблем общественного развития, и тогда сделанное им пригодится.

Весна-лето 1944-го

Весна 1944-го была ранняя, в середине мая уже все зазеленело, одновременно цвели яблони и черемуха. И хотя в институте приближалась напряженная пора экзаменов, много времени приходилось проводить над книгами и конспектами, вечерами и библиотеки, и общежитие пустели — так славно было бродить по городу! Так приятно было отогреться после длинной зимы!

Новосибирск.1944 г.

Уходили гулять и мы с Аликом. Обычно шли к речной пристани. Там было безлюдно и не доносился шум города. Зеркало Оби разливалось чуть не до горизонта, противоположный берег еле виднелся в тумане. И такой немыслимой красоты закаты опускались над рекой, что просто дух захватывало. Мне никогда не приходилось видеть такого огромного неба, такого буйства красок, отраженных в лакированной глади воды… Казалось, что эти космические феерии разыгрывались специально для нас. Мы бродили по пустынному берегу, сидели на теплых бревнах, дожидаясь первых звезд, и уходили уже затемно.

Этими ясными призрачными вечерами на берегу Оби мы больше молчали — не хотелось нарушать тишину. А на обратном

пути постепенно, слово за слово, мы вдруг погружались в воспоминания и начинали рассказывать друг другу о чем-нибудь прошлом, довоенном. Будто какой-то шлюз молчания прорывался. Я перестала стесняться говорить о мелочах, о житейском. И он мне рассказывал о себе всякое: о том, как в младших классах был драчуном и даже занимался в секции бокса; об увлечении марками, с которых и начался его интерес к истории; о том, как сбежал из пионерского лагеря; о поездке с родителями в Крым, о Бахчисарае, о светящемся ночью море… Показал домашние фотографии и впервые говорил об отце и маме. Становился он проще, понятнее мне, и я уже не думала, что он «не от мира сего» и витает лишь в высших сферах далеких от меня наук.

Алик будто постепенно оттаивал, становился мягче, приоткрывался в своих радостях и печалях. Я почувствовала, как он устал от своей замкнутости, как остро живет в нем боль от утраты родителей, как он одинок. И была очень тронута тем, что мне доверился такой сильный независимый человек. Хотя мы оба 23-го года рождения, но я всегда воспринимала его как старшего. И вот, несмотря на его безусловную для меня взрослость, мне захотелось стать для него не только другом, но и сестрой, и даже в чем-то заменить мать.

Хотя Алик и начал оттаивать душой, но внешне оставался скованным, суровым. Казалось, что он разучился смеяться, и я интуитивно, вряд ли задумываясь об этом, старалась как-то растормошить его. Рассказывала о забавных и смешных случаях в своей прошлой и в теперешней институтской жизни, и на лице его все чаще стала появляться улыбка. Она очень красила его. И как же я обрадовалась, когда заметила, что едва увидев меня издали, он уже с открытой улыбкой спешит мне навстречу. Будто новый человек народился.

Единственное, что оставляло меня в недоумении, это то, что Алик по-прежнему обращается ко мне на «вы», и мне, соответственно, приходится отвечать тем же. При той простоте нравов, которая царила у нас в институте, такие отношения выглядели странно. Мне по-девчоночьи было даже забавно: когда же и каким образом он перейдет на «ты»? Не может же так продолжаться вечно?

Произошло это внезапно и в неожиданной для меня форме. В конце мая, теплым долгим вечером возвращались мы однажды с Оби. Алик был непривычно молчалив и я умолкла тоже. А когда дошли до площади и уже должны были расстаться, Алик вдруг сказал, что любит меня, просит быть его женой и готов сделать все для того, чтобы я была счастлива с ним. Я растерялась.

Сказала, что еще не задумывалась о замужестве, что рано еще мне замуж… Он просил не спешить с ответом, подумать три дня. Говорил, что ему важно знать мой ответ — от этого зависит вся его дальнейшая жизнь. А само замужество, в случае моего согласия, пусть свершится позднее, по окончании войны, в Ленинграде. Там осталась у него от родителей квартира, а сейчас он тоже не готов к созданию семьи. Сейчас он положит все силы на то, чтобы скорее закончить университет.

Несмотря на неожиданность предложения, я как-то внутренне знала, что отвечу согласием и три дня на размышления мне не были нужны. Но вот то, что вслед за согласием обычно должны измениться и отношения между женихом и невестой, смущало, пугало, и уже поэтому я не произнесла бы своего согласия вслух… Услышав же, что фактический брак откладывается на какое-то неопределенное время, называемое «После войны», сразу успокоилась, и уже готова была сказать «да», но боялась выглядеть легкомысленной, и мы расстались на эти три дня. Значительность происшедшего все больше и больше захватывала меня, и я уже не могла думать ни о чем другом.

А думать было о чем — через несколько дней начинались экзамены. Нужно было успеть досдать зачеты, курсовые работы. Места в читальном зале захватывались чуть ли не по жребию. Завладевший учебником сбегал на весь день в какой-нибудь тенистый уголок парка им. Сталина и спешил заглотить весь объем знаний, не усвоенных за год.

Я, как в тумане, занималась всем, чем положено заниматься накануне сессии, но одновременно во мне уживались и мысли очень далекие от экзаменов. Итак, закончен один период жизни и начинается новый, совсем неведомый, тревожный и радостный…

Встретившись через три дня на скамеечке в сквере возле нынешней Консерватории (в те годы в этом здании находился Военный трибунал), я от волнения не могла заговорить. Но взглянув на него и поняв, что он волнуется не менее моего, что он боится моего отказа, я поспешила успокоить его своим «да».

Какое-то время мы были словно оглушены происшедшим, с трудом привыкали к своим новым ролям, но постепенно, под натиском нараставшей и все переполняющей радости осознания, что кончилось одиночество, что мы теперь единое целое, исчезли и смущение, и неловкость, стало легко и ясно, стало грустно даже сутки провести в разлуке, стало просто и естественно перейти на «ты».

Определившись в самом главном, мы почувствовали необходимость поделиться этой новостью с близкими. Я написала маме и послала маленькую фотографию Алика (другой не было).

В качестве жениха и невесты посетили самых близких в Новосибирске. Прежде всего решили пойти к Хочинским. Тем более, что у них было новоселье — они переехали на частную квартиру, и мы их давно не видали.

Когда в маленьком дворике, заросшем цветущей сиренью, мы попали в лабиринт веревок с гирляндами настиранного белья, а в открытые окна приземистой избушки услышали звонкий голос Люси и примирительное ворчание Юры, мы поняли, что семейство Хочинских благоденствует и успешно осваивается «на новых площадях».

Встретили нас очень радушно — мы были их первыми гостями. А когда узнали, что мы пришли к ним, так сказать, в новом качестве, бурно поздравили нас и сказали, что это событие следует отметить праздничным застольем. И предлог для этого был, и, главное, тот редкий случай, когда было чем угостить. Оказалось, что после одного из концертов в сельской местности Юрочке вручили гонорар «натурой» — небольшой мешочек пшеницы. Молодые сначала не знали, что делать с этим даром, но хозяйка их дома быстренько прокрутила зерно на крупорушке и в первый же «банно-прачешный день», когда топили русскую печь, сварила целый котел рассыпчатой, упревшей пшеничной каши.

Вот мы и угодили к тому моменту, когда Юрочкино семейство собиралось ужинать. Во главе длинного деревенского стола уже восседал на коленях у бабушки черноглазый румяный Сашка и стучал ложкой, а у теплой еще печи хлопотала с ухватами старушка-хозяйка, приговаривая: «Уж такой каши, как эта, вы никогда не едывали!».

Пригласили и нас за стол. Я оказалась на парадном месте, «под образами», так как Сашка сразу потянулся ко мне и я взяла его на руки. Я загордилась, думала, что он вспомнил как я нянчила его в общежитии, но оказалось, что его заинтересовали незабудки и ромашки, вышитые на моей кофточке, и он начал старательно «выщипывать» их двумя пальчиками и даже попробовал лизнуть языком. Очень было забавно наблюдать за его «исследовательской деятельностью». Алика усадили на противоположном конце стола, по бокам разместились Юра с Люсей, а напротив — две бабушки, будто одна большая семья. И таким праздничным выглядело наше застолье! Гроздья сирени заглядывали во все окна, будто огромные букеты; старенький самовар на табуретке в лучах заходящего солнца мерцал червонным золотом; от глиняных мисок, доверху наполненных маслянистой кашей, исходил такой аромат, что кружилась голова. Люся хотела забрать от меня Сашку, но он воспротивился и начал старательно таращить на меня уже сонные глаза, не

забывая при этом широко открывать рот, как я только подносила к нему чайную ложечку с кашей.

За столом болтали, смеялись, но я как-то целиком отключилась, чувствуя удивительное единение с Сашкой. Он разглядывал меня, а я его, впервые, пожалуй, осознавая, какое это чудо — маленький ребенок. Неожиданно Люся вдруг привлекла внимание всех ко мне: «Нет, вы только посмотрите, до чего же ей подходит роль молоденькой мамаши с младенцем на руках! Ну чем не “Мадонна Бенуа”!» Старушка-хозяйка тут же подхватила: «Бог даст, скоро и сама деточками обзаведется», и я почувствовала, что неудержимо краснею. Все засмеялись, я украдкой взглянула на Алика и удивилась тому, как отрешенно-задумчиво он улыбается, глядя на меня, будто впервые видит. Наши взгляды встретились, и я поняла, что мы подумали об одном и том же: «А ведь когда-нибудь и у нас непременно будет сын…». Меня снова охватило жаром и, чтобы скрыться от взглядов, я встала и понесла Сашку в постельку, укладывать спать. А у самой лихорадочно билось в голове, что будущий сын — это действительно чудо. Ведь я не знала Алика ребенком, мальчиком, и это огорчало меня, а сын будет непременно во всем похож на него, он как бы вновь воссоздаст Алика, и я увижу, узнаю неведомый мне период его жизни… А потом он вырастет, станет таким же умным, красивым, двадцатилетним… Дальше не думалось, а просто в голове был какой-то туман предощущения бесконечного счастья.

Мы долго пили чай, разговаривали, и уже в сумерках Хочинские пошли провожать нас. «Когда и куда пригласите на свадьбу?» — шутя спросил Юра. И Алик очень серьезно ответил: «В первое воскресенье после окончания войны, по адресу: Литейный, дом 7, квартира 28», — и крепко пожал мне руку, я ответила ему тем же. И Юра, и Люся отнеслись к этому приглашению тоже вполне серьезно и пообещали придти первыми. При прощании Люся весело пропела: «Встретимся в 6 часов вечера после войны?» — так называлась новая кинокомедия. И мы оба ответили: «Да! После войны!».

Еще долго мы с Аликом бродили под окнами общежития, и он говорил, что я буду «маленькой хозяйкой большого дома», так как в квартире у них не осталось никакой мебели — всё сожгли в блокадную зиму, но вдоль стены лежит свернутый в трубку ковер, в который его мама упаковала свой свадебный сервиз на 24 персоны. И когда мы вернемся в Ленинград, то мы развернем этот ковер, пригласим наших друзей, все рассядутся «по-турецки», так как стульев нет, зажжем свечи и будем вспоминать о жизни в Сибири и петь песни военных лет. Решили, что непременно

вернемся когда-нибудь в Новосибирск — лет так через 10, побродим по всем нашим маршрутам, посмотрим, как изменится этот огромный город.

Еще мы были приглашены на чай с пирожными к Елене Львовне (слух о нашей помолвке — кажется, так это называется? — быстро распространился по общежитию). Сначала она беседовала с нами обоими, а потом попросила меня посидеть на балконе, чтобы поговорить с Аликом наедине. Он так и не рассказал мне о содержании этого разговора, только упомянул, что Елена Львовна любит меня как дочь, очень тревожится обо мне и поэтому устроила ему строгий «экзамен», который он, по-видимому, выдержал, так как при прощании расцеловала нас обоих и благословила на долгую и счастливую жизнь.

Моя любимая подруга Женечка Лихачева неожиданно для меня тоже вполне благосклонно отнеслась к этой новости (ведь при первом знакомстве Алик чем-то раздражал ее и она отзывалась о нем иронично). А теперь поздравила нас, пригласила к себе в гости, познакомила со своей мамой. Мы хорошо провели вечер, Женя остроумно пикировалась с Аликом, без уговариваний согласилась поиграть на пианино. Алику особенно нравилось, когда мы с Женей пели дуэт Полины и Лизы из «Пиковой дамы» и народную песню «Позарастали стежки-дорожки», сказал, что это его любимая песня из тех, что я пела. Оказалось, что есть любимая песня и у него: на слова Лермонтова «Выхожу один я на дорогу». Стоило ему услышать эту мелодию, как он тут же начинал «гудеть» басом, очень старательно подстраивался к нашим голосам и не соглашался прервать длинную песню, пока не прозвучал последний, особенно любимый им куплет:

«Но не тем холодным сном могилы
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша, вздымалась тихо грудь.
Чтоб всю ночь, весь день, мой слух лелея,
Про любовь мне сладко голос пел,
Надо мною чтобы, зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел».

Неожиданно выяснилось, что Алик много знает на память. Так, шутя, Женя процитировала что-то из «Евгения Онегина», и он тут же подхватил и легко прочитал несколько строф. Смеялся, что «загнал» нас — мы пытались продолжить, но запутались и умолкли.

Вообще эти вроде «официальные» визиты в разные дома оказались очень важными для нас, запомнились во всех деталях, так как там мы впервые увидели друг друга по-новому, в общении с разными людьми, и в чем-то раскрылись в тех качествах, о которых до сих пор не знали.

Должно было состояться мое знакомство с тетей Арнольда — Кларой Борисовной, но в эти дни она готовилась к возвращению в Ленинград, Алик помогал ей с упаковкой вещей, оформлением документов и встреча эта откладывалась. Чему я, честно говоря, была рада, так как боялась, что не понравлюсь ей. Я была представлена Кларе Борисовне уже на вокзале, в день отъезда, и почувствовала, что мои опасения были не напрасны. Хотя этого не было сказано вслух, но я поняла, что выбор Алика не одобрен, и потому, что я еще такая девчонка, и потому, что я в таком «легкомысленном» институте, и, главное, потому, что я русская…

Понял это и Алик (видимо, Клара Борисовна говорила с ним об этом раньше), пытался неловко успокоить меня — мол, все постепенно образуется, а вообще Клара Борисовна очень хороший человек и после смерти сестры чувствует свою ответственность за его судьбу, и поэтому, естественно, несколько ревниво относится ко всему, что, по ее мнению, может отвлечь его от учебы. И еще он сказал, что к сожалению у его тети есть предубеждение против смешанных браков… Конечно, все это расстроило, но уехала Клара Борисовна, и неприятный осадок быстро выветрился из моей головы. Тем более, что в эти дни вдруг неожиданное «завихрение» произошло в делах институтских.

Дело в том, что Алик уезжал в Томск на сессию, у меня же неожиданно появилась возможность перенести сессию на осень, на то время, когда я буду принимать участие в конкурсе на актерский факультет, а сейчас взять «академический отпуск по семейным обстоятельствам» и ехать к маме в Калининскую область, чтоб там подкормиться и отдохнуть от холодной и голодной зимы. Появилась такая возможность потому, что в нашем подшефном госпитале нужны были сопровождающие для тех раненых, кто был списан «подчистую» и не мог самостоятельно добраться до дому. И вот один солдат с ампутированной ногой должен был ехать куда-то в Подмосковье и ему требовалась провожатая. Когда я узнала об этом, то сначала отнеслась к такому плану, как к несбыточной мечте, но посоветовавшись с Аликом и взвесив все обстоятельства, пришла к выводу, что грешно пропустить такой случай — бесплатно проехать до Москвы и обратно, пожить у мамы, подкрепиться там в преддверии тех двойных нагрузок, которые ожидали меня впереди. А сессия — что ж, сдам ее осенью, а за эти месяцы еще

раз повторю весь пройденный материал.

Была и еще одна причина, по которой я так легко уговорила себя в разумности подобного «зигзага»: я запустила занятия и боялась экзаменов, поэтому дарованные мне два месяца на подготовку воспринимала как подарок. Опасалась я, что директор откажет мне, но и тут обошлось, хотя, как мне кажется, наш милейший Николай Евгеньевич догадался о причине «крайней необходимости побывать у мамы». Приказ об академическом отпуске до августа 44-го года был подписан, и я с сего дня обретала полную свободу.

Алик был рад за меня и со спокойной душой уехал в Томск. Я должна была уехать вслед за ним через три-четыре дня — мой подшефный солдатик учился ходить на протезе и его готовили к выписке. Девчонки в общежитии завидовали моей свободе и я «на законных основаниях» забросила все конспекты и учебники (еще успею!) и наслаждалась полным бездельем. Но буквально на второй день моего отпуска я вдруг получаю от мамы письмо, в котором она сообщает, что оформила документы для возвращения в Ленинград и они с бабушкой в первых числах июня уезжают из деревни! Я же не писала ей о том, что приеду, — хотела сделать сюрприз.

Вот здесь я растерялась. Значит, ехать мне некуда? Но если расскажу об этом в институте, то надо немедленно впрягаться в экзаменационную упряжку. Но я же не готова к сессии. Что делать?

Бегу к своей Женечке, рассказываю обо всем, и она тут же предлагает мне совершить новый «зигзаг»: никому не говорить, что поездка сорвалась, дня через два распрощаться в общежитии, взять чемоданчик с конспектами и учебниками и «уехать». А фактически скрыться ото всех и этот месяц отсидеться у Жени — жить, не выходя из дому, так сказать, «на подпольном положении». И все время отдать подготовке к экзаменам. А потом, в июле, «досрочно» вернуться в общежитие — это никого не удивит. Относительно же замены меня в госпитале договориться было несложно — было много желающих проехаться за казенный счет на Запад.

Ничего более удачного придумать не удалось, я была благодарна Жене за такую реальную помощь в трудный момент. Нагрузив конспектами и учебниками свой чемодан, грустно отгуливала свои последние денечки, готовясь к «отъезду».

Свободного времени оказалось так много, что я уже томилась им, а вечерами, в одиночестве, ходила на симфонические концерты. В филармонии заканчивался сезон, и оркестр уезжал вслед за Пушкинским театром в Ленинград.

Но, по-видимому, один «зигзаг», затем второй, неминуемо должен был завершиться и третьим — «Бог троицу любит». Так оно и произошло. Случилось так, что во время концерта в филармонии у меня попросил программку сосед. Разговор о музыке продолжился в антракте, затем этот человек — уже взрослый, с проседью на висках — проводил меня до общежития. Как выяснилось позднее, это был директор одного из московских заводов, эвакуированных в Бийск, а в Новосибирске он бывал наездами, по служебным делам. Звали его Аркадий Ильич Гордин. Отличала его корректность, интеллигентность, отсутствие всякого налета «ухаживания», и этим он вызывал ответное доверие. При прощании Аркадий Ильич спросил, иду ли я завтра на гастроли театра Михоэлса[39], и я сказала, что не иду, так как не удалось достать билетов (а по правде, очень уж дорогие были эти билеты). «Но ведь это такой удивительный коллектив! Вам, театроведу, просто необходимо увидеть их!» — и пригласил меня пойти вместе с ним, а билет он достать сумеет. Соблазн был велик, и я согласилась. На другой день мы встретились с Аркадием Ильичом на спектакле «Тевье-молочник». Театр этот действительно был удивительным, игра Михоэлса просто непередаваема словами… А как там плакали скрипочки свадебного оркестра!..

Провожая меня, А.И. спросил, сможем ли мы увидеться через неделю, когда он снова будет в Новосибирске, я сказала, что буду в отъезде. Он удивился: «Но ведь у вас начинается сессия?» — и я вынуждена была признаться, что затеяла авантюру и перехожу на «нелегальное положение». «Но это не очень разумно, вам действительно следовало бы подкрепить здоровье перед новым учебным годом, а месяц взаперти, в духоте большого города…». Затем он помолчал немного, о чем-то раздумывая, и наконец предложил мне такой вариант.

При его заводе под Бийском есть подсобное хозяйство — совхоз, откуда рабочим доставляют молочные продукты. Это красивое село, расположенное на берегах Катуни. А.И. мог бы представить меня директору совхоза как дочь своего фронтового друга, и мне помогли бы там устроиться с жильем, продукты питания можно выписать по госценам, я смогу жить там хоть месяц, хоть два вполне самостоятельно. «Представляете, встаете рано утром и по росистой траве, босиком спускаетесь к реке… Захватите с собой книги для занятий, еду. Там, на берегу, можно целый день провести и ни одной живой души вокруг. А какой там воздух! А как шумит река!». И так мне захотелось «босиком, по росистой траве»…

Короче говоря, уже через два дня я села в поезд и

отправилась в сторону совершенно противоположную моему первоначальному маршруту — на Алтай. Всю дорогу простояла у раскрытого окна, не могла налюбоваться бескрайней панорамой полей и перелесков. Сердце замирало от собственной смелости (безрассудства?) — еду неизвестно куда, даже названия поселка не знаю. Случись что со мной, и никто даже не узнает, куда я пропала. А вдруг А.И. не встретит на вокзале, что я буду делать в незнакомом городе? И что я знаю об А.И. кроме того, что он производит впечатление очень порядочного человека? А вдруг он не тот, за кого себя выдает? Не такой, каким кажется?

И совсем стало страшно, когда уже затемно я вышла в Бийске. Народ быстро разошелся, и я осталась на привокзальной площади совсем одна…

Но вот из-за угла вырулил «газик», взвизгнул тормозами, и А.И. подбежал ко мне: «Ради Бога, простите! — непредвиденно задержался в дороге».

И я сразу успокоилась — все будет хорошо! (Попутно: так оно и оказалось. Мне ни разу не пришлось пожалеть об этой поездке).

А.И. сел за руль, я расположилась на заднем сиденье, верх машины открыт, скорость, ветер в лицо, кромешная тьма вокруг и огромные звезды над головой! Такой восторг охватил меня, что я почти всю дорогу пела.

Прибыли на место уже глубокой ночью. Светился лишь один огонек на краю села — нас ждали. Хозяйка встретила на пороге с керосиновой лампой в руках. Провела через кухню в мою комнатку. Я засыпала на ходу, но не могла отказаться от приглашения «перекусить после дороги». А на столе! Крынка с молоком, горшочки с творогом и сметаной, тарелка клубники! И свежий, еще теплый каравай хлеба… (Хозяйка работает в пекарне, живет с 14-летним сыном).

А.И. прощается и уезжает, а я пирую одна за этим роскошным столом и не помню как добираюсь до постели.

Утром просыпаюсь от слепящего солнца. Распахиваю окно и застываю в изумлении — вот уж воистину «бескрайний простор»! Под крутым зеленым склоном искрится шумная река, за нею, в утренней дымке необозримая степь да на горизонте чуть угадывается призрачная цепь голубых гор… И небо здесь именно как «хрустальный купол» накрывает всю эту божью благодать. И даже жаворонок, песня которого «неисходною струей громче, громче льется» звенит где-то совсем рядом.

Глаз не оторвать от всего этого великолепия! Как завороженная, вылезаю в окно и спешу по склону к реке. С трудом продираюсь сквозь заросли буйных трав и цветов. Здесь мирно соседствуют и полевые, и садовые: глазастые ромашки, лиловые

ирисы, желтые лилии, розовый душистый горошек и малиновый кипрей. И весь этот цветочный ковер будто проткан серебристыми нитями — это непрестанно колышется на ветру седой ковыль. От аромата настоянного на солнце разнотравья кружится голова.

С приближением к реке все слышнее ее ровный шум, все чаще набегают струи прохладного воздуха. Вот и Катунь — бурная, быстрая, зеленеющая прозрачностью стекла на изломе волн.

Впечатление, что весь этот мир щедро подарен мне, в мое личное пользование, вокруг ни души, и у меня начинается жизнь как на необитаемом острове. Изба наша на окраине села, хозяйка с утра в пекарне, сын ее возит в город на телеге бидоны с молоком. За месяц жизни в этом благословенном крае о моем существовании узнают лишь председатель совхоза да две-три женщины, которые заходят к хозяйке по своим делам. Ну, и еще Федька, который любит расспрашивать меня «про войну». Вечерами, когда мимо нашего дома медленной трусцой компания мальчишек гонит в ночное табун лошадей, он, явно красуясь передо мной, взнуздывает своего рыжего конька. И вдруг, как с цепи сорвавшись, все переходят на галоп, с гиканьем и свистом уносятся по пыльной дороге куда-то далеко, в туманную даль заливных лугов.

Одиночество ничуть не тяготило меня — напротив, оказалось, что я очень устала от постоянного многолюдства в общежитии, а тут просто отдыхала в тишине и покое.

Дважды приезжал в село Аркадий Ильич. В первый раз он отправлялся с председателем на дальние пастбища и они пригласили меня с собой. Поездка эта казалась мне путешествием в неизведанные страны. Всё было открытием: переправа через реку на пароме, полное бездорожье — машина с трудом шла по степи, утопая в цветах и травах. Из-под колес выныривали какие-то птицы, а над головой кружил настоящий орел. Будто в пятнашки играли с нами сурки и еще какие-то зверушки. На полянках застынут столбиками, сложив лапки на животике, а потом свистнут насмешливо и провалятся под землю! Горы вырастали на глазах, обретали реальность. А когда мы добрались до пастбищ, А.И. с председателем ушли на строительство какой-то фермы, а я осталась в обществе стада телят и совсем пришла в состояние полной умиротворенности и блаженства. Так бы и сидела тут век возле душистой копны, гладила кудрявые лбы с маленькими рожками и кормила бы этих мокроносых коровьих детей, заглядывая в их таинственные фиалковые глаза в длинных ресницах…

В другой раз А.И. приехал с женой и двумя маленькими дочками. Я ходила с девочками за клубникой — мелкой, но очень

душистой и сладкой. Кроме ягод, собрали большие букеты ромашек и сплели венки, и старшая девочка сказала, что мы стали похожими на Аленушку из сказки. Я подумала, что она права, — неправдоподобно красивыми и безмятежными были эти дни, и у меня в душе появилась какая-то тревога — слишком уж хорошо. Я еще не знала тогда, что уже сгущаются над головой тучи…

А.И. уехал в командировку — решался вопрос о возвращении завода в Москву. Сказал мне, что я могу жить здесь хоть все лето. Но наступила неделя проливных дождей, я уже по нескольку раз проштудировала все свои книги и конспекты, выучила назубок все-все тексты для конкурса и поняла, что «сказка» кончилась и пора возвращаться, да и обнаружилось, что я соскучилась по Алику и уже предвкушала, как буду рассказывать ему обо всем увиденном за этот месяц.

Новосибирск по возвращении поразил шумом, духотой, пылью, своей нелепой громадностью. На город налетали знойные степные ветры. Пожухла листва деревьев, скрипел на зубах песок. Громыхали грузовики и телеги ломовых извозчиков, раздавался скрежет лопат и дробь отбойных молотков. Повсюду шли ремонтные работы, рыли траншеи, меняли трамвайные рельсы, вся площадь перед театром была разрыта до основания и уже вырисовывались очертания будущего сквера.

Ремонт был и в общежитии, всё пропахло известью и краской. Меня сразу окружили будничные хлопоты. Опоздала получить хлебные и продуктовые карточки — предстояла беготня «по инстанциям». Комендант общежития ушел в отпуск, и я осталась без постельного белья. Отключили воду, и бани работали с перебоями и огромными очередями… Удивительно ли, что все воспоминания о красотах Алтая были мгновенно вытеснены у меня проблемами весьма прозаическими. А уж размышлениями о нравственных основах этой поездки я и вовсе себя не утруждала. Напротив, считала, что Алик одобрит проявленную мною самостоятельность.

Вечером пошла в библиотеку, уверенная, что застану его там на обычном его месте возле окна. Так оно и было. Радостно было увидеть его склоненную над книгами лохматую голову, дожидаться момента, когда он рассеянно взглянет на меня и вдруг весь будто засветится…

Пошли к своему любимому месту на берегу Оби и не могли наговориться. Сначала я просила рассказать его о своих делах, а уж потом, пообещала я, «я расскажу такое!».

Конечно же, и экзамены, и курсовые работы он сдал все на отлично, выступал с докладом на какой-то конференции. Его

перевели на пятый курс (это за два года!), в томской библиотеке нашел новые интересные материалы, сделал массу выписок и теперь ему очень хорошо работалось. Рассказал, что вновь вошел в бригаду по разгрузке барж в речном порту (три ночи в неделю), что теперь он стал «богатым» и хотел бы, чтобы я брала у него, если понадобится, не стеснялась. Но я ответила, что мне хватает стипендии и того, что мама присылает.

«Ну, а теперь ты рассказывай. Как ты съездила к маме?» — Алик с улыбкой приготовился слушать. Но только я сообщила, как о великом сюрпризе, что ездила не в Калининскую область, а совсем в другом направлении, лицо его сразу окаменело и он слушал меня молча, ни разу не подымая глаз.

Как ни старалась я изложить свою историю как вполне заурядную, ну что особенного? Один человек предложил другому помощь в трудную минуту, а тот, другой, принял её, но с каждой фразой говорить мне становилось все труднее, и я чувствовала себя как воздушный шарик, из которого вытекает воздух. Забавные подробности, которыми я предполагала повеселить Алика, казались теперь глупыми, рассказ о прекрасных условиях отдыха звучал неуместно.

С трудом я поведала о смешном зайце, который выскочил из-под колес машины Аркадия Ильича и долго бежал впереди нас по степи, и на этом окончательно выдохлась. Наступила напряженная пауза. Ее нужно было немедленно прервать и я, как утопающий за соломинку, ухватилась за объяснение того, как дешевы по госценам в этом совхозе молоко, творог, мясо, и что все это я выписывала в конторе и мне выдавали квитанции… На слове «квитанции» он скривился как от зубной боли, и тут я умолкла совсем.

Чувство вины затопило меня, хотя я и не могла (не хотела?) точно сформулировать, в чем именно виновата перед Аликом. Он так и не проронил ни слова. Я неловко перевела разговор на предстоящие мне экзамены, он ответил, и вроде ничего не изменилось в наших отношениях. Но я знаю, что Алик не забыл этот случай, хотя никогда не упоминал о нем.

Быстро пролетел июль. Экзамены мои прошли благополучно. Удачно закончилось для меня и участие в конкурсе — меня приняли на 1 курс актерского факультета. Правда, как я теперь понимаю, причиной снисходительности комиссии были не столько мои «дарования», сколько то, что я невольно рассмешила их. Дело в том, что монолог Лауренсии, который я подготовила, мне хотелось не просто прочитать, но исполнить «войдя в образ». По моим представлениям, для этого надо было сначала взвинтить все свои чувства и, в соответствии с ремаркой в пьесе,

разгневанной фурией ворваться в зал заседаний ненавистного ей совета старейшин. Так я и сделала. Уединившись в темном уголке коридора, вообразила все «предлагаемые обстоятельства» своей героини, довела себя почти до экзальтации и, когда выкликнули мою фамилию, я буквально оттолкнула толпящихся у дверей, ворвалась в аудиторию и, не имея сил затормозить на скользком полу, почти врезалась в стол комиссии. Вцепилась в край его и выкрикнула в лица уважаемых экзаменаторов:

«Дозвольте мне войти в совет мужчин,
и дайте место женщине средь них!».

В первое мгновение от меня отшатнулись — это я успела заметить — и тогда с еще большим остервенением начала обличать сидящих передо мною во всех грехах и преступлениях. А когда закончила и скромно опустила голову, ожидая одобрения, то вдруг услышала смех. Смеялись до слез и величественный патриарх Юрьев, и мой любимый Черкасов, и дорогая Елена Львовна. «Провал? Но я ведь выложилась вся до основания… И ведь они в начале вздрогнули!». И уже была близка к слезам, но тут все отсмеялись и даже кто-то произнес: «Ну что ж… Очень хорошо. Спасибо». И мне предложили почитать прозу. Читала я те страницы из «Войны и мира», которые начинались словами: «В начале 1806 года Николай Ростов вернулся в отпуск». И дальше — как он подъезжает к Москве: «Вот и угол, перекресток, где Захар-извозчик стоит… Вот лавочка, где пряники покупали… Скоро ли!?». Эти страницы были так близки мне! Ведь и я сколько уже раз представляла себе, как вернусь домой в Ленинград и так же буду вглядываться в знакомые улицы, дома, магазины… Слезы, к которым я была близка после чтения монолога, здесь снова застлали глаза, уже по другому поводу, и я закончила чтение Толстого искренне захлебнувшись от переполнявших меня чувств, В заключение пела романс «Мне грустно потому, что весело тебе», удивив аккомпаниаторшу тем, что начала почти в мужском регистре («Ну чем не Варя Панина?»,[40] — сказал кто-то). Видимо, этот контраст между внешностью и низким голосом был тоже забавен и расположил комиссию в мою пользу.

Алик был рад моим успехам. Размышлял о том, как удачно, что я буду одновременно постигать и практику актерского мастерства, и теоретические проблемы театрального искусства, и драматургию. Говорил, что через несколько лет, когда немного высвободится от своего основного труда по политэкономии, непременно возьмется за исследование проблем научного и художественного творчества: он чувствует, что здесь есть общие

закономерности. Советовал мне с первых же дней занятий на актерском факультете вести творческий дневник. Кто знает, может быть, мои самонаблюдения могли бы способствовать его исследованиям, и мы стали бы соавторами общей работы.

Хотя эти его планы казались мне мало реальными, но все же сам факт, что он допускал возможность моего участия в какой-то совместной научной деятельности, очень подымал меня в собственных глазах.

Закончился прием на первый курс. В начале августа состоялся традиционный вечер знакомства с первокурсниками и посвящения их в дела институтские. Главной темой наших переживаний в те дни было возвращение в Ленинград. Уже и Пушкинский театр уехал, и Филармония, и многие заводы, а когда же мы?

Директор Николай Евгеньевич вернулся из командировки, рассказывал, что Ленинград живет еще трудно, что здание института требует ремонта, а сколько он продлится — неизвестно. Может, в октябре уедем, а, может, и в ноябре. (Уехали только в декабре).

Вечер завершался забавным капустником. В одной из сценок было представлено гадание «восточных мудрецов». Сидели на полу, скрестив ноги и держа ладони перед грудью, десять «мудрецов» в тюрбанах из полотенец и, мерно раскачиваясь, пели гнусавыми голосами:

«То ли дождик, то ли снег,
то ли едем, то ли нет…
Тум ба-ла-ла, тум ба-ла-ла,
тум ба-ла-ла, тум ба-ла-ла…».

И дальше шло перечисление всех тех причин, по которым наш отъезд может задержаться еще на долгое время. И снова припев: «То ли едем, то ли нет…». Куплетов было не менее 20, и припев подпевали и студенты, и педагоги.

Конец августа и весь сентябрь мы провели на сельхозработах. Жара в этом году была неимоверная. Зерновые почти не уродились, морковь, турнепс, картофель были будто вмурованы в растрескавшуюся окаменевшую землю. Мы занимались уборкой овощей и выматывались до предела. А тут еще жара и трудности с водой. Маялись от жажды и растения, и скот, и люди. Воду для питья получали по норме, а помыться толком, постираться было просто негде. Единственный пруд на краю села превратился в огромную лужу, и там плюхались только гуси и свиньи.

Можно было смириться с тяжелой работой, с плохим

питанием, с ночевкой в сарае, но больше всего донимало отсутствие бани или купания. Поэтому у нас установилась очередность негласных отлучек в город, чтобы помыться и постираться.

Я тоже несколько раз вырывалась в город из этой раскаленной пыльной деревни, которая после Алтая с его прозрачной ледяной Катунью казалась местом проклятым людьми и Богом.

Одну из своих поездок я подгадала к 15 сентября, к дню рождения Алика. Я об этом дне случайно узнала у Люси и решила сделать ему сюрприз. Закончив все свои хозяйственные дела, я пошла к Хочинским, и там под руководством Юриной мамы испекла тортик из черемуховой муки. Он получился не очень красивый — черный, но зато вкусный. Вечером я отправилась к Алику. Библиотека в этот день не работала, и я предполагала, что он занимается дома. Так оно и оказалось — он сидел возле раскрытого окна своего маленького домика и что-то увлеченно писал. Мне не захотелось идти в дверь, мимо противной соседки, и я вошла в палисадничек, нагнувшись, проскользнула под соседскими окнами, еле удерживаясь от смеха достала из сумки тортик, лежащий на тарелочке, и осторожно поставила его на подоконник перед Аликом. Он был так изумлен, что некоторое время сидел в оцепенении, глядя на «непонятный черный предмет», потом понюхал его, понял, что это какой-то «странный пирог», и лишь после этого высунулся в окно. Я успела спрятаться за угол. Он выбежал на улицу, увидел меня: «Это ты?!» — и начал хохотать. Оказывается, увидев странный предмет, он почему-то приготовился к тому, что вслед за ним в окно кто-то влезет… Чуть ли не грабитель… Мы смеялись с ним до слез. Я не знала, что он может так заразительно хохотать.

Соседки не было дома и мы устроили чаепитие с моим злополучным «тортом». Он оказался даже съедобным. Алик нахваливал, а меня смущало, что он недостаточно сладкий, а молотая черемуха хрустит на зубах. Алик был очень тронут, что его день рождения отмечен (ему исполнился 21 год). Признался, что вообще-то ему было грустно сегодня, вспоминалось довоенное время, когда его дни рождения были праздником для родителей и родных. Узнал Алик, что мой день рождения в апреле, и оба сошлись на том, что встречать его будем, конечно, в Ленинграде.

Потом Алик проводил меня на ночной поезд и снова начались мои трудовые недели. Предполагалось, что в октябре уже начнутся занятия.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Осень 1944-го. Арест

Через два-три дня после моей поездки в Новосибирск, когда я снова работала на картошке, за мной прибежала дежурная и сказала, что меня ожидает кто-то из горкома комсомола. Вроде меня берут на какую-то работу на несколько дней в город. Я, разумеется, очень обрадовалась (девчонки мне позавидовали) и уже мчалась в деревню, представляя себе, как обрадуется Алик моему внезапному приезду, да и от сельхозработ хотелось отдохнуть. Меня встретил угрюмый парень, который как-то очень косноязычно объяснил, что в горкоме комсомола некому работать с картотеками и ему порекомендовали меня как «грамотную студентку». Я была так рада неожиданному приключению, что не стала вдумываться в нелепость происходящего. Неужели в городе нельзя было найти «грамотную студентку», и зачем понадобилось ехать именно за мной в такую даль?

Сказал, чтобы и вещички захватила, так как работа, может быть, затянется на несколько дней. Я быстренько собралась, попрощалась с девчонками, села на телегу, на которой приехал этот человек, и древний старик на такой же древней лошади неспешно повез нас на станцию железной дороги.

Когда мы отъехали немного, мой спутник, запинаясь и с трудом подбирая слова, сказал, что версия с горкомом комсомола была лишь для того, чтобы в нее поверили мои сокурсницы, а в действительности он везет меня в Управление Комитета госбезопасности, куда я вызвана «для собеседования». Показал пропуск на мое имя, где было указано, что к 15^{00} я должна явиться в такой-то кабинет КГБ, по адресу: Октябрьская, 78. Предъявил и свое удостоверение в красных корочках — он был какой-то младший сотрудник КГБ.

У меня будто оборвалось все внутри. Будто отключилось зрение и слух. Не помню, как добрались до станции, как ехали три часа на поезде, как шли по городу. В голове билось только одно; зачем я им нужна?! И все плыло в каком-то лихорадочном тумане. Только когда мы проходили мимо гостиницы «Советской» на Красном проспекте, сознание будто вернулось ко мне: «А вдруг сейчас Елена Львовна выйдет?» — мелькнула мысль и исчезла. Мы завернули за угол, и вот огромное, в целый квартал, безликое здание с нумерованными подъездами. Мы вошли в первый. Милиционер проверил пропуск и кивнул: «Проходите».

Длинные коридоры, по обе стороны бесконечные ряды массивных дверей, на каждой металлический номер. Провожатый вводит меня в кабинет. За письменным столом сидит

блондинистый молодой человек в щегольском мундире с погонами капитана на плечах. Подняв голову от бумаг, тут же расплывается в радушной улыбке: «Прибыли? Ну и прекрасно!» — и довольно потирает руки. От этой улыбки мне становится еще страшнее.

Провожатый сдает меня под расписку и уходит, капитан звонит кому-то по телефону: «Зайди!». Достает папку «Дело №…», просматривает, видимо, давно известные бумажки. Их немного. Входит высокий, лет тридцати, в штатском. Лицо непроницаемое. Присаживается в кресло и закуривает. «Ну-с, начнем?» — обращается к высокому капитан и сразу начинает спрашивать и записывать.

«Фамилия?», «Имя-отчество?», «Место рождения?» — вопросы задает с улыбкой — мол, «вы уж извините, нам это все известно, но таков порядок…». Отвечаю механически, понимая, что это все формальность, а вот каким будет первый главный вопрос, по существу?

Наконец доходит очередь и до главного:

— Вы знакомы с Арнольдом Бернштамом?

Сразу вся напрягаюсь, горло стискивает спазм — вот оно! Их интересует Алик… Осторожно! Не навредить! Обдумывать каждое слово.

— Да, знакома.

— Что вам известно о нем и его занятиях?

— Он учится на заочном факультете истфака Томского университета. Пишет дипломную работу.

— Какая тема его диплома?

— Мне трудно определить ее содержание, но я знаю, что она посвящена проблемам политэкономии социализма.

Вопросы ускоряются, капитан уже не улыбается и будто впивается в меня взглядом. Высокий ходит из угла в угол за моей спиной и вклинивается с вопросами вроде на другую тему:

— Кого знаете из его друзей? Кто звонил ему на прошлой неделе из Томска?

Все чаще отвечаю: «Не знаю», «Не слыхала», «Не видела». Чувствую, как ожесточаются, не верят. Навязанный мне ритм вопросов-ответов мешает сосредоточиться, не спешить.

Появляется еще какой-то пожилой, в большом чине. Высокий сразу подвигает ему кресло, сам остается стоять. Этот рявкает сразу:

— Не ломай дурочку! — «Не знаю, не ведаю». Ведь вроде в невестах его числишься, и не в курсе его дел? А может, ты и не невеста вовсе, а так, «девочка для удовольствия?» — и гнусно ржет.

— Нет, я его невеста и он мне во всем доверяет.

— А когда ваша свадьба?

(Если я скажу «после войны», будут издеваться. Надо, чтобы поверили: все, что я знаю о нем, это истинно…).

— Через несколько дней, как только снимем комнату.

— Ах вот как… Ну, ладно, предположим, что он тебе во всем доверяет. Но тогда ты должна знать, что он пишет не диплом, а антисоветчину, где подвергает ревизии основы марксизма-ленинизма!

Пытаюсь убедить, что Арнольд глубоко изучал труды классиков марксизма, и его работа является не ревизией, а развитием, продолжением их теории.

В ответ с издевочкой:

— Подумайте, какой «продолжатель» нашелся! Если каждый недоучившийся студент возьмется развивать теорию классиков, то до чего мы дойдем?

Вспоминаю цитату, которая, как мне кажется, должна быть весомым аргументом:

— Но ведь товарищ Сталин говорил, что марксизм — это не догма, а руководство к действию.

Взрыв возмущения: «Смотрите! Она нас еще и учить будет!».

Пожилой встает: «Ладно. Нечего тут дискуссии разводить. Переходите к делу». И уходит.

Значит, «дело» еще впереди?

Блондин начинает, как и в начале, негромко и вроде вполне благожелательно. Спрашивает о родителях. О том, где была с первых дней войны. Я рассказываю, а сама все жду, когда он перейдет к сути дела и в чем оно заключается.

— Комсомолка?

— Да, с 1939 года.

— Какие нагрузки выполняла?

Перечисляю. И вот, наконец, слышу осторожное приближение к тому, что им от меня надо. Оказывается, они рассчитывают на мою помощь, «сотрудничество» с ними — я должна, как комсомолка, выполнить их задание. Совсем не сложное: вынуть несколько листов из рукописи Арнольда и принести им для просмотра. Они убедятся в том, что в его работе нет ничего подрывающего основы марксизма-ленинизма, и на этом дело будет закончено.

— Но я не могу красть!

— Ну зачем ты так это воспринимаешь? — огорчается блондин. — Ты ведь сама должна быть заинтересована в том, чтобы все, что ты говорила об Арнольде, получило подтверждение, — подхватывает высокий.

— Почему вы не обратитесь прямо к нему? Я уверена, что он представит для ознакомления всю работу.

Но у них есть «свои соображения», по которым они не могут его «тревожить». Поэтому они и пригласили меня. Им будет достаточно буквально нескольких страниц, чтобы сделать вывод о направленности его работы: «Разве ты не хочешь, чтобы все сомнения об Арнольде были развеяны? Тем более, что у тебя полная уверенность в его невиновности».

— А теперь, пожалуй, сделаем перерыв на обед, — почти весело заключает блондин и убирает все бумаги в стол.

— Ты, небось, тоже проголодалась? Скажу, чтобы принесли. Если надо помыть руки, туалет в коридоре, напротив.

Только тут я чувствую, как устала и как голодна. Иду в туалет. Там протирает стены какая-то старушка и не сводит с меня глаз. Возвращаюсь. На черном клеенчатом диване сидит с папиросой в зубах высокий, перелистывает пачку газет. «Хочешь? Почитай», — протягивает мне. Я разворачиваю газету и ничего не вижу. Что же делать? Что делать? Красть листы у Алика я не могу и не буду!

Приносят тарелку лапши и стакан киселя. Ем автоматически, а в голове одно: «Что же делать?!».

Возвращается блондин с каким-то усатым, а высокий уходит. Теперь ведет допрос и записывает усатый. Вопросы во многом повторяются, и блондин старается подловить меня: «Сначала ты не совсем так отвечала».

Чувствую, что совсем тупею, их лица плывут у меня перед глазами, затем и блондин ушел, его сменил еще один. За окнами стемнело. Повторяю одно: «Красть листы не могу и не буду». Начинают покрикивать, грозить: «Мы с тобой по-хорошему, а ты вот как! Мы думали, что ты сознательная комсомолка, а ты отказываешься помочь государственному учреждению… да ты знаешь ли, как по законам военного времени это можно квалифицировать?».

Говорю, что мне больше нечего добавить, что устала и больше не могу отвечать.

Посоветовались вполголоса, позвонили по телефону, видимо, тому, пожилому: «Ладно. Так и сделаем».

Сказали, что «собеседование» продолжат утром. Переночевать я могу тут, на диване.

Пришел молоденький дежурный, включил настольную лампу и сел переписывать какие-то бумаги. Я лежала с закрытыми глазами и голова у меня будто раскалывалась. Надо было принять решение. Окончательное решение. От этого зависит вся судьба и Алика, и моя. Десятки раз провернула все сказанное ими. Если я

откажусь от этого «задания», то вряд ли они мне это простят, найдут способ как-нибудь наказать, отомстить. И, самое главное, ведь если им нужна работа Алика, то какого-нибудь подлеца они все равно найдут и он сможет поставлять такую «информацию» об Алике, какую им захочется, и совсем погубит его. Поэтому даже хорошо, что их выбор пал на меня… Остается одно — дам согласие «сотрудничать» с ними, а сама, конечно же, расскажу все Алику и он сам даст для «ознакомления» те листы его работы, которые наиболее полно отражают ее в целом.

Утром я сообщила, что берусь выполнить их задание. Как же они разулыбались! Какими любезными и милыми стали! Принесли стакан чая и бутерброд с сыром (чуть не поперхнулась я этим бутербродом, подумав, что это первая «плата» за работу на них. Но не позволила себе расслабляться, даже улыбнулась: они могут все, но не могут заглянуть мне в голову!).

Прежде всего мне дали «карту оформления» (кажется, это так называлось) — зелененькая картонка с тетрадный лист, на которой типографским способом написаны все обязательства, которые возлагаются на того, кто дает подписку сотрудничать с органами. Там было написано много всякого и перечислялись те статьи, которые грозят в случае нарушения этих обязательств. Мне тыкали пальцем в эти параграфы и советовали обратить на них особое внимание. Но я ни на чем не могла сосредоточиться, запомнила только, что за разглашение доверенных государственных и военных тайн, а также методов и форм работы органов КГБ грозит тюремное заключение сроком от 3 до 7 лет. Вот здесь меня зазнобило будто от холода, и я с трудом сдерживалась, чтобы не застучать зубами… Еще раз, по их требованию, перечитала все с начала до конца и поставила свою подпись.

Теперь со мной заговорили доверительно и ласково, как со «своей». Высокий в штатском представился как Леонид Иваныч и мой непосредственный «шеф». Он дал свой телефон и адрес — я выучила их на память. Договорились, что он будет ждать меня через неделю в 19^{00}. (Они хотели раньше, да я сказала, что не знаю, Алик может быть в Томске, и вообще мне трудно успеть — ведь для того, чтобы взять незаметно, надо дождаться удобного случая. Они согласились со мной, и я почувствовала радость от того, что одержала хоть маленькую победу над ними). Объяснили мне, что звонить я должна только с автомата, и если встречусь со своим шефом на людях, то надо сделать вид, что мы не знакомы. Нафантазировали подробности работы, которой я будто бы занималась в горкоме комсомола — это была «легенда» для всех моих знакомых. И, наконец, долго внушали, что никому, никогда,

ни при каких обстоятельствах я не должна рассказывать о «собеседовании» в этих стенах, о подписке и вообще о том, что я была в этом учреждении. Я послушно поддакивала, кивала головой, а самой просто не сиделось на месте — скорее бы вырваться из этих стен и бежать к Алику! Рассказать ему обо всем, ведь он даже не подозревает, какие тучи сгущаются над его головой.

Наконец, мне подписывают пропуск и милиционер выпускает меня на волю. Впервые в жизни ощутила это слово «воля» — кажется, что и дышится по-иному, и солнце иное.

Но нельзя терять ни минуты! Прежде всего надо встретиться с Аликом.

Мелькнули в памяти записки народовольцев. Они, отправляясь на «явку», никогда не забывали проверить, не увязался ли за ними «хвост». (Ну кто мог подумать, что эти сведения мне когда-нибудь пригодятся!). Перешла на другую сторону Красного проспекта, зашла в магазинчик и долго разглядывала прохожих, выходящих из-за угла Октябрьской. Вроде никого подозрительного. (О том, что это могла быть одна из автомашин, которые сновали в обе стороны, я даже не подумала). Быстрым шагом, изредка оглядываясь, дошла до библиотеки. Постояла, успокаивая дыхание, и как-то очень остро почувствовала, что вот сейчас наступит переломный момент всей нашей с Аликом жизни.

Увидев меня, он очень удивился, понял — что-то случилось. Вышли на улицу и двинулись по пустынному переулочку в сторону вокзала.

Все рассказала, стараясь быть предельно точной: что говорили они, что отвечала я.

Он выслушал. Сказал, что уже давно заметил, что за ним следят. Кто-то роется в его бумагах, книгах (он думал — соседка), какие-то молодые люди навязываются в знакомые, заводят рискованные разговоры. А теперь все ясно. Возникли подозрения по поводу его работы? Он даст страницы, где изложены задачи, цели и методы его исследования. Он познакомит их со своими основными выводами и они отстанут от него, так как убедятся, что вся его работа строится на основе теории классиков марксизма-ленинизма и никакой «антисоветчины» в ней нет. Сказал, что сама судьба послала меня ему на спасение. И тут же добавил: «Но ты еще раз подумай. Еще не поздно все переиграть. Ты ведь можешь пойти и сказать, что все же не можешь выполнить их задание. Ну, покричат, поругаются, но ведь голову не снимут»… Однако я даже мысли не допускала, чтобы идти отказываться. Впервые я чувствовала себя по-настоящему

необходимой, жизнь наконец приобретала смысл.

Меня смущало лишь то, что я не отважилась сразу сказать Алику, что я представила наши отношения этим типам так, будто мы вот-вот будем жить под одной крышей и дело лишь за квартирой… Набравшись духу, рассказала и это. Алик помолчал, затем осторожно, явно опасаясь обидеть, стал убеждать меня в том, что точно так же, как мне еще не поздно отказаться от полученного «задания», не поздно и взять обратно данное мною слово быть его женой. Ведь когда он делал мне предложение, были одни обстоятельства, а теперь они изменились, и я вправе изменить свое решение. И он готов понять меня в этом…

Странным образом во мне уживались тогда и страх, и нечто такое, что было сильнее его. Я была абсолютно уверена, что, сделав один шаг, сделаю и все остальные, чего бы это ни стоило, и уже не могу и не хочу свернуть с этого пути. Поэтому я ничуть не покривила душой, сказав, что вместе с ним мне ничего не страшно и что от данного слова я не отказываюсь и готова делить с ним и радость, и горе.

Он был так взволнован моими словами, что тут же на улице обнял меня и расцеловал.

Перед арестом. Осень 1944 г.

Мне действительно рядом с ним не было страшно. А вот расставаться теперь стало трудно и мне, и ему. Страшно было провести хоть несколько часов в разлуке, в неведении друг о друге. Поэтому вполне естественно мы пришли к выводу, что нам теперь надо быть вместе.

Я сказала в общежитии, что переезжаю к Алику, и к этому отнеслись как к само-собой разумеющемуся. Через несколько дней мы нашли маленькую комнатушку в частном доме и перебрались туда.

Счастье, отравленное страхом подступающей беды. Очень

острое чувство, что мы с ним во всем мире одни, а вокруг — кольцо невидимых врагов. В том, что кольцо это вполне реально и постепенно сжимается, убедились уже после первого моего визита к «шефу».

Когда наступил день моего первого (и, как я думала, последнего) визита в «казенный дом», то уже с утра меня знобило, было тошно, и я еле высидела на лекциях — в голове было только одно.

Алик отобрал мне несколько листов из своей рукописи, в которых, по его мнению, были наиболее четко изложены основные положения его работы. Сказал, чтобы я отвечала на все вопросы о нем, о его знакомых спокойно, все, что знаю, так как скрывать ему нечего.

Был дождливый промозглый вечер, Алик понял, как трудно мне шагнуть в темноту, в неизвестность, и пошел провожать меня. Хотя это было, конечно, неразумно.

По узким темным переулочкам дошли до пересечения Советской с ул. Горького, и Алик остался дожидаться меня в пустынном Первомайском сквере. Я приблизилась к безликому двухэтажному дому с зелеными занавесками на всех окнах и долго медлила, прежде чем позвонить. (Дом этот и по сей день стоит, и такие же казенные зеленые занавески закрывают его окна).

Открыл солдат, провел на второй этаж. Мой «шеф» встретил меня радушно, как старую знакомую. Посочувствовал, что мне пришлось идти в такую плохую погоду. Я отдала ему папку с листами, он бегло просмотрел их, позвонил по внутреннему телефону. Пришел офицерик и унес их в фотолабораторию. «Придется подождать фотокопию — это быстро, минут за 30 сделают». (Я подумала, какими длинными покажутся Алику эти минуты, в темноте, под дождем…).

Предложил мне чаю. Спросил, не играю ли в шахматы, и услышав: «Чуть-чуть», — стал горячо доказывать необходимость совершенствования в этой игре. Ведь она учит рассчитывать свои действия на несколько ходов вперед, проигрывать несколько вариантов одной ситуации. «А это все качества так необходимые для разведчика». (То ли себя хотел представить разведчиком, то ли пытался украсить ореолом «романтики» навязанную мне гнусную роль).

Мне так нужно было скрыть внутреннюю дрожь, что я была согласна и на чай, и на шахматы. И вот совсем идиллическая картина: выключен верхний свет, над шахматной доской склонились двое, старший заботливо учит младшую правильным ходам, подливает чай в стаканы, пододвигает тарелку с галетами:

«Бери, не стесняйся». И совсем обычный доверительный разговор: как устроились на новой квартире? Не собирается ли Алик в Томск? Как идут дела у меня в институте? Почему Алик теперь редко бывает в библиотеке?

Необходимость одновременно играть и отвечать на вопросы очень утомляет. Все время путаюсь в шахматных фигурах и боюсь ответить что-нибудь не так. И еще важно запомнить до мелочей, вплоть до интонаций все вопросы, чтобы пересказать Алику. Отвечаю медленно и, слыша себя будто со стороны, все время пугаюсь того, что звучат мои ответы неискренне, фальшиво, хотя я говорю только правду, даже с излишними подробностями, так как Алик предупреждал: «Ни слова неправды. Чтоб ни в чем не могли подловить».

Отвечаю все как есть. Что в Томск Алик поедет в ноябре, когда начнутся семинары. А в библиотеку он теперь ходит реже потому, что устроился на работу в какую-то контору, и хотя у него ненормированный рабочий день (он должен в течение дня обойти несколько подведомственных конторе объектов), время для занятий теперь найти труднее. Да и меня старается надолго одну не оставлять — вечерами занимается дома. Всё это правда, но, естественно, я умалчиваю о главном: Алик всей этой историей выбит из колеи, впервые потерял интерес к занятиям. Это угнетает его. Вечерами усаживается за свою работу, но через час-другой бросает: «Черт бы их всех побрал! Не могу сосредоточиться… Пойдем, походим?». И мы идем бродить по темным улицам.

Тянется разговор вроде ни о чем, продолжаю двигать шахматные фигуры, и, когда наконец приносят еще мокрые листы фотокопий, чувствую себя вымотанной до предела, хотя ничего не делала — чай пила да «светскую беседу» поддерживала. «Шеф» еще раз просматривает страницы: «Ну что ж! Все очень хорошо!» Я уже на пороге, уже готова бежать, чтобы навсегда забыть этот дом… Но вместо прощания слышу: «Следующий раз придешь через недельку. Теперь возьмешь листы из середины». У меня будто ноги подкашиваются — значит, до конца этой истории далеко! Отчаяние охватывает меня. Выйдя на улицу, даю волю слезам, благо дождь разошелся не на шутку и лицо сразу мокрое.

Алик укрывает меня под своим плащом, пытается успокоить, но я знаю, что и он расстроен до предела. Тесно обнявшись, сквозь дождь и ветер, в кромешной тьме бредем домой и физически ощущаем свое полное одиночество в этом враждебном мире. Зло, обложившее нас со всех сторон, бесформенно, безлико и от этого еще более страшно. Мы под колпаком. С нами играют как кошка с мышкой, и когда эта игра будет закончена, нам

неведомо.

Жизнь, между тем, идет своим чередом. В октябре начались занятия. Лавирую между расписаниями двух факультетов и все яснее осознаю, что взяла на себя непосильную нагрузку. У меня есть право выбора занятий — лишь бы справлялась с программой. Но как выбрать, если в одни и те же часы могут быть и актерское мастерство, и критический семинар, где обсуждается моя рецензия. Или ритмика и история театра (на актерском, разумеется, тоже есть курс истории театра, но меньший по объему, чем у театроведов).

Трудно наладить и мое домашнее хозяйство, не хватает фантазии, что и, главное, из чего готовить: в магазинах ничего нет, на рынке цены ужасные. Немудреные обеды, стирка — всё это зависит от хозяйки, надо подлаживаться к тому времени, когда она топит плиту. Проблема и с дровами. Нам поставлено условие — заготовить на зиму дрова, и каждый свободный час мы проводим в сарае, пилим узловатые кряжи, потом Алик колет их, а я складываю в поленницу.

Осень дождливая, холодная. Я простудилась, но продолжаю ходить на занятия. И только когда окончательно охрипла, была вынуждена отсидеться несколько дней дома. Чему, честно говоря, была очень рада. Жаль, конечно, что отстану в институте, но зато «по уважительной причине» пропущу очередной визит к своему «шефу». (Позвонила, сказала, что болею. Встречу перенесли на другой день, но она все равно висит надо мной как дамоклов меч).

За время болезни ко мне несколько раз приходит моя подружка Женечка Лихачева, с большим участием относится ко всем моим трудностям, пытается чем-то помочь: приносит какие-то сковородки, кастрюльки, устраивает знакомство с семьей, где можно купить не очень дорогую картошку. Все это трогает меня, я рада, что она становится «своим человеком» в нашем доме, вроде сестры моей, да и Алик относится к ней вполне доброжелательно. Женя рассказывает мне о делах в институте, приносит конспекты, и я с ее помощью нагоняю пропущенное на театроведческом, а вопрос с актерским после долгих обсуждений втроем решаем оставить пока открытым. Посмотрим, как пойдут у меня дела, может быть, придется распрощаться с ним. Хотя очень горько даже подумать об этом.

Приходит день моего очередного «собеседования» в казенном доме. Вроде все благополучно: текст одобрен, снова играем в шахматы, снова вопросы о всем и ни о чем, но по которым я понимаю, что им известен каждый шаг Алика, да и мои… А в заключение снова: «Встретимся через неделю. Теперь захвати по

нескольку листков из разных глав рукописи». Ощущение, что я как муха все глубже вязну в паутине, которой опутывают меня.

Нервы напряжены. Плохо сплю, часто плачу. Алик всячески пытается подбодрить меня, но тоже, видать, на пределе.

Впервые была свидетельницей того, как он «сорвался с тормозов». Нужно было ему однажды съездить в пригород, по делам конторы, где он работал. День выпал ясный, солнечный, мне не хотелось оставаться одной и я поехала с ним. В вагоне было свободно, кроме нас всего несколько женщин. Когда подъехали к нужной станции и поезд уже замедлял ход, мы с Аликом пошли к выходу, но в дверях столкнулись с двумя подвыпившими парнями. Один из них, явно намеренно, задел Алика и обозвал его. Я не успела опомниться, как очутилась в тамбуре и увидела, как Алик резко обернулся и ударил этого парня так, что тот пролетел через весь проход и упал. Тут второй бросился на Алика и он, заслонив спиною дверь, сцепился с ним. Тут подоспел и первый… Я плакала, кричала. Алик каким-то быстрым движением выскользнул в тамбур и рывком задвинул дверь, удерживая ее от озверевших парней. «Выходи! — крикнул он мне. — Быстрее!» — и я выскочила на перрон, хотя поезд еще не совсем остановился. Не знаю, как ему удалось еще какие-то минуты удерживать дверь, но когда поезд тронулся, он тоже прыгнул вслед за мной. Парни повисли на поручнях, орали, грозились, но, к счастью, поезд не оставили.

У Алика лицо разбито, на рубашке кровь. Находим водокачку, он умывается, застирывает пятна и уже шутит, смеется над моим испугом: «Глупенькая, ну чего ты так расстроилась? Я ведь все-таки боксом когда-то занимался, да к тому же и момент неожиданности мне в таких случаях помогает — я ведь левша и всегда бью сначала левой». Но я все не могу успокоиться: «Это ужасно! Один против двоих! Я прошу тебя, обещай мне, что никогда впредь…». Он хмурится и говорит как непреложное: «А вот этого я тебе обещать не могу. Даже если б их было не двое, а четверо, я бы все равно им спуску не дал. Обзывать себя не позволю никому».

Сердце у меня сжимается. Сколько раз еще в жизни придется сталкиваться с гнусностью антисемитизма… Да и не только это. Знаю, что если когда-нибудь и меня заденут, он так же ринется не рассуждая. А он так отчаян в гневе! А потому, так уязвим… И мне становится страшно за него.

Еще одна встреча с «шефом». Алик, конечно, провожает меня. Идем оба как на казнь. Молчим, боимся сказать хоть слово, чтоб не дрогнул голос. Да и что говорить, и так знаем, что на сердце у каждого.

И когда снова сижу за шахматной доской, отвечаю о чем-то простом, житейском, говорить мне тяжело, будто камни ворочаю. Мельком взглядываю на «шефа», и вдруг цепенею, как кролик перед удавом: он улыбается! Он все знает! И то, что я сразу рассказала все Алику, и что листы приношу с его ведома. А сейчас слушает меня и посмеивается — это развлекает его: «Ну, пой, пой. Послушаем, что еще расскажешь…».

«Шеф» замечает, что выдал себя и тут же начинает болтать о чем-то постороннем. Не помню, как прощаемся, как договариваемся об очередной встрече. Страх, бессилие, отчаяние — все прорывается в слезах, с которыми обрушиваюсь на Алика. «Я больше не могу! Я не пойду к нему еще раз! Не пойду!».

«Да, ты больше не пойдешь сюда», — говорит Алик, и я умолкаю, И еще не веря в возможность этого, уже загораюсь его планом.

Мы убежим от них. В Ленинград. И они отстанут от нас.

* * *

Решение было принято, и сразу возникло много проблем. Прежде всего надо было достать пропуска для проезда в Ленинград. Законным путем получить их мы не могли. Но на рынке из-под полы можно было купить «реэвакуационные талоны», которые продавали те ленинградцы, чьи заводы возвращались в Ленинград, а они по каким-то обстоятельствам не хотели уезжать из Новосибирска. Эти талоны можно было переписать на нужную фамилию и уехать вместе с эшелоном данного завода. Рабочие заводов уезжали грузовыми составами, вместе с оборудованием и станками.

Стоили эти талоны дороже железнодорожных билетов, поэтому мы продали обе продуктовые карточки на ноябрь и оставили себе только хлебные. И все равно этой суммы не хватило, пришлось провести ревизию всего нашего «имущества» — оставить буквально по одной смене белья и обуви, да теплые вещи, а все остальное починить, почистить и отнести на барахолку.

Занятия в институте я начала пропускать — было не до того. И вот за отбором вещей для продажи застала меня однажды Женечка. Очень удивилась, что от налаженного мною порядка и уюта не осталось и следа: «Вы переезжаете на новую квартиру?». «Нет, мы едем в Ленинград», — ответила я, еще не успев подумать, надо ли говорить об этом… Но ведь Женя — «свой человек», и все равно мы с нею перед отъездом попрощались бы. Как и с Хочинскими, которые тоже пока ничего не знали о наших планах.

Женя горячо одобрила это намерение: «Я бы на вашем месте

давно уехала. Мама твоя там, и квартира у Алика пустует, а вы тут маетесь в этой развалюхе, да еще хозяйка вас эксплуатирует».

Женя размечталась о том, как счастливо сложится наша жизнь в Ленинграде. Посетовала на то, что не может ехать с нами, а должна ждать, когда тронется в Ленинград институт. Она никогда не была в Ленинграде, и ей не терпелось увидеть его поскорей.

Слушала я ее, а у самой слезы на глаза наворачивались: если бы мы уезжали по своей доброй воле… Тут только Женя обратила внимание на подавленность моего настроения и забросала вопросами, почему я не радуюсь предстоящей поездке и что случилось. Я не выдержала — напряжение, переполнявшее меня последние месяцы, должно было прорваться. Слезы хлынули из глаз, и я кратко, в общих чертах, рассказала о том, что у нас несчастье, что рукописью Алика заинтересовались органы. Ему нечего скрывать, но они не верят, обвиняют Бог знает в чем… И поэтому мы решили уехать. Женечка отнеслась к этой новости с большим пониманием. Согласилась, что интерес органов к Арнольду — это действительно беда, хуже которой не придумаешь. Сказала, что при таких обстоятельствах наш отъезд тем более оправдан и необходим.

Ее поддержка как-то очень успокоила меня. Женя предложила помочь в продаже моих платьев — отобрала те, что могли подойти ее приятельнице Рае. Эту веселую рыжеволосую студентку мединститута я встречала у Жени и немного ревновала. Мне казалось, что Женя больше дорожит ее дружбой, чем моею.

Упомянув о Рае, Женя грустно пошутила, что ей «не везет с подругами» — как влюбятся, так о ней неделями не вспоминают (упрек я приняла: действительно, я с весны была в основном занята своими личными делами). А вот теперь — «как сговорились обе», продолжала Женя, и у одной неприятности, и у другой, и обе нуждаются в поддержке и утешении. И по секрету рассказала мне: на Раю кто-то донес, что она уже давно переписывается с одним немцем из ссыльных (была на лесозаготовках и там познакомилась). Ее уже куда-то вызывали, она все отрицала, но не знает, как быть с письмами. Женя убеждала ее, что надо их немедленно сжечь, а Рае жалко — там такие чувства, такая любовь! Некоторые письма в стихах даже. Женя читала их — письма и правда удивительные. Но ведь и оставлять их нельзя!

Я была тронута, что Женя доверилась мне. И Раю мне стало очень жалко. Я-то понимала, что значит «вызывали куда-то»… И стала горячо убеждать в том, что конечно же от писем надо

избавиться, но уничтожать такие письма грешно, поэтому лучше хорошо упаковать их, например, в металлическую банку и зарыть в землю. А когда-нибудь, после войны, можно будет их выкопать…

Женя, подумав, согласилась со мной, сказала, что поговорит с Раей и просила сохранить все рассказанное в тайне. Я обещала.

Этот разговор убедил меня, что Женя действительно мой лучший друг и я напрасно сомневалась в ее отношении ко мне.

И вот вся подготовка к отъезду закончена. Товарные вагоны завода уже стояли на запасных путях. В них семьями грузились рабочие. Нам не хотелось обращать на себя внимание, и мы собирались занять свои места перед самым отходом поезда. Точно время и день отправки были неизвестны и Алик по нескольку раз в сутки ходил на вокзал, узнавать, не пора ли.

Женя жила возле самого вокзала (ул. Челюскинцев, д. 5) и предложила перебраться к ней. Мы с радостью согласились, расплатились с квартирной хозяйкой и переехали к Жене. Три дня, которые мы провели там, запомнились как очень домашние, светлые. Женя и ее мама большую часть дня отсутствовали. Женя — в институте, мама работала в аптеке, мы оставались одни. Я готовила обеды на «все семейство», делала что-то по хозяйству. Арнольд три-четыре раза в день бегал на вокзал, но и у него было непривычно много свободного времени. Мы часами болтали с ним, мечтали о том, как будем жить в Ленинграде, планировали, что надо приобрести для обзаведения хозяйством (ведь даже стульев и столов в его квартире не было — все сожгли во время блокады).

Вечерами, когда усаживались за столом — Женя с мамой и мы, — все разговоры сбивались на Ленинград. О том, как будем так же, посемейному, принимать у себя Женю, как будем знакомить ее с городом,

Наконец, Алик пришел однажды утром с вокзала и на пороге объявил: эшелон отходит сегодня, 15-го ноября, в 15 часов!

Моя любимая Женька очень огорчилась, что не сможет проводить нас: ей непременно нужно было в эти часы зачем-то быть у мамы на работе. Мы успокаивали ее — скоро ведь и институт двинется в Ленинград, так расстаемся ненадолго. Женя объяснила, как захлопнуть дверь, где оставить ключи. Распрощались, договорились, чтоб телеграфировала, когда ждать ее в Ленинграде — уж мы встретим обязательно! И она убежала. А мы написали благодарственную записку ее маме, заверили, что будем заботиться о Жене в Ленинграде так же, как она была мне «сестрой» в чужом Новосибирске. Забрали чемоданы и отправились на вокзал.

В здание вокзала решили не заходить, все равно нужно было потом идти в сторону по рельсам на дальний запасной путь. День был сумрачный, ветреный, и Алик усадил меня на чемоданах в тамбуре служебного входа, а сам пошел на перрон, узнать, где стоит эшелон.

Сидела на чемоданах, смотрела на привокзальную площадь, на дома, припорошенные снегом, и думала, что навсегда прощаюсь с этим городом.

Вдруг медленно подкатила голубая «эмка», остановилась возле. Из машины вылез мой «шеф», подошел: «Ну, путешественница, собирай вещички. Экипаж подан!» — и взялся за ручку чемодана…

Помню мгновенную глухоту, будто выключились все звуки. Механически пошла следом, села рядом с водителем. В голове как молот бьется одно: это все! Это все!.. Запомнилось почему-то переднее стекло, пробитое пулей — дырочка и трещины вокруг… И только когда машина стала выруливать от вокзала, мелькнула первая мысль: «А как же Алик? Придет, а меня нет…».

Оказывается, произнесла это вслух. В ответ: «Никуда не денется твой Алик. Вон, полюбуйся».

И увидела, со стороны перрона идет через площадь Алик. В распахнутом пальто, без шапки. Волосы треплет ветер, и он все откидывает их рукой. А рядом с ним двое, в штатском…

Машина свернула, и больше я Алика не видела, двадцать три года не видела…

Дорогу не помню. Привезли в управление. Завели в кабинет того типа, который был так любезен в августе.

Чемоданы швырнули в угол, возле двери. Тут же остановилась и я. В ушах, в голове будто вата, ватные руки и ноги. И только твержу про себя: все кончено! Все кончено!..

Быстро вошел полковник Дребинский, с ним еще двое. Сразу в крик:

— Ага! доставили! Дрянь какая — вздумала провести всех вокруг пальца?!

Стараясь не вслушиваться, думала только о том, как бы не упасть. Ноги подламывались, как тогда, в блокаду.

— Ты что? Оглохла?!

Дошло до сознания — требуют комсомольский билет.

Достала из нагрудного кармана, пришитого к пальто, где все документы.

Схватил, развернул: «Ого! Стаж с 38-го года! Столько лет позорила комсомол!» — и начал рвать красную книжечку.

Треск коленкоровой обложки показался оглушительным и кощунственным.

— Да как вы смеете?! — рванулась, чтобы отнять. И сразу пощечины. Одна за другой…

Отшатнулась к стене: бьют? Впервые в жизни меня бьют!

Будто от сна пробудилась. Вот теперь полный покой и ясность — я одна против этих гадов. Одна. И пусть что угодно делают, но я не доставлю им удовольствия ни одной слезой… Еще что-то орали.

Вытряхивали из чемодана вещи. Велели отобрать свои, и я не спеша отбирала. Переложила в наволочку. Забрали две папки с рукописью Арнольда. Одежду его побросали обратно в чемодан и унесли.

Расписывалась в каких-то квитанциях. Внимательно перечитала: «Ордер на арест гражданки Лаврентьевой Нины Васильевны, 1923 года рождения, уроженки города Ленинграда». Мелькнула мысль: "Сейчас наш эшелон отправился в Ленинград. Без нас. Алик тоже где-то в этих стенах…».

Но тут же отогнала ее — ни о чем таком думать нельзя! Главное, чтоб держаться. Чтоб ни одной слезинки, даже улыбаться буду. Назло им.

Не знаю, получилась ли улыбка, но с этой минуты говорила, двигалась спокойно, не спеша. Старалась все видеть, все слышать, все запомнить. И от этого наступил какой-то полный покой.

Помню, с каким любопытством (подчеркнутым) стала я разглядывать этих трех сытых мордатых «господ офицеров». И запомнила их действительно на всю жизнь. Они почувствовали изменение в моем состоянии, это, видимо, разозлило, и, быстренько закончив формальности, меня сдали конвоиру.

Я и на солдатика посмотрела очень внимательно, и меня почти насмешило, как он смутился (совсем молодой мальчишка). И в двери пошла первой с таким видом, будто он не конвоиром моим был, а кавалером, который галантно пропустил даму вперед, даже окрик «Руки назад!» восприняла как забавные правила новой игры, и по длинным коридорам шла улыбаясь, хотя эту улыбку никто не мог видеть.

Думала, что меня куда-то повезут. Но вывели во двор, цементный весь, с трех сторон серые стены управления, а четвертая замыкается каким-то служебным желтым двухэтажным зданием, вроде гаража или склада. Над головой промозгло-цементное небо (оказалось, уже сумерки наступили). И только когда меня подвели к этому невзрачному желтому дому и я увидела, что окна его закрыты железными заслонками, и когда услыхала лязг металлической двери, я поняла, что это тюрьма.

И вся бравада сразу слетела с меня.

* * *

Узкий тамбур перегорожен решеткой из толстых металлических прутьев. Мой конвоир «сдает» меня под расписку тюремному вахтеру, тот большим ключом отпирает решетчатую дверь, и я переступаю порог, дверь с лязгом захлопывается за мной. Ведут по длинному коридору. Промозглая сырость, запах ржавого железа, хлорки и еще чего-то неживого, мертвенного. Цементный пол, серые стены, бесконечные ряды дверей, обитых металлическими листами, тусклые лампы под потолком в проволочных колпаках. Гнетущая тишина — ни голоса, ни звука, только иногда скрежет замка и стук двери.

От одной двери к другой неслышной тенью скользит солдат. Останавливается у некоторых, отодвигает заслоночку и приникает к глазку. Это у него работа такая, наблюдать за теми, кто там, за дверью, догадываюсь я. Значит, и за мной будут так следить…

Конвоир грохочет ключами, открывает камеру № 8 и подталкивает меня. Стук захлопнувшейся двери оглушает как пушечный выстрел. Узкий каменный мешок с зарешеченным окном под потолком, стекла которого замазаны серой краской. В правом углу — кровать с переплетами металлических полос вместо сетки. Слева к стене прикреплен, как в вагоне, метровый столик и откидное сиденье. Ближе к двери — ржавая раковина и унитаз. Разглядываю двери. В центре их железная форточка, а выше — стеклянный глазок, диаметром сантиметров в пять. Сейчас он закрыт со стороны коридора. Соображаю, что солдат может видеть всю камеру, в том числе и тот угол, где унитаз… И тут вздрагиваю и отшатываюсь от двери: прямо на меня сквозь круглое стеклышко смотрит чей-то страшный, будто нечеловеческий глаз. Поглазел не мигая и снова закрылся железным веком.

Со всех сторон обступает такая тишина, что кажется, будто оглохла. Пробую ходить из конца в конец, чтобы слышать хотя бы свои шаги. Но на мне стеганые суконные бурочки[41] с галошами, резиновые подошвы лишь поскрипывают на цементном полу. (Думала ли мама, когда шила эти бурочки, что я буду в них шагать по тюремным коридорам… — мелькнуло в голове и тут же перехватило горло. Но усилием воли прикрикнула на себя: «Не сметь! Не сметь! Не сметь думать ни о чем расслабляющем! Ни о ней, ни об Арнольде, иначе не выдержать»).

Меряю шагами свою обитель: в длину 8 шагов, в ширину — 3. Отмечаю, что лампа под потолком ярче, чем в коридоре, наверное сто свечей, тоже в проволочном «намордник». Радуюсь, значит хорошо будет читать, писать. (Скоро я узнаю, что и книги, и карандаши, и бумага здесь запрещены. И очень изумляюсь: «Как

же это?! Ведь даже Вере Фигнер и Кибальчичу можно было писать, читать, изучать языки в стенах Шлиссельбурга! А Горький написал в Петропавловке свою пьесу «Дети солнца». Яркая лампа будет моим проклятьем — ее не выключают и ночью. И очень трудно спать, а если закроешь лицо, то сразу стучат в дверь…).

Холодно, кутаюсь в пальто. (Изрядно потрепанное уже мое «каракулевое» пальто, по моде сшитое на первую зарплату еще в начале войны, тесно приталенное вверху и расклешенное снизу. Как же оно нелепо в этой обстановке!).

Устала ходить, сажусь на краешек скрипучей кровати, прячу голову в воротник, пытаюсь дремать. Но только закрою глаза, и сразу вспыхивают картины: Алик бросает мне на колени шапку и, смеясь, уходит… Из голубой «эмки» выходит мой «шеф»: «Ну-с, путешественница, где твои чемоданы?». Оскаленная рожа начальника: «Дрянь! Обмануть нас вздумала?!» — и снова обжигает боль пощечин. Кажется, не лицо, а душу отхлестали мне.

Оглушительная тишина взрывается лязгом замка и я вскакиваю с бешено колотящимся сердцем.

Входит надзирательница в военной форме. Злобная и непроницаемая. Без возраста: может, 40 лет, может — 60.

— Раздевайся!

Почему-то становится страшно. Снимаю пальто, шапку… Хватает одежду и начинает как-то хищно мять, ощупывает ее, снаружи, изнутри. Подпарывает ножичком подкладку, пальцами проминает каждый шов. Что-то ищет, не находит и разочарованно бросает на кровать. Меня бьет озноб.

— Чего стоишь?! Сказано — раздевайся, значит — догола!

Трясущимися руками стягиваю с себя все. Зубы уже выбивают дробь. Слышу, как в двери стукает заслонка — значит, конвоир «наблюдает»… Мне уже все равно. Боюсь даже спросить, можно ли накинуть на плечи пальто, хотя, наверное, можно…

Подходит ко мне, и я цепенею, как кролик под взглядом удава.

— Раскрой рот! Шире! — и грязными пальцами лезет мне в рот, оттягивает щеки, что-то высматривая там. (Позднее узнаю, не спрятаны ли во рту записка или деньги).

— Распусти волосы! — вынимаю все шпильки и она роется в моих волосах.

— Повернись спиной! Наклонись! Ниже! — повинуюсь, ничего не понимая.

— Раздвинь ягодицы!

— То есть, как?.. — вырывается у меня.

— А вот так! Мать твою перемать!.. — изрыгает она и сама

выполняет свое требование.

Раздавлена. Чувствую себя скотиной, приведенной на заклание. Автоматически натягиваю на себя одежду и тупо размышляю о том, как и чем подвязать чулки и как прибрать волосы: отрезаны застежки от пояса, отобраны шпильки для волос, так как все металлические вещи запрещены.

Дошла очередь до моего «имущества», которое все умещается в наволочке. Так же перетряхивается все белье. Прощупываются даже рубцы полотенца и простыни, вынимаются стельки из тапочек и, самое горькое, обнаруживается в карманчике юбки мой «талисман» — серебряный, величиной с ноготь, козлик, подаренный Адкой еще в бесконечно далекое довоенное время…

Эта потеря последней каплей переполняет меня, и я уже не могу сдержать слез. Когда захлопывается дверь за этим цербером в юбке, я валюсь на железную койку и захлебываюсь в плаче.

Грохочет дверная форточка, появляется безликая рожа:

— Эй! вставай! До отбоя лежать нельзя.

Подчиняюсь. Вытираю слезы. Плакать здесь, наверное, тоже запрещается. Волосы лезут в глаза, с ног сваливаются чулки. Эти реальные заботы спасительны, заставляют думать о том, как обойтись без необходимых мелочей. Роюсь в своих вещах и нахожу марлевую косынку. Отрываю от нее полоски, скручиваю их для крепости — вот и подвязки для чулок. Заплетаю волосы (хорошо, что хоть расческу оставили) и завязываю их тряпочками. Хуже с отпоротой снизу подкладкой пальто: оранжевый шелк и без того давно поистерся, а теперь и вовсе болтается прядями длинных нитей и высовывается из-под полы. Без иголки, без ножниц трудно что-то сделать, но все же сумела вздернуть материал «сборочкой» на отдельных нитях и закрепить их потом между собой узелками. Получилось что-то вроде бахромы, длинные концы которой я оторвала.

За делом время пошло быстрее, и вот уже захлопали дверные форточки, зазвенели миски — ужин.

Сунули и мне миску холодной перловой каши и кусок хлеба с кружкой кипятка. Кипятком немного согрелась, хотя вода воняет хлоркой и жестью. Каша не лезла в горло, но заставила себя съесть и ее — надо экономить силы.

Очень устала. Сидела на краю койки и раскачивалась, чтобы не заснуть. Но вот раздался глухой звонок. Отбой, догадалась я. Но как же спать без матраса? Наверное, забыли принести?

Тихонько постучала в дверь. Потом еще раз… Форточка залязгала засовом, и я вся сжалась: а вдруг нельзя ни о чем спрашивать. Обругают, наверное…

И вдруг вместо ожидаемой рожи увидела седоусое лицо

добродушного старика, который негромко спросил: «Чего тебе, девонька?».

Я от неожиданности даже слова произнести не могла. Смотрю на него и чувствую — слезы глаза застилают: значит, и здесь встречаются люди?! Спросила про постель, а он, сочувственно так, говорит: «Да не положено в этой камере… Ты уж до утра как-нибудь промайся тут, а завтра тебя в другую камеру переведут».

Поблагодарила его шепотом. Умылась. Понимая, что он не будет подглядывать за мною, одела на себя вторую рубашку, кофту — все, что только можно было надеть, чтобы согреться. Укутала голову платком (спасибо, мама прислала старинную шаль темно-вишневого шелка, с кистями) и улеглась на одну полу пальто, прикрывшись другой. А под голову — мешок с остатками «имущества». Всплакнула еще раз от ласковых слов старика и уснула.

Проспала, наверное, недолго, часа два-три. А как проснулась, да вспомнила все, да увидела вокруг серые стены и решетку на окне, так сразу с меня весь сон слетел и утра я еле дождалась. Ходила взад-вперед и шаги считала, и на койке сидела раскачиваясь, и лежать пробовала, но ведь в мыслях все одно, одно!.. Так прошел мой первый день в тюрьме. И не знала я, сколько мне еще таких дней отмерено впереди.

Еще затемно, часов в шесть, подъем по звонку. И снова страшно медленно тянущееся время. Снова холод и одни и те же бесконечные мысли, от которых никуда не деться.

Завтрак раздавал все тот же добрый старик, но рядом с ним был кто-то, поэтому он довольно суровым голосом объяснил, что пайка хлеба (грамм 400) — это на весь день и что сахарный песок тоже выдается только утром (маленький черпачок, со столовую ложку) и его можно или сразу высыпать в кружку, или сберечь и на вечерний чай. «У тебя хоть носовой платочек какой найдется или тряпочка?» — уже заботливо спросил он. Платочек нашелся и песок я завязала в маленький узелок. Хлеб разделила на три части и две завернула в марлевую косынку. Вот у меня уже и появились «припасы»… Утром каши не давали, только хлеб и кипяток.

Напряженно прислушивалась, скоро ли переведут в другую камеру. Ходила взад-вперед, решила проходить ежедневно не меньше двух тысяч шагов. Но и до тысячи не дотянула, голова закружилась. Очень надоел яркий свет. Когда наконец электричество выключили, то камеру как туман заполнил серый полумрак — замазанные краской стекла еле пропускали свет.

Наконец загремели ключи, дверь со скрипом отворилась. На пороге солдат (не старик уже) спросил что-то невнятно. Я не

поняла, переспросила.

— Эл двести семьдесят два? — почти по складам повторил он.

Я снова не поняла.

– Да фамилия твоя как?

— Лаврентьева.

— Вот и будешь теперь на букву «Эл». А номер — 272. Когда вызывают, должна сказать: «Здесь». А сейчас — на выход.

— Вещи взять?

— Не надо. Руки за спину. Выходи.

Значит, это не перевод в другую камеру. Неужели в этой и дальше оставят? А сейчас куда?

Вывел во двор, и я невольно остановилась — ковер ослепительно белого пушистого снега! Даже ступать на него жалко. Над серой громадой здания, сквозь рваную овчинку летучих облаков просвечивает нежная голубизна… А дышится как!

— Ну! Чего остановилась?! — как на лошадь прикрикнул солдат.

Пошла. Торопилась насмотреться, надышаться — когда еще придется так? Вспомнилось, как по такому же молодому снегу шла год назад к домику Пети. И как удивился Алик, когда увидел меня там…

Стоп! Об этом не думать!

Вошли в какой-то подвал главного здания (значит, не на допрос) и через длинные переходы оказались в ярко освещенной комнате, похожей на фотоателье: большой аппарат на трех ногах, подсветки, экраны. Из проявочной вышел парень — маленький, чернявый, в синем халате. Заулыбался конвоиру: «Хорошо, что сейчас пришел. Мой куда-то умотался, я один». Конвоир сразу преобразился, прошел вразвалочку, сел на край письменного стола, поставил винтовку между колен, закурил.

— Я вот тебе девицу привел. Оформи ее по первому разряду… — и загоготал.

— Это мы могем, — подхихикнул чернявый, — это неплохо бы, да вот обстановочка неподходящая… — и гнусно подмигнул мне. Меня затрясло.

Конвоир спросил о каком-то заказе, чернявый принес пакет фотографий, и тот стал разглядывать их, приговаривая: «Ну, это ты здорово!», «Ну, мастак!» — перемежая похвалы привычным матом.

Фотограф посадил меня на табурет, долго налаживал аппарат, командовал: «Анфас! Профиль!» Засветил мне глаза. Я плохо соображала, не могла как надо держать голову. Подошел,

взял меня за подбородок: «Вот так, цыпочка».

Я шлепнула его по руке.

— Ого! Зубастенькая! Я люблю таких.

Конвоир лениво добавил:

— Ничего. Тут зубки-то скоро обломают.

Тут вошел пожилой, в военной форме без погон. За что-то выругал чернявого, тот засуетился, конвоир вскочил и быстро спрятал конверт с фотографиями в карман шинели.

Кроме фотографирования мне сделали отпечатки пальцев. Узкая картоночка расчерчена на два ряда квадратов, по пять в каждом. Пальцы помазали черной краской и поочередно прижимали к этим квадратам.

Когда возвращались через двор, снова поразилась белизне снега и очень захотелось не только оттереть краску от рук, но умыться снегом. Было ощущение, что я запачкалась в липкой грязи. Наклонилась и схватила комок снега.

— Ну! Ты! Не балуй! — совсем по-извозчичьи рявкнул конвоир. Я лизнула белый комок, зажала его в кулак и завела руки, как «положено», за спину. Так с мокрыми ладонями и переступила порог моего теперь «казенного дома». (И вспомнила вдруг, как еще в эвакуации, в деревне Чернуха, сидела я вечером на крыльце, смотрела на проходящее стадо коров. Вдруг откуда-то взялась старая цыганка и пристала ко мне: «Дай, красавица, погадаю». Я сначала отнекивалась, а потом согласилась. Она долго разглядывала мою ладонь, потом сказала: «Впереди у тебя длинная дорога… А потом попадешь в казенный дом», — я рассмеялась. А она: «Не смейся. Это вот такой казенный дом, — и показала мне решетку из скрещенных пальцев. — А в старости будешь одна. И выпивать будешь, крепко выпивать…».

И вот теперь «длинная дорога» уже была… «Казенный дом» — тоже. Неужели и последнее сбудется?..)

Вошла в клетку на вахте. Запустили, а переднюю решетку не открывают. Сразу охватывает страх… Но это, оказывается, у них неувязка вышла: конвоир вполголоса переругивался с вахтером, а мне слышно все. Тот велел вести меня в какую-то другую камеру, а «мой» возражал: «Но ведь там занято». — «Ну так это только до вечера, а там высвободится сороковка, иначе никак не обернуться…». (Значит, и в таких заведениях иногда не хватает «посадочных мест»).

Меня завели в коридор, поставили лицом к стене. Снова со всех сторон охватила затхлость, сырость, запахи никогда не проветриваемого помещения. И мертвенная тишина…

Коридорный шепотом спросил, какие у меня «вещички», я сказала. Он открыл дверь 8-й камеры — там уже кто-то был. Так

мне хотелось заглянуть туда, но услышала только мужской голос (не Алика): «Еще вот хлеб на столике возьмите». И мне вынесли мой мешок и мои «продовольственные припасы». Повели на второй этаж. Такая же, как и на первом, четырехгранная труба серого коридора. Сверху ряд тусклых светильников, по бокам — ряды железных дверей с засовами, даже не верится, что за каждой из них живые люди. Больше похоже на склад какого-то имущества. Да вообще-то мы все здесь становимся «казенным имуществом», раз уж лишают фамилии и присваивают номер.

На пороге камеры, в которую меня вводят, застываю в изумлении: она производит впечатление какой-то обжитой и почти уютной… Прямо передо мной, на койке, покрытой домашним пледом в черно-красную клетку, сидит, поджав ноги, славная женщина лет сорока и, отложив вязание, приветливо улыбается:

— Проходи, располагайся, чувствуй себя, как дома.

От ласковых слов сразу ослабеваю и с трудом сдерживаю слезы. Жадно вглядываюсь во все, что так разительно отличает эту камеру от моей предыдущей. Ну, во-первых, она хоть и маленькая, но почти квадратная, и от этого стены не так давят. Да и покрашены они масляной краской. И полы деревянные крашеные, чисто намытые. Раковина вполне пристойная, а унитаз прикрыт ковриком из мешковины, обшитой по краям цветным кантом. На столике возле кровати салфеточка с затейливо сплетенной бахромой из ниток.

— Это я из полотенца соорудила, — объясняет хозяйка этого «дома» Надежда Павловна. — На воле вряд ли бы взялась за такую трудоемкую работу, а здесь вот более месяца на это плетение потратила. Чего-чего, а времени тут хватает!

На столике семейная фотография в картонной рамке. Но мое внимание привлекает маленькая толстая книжечка, заложенная закладкой.

— Здесь есть библиотека? А газеты тоже можно достать?

Моя новая знакомая вздыхает:

— Если бы здесь были книги… Это в дореволюционных тюрьмах были библиотеки, да и с воли можно было получать. Даже языки изучали… И рассказывает, что ей, в порядке исключения, разрешили иметь Евангелие (сестра в посылке прислала), и то лишь потому, что за шесть с лишним лет пребывания в тюрьме она никогда не нарушала режим, не предъявляла никаких требований к начальству. (Впереди ей предстоит еще почти 4 года).

Оказывается, она была приговорена к одиночке и без права переписки, но вот год назад разрешили написать родным и даже

получить посылку. Больше всего ее обрадовало то, что среди присланного есть несколько шерстяных вещей. Она их теперь распускает и перевязывает, как хочет (металлический крючок, конечно, не разрешили бы, а вот коротенькая деревянная палочка с зазубринкой в качестве крючка проскочила досмотр, и теперь на ее рукоделье смотрят сквозь пальцы). Да и строгая одиночка теперь иногда нарушается вот такими кратковременными «подселениями», как мое. Каждый гость для Надежды Павловны — большое событие, поэтому она расспрашивала меня обо всем, что за этими стенами: о положении на фронтах, о жизни Новосибирска (она москвичка и срок получила за мужа — «врага народа»). Я старалась, как могла, рассказать обо всем интересующем ее. А она, в свою очередь, дала мне много полезных советов. Рассказала, что при утренних обходах начальника тюрьмы можно попроситься к врачу, и хотя он ничего, кроме аспирина или желудочных капель не даст, но он хороший человек, из бывших заключенных, у него даже можно «между прочим» узнать, нет ли среди его пациентов такого-то (т. е. узнать о муже). Еще можно спросить иголку для починки одежды — дают на час-два, толстенную, но все же можно ею что-то сделать и даже вышивать. В баню водят дважды в месяц, там не очень строго и можно постирать кое-что.

Советовала ежедневно делать зарядку, обтираться водой, много ходить. И еще говорила, что надо поддерживать память: пересказывать себе (будто фильм просматривать) читанные книги, пройденные в институте разделы программ разных предметов. Пожалела, что я никогда не пыталась писать стихи (советовала попробовать) и очень рекомендовала ежедневно читать вслух те стихи, что знаю на память. К сожалению, я тогда знала стихов мало, и Надежда Павловна тут же начала называть первые строчки: «“На холмах Грузии”… Неужели не помнишь?! А из Онегина? А “Прощай, свободная стихия”?» — и тут же стала читать до конца, а я мысленно буквально впечатывала их в себя. И тут же решила выучить их с ее помощью. Если б мне удалось провести с нею несколько дней! Но загремел замок:

— Л-272! На выход с вещами!.. — И все оборвалось.

Мы расцеловались с Надеждой Павловной. Больше я ее никогда не встречала. Но как она помогла мне! Какой заряд бодрости получила я от женщины, с которой была знакома всего несколько часов.

Зима 1945-го

Новая камера была такая же длинная и узкая, как и 8-я, только пол деревянный крашеный, да по стенам друг против друга четыре откидных полки-постели, как в купе вагона. Два столика, один, как в поезде, между полками, другой — справа при входе, над ним настенная полка, на которой металлические миски, кружки, пайки хлеба, завернутые в тряпки. Слева в углу раковина и унитаз. Зарешеченное окно высоко под потолком и, как выяснилось днем, полностью закрытое железным «намордником», оставляющим лишь щель сверху, через которую можно увидеть узкую полоску неба.

Жили в этой камере двое молодых девчонок, но в момент моего подселения была только одна — долговязая, белобрысая, стриженная «под мальчика», Тамарка (так сама назвалась) в форме ремесленницы. А другая была на допросе и я познакомилась с нею позднее. Вернее, познакомила меня с нею заочно Тамарка. О себе рассказала очень коротко: сидит «по Указу» (ушла с военного завода и хотела уехать на Урал к матери), получит семь лет. Следствие уже закончено, скоро отправят в уголовную тюрьму, а потом в лагерь. А вот о соседке своей Майке Герфельд рассказывала с подробностями. Во-первых, даже при отсутствии этой самой Майки бросалось в глаза то, что она неплохо здесь устроилась. На застеленной койке был не только ватный черный тюфяк и солдатское одеяло, но и простыни, и маленькая домашняя «думочка». Майка — новосибирская, и ей все из дому приносят. На свободной верхней полке над ее местом разместились набитые чем-то сумки, мешочки, банки, а сбоку свешиваются платья и кофты, аккуратно развешенные на плечиках. И обувка всякая — и на дождь, и домашние тапочки. Тамарка сразу сообщила, что Майка — «немецкая сука», была на фронте медсестрой и спуталась с немецким офицером. Мать ее — главврач Новосибирской больницы, носит передачи чуть ли не ежедневно, наняла Майке адвоката. Тамарка Майку ненавидит, часто ругается с нею («сама увидишь, какая она противная»). А главное, тошно от ее жадности: все, что приносят из дому съедобного, жрет сама, и если предложит кусочек, то так, что и в глотку не полезет. Поэтому Майка ест за столиком у окна («да еще ночами потихоньку наворачивает»), а Тамарка, еще с одной девушкой, которая была здесь до меня, отделилась от нее и располагались они за другим столиком («хоть напротив унитаза, зато отдельно»). Я, конечно, сказала, что буду заодно с Тамаркой во

всем.

Майка вернулась с допроса уже поздно ночью, мы легли спать, и мне она тоже не понравилась: низенькая, полненькая, с сытым самодовольным лицом. Очень прилично одета в клетчатую юбку в складку и большую синюю шерстяную кофту, которой я откровенно позавидовала — в камере было промозгло. Она долго возилась со своими одежками, аккуратно раскладывала их на полке, умывалась (запахло хорошим мылом), а потом, к моему удивлению, еще долго навивала свои кудри на тряпочки. Улеглась она уже совсем поздно и потом шуршала какими-то бумажками под одеялом — видать, действительно подкреплялась… Еще не познакомившись с нею, я уже ее ненавидела.

Утром встали по звонку. Пока мы с Тамаркой умывались, убирали камеру (она протерла стены и раковину с унитазом, а я надраивала пол), Майка продолжала спать. Только когда загремела заслонка в двери и рявкнул солдат: «Чего разлеглась?» — она начала неторопливо одеваться, причесываться. Ко мне отнеслась с большим интересом, и хотя я старалась подчеркнуть свою нерасположенность к болтовне с нею, все же пришлось коротко ответить, кто я, откуда, что «взяли за мужа» (без подробностей, разумеется). Все это было интересно и Тамарке. Постепенно и она начала задавать вопросы, и получилось так, что понемногу разрядилась атмосфера ссоры между двумя обитательницами камеры, да и я как-то забыла о том, что Майка для меня та самая «вражина», которую я впервые встречаю воочию и заранее ненавижу. Она оказалась болтливой, смешливой, с увлечением расспрашивала про институт, про актеров. Рассказывала сама, что до войны была «театралкой», часто ходила в «Красный факел» и вообще, кажется, мечтала быть актрисой. Да вот мама уговорила идти по своим стопам, а в результате «в такую историю влипла». О своей «истории» она говорила тоже как-то несерьезно, вскользь упомянула, что не меньше 10 лет получит… В общем, обыкновенная легкомысленная девчонка, и я уже даже подумала, что, может, она и не такая «изменница Родины» и «сука немецкая», как представила ее мне Тамарка. И, может, у нее даже была любовь какая-то с этим немцем, может, он раненый был и она за ним ухаживала. Но ведь если у Райки рыжей «ее немец» был тыловиком и сослан в Сибирь из-за национальности, то здесь ведь был настоящий фашист, который убивал наших… Ведь вся эта история на фронте произошла… В общем, у меня было двойственное чувство к Майке, и я старалась не очень задумываться об этом.

А пока мы втроем проболтали весь день, и даже Тамарка стала не так подчеркнуто враждебно относиться к Майке. А Майка явно обрадовалась, что с моим появлением улучшилось ее положение в камере (предыдущая девчонка, как я поняла, тоже сторонилась ее) и всячески старалась задобрить нас. Сунула нам, чуть не силком, по паре картошин, сваренных «в мундире», а вечером высыпала перед каждой по горсти семечек, и у нас не хватило духу отказаться…

Питались мы с Тамаркой все же отдельно, за своим столиком. Кстати, она научила меня некоторым тюремным мудростям. Оказывается, утреннюю пайку хлеба разумнее превращать в тюрю, чем съедать, запивая чаем. Хлеб мелко крошили в миску, заливали кипятком, он разбухал, получалась каша, которую мы для разнообразия присаливали, а иногда посыпали сахарным песком. Напоминала эта еда блокадную, но так было явно сытнее.

Она же научила меня, как решить проблему с чулками, которые постоянно сваливались, подвязанные бинтиком. При первом же обходе начальника тюрьмы с дежурным надзирателем Тамарка сделала заявку на ножницы и иголку и, к моему удивлению, днем их нам принесли на один час (правда, дверь была приоткрыта и часовой заглядывал часто, наблюдая за нами). По совету Тамарки я пуговицы от наволочки пришила к резинкам на поясе, вместо отрезанных металлических застежек, а к чулкам — петельки так, как это было когда-то в детстве.

По совету девчонок, я задумала даже перешить для себя рубашку Арнольда, которую нечаянно положила в свои вещи. И когда на следующей неделе у нас снова была иголка и нитка, я отрезала жесткий воротник, а из подола сделала стоечку с оборкой — получилась блузка.

Такие нехитрые занятия помогали коротать время и отвлекали от тягостных мыслей.

Обнаружилось, что не все конвоиры одинаковы. Некоторые в вечерние часы, когда уходило начальство, разрешали нам петь — тихонько, конечно, но все же… Один молоденький даже приоткрывал дверь, а мы, поняв по его выговору, что он украинец, старались угодить ему украинским репертуаром. И еще выяснилось, что с помощью кружки можно услышать, что происходит в соседней камере: если кружку плотно прижать к стене, а ухом прижаться к ее дну, то становились слышны шаги, кашель. Так мы узнали, что справа от нас — пожилой одинокий человек, слева была, по-видимому, глухая стена.

Постепенно привыкла к монотонным в своем ритме будням, которые изредка прерывались допросами. Каждый допрос — это событие. Обычно они проходили по ночам. Меня с Тамаркой

вызывали редко, ее дело уже закончилось и оставались какие-то формальности. Я же после первых двух-трех допросов призналась, что все рассказала Арнольду и что носила листы его рукописи с его ведома. На меня поорали, постращали, что пришьют 58 статью как «соучастнице врага народа» (из этого я поняла, что Арнольд получил 58 статью), и на несколько недель оставили в покое. После этого вызывали изредка и уже по материалам, связанным с Арнольдом. Знаком ли мне такой-то его товарищ? Что я знаю о его поездке в Томск? Я отвечала — не знаю, не видела, не слыхала… Снова орали, пугали. Каждый вызов на допрос волновал, долго переживался, иногда приносил неожиданные сюрпризы. Однажды следователь пил чай и налил мне стакан. В другой раз в кабинете было включено радио, и я услышала сводку с фронта. Дело мое вел полковник Дерябинский — довольно интеллигентный и даже приятный человек. И лишь когда допрос вел его заместитель — молодой хлыщеватый капитан — были и грубости, и стремление сформулировать мои мысли так, чтобы они стали более чреваты последствиями. Приходилось внимательно вчитываться в каждую строку протокола, добиваться исправления фразы так, как она была сказана мною. Он, естественно, злился, я плакала, отказывалась подписывать протокол. Но если при этом заходил Дрябинский, то все как-то улаживалось, хотя, конечно, следователь после этого больше злобствовал на меня.

Когда же на допросы уводили Майку (а ее вызывали часто), то мы не спали всю ночь. Во-первых, она собиралась как на бал — сооружала прическу, надевала лучшее платье, туфли и даже пудрилась: платочком стирала на беленых стенах известку вместо пудры, используя в качестве зеркальца блестящую поверхность гребешка. Наводя красоту, она озабоченно спрашивала: «Так будет хорошо, девочки, или лучше эту кофточку надеть?». Когда же Майка уходила, мы с Тамаркой спешили наговориться без свидетелей. Хотя внешне мое отношение к Майке было ровное, но двойственность этого отношения не позволяла мне быть полностью откровенной при ней. Тамарка чувствовала это, и все вопросы ко мне о моей жизни, о родных, она оставляла на такие ночи, когда мы оставались вдвоем. Я же поняла, что у Тамарки была такая скудная, бедная впечатлениями жизнь, так мало она видела и знала, кроме своего уральского поселка, что все рассказанное мною воспринималось и как книжка, и как кино. Да, по-видимому, она дорожила тем, что я с ней более близка, чем с Майкой.

Разумеется, при всей моей откровенности, я ни одним словом не заикнулась об истинной причине моего ареста. Тамарка знала,

что я сижу «за мужа», и этого ей было достаточно. Ее мало интересовали мои занятия в институте, рассказы о театре, книгах и даже о Ленинграде. Но вот все житейское, — как я познакомилась с Арнольдом, как устраивала свой семейный дом, куда мы ходили в гости — все это было ей интересно, вплоть до самых мелочей. Меня радовала возможность вспомнить о вещах близких и приятных. Я рассказывала обо всем — и о своем житье, и о подругах в институте, и о семье Хочинских, которая стала нам как родная: в Люсе Красиковой я нашла сестру, о которой давно мечтала. Как же они будут переживать, когда выяснится, что все студенты вернулись в Ленинград, а мы с Аликом исчезли!.. Да и Женька Лихачева будет поражена — мы же ее приглашали к себе… А уж о маме и говорить нечего. При мысли о ней мне горло стискивало слезами. Я была благодарна Тамарке за возможность выговориться и выплакаться.

Когда же возвращалась с допросов Майка, мы умолкали и делали вид, что слушаем ее рассказы о том, что сказал следователь, что ответила она, какое обвинение ей предъявили сегодня и как ловко она вывернулась. Честно говоря, нам были безразличны ее переживания и мы старались заснуть, чтобы немножко выспаться до побудки.

Но однажды днем Майка втянула нас в разговор о своем деле, и все мои предположения о том, что у нее была романтическая любовь, разлетелись в прах. Оказалось, что немец возил ее в штабной машине по всему Крыму и она даже показывала дорогу на Севастополь, которая была ей известна по поездкам на курорты в предвоенные годы… Рассказывала она об этом совершенно спокойно как о чем-то обыденном. И даже обратилась к нам за советом: «Как вы думаете, девчонки, признаваться мне в дополнительном материале, который пришел на меня, или нет? О том, что Вальтер возил меня на расстрелы, чтобы я, как медсестра, удостоверила смерть погибших (он воспитывал во мне силу воли) — в этом я уже призналась, А вот теперь прислали бумагу, что я присутствовала при таких случаях, когда у женщин выхватывали из рук грудных детей и бросали под лед. Признаваться мне в этом или нет? Много мне дополнительно навешают за это или все едино?». Я окаменела, услышав такое… Она была лишь озабочена мыслями о том, как лучше ускользнуть от ответа. У нее даже голос не дрогнул! Тамарка просто вскочила и прохрипела ей в самое лицо: «Замолчи, падла, а то придушу! Еще совет от нас хочешь получить?». Майка испугалась, забилась в угол своей койки и в камере нависла гнетущая атмосфера ненависти, которая ощущалась почти физически. Прекратилась наша совместная болтовня, пение, мы с Тамаркой снова

обособились и не подпускали Майку к себе. А до чего же было трудно мне оставаться с нею с глазу на глаз, когда Тамарку вызывали на допрос!

В этой камере я провела около месяца, и Тамарка провожала меня как родную, да и я к ней привыкла. В новой камере было три взрослых женщины: одна пожилая молчаливая немка с Поволжья, другая толстуха— счетовод, которая горестно причитала: «Да за что же я здесь?! Ведь всего-то я и сказала: «Чего это радио цельные дни болтает и болтает одно и то же…». Третья — подтянутая, спортивного вида молодая женщина, которая родилась в Харбине (ее родители работали на КВЖД[42] и, узнав о начавшейся войне, перешла с друзьями через границу, надеясь добровольно вступить в ряды Советской Армии. Тут их всех и взяли.

В этой камере я была младшей, меня опекали, утешали, когда мне было грустно, научили различным маленьким хитростям. Например, с гордостью показали мне, что несмотря на внезапные обыски (такие же, как в восьмой камере, с раздеванием догола и прощупыванием всех швов одежды), сумели сохранить осколок стеклышка — его прятали за трубой унитаза. При необходимости им можно было что-то разрезать. Так же бережно хранили кусочек графита в щели подоконника — вдруг когда-либо удастся достать кусочек бумаги и написать записку! Эти сокровища передавались обитателями камеры «по наследству». Милые женщины придумали мне хорошее развлечение. Обнаружив, что у меня целых две простыни, посоветовали одну разрезать поперек и сделать две маленькие простынки, которые при моем росте были вполне достаточны, а из другой сшить летнее платье, так как у меня ничего не было летнего. Сооружение платья разыгрывалось как военная операция. Во-первых, надо было уловить момент, когда часовой заглянул в глазок и, значит, в скором времени не подойдет. Тогда мы простыню расстилали на полу и рисовали выкройку, но не тем драгоценным графитом (его берегли), а сухим обмылочком. Фасон получился даже нарядным: расклешенная четырехклинка, прилегающий лиф с рукавом-фонариком. После этого я прятала всю простыню в мешок, потом вытягивая лишь один ее край, осторожно вырезала части платья по контуру, точнее, перепиливала нитки с помощью того самого стеклышка. Мои подруги в это время располагались вокруг и изображали оживленную беседу. Если б мы попались, дело кончилось бы плохо. Мы старались не дразнить судьбу, эта операция была медлительной и заняла около недели. А когда все детали были готовы, их решили вышить черными горохами — снизу по подолу крупными, а к талии все мельче. Для этой цели я

отрезала верхнюю часть носка и использовала нитки для вышивания. Работа растянулась на весь январь-февраль 1945 года. Когда выдавали иголку, я делала вид, что занимаюсь штопкой. Спрятав всю ткань в мешок, маскировала ее чулками, так что в руках оставался крохотный кусочек вышиваемой горошины. (Окончательно дошить платье удалось только в лагере).

Еще большим развлечением было перестукивание с соседями. Оказалось, что использовался тот метод перестукивания, о котором я читала в книге Перельмана «Занимательная физика». Алфавит делился на три строки и каждая буква обозначалась очередной цифрой от 1 до 10. Времени для каждой фразы требовалось много, но у нас его хватало. Конечно заниматься этим нужно было очень осторожно, чтоб не заметили часовые. Был заведен порядок, что соседям сразу же сообщалось о каждом вновь поступившем в камеру и о всех перемещениях. Так, мы знали, что с одной стороны находятся 4 женщины, а с другой — в одиночке приговоренный к расстрелу офицер-власовец[43]. О том, что он власовец, мы узнали от соседских женщин: он не перестукивался и не отвечал нам. Но, прижав кружку к стене, мы слышали, что он бесконечно ходит по камере. А вечерами, когда мы тихонько пели, раздавалось царапанье кружки с его стороны, и мы понимали, что он слушает нас. И тогда мы старались петь именно для него. С понятием «власовец» у нас не было отрицательных эмоций, нам было просто его жалко.

Весна 1945-го

Однажды из соседней камеры раздался вызов, обращенный персонально ко мне. «Студентка Нина, слушай, с тобой будут говорить». А после этого был томительный перерыв, так как раздавали обед и не было возможности продолжить разговор. Я вся извелась в ожидании, думала, что-нибудь узнаю об Арнольде. И уже к вечеру снова условный стук: «Внимание, слушай». Я так волнуюсь, что с трудом понимаю знакомую наизусть дробь. Мои соседки страхуют меня, переводя каждое слово: «У нас новенькая, студентка театрального института, Люся Красикова». Услыхав это, я потрясена: неужели взяли и ее из-за меня?! Ведь у нее же маленький ребенок! А дробь продолжается: «Люся просит ответить, что говорить про Арнольда на допросе?». Я уже плачу в голос, женщины утешают меня, а из-за стены раздается все та же фраза: «Что говорить про Арнольда?». Наконец, собираюсь с силами и женщины выстукивают вместо меня: «Все, что знаешь о нем. Правду. Только правду». На этом разговорный сеанс прекращается, всю ночь я не сплю, мучаюсь мыслью, как уговорить следователя освободить Люсю, ведь она ни в чем не виновата. А утром раздается снова стук: «Ночью новенькую от нас увели. Она не похожа на студентку театрального института. Расскажи, как выглядела твоя Люся?». В растерянности отвечаю: «Полненькая, невысокого роста, шатенка». И слышу в ответ: «Высокая, белобрысая, грубая речь и манеры, мы ей не поверили». И меня тут озаряет — это же Тамарка! Потрясена вероломством, но еще больше низостью методов следствия. Женщины утешают меня: «Ведь ничего у них не получилось, сорвалось, пусть лишний раз убедятся, что ты говорила им только правду. Ну, а что использовали Тамарку в качестве «наседки», так кто знает, она может к тебе и неплохо относилась, но ей пообещали сократить срок, а то и припугнули».

Вся эта история будто перевернула меня. Устоявшийся внешне спокойный ритм жизни — болтовня, вышивание, перестукивание, все то, что скрашивало монотонность тюремных дней — все сразу разрушилось. Я вдруг со всей остротой ощутила коварство, непредсказуемость того, что грозило мне. Ведь в любой момент меня могли оклеветать, шантажировать. И кто знает, может быть, мои слова все извращаются и Арнольду говорят, что я отступилась от него, даю порочащие его и его друзей показания. Любая подлость могла быть использована в стенах этого дома, камера превратилась в почти осязаемую клетку, которая сузилась до предела. Появилось желание биться

головой об стену, закричать, выкинуть что-то невероятное. И стала бояться самой себя, своих соседок. Кто знает, вдруг среди них тоже есть «подсадная»… Заново осознала вдруг бесчеловечность условий, которые были узаконены в этих учреждениях: отсутствие свежего воздуха, ночные допросы, гнусные обыски, ослепительно яркие лампы, не выключавшиеся ночью (а закрывать лицо не разрешали). Пропитание, будто намеренно ведущее к дистрофии: пайка хлеба, днем «щи» из горькой хряпы и тарелка ячневой или перловой каши, вечером — та же холодная каша и стакан кипятка. Унизительность санитарно-гигиенических проблем: баня нерегулярно, когда холодная, когда чуть теплая вода, а банщик — солдат. У женщин, как известно, есть дополнительные сложности гигиенического порядка. Но хозяева этого дома позаботились об этом: сначала я думала, что причина моих физиологических отклонений от нормы — нервная депрессия. Женщины разъяснили, что не случайно кипяток пропах хлоркой — таким образом нас избавляли от регулярных «неприятностей». Но главное в этих стенах — это психологический пресс: полная неизвестность, когда кончится дело, сколько продержат здесь, что еще могут предъявить…

Мучило меня и то, что ничего не знала про Арнольда. Ведь он же наверняка где-то в этих же стенах. Знает ли он, что взяли и меня. (Как выяснилось позднее, ему сказали, что я уехала в Ленинград).

Каждый допрос был всегда страшным нервным напряжением. Но вот по непонятным причинам меня уже месяц не вызывали к следователю, и это тревожило еще больше. На обходах я подавала заявки начальнику тюрьмы о вызове к следователю, но все безрезультатно. Моих соседок это тоже беспокоило. Бывали случаи, когда о подследственных «забывали» и они просиживали впустую по нескольку месяцев. Посоветовали мне объявить голодовку. Я решилась, и утром, когда мне протянули пайку хлеба, вернула ее часовому и объявила о своем решении. Женщины советовали мне меньше двигаться, чтобы беречь силы. Я заметила, что они отламывают кусочки от своих паек, чтобы ночью подкормить меня. Но сказала, что хочу голодать честно (перед кем — «честно»?!).

Когда я отказалась и от обеда, пришел начальник тюрьмы, пригрозил, чтобы не фокусничала, а то «примут меры». Вечером, после отказа от ужина, вызвали с вещами. Быстро распрощалась с женщинами, думала, что в карцер, а потом снова вернусь сюда же. Они утешали, что больше двух-трех дней не продержат, побоятся, что окончательно подорвут здоровье — за это им тоже

мог быть нагоняй.

Но больше с этими женщинами мне встретиться не пришлось, и перевели меня не в карцер, а в одиночку. Видимо, действительно хотели, чтобы моя голодовка проходила «честно» и меня никто бы не подкармливал. Продержалась я трое суток, были вялость и безразличие ко всему. Ночью вызвал на допрос полковник Дребинский. Пока вели через двор, взглянула на звездное небо, закружилась голова, очнулась уже на скамье в коридоре, а часовой отпаивал водой.

Полковник по-отечески меня пожурил: «Ну что ты там дуришь с голодовкой? Твое дело закончено, с тобой все ясно, а придерживаем мы тебя сейчас на всякий случай. Может быть, в его деле еще появятся какие-то детали, где ты окажешься нужной».

В одиночке первые дни показались даже какое-то время отдохновением. Оказывается, я устала от людей, от невозможности побыть наедине с собой, поплакать, когда хочется. Но вскоре одиночество стало тяготить. И хотя я пыталась вспомнить уроки Надежды Павловны, устраивала себе сеансы воспоминаний, бродила мысленно по Левашовскому парку, по улицам Ленинграда, даже по некоторым залам Эрмитажа, но все это лишь растравляло душу и заканчивалось слезами. Переключилась на стихи, но знала я их мало, а для мысленного перечитывания книг не хватало сосредоточенности, внимание рассеивалось. И вообще я почувствовала какой-то нервный срыв: стала много плакать, не могла заснуть ночами, днем маялась от желания спать, но ведь лечь нельзя… И я часами сидела на койке по-турецки, раскачивалась, как маятник — это создавало иллюзию сна. Очень трудно, когда нет хоть какого-нибудь дела, какого-то занятия. Когда попросила иголку, мне отказали. Единственным дозволенным делом оказалась уборка камеры, и я надраивала ее по нескольку раз в день. Камера была угловая, поэтому я знала, что соседи у меня только с одной стороны. Надзор за мной был строже, чем в общей камере, поэтому я долго опасалась начать перестукивание. Когда же однажды наконец решилась наладить контакты с соседней камерой и выстукала условный сигнал: «Внимание, ответьте», то в ответ вдруг услыхала беспорядочный стук ложкой по стене. Сразу раздался лязг соседней двери и окрик часового. Стук прекратился, я отскочила от стены и долго не решалась подойти к ней, так как часовой начал внимательно следить за мной. И только на другой день я нашла безопасный момент, чтоб прижать кружку к стене. Услыхала неровные шаги, почти бег по камере, бессвязные бормотания, всхлипывания… Видимо, это был больной человек.

Как-то ночью проснулась от выкриков, ударов кулаками в дверь соседней камеры. На помощь человеку пришел еще кто-то, видимо, пытались его усмирить, а потом поволокли из камеры, а он выл и выкрикивал что-то нечленораздельное.

Меня охватил страх. Вдруг и я потеряю разум… Ведь я не знаю, сколько еще меня продержат здесь. А вдруг месяцы? А то и годы! Надежда Павловна вспомнилась. И я почувствовала, что во мне нет той силы духа, которая была у нее. Еще так мало просидела я в одиночке, а уже дни кажутся мне бесконечно длинными, будто время замедлилось до предела, как часы, у которых кончается завод. Но постепенно «часы времени» могут и остановиться!.. Мне стало страшно. Приходила мысль, что, может быть, и не надо дожидаться «остановки», а разумнее поискать способ самой остановить время… Со всей беспощадностью я поняла, что для моего склада характера одиночество — самое трудное испытание и долго мне его не выдержать.

Но продержали меня здесь всего 17 дней. Вызвали вдруг в дневное время и сообщили, что завтра, 2-го марта 1945 года, состоится суд.

Судить будут военным трибуналом, так как преступление совершено против военного ведомства, и дадут, вероятно, 5–7 лет. Я совершенно равнодушно восприняла названные сроки. Самое главное, что, наконец, можно будет вырваться из этого каменного мешка! А в лагерях будет всяко лучше, чем здесь. И еще была надежда, что, может быть, удастся разыскать Арнольда. Женщины говорили, что в лагерях заключенных часто перегоняют с этапа на этап, и там можно встретиться.

Всю ночь не спала. Когда утром выводили через вахту, то слышала, как конвоиры переругивались между собой («черный воронок» ушел, а другой машины не было). Решили, что отправят меня пешим ходом: «Здесь недалеко». Молоденькому солдату пригрозили: «Смотри, чтобы ни на шаг не отходила! И веди по переулкам, а не по проспекту».

Когда вышли из ворот тюремного двора на Коммунистическую, захлебнулась от воздуха и света. Первый весенний день, уже снег рыхлый и подтаивает! (А вошла я в эти ворота 15 ноября, в день, о котором Арнольд после смерти отца сказал, что это его черный день).

Солдатик явно стеснялся идти рядом со мной и выдерживал небольшую дистанцию, будто шел сам по себе. Но когда мы вышли на Красный проспект и я на минутку остановилась, жадно разглядывая лица людей, машины, афиши кинотеатра напротив, он подскочил ко мне и тревожно буркнул: «Ты чего? Давай прямо на ту сторону». Я же заметила возле входа в гостиницу газетную

витрину и рванулась к ней. Он так растерялся, что не успел схватить меня за руку, а я уже стояла среди читающих и спешила запомнить все: заголовки, сводки с фронта, фотографии.

— Ну разреши, я только сводку прочитаю! — умоляюще обернулась к нему. Он потоптался на месте и смирился с нарушением.

Далее без всяких приключений дошли до Советской, где возле почтамта находилось солидное здание, на которое я раньше не обращала внимания. Оказалось, это здание Военного трибунала (сейчас в нем размещается консерватория). Сначала на 1-м этаже завели в обычную душную камеру (сейчас там ректорат), стены которой были густо исписаны весточками для близких: «получил 10», «прощай Мишка, я не раскололся» и т. п. Я внимательно перечитала все: а вдруг весточку и для себя найду… Пожалела, что не смогу оставить какого-нибудь известия о себе: не было ни карандаша, ни булавки, ни осколка стекла.

Судебный зал был огромный и гулкий, я чувствовала себя маленькой и беззащитной, когда на возвышении показались три военных безликих фигуры. Не вслушивалась в бормотание казенных фраз, а лихорадочно готовилась к своему слову: я знала, что мне его дадут. Эту речь я продумывала несколько ночей и верила в то, что сумею в чем-то убедить этих безликих. Но неожиданно все обернулось комедией: после первых моих фраз они откровенно смеялись надо мной. Я доказывала, что не имею вины перед высокой военной организацией. Я же выполнила задание — они хотели узнать содержание работы Арнольда, и я это обеспечила. А то, что я расконспирировалась, было вынужденной мерой. Если бы я следовала их методу, унося из рукописи отдельные листы, они бы получили самое сумбурное впечатление от работы и не смогли бы понять ее содержание. Самое же главное в том, что вся эта история доказывает полную невиновность Арнольда. Если бы он чувствовал за собой вину, то уничтожил бы свою работу или сбежал. Вторая половина моего выступления развивала мысль, что марксизм — не догма, а руководство к действию, как говорил Иосиф Виссарионович, и нужно радоваться тому, что есть такие люди, которые занимаются разработкой теории социализма.

Развеселила я всех чрезвычайно и, вероятно, именно поэтому мне дали срок всего 3 года. Этот срок удивил даже полковника Дребинского. «Ну и ну, — покачал он головой, — здорово тебе повезло».

А я, пользуясь его хорошим настроением, попросила разрешения написать письмо домой. И он разрешил! Я сидела в приемной за маленьким столиком и два часа, обливаясь слезами,

описывала маме злоключения этого года, старательно обходя те моменты, о которых, я знала, писать нельзя. Уверяла, что мне очень повезло, так как мне дали такой маленький срок, что в лагерях, как говорят, не такие уж плохие условия, а, главное, можно будет переписываться.

Это письмо мама так и не получила. Только через полгода, уже в лагерь, пришла от нее первая весточка. Она потеряла меня, так как институт уже в январе вернулся в Ленинград, и никто о нас с Арнольдом ничего не знал.

На следующий день меня отправили в пересыльную тюрьму. На этот раз был подан персональный экипаж — «черный ворон». Раньше я видела эти машины, но не задумывалась о них и о тех, кого они везут. Теперь же во дворе мне приказали забраться в нее. Через задний борт, перешагнув отсек для конвоиров и нагнув голову, я вошла в металлический ящик, пропахший мочой и потом. Меня охватил ужас. Железная дверь еще не закрылась за мной (конвоир подписывал какие-то документы), но, когда она захлопнется, оказаться в чреве этой металлической душегубки с узкими щелями под потолком, в которые не заходит воздух, — это все равно как быть заживо погребенной. И сейчас я здесь одна, а ведь бывает, что набивают заключенными до отказа. Какая духота в этих раскаленных ящиках летом и как промерзают они в морозные дни! Но мне повезло: дверь не только не захлопнули, но пожилой конвоир разрешил мне сесть против него. Я обрадовалась: увижу город, надышусь. Но, к сожалению, поехали не через центр, а свернули сразу вниз к Оби. Ехали по длинной заводской улице, рядом с машиной проплывали дребезжащие трамваи. Я с любопытством вглядывалась в пассажиров, а некоторые с не меньшим интересом разглядывали меня. Уже смеркалось, в окнах деревянных домов зажигались такие домашние уютные огни. По улице шли толпы рабочего люда, пробегали стайки ребятишек. Не доезжая реки Ини, машина свернула влево и стала медленно и натужно взбираться в гору. В пустынном поле темнело огромное здание тюрьмы, точнее, здесь был целый тюремный городок. Скучная улица двухэтажных стандартных домов, где жила тюремная обслуга, а с другой стороны — бесконечный забор, опутанный рядами колючей проволоки, вышками часовых, прожекторами по углам и железными воротами. Главное тюремное здание подавляло своей массивностью, вековечностью. Оно действительно было построено еще до революции, и когда через много лет мне пришлось смотреть фильм «Воскресение» по Толстому, то в эпизоде с Катюшей Масловой я вдруг узнала эту тюрьму. Подавляла она своими размерами не только снаружи, но и

изнутри: огромный гулкий вестибюль, как на вокзале («накопитель», так назывался он здесь), бесконечные, с высокими сводчатыми потолками коридоры, расходящиеся от центра в разные стороны. И все это пространство перегорожено целой системой металлических решеток с врезанными в них воротами. Причем решетки не символические, а из прутьев толщиной чуть ли не с мою руку — такие я видела в зоопарке в клетке медведя. Такой же, как и в кагебэшной тюрьме, смрад хлорки, грязи, промозглой сырости. Но в отличие от нее здесь нет мертвящей тишины. Громко перекликаются охранники, лязгают замки и двери, а из «накопителя», где расположились на полу два десятка женщин, слышны перебранка и плач. Меня запускают туда же. Я осторожно приближаюсь к этой компании, усаживаюсь на корточки возле стены — пол каменный, заплеванный, промерзлый. Я боюсь этих женщин, но к счастью они не обращают на меня внимания, так как заняты выяснением отношений: кто-то у кого-то что-то украл или хотел украсть. Лампы под высоким потолком тусклые, а потом и вовсе начинают мигать и гаснут. Охранники матерятся, дают команду принести фонари. За это время привозят еще две машины женщин и сразу же начинается шум и гвалт, как на вокзале по прибытии поезда, поиски знакомых, объятия, расспросы. По-видимому, здесь в основном публика со стажем и многие в этих стенах не впервые. Но есть и одинокие, робко жмущиеся к стенам, и я потихоньку перебираюсь к этим молчаливым. Держат здесь не один час, вероятно, уже поздно, хочется есть и спать. Некоторые уже устроились на полу и дремлют. Но вот раздается команда, и нас поодиночке, просчитывая по головам, выпускают в длинный коридор, в конце которого светится фонарь и за столом сидит офицер, обложенный папками с делами на всех прибывших. Приказано всем выстроиться в очередь, раздеться до рубахи, так как одновременно будет и обыск. Бабы галдят, отпускают скабрезности. Вся эта очередь полубезумных женщин, подсвеченных редкими фонарями, длинные тени, колышущиеся на стенах и сводчатом потолке, кажутся кошмаром из кругов Данте или «Капричос» Гойи.

Я пристраиваюсь в самом конце очереди и, когда наконец дохожу до стола, то принимающим уже явно все надоело и они наспех, совершенно формально осматривают вещи, небрежно охлопывают по бокам. Для них главное, чтобы не было ошибок в бумагах: я называю фамилию, срок и статью (статья 193, п. 17а). Удостоверившись, что все правильно, меня отправляют к той группе женщин, у которых сроки заключения близки к моему.

Уже поздно ночью нас ведут в баню. Как призраки движутся

цепочкой заключенные яркой лунной ночью по хрустящему снежку огромного тюремного двора. Так жадно дышится свежим морозным воздухом! Так не хочется входить в ворота, которые ведут в какую-то новую клетку… Но нас встречает приятная неожиданность: баня здесь, оказывается, деревянная, только что отстроенная, со смолистым духом сверкающих желтизной стен и потолка. Сухим теплом пышет от огромной печки. Светятся яркие лампы, и я впервые могу разглядеть лица женщин. Рассаживаемся по свежеоструганным лавкам. Приходит надзирательница, разбивает на группы по 20 человек и дает команду раздеться и бросить свои вещи на огромные жестяные подносы, которые выдвигаются из нижней части печи. Баня устроена так, что из предбанника мы попадаем сначала в «вошебойку», т. е. комнату, где проверяют на вшивость, оттуда в моечную и, наконец, в одевалку, которая расположена с другой стороны печи. Там мы получаем свою прожаренную одежду. Предполагается, что прожарка обеспечит дезинфекцию, но когда видишь, как в одну кучу сбрасывается грязное отрепье, верхняя одежда, заношенное белье, обувь, то становится тошно.

В ожидании своей очереди сидим раздетые и блаженствуем от тепла, покоя, расслабленности в предвкушении мытья. Рядом со мной притулилась молоденькая девчонка, испуганная, заплаканная — Верочка, 17 лет, осуждена по Указу. Я чувствую себя рядом с ней старшей и пытаюсь ее подбодрить. Некоторых женщин тревожит предстоящая процедура осмотра, и они срочно расчесывают волосы, «ищутся» в головах друг у друга. По проходу между скамьями расхаживает крупная, крепко сбитая, фигуристая молодая баба — Любка-оторва. Я как-то предполагала, что «оторва» — это оскорбительное понятие, но здесь оно произносится даже с каким-то подобострастием и похоже, что Любка им гордится. Все ее тело сверху донизу покрыто татуировкой, самой немыслимой: здесь и душещипательные тексты, и картинки. Художественный акцент на ягодицах: на одной изображена кошка, а на другой — мышка. Любка знает об этом эффекте и намеренно вышагивает так, чтобы кошка бесконечно ловила мышку. Авторитет Любки беспрекословен, и она тоном начальницы опрашивает каждую: «Ты за что сидишь? Ты по какой статье?». Дойдя до меня, взглядывает оценивающе и уже не вопрошает, а утверждает: «фраерша». Я не знаю, что значит это слово, но послушно подтверждаю, добавив, что «взяли за мужа». К фраершам относят и Верочку.

Когда нашу группу наконец вызывают и мы заходим в следующее помещение, то сразу тишина взрывается руганью, смехом, слезами. Мы с Верой сначала не можем понять, в чем

дело, и встаем в самый конец очереди на санитарный осмотр. Выясняется, что надзирательницы уже обнаружили у некоторых вшивость, их тут же отправляют к сидящему в углу старику, который стрижет наголо. Жертвы умоляют, плачут, одна даже пытается силой не даваться. У нас с Верой все благополучно, но оказывается, что нужно встать еще в одну очередь, ту, из которой раздаются смешки и похабщина. А это куда? И бывалая женщина разъясняет нам, что полагается брить лобок и подмышки, в целях гигиены. Уже от одного услышанного становится мерзко, но когда за толпой обнаженных женщин мы видим, как проходит эта процедура, то нас охватывает такой ужас, отчаяние, униженность, каких не приходилось никогда испытывать. Неподалеку друг от друга на табуретках сидят два молоденьких солдата с бритвами в руках и к ним-то по очереди и подходят женщины… Одни кривляются, отпускают бесстыдные шуточки, другие матерятся. Есть и безразличные, тупые: видно, все человеческое из них вытравлено. (А что творится с психикой этих солдат? Смогут ли они остаться нормальными людьми после прохождения такой «службы»?).

Верочка заходится в плаче: «Лучше подохнуть, лучше повеситься!». И этот взрыв отчаяния помогает мне обрести силы: «Перестань! Не будем унижаться перед ними. Пусть они не увидят ни одной нашей слезы». Прошли и через это… В моечной выдают по кусочку, меньше спичечного коробка, серого мыла. Наши надежды не оправдались: холодно, вода чуть теплая, и той не хватает — на человека не более двух шаек воды. Да и шайки-то — узенькие деревянные кадушки, осклизлые, тяжелые. Я была рада, что успела вымыться в предыдущей тюрьме и здешним «мытьем» могла пренебречь. Когда вышли в одевалку и здесь из жерла печки выдвинули листы с нашей одеждой, начался гвалт, крик, ругань. Наиболее нахальные бабы подскакивали к кучам одежды, выискивали что почище и покрепче и напяливали на себя. Те, что послабее, оставались с грязным чужим рваньем. Нам с Верой повезло: наше бельишко и обувь никому не пригодились, слишком мы были маленькими и худенькими. Но мое «каракулевое» пальто, с остатками шелковой оранжевой подкладки, привлекло внимание многих. Его примеряли, но оно сразу трещало в плечах и не застегивалось на талии. Во что же превратилось мое пальто! От прожарки оно порыжело, а завитки искусственного каракуля повисли клочьями. Кроме того, оно приобрело отвратительный запах жженой шерсти.

Уже под утро нас привели в главное здание и стали распределять по камерам. В нашей группе было 70 человек, и когда открыли железную дверь, то бабы с тюремным стажем

ринулись занимать лучшие места, у передней стены под окном, кричали, захватывали места для своих приятельниц, тут же сколачивались какие-то группы, компании. Те же, кто здесь был впервые, застыли на пороге, обнаружив, что для них осталось маленькое пространство у самых дверей, рядом с огромной парашей (вонючая бочка с крышкой), стоявшей в углу. Камера узкая и длинная, а в ней ничего, кроме параши: ни нар, ни стола, ни раковины — голый цементный пол. Роль командира и здесь взяла на себя Любка. По ее команде улеглись в два ряда головами к стенке, положив под голову мешок с вещами, а пальто в качестве матраса и одеяла. Вслед за уголовницами улеглись и мы, новенькие, возле двери, из-под которой дуло, и почти вплотную к параше, которая подтекала. Среди нас обнаружились три старухи, древние, седые, совершенно беспомощные. Они-то здесь за что?.. Выяснилось, что ноги лежащих в одном ряду мешали женщинам противоположного ряда. И тогда Любка велела лечь всем на правый бок, подогнув колени. Так и спали, поворачиваясь по команде. В течение ночи я просыпалась несколько раз оттого, что кто-то перешагивал через меня, добираясь до параши и обратно. Устали так, что спали несмотря ни на что, да и свет, к счастью, здесь был не очень яркий, а на рассвете и совсем потух.

Утром проснулись от шума, лязганья дверей, топанья ног по коридору. Слышно было как куда-то целыми толпами водили заключенных и возвращали обратно. Раздавался гомон, смех, команды охраны, здесь не было той мертвящей тишины, которая поддерживалась в тюрьме КГБ. Любка скомандовала, чтобы мы построились по двое, двери отворились и нас повели на «оправку» (впервые я услыхала это слово). Через длинный гулкий коридор нас привели в сортир вокзального типа. Было здесь и несколько раковин — кое-как умывались, утираясь кто чем мог. Конвоир закрывал нас на 15–20 минут, и многие женщины спешили воспользоваться этим временем, чтобы прочитать все бесконечные надписи, испестрявшие стены, и оставить весточку о себе. Это была своеобразная почта заключенных. Начальство почему-то смотрело на это сквозь пальцы.

По возвращении в камеру дежурные, назначенные Любкой, вынесли парашу, ухватившись за деревянные ручки, и приволокли обратно. От дежурства не отказывались — за это получали лишнюю пайку хлеба. Любка же взяла на себя роль раздатчицы хлеба. Ее выпускали в коридор, она там балагурила с охранниками и вносила подносы с пайками. Раздача хлеба зависела от личных отношений Любки: кому благоволила, давала горбушку, которая считалась сытнее, а тем, кто ей не нравился, — раскрошенные куски, а то могла и довесок, приколотый к пайке

щепкой, нагло бросить себе в рот. Протестовать, жаловаться никто не смел. На завтрак — кипяток и хлеб. На обед изо дня в день давали баланду из какой-то рыбешки и мелкой, размером в орех, семенной картошки. Картошка полусгнившая, сладкая, сваренная в шелухе. Уж насколько были голодные, и то не могли есть гущу. Картофельные шкурки и рыбьи кости складывали кучкой на полу, чтобы освободить миску для каши. Каша была постоянно только ячневая. И вот, пока мы ели кашу, одна старушка ползала на коленях между нами, собирала все эти очистки в свою миску и потом долго обсасывала их своими беззубыми деснами. Видеть это было тяжко и мы, не сговариваясь, стали ложкой вылавливать из своих мисок гущу и отдавать ей. Она благодарила нас как нищенка на паперти, отползала в свой угол, ела сама и подкармливала двух других старух. Некоторые женщины были местными и им приносили передачи, но тут сразу вмешивалась Любка — «раскурочивала» передачу, вытряхивала содержимое мешка и решала, что отдать хозяйке, а что поделить между своими. Причем было непредсказуемо, кому она сегодня сунет трофейный кусок. Но в общем постепенно получалось так, что не только ее приятельницы, но каждая из нас рано или поздно получала такую добавку. Когда однажды ее благосклонностъ дошла до меня и она сунула мне горбушку хлеба и пару долек чеснока, а я, сочувствуя заплаканной хозяйке передачи, пыталась отказаться, то Любка прикрикнула на меня: «Ты что, брезгуешь? Скажите, фря какая!». И я сразу смирилась, приняла подношение и поделилась с Верочкой.

Когда рассаживались все вокруг стен, то в центре камеры оказывалось пустое пространство. Днем его использовали как прогулочную площадку (очень затекали ноги от постоянного сиденья на полу), а вечерами иногда и как танцевальную, выходили навстречу друг другу две бабенки и с удовольствием «дробили», выкрикивая частушки. Потом их сменяла новая пара. Изображали и светские танцы: краковяк, танго, кривлялись, входя в роли дам и кавалеров. Все остальные напевали мелодию, а одна очень ловко наигрывала на гребенке с помощью папиросной бумаги.

Иногда вечера были грустно-лирические. Рассказывали какие-нибудь трогательные истории, а чаще пели. Охране, по-видимому, это даже нравилось. Они покрикивали на нас только в случае появления начальства, а так открывали заслонки в дверях и слушали. Случалось, в недрах гулкого коридора звучало 2–3 хора. Один был мужской и это очень вдохновляло нас. Стихийно наш хор становился многоголосым, одухотворенным и трогал до слез.

Очень мне нравился репертуар, и я с удовольствием пела вместе со всеми: «За окном черемуха…» с плакучими подголосками, трогательную песню «Сестра любимая, родная милая… пойду в народный суд, ведь я преступница…». Были в этом репертуаре и песни подбадривающие:

«Освободившись, мы выйдем на волю,
Ветер будет лохмотья нам рвать,
А чтоб быть приодетым и сытым
Мы по новой пойдем воровать».

Были и лирико-философские:

«Придет весна, природа улыбнется,
Пойдешь в зеленые поля,
Сорвешь цветок, а он запахнет…
Такая жизнь не для тебя».

Здесь не было принято проявлять печаль, уныние. Только ночью позволяли себе поплакать, а днем бравада, готовность к шутке, смеху. Любили анекдоты, не обходилось без похабщины, но больше ценилось остроумие.

Уважением пользовались те, кто уже прошел через лагеря. Их много расспрашивали, и они рассказывали о том, где им пришлось побывать, о разных лагерях, местах ссылок: в Сибири, на Востоке, в Средней Азии. Любили рассказывать житейское: о семьях, о детях, о подлых «изменниках». Мужиков кляли все, но оказывалось, что у каждой была невероятная любовь, чаще несчастная, но о которой вспоминали все-таки с удовольствием. И даже в лагерях, оказывается, случались романы. Смешная, распатланная Шурка вспоминала, счастливо улыбаясь: «Понимаете, бабочки, как встречусь с ним, хоть за углом каким, нацелуюсь досыта, а потом загонят в барак, а мне и море по колено, лежу и всю ночь только о нем и думаю…». Мне Шурка эта очень нравилась — смуглая, бойкая, в обиду себя никогда не даст, даже на Любку налетала. А уж как она рассказывала о своей «работе»! Она была специалистом по воровству вещей из вагонов. Рассказывает и сама хохочет, удивляясь тому, как у нее все ловко получалось. И мы хохочем. Ее «рабочий сезон» был летом, а в этот раз ее взяли весной, и очень уж она огорчалась — пропадет самое фартовое время. У нее была дочь Катенька, которая жила с бабушкой на каком-то полустанке. И везла Шурка дочке розовое платьице, везла и не довезла… И так уж она горевала, любуясь

этим платьицем.

По прошествии нескольких недель, когда всё друг другу порассказали, когда иссякли анекдоты, Любка обратилась к тем женщинам, которые до сих пор были молчаливыми слушательницами — к фраершам, то есть не имевшим отношения к уголовному миру, к числу которых относились и мы с Верой: «Ну-ка, рассказывайте, кто чего интересное знает! Небось, грамотные, книжек много читали». Но молчаливых разговорить было трудно. Мы просто боялись Любку. И тут Шурка вдруг обратилась ко мне (я чем-то глянулась ей): «А ну-ка, ты расскажи. Студентка, на кого училась-то?». И я растерялась. Объяснить, что такое театровед, было трудно. Пришлось рассказать о Ленинградском театральном институте, его факультетах. Слушали с большим интересом и усвоили лишь одно, что раз я училась в театральном институте, значит, артистка, должна что-нибудь представлять и их развлекать. Но одновременно зацепило их и слово «Ленинград». А когда узнали, что я блокадница, то все посерьезнели и уже расспрашивали с истинным сочувствием и вниманием. Почти весь день рассказывала я о Ленинграде, мирном и военном, все, что могла. И о том, как институт оказался в Новосибирске. Никогда у меня не было такой чуткой аудитории. Некоторые даже прослезились. А Любка тут же сделала оргвыводы: дала команду, чтобы бабы в переднем углу потеснились, и мы с Верочкой заняли место между ними, близко от окна. Правда, в результате этого кому-то пришлось передвинуться ближе к параше. Они заворчали, но Любка на них цыкнула и они умолкли. После этого меня стали чаще подкармливать кусками из передач. Было стыдно за такой «гонорар», но я принимала его. Если же учесть, что предполагаемое краткое пребывание в пересыльной тюрьме затянулось на два месяца, то это было неплохой поддержкой.

Так заступила я на роль рассказчицы. Просили рассказать что-нибудь чувствительное и про любовь. Начала я с новеллы Мопассана о фальшивом жемчуге, за который пришлось расплачиваться всю жизнь. Восприняли эту историю очень бурно, обсуждали, спорили. Тогда я вспомнила еще несколько новелл О'Генри с такими же парадоксальными ситуациями. Каждая история вызывала у них собственные житейские воспоминания, которые не уступали по остроте литературным сюжетам. Жаль, что их нельзя было записать. Каждый день от меня требовался все новый и новый репертуар, и я скоро поняла, что выгоднее вести «многосерийные» выступления, останавливаясь на самом интересном месте и давая возможность слушательницам погадать, что будет дальше. Так, частями, я рассказала и почти

изобразила одна во всех лицах «Травиату», даже пела некоторые арии. А затем огромный успех имел рассказ о спектакле «Сирано де Бержерак». Целую неделю пересказывала роман «Наши знакомые» Юрия Германа. А под конец даже приступила к «Очарованной душе» Ромена Роллана. Конечно, ни о какой глубине этого произведения не могло быть и речи, но судьба двух сестер, которые так долго не знали друг друга, их соперничество, взаимоотношения их детей заинтересовали всех чрезвычайно.

Это погружение в мир вымысла ускоряло течение времени и для слушательниц, и для меня. И два месяца в этой камере прошли незаметно. Я довольно быстро свыклась с духотой, зловонием (многие женщины страдали желудком). Примирилась и с тем, что нас больше не водили в баню (боясь последствий, мы стали искаться друг у друга, и не без оснований для некоторых). Научилась я постирушкам, в которых расходовалась одна кружка кипятка — на деревянной крышке параши раскладывалось что-либо из белья, чуть смачивалось, натиралось мылом и долго-долго терлось о доску. Остатками воды ополаскивалось. Безропотно съедали ежедневную вонючую рыбную баланду и ячневую кашу, и радовались, если от чьей-то передачи доставалась головка лука или долька чеснока.

Происходили в камере какие-то изменения, события: кого-то по непонятным причинам вызывали и отправляли на этап, взамен их присылали новеньких. Отправление на этап сопровождалось слезами, уже все свыклись здесь, сдружились. Так увели однажды Верочку. Ее место заняла воровка Шурка и окружила меня всяческим вниманием и заботой.

Однажды, когда мы утром выходили на оправку, одна из старушек продолжала спать. Начали ее будить, а она уже холодная — никто и не заметил, как она умерла. Когда вернулись в камеру, ее уже вынесли. Надо сказать, что все обитательницы камеры, с эгоизмом молодых женщин, не обращали внимания на этих старух и даже не знали, за что они сидят. Как досталось им место между дверью и парашей, так они там и ютились. Но эта смерть как будто ударила каждую из нас — ведь это чья-то мать… Только тут мы догадались оставшихся старушек перевести в теплый угол, расспросили их, за что сюда попали и знают ли что об умершей. Они ничего не могли сказать, думали, что она глухая и немая. Она молчала и только все мерзла и дрожала от холода. Они ее укладывали между собой и согревали как могли. О себе рассказали, что сыновья на фронте, а сюда попали — одна за то, что собирала с внуком колоски на колхозном поле, а другую обвинили в том, что она подожгла ферму.

Постепенно увеличивалась слабость, все реже заставляли

себя «гулять» по камере, все чаще днем спали. Прекратились наши танцы, и даже пели мы все реже. У меня стали шататься зубы и начался фурункулез. Многих мучил кашель. Вдруг объявили: «Желающие могут выйти на прогулку». Но когда нас привели на первый этаж, то мы увидели, что тюремный двор покрыт талым снегом, лужами, и никто не рискнул выйти, так как намокла бы обувь. Так потоптались в дверях, хлебнули свежего воздуха и вернулись в свою зловонную камеру.

А 2 мая 1945 года к нам вышел начальник тюрьмы с дежурным конвоем, велел построиться и начал вызывать по списку на этап. И я была счастлива, что мы с Шуркой оказались вместе.

Нам крупно повезло: отправляли этапы и на север, и в Среднюю Азию, а мы попали в лагпункт № 3, который находился на окраине Новосибирска, в районе строящегося завода им. Чкалова.

Огромная территория огорожена рядами колючей проволоки, высоченным забором с прожекторами и вышками, на которых круглосуточно маячат «вертухаи»-часовые.

Сложная система вахт и проезда машин в «зону». А внутри бесконечные ряды вросших в землю бараков, беленых известью, огромный плац, где выстраивают всех заключенных в случаях, когда начальство должно что-то объявить, и снова ряды колючей проволоки. Ближе, чем на 5 метров, нельзя приблизиться к забору — часовой вправе стрелять по «нарушителю». В дневное время лагерь будто вымирает, а вечерами, когда в ворота вводят все новые и новые отряды заключенных, которые работали вне зоны (а их тут около четырех тысяч), весь лагерь кишит как муравейник: бритые головы, серые телогрейки, тяжеленные «бахилы» на ногах. Все кажутся безликими и без возраста, просто стадо измученных двуногих… И мы вливаемся в это стадо. Получаем казенную одежду. Женщинам выдают брезентовые юбки и застиранные до потери цвета мужские рубахи — в качестве блузок. Ватник — огромный, ботинки «на деревянном ходу» сваливаются с ног, сколько ни набивай в них тряпок. Хорошо, что у меня суконные бурочки с галошами и я могу ходить в них по грязи, но ведь уже май, скоро потеплеет. Шурка утешает меня: «Приладим к галошам завязки и будешь ходить в них вроде как в тапочках».

На всей территории ни одного деревца, ни одного кустика. Да и земля вся вытоптана до полного омертвения, даже трава здесь не может жить. А люди — могут…

Женщин в лагере меньше, чем мужчин, и для них отгорожена своя зона. После отбоя нас выстраивают, долго пересчитывают и

по одной запускают в «бабью зону». Здесь несколько бараков, стоящих почти вплотную друг к другу. В каждой половине барака свое крыльцо, своя кладовка для вещей и огромная полутемная «спальня», сплошь заставленная двухэтажными нарами — «вагонками»: двое нар нижних и двое верхних соединены между собой невысокими перегородками в единый блок. Между этими «блоками» с трудом могут разойтись двое, так тесно они стоят. Свободное пространство оставлено лишь при входе, возле окна. Здесь разместились стол, скамейки. А в «переднем углу», возле беленой печки нечто неожиданное: цветастый ситцевый полог отделяет маленький закуток, в котором красуется широкая кровать с горкой купеческих подушек, небольшой комодик, заставленный какой-то пестрой ерундой и, главное, — обтрепанное кресло, в котором восседает маленькая, но очень толстая баба в ярком халате, с насурмленными[44] бровями и пышными волосами, заколотыми по-старинному, — узлом на темени. Это Сонька-Бандерша, бывшая содержательница публичного дома в Одессе. Здесь она еще с довоенных времен. Говорят, была замешана в каком-то крупном деле с перепродажей золота. Она почти не может ходить, поэтому ее освободили от общих работ и назначили комендантшей этой половины барака. Бандерша привыкла к своей роли полновластной хозяйки и, видимо, ей кажется, будто она продолжает деятельность в своем одесском «заведении». По настроению, она называет обитательниц барака то своими «девочками» и расточает всем слащавые улыбки, то вдруг звереет и кроет изощренным матом, может ущипнуть, дать затрещину (если «провинившаяся» рядом) или швырнуть в «негодяйку» миской, половой тряпкой. Перепады ее настроения зависят от того, насколько угождают ей, как обслуживают, какие подарочки и подношения делают. Вокруг нее всегда крутятся временно приближенные. Она назначает «дежурных» по бараку, и их освобождают от общих работ. Они приносят еду из столовой, обмывают и обстирывают ее, водят в сортир (он во дворе), развлекают сплетнями и разговорами. Но стоит какой-нибудь проштрафиться, как мгновенно из любимицы превращается в отверженную, и зачастую жизнь ее становится невыносимой — Сонька злопамятна и мстительна. Ее боятся и задабривают подарками.

У Шурки было курево, которым она щедро поделилась с Сонькой, да к тому же наплела ей что-то трогательное про меня, и мы сразу попали в число «приближенных». Соньке понравилось, что я из «культурных», а Шурку она зауважала как воровку «в законе», которая в обиду себя не даст. Нам было милостиво разрешено занять «вагонку», стоящую на светлом месте, в первом

ряду, неподалеку от ее кровати. Ватные тюфяки и солдатские одеяла были не слишком заношенными, и при наличии простыней (у Шурки — казенных, из серой полосатой матрасной ткани, а у меня — собственных) мы почувствовали себя обладательницами великолепных постелей и почти счастливыми. Намывшись в бане (здесь была хорошая, с горячей водой и прачечной), получив по миске пшенной каши (тогда еще не знали, что пшенкой будут кормить ежедневно), мы с наслаждением улеглись и проспали почти 12 часов подряд.

Ранним утром следующего дня начались будни, к которым надо было привыкать и подлаживаться к их ритму. Звуки сирены, извещавшие о подъеме, будто сдергивали с нар всех. Около сотни женщин спешили одновременно привести себя в порядок, заправить постели, занять во дворе очередь к умывальникам и в сортир. Толчея, крики, выяснение отношений… И над всем этим подстегивающие голоса комендантш всех бараков: «Скорей! Быстрей! Чего копаешься?». На утренние дела полагалось полчаса, но охранники могли придти и раньше, тогда приходилось бросать все и спешить на проверку. Пересчитав всех, строем вели в общую зону, к огромному бараку, где размещалась столовая. Здесь перестраивались по рабочим бригадам и в ожидании, когда бригадиры с помощниками отстоят очередь в хлеборезку, раздадут пайки, а затем запустят в столовую, работяги могли немного расслабиться. Хотя из строя выходить было нельзя, но все же сбивались в группы вокруг женщин, начиналась болтовня, треп, раздавался смех. Но вот появлялись охранники, орали на бригадиров за то, что те еще не успели накормить свою команду. Бригадиры орали на нас: «Скорей! Быстрей!..». По счету запускали группками в душную, парную, наполненную лязгом металлической посуды столовую, где, почти на ходу, съедали свою миску пшенной каши, запивая ее кружкой кипятка, и бегом спешили на построение. Снова долго пересчитывали перед вахтой — на работу за зону одновременно выводили более двух тысяч заключенных. Наконец, выходят наряды охранников с автоматами и собаками, выстраиваются с двух сторон нашей колонны. Раздается команда: «Руки за спину!» и вся масса людей вытекает за ворота лагеря, длинной змеей движется по проселочной дороге, через пустырь к виднеющимся вдали металлическим остовам будущего завода.

Мерный топот тысяч ног, окрики и ругань охранников, подгоняющих отстающих. А вокруг акварельная прелесть ранней весны! Я иду крайней в ряду и не могу насмотреться на зеленеющие кочки оттаявшего болотца, на желтые сережки ивняка, растущего вдоль канавы, на пронзительно-синие островки

медунок. Одуряюще пахнет влажной землей и молодой травкой. Воздух звенит от щебета птиц. Уже прилетели грачи…

Полностью забываю о том, где я, кто я, вся растворяюсь в окружающем, вдруг замечаю вблизи дороги маленькое чудо, мимо которого пройти невозможно, — кустик крупных фиалок! Не успев ни о чем подумать, я делаю шаг в сторону и наклоняюсь, чтобы сорвать цветы. И тут же раздается оглушительный лай. Я в ужасе вскрикиваю: на меня рвется с поводка остервенелая овчарка! Отшатнулась, чуть не упала, Шурка хватает меня за руку и втягивает в свой ряд. Бешено колотится сердце, слезы застилают глаза, будто сразу выключили все краски, запахи и звуки весны. Я снова слышу тяжелый топот сапог, окрики охраны, рычание и лай собак, а передо мною колышутся ряды спин в серых ватниках.

На стройплощадке мы с Шуркой определены на рытье траншеи. Работы здесь ведутся не первый день и траншея эта уже заглублена метра на полтора. Получаем тяжеленные лопаты, спрыгиваем вниз и сразу мою «обувку» (шерстяные носки с галошами) облепляют комья жидкой грязи. Работать в широченном ватнике трудно, а снять его нельзя: хотя и солнечный день, но ветреный и прохладный. А самое главное, оказывается, работать-то я просто не в состоянии: копну пару раз еле-еле, а вот поднять лопату, чтобы выброситъ глинистую землю на бровку, — нет сил… Пытаюсь взмахнуть лопатой — еще хуже получается, все на меня же высыпается. Женщина, работающая неподалеку, и Шурка, которая копает вслед за мной, пытаются учить меня, советуют лишь для вида копать и брать на лопату совсем немного, но и это у меня не получается. Даже пустой лопатой не могу действовать так, чтобы было похоже на работу. Проходит мимо прораб (тоже из заключенных), постоял, посмотрел. Шурка попросила, чтобы он перевел меня на какую-нибудь работу полегче, но он промолчал и ушел. Потом вернулся, через час, наверное, когда я уже совсем выдохлась и Шурка рыла и на своем участке, и на моем. Сказал, чтобы я шла вслед за ним. Привел к женщинам, которые грузили на носилки щебенку и песок. Буркнул моей напарнице, чтобы поменьше накладывали: «Видишь, какая сдохлая», — кивнул на меня и ушел. Женщина, конечно, обрадовалась этому распоряжению. Так и таскали мы с нею до обеда полупустые носилки. Но я и от этого устала до изнеможения. Да и от весеннего воздуха будто опьянела.

Привезли баки с кашей, и я хотела уже идти к Шурке, в нашу бригаду, но тут пришел прораб и сказал, что нужна ему учетчица для оформления нарядов. Спросил, грамотная ли я, хороший ли почерк. Я ответила, что студентка (не стала уточнять, какого

института), и вопрос был решен. Привел в свою подсобку — фанерный домик, показал рабочее место — колченогий стол, на котором рядом с папками документов стояли немытые миски и стаканы, и дал первое задание: растопить печурку, нагреть кипятку и вымыть посуду. А он пока за обедом сходит. С удовольствием я взялась за такие домашние дела. Когда мой шеф вернулся, в домике было тепло, полы и посуда намыты, а заодно я успела умыться теплой водой сама, высушить и очистить от грязи свою обувку.

Он принес два котелка, доверху наполненные кашей, и полбуханки хлеба да еще достал из своих запасов кусок сала и пару луковиц. Велел мне нарезать мелко, пожарить и смешать с кашей. Обед получился царский. Запивали чаем (у него и сахар был, и заварка), мирно беседовали. Он спросил, какой у меня срок и какая статья. Я сказала, что взяли за мужа, политического. «А ты была замужем? — удивился он. — А я-то думал, что ты совсем пацанка…» и как-то очень внимательно посмотрел на меня. Мне стало неприятно, и я начала собирать со стола и мыть посуду. Он молча курил, потом подошел и, похлопав меня по спине (так хозяин оглаживает лошадь), сказал: «А здорово ты отощала. Ну да ничего, побудешь здесь у меня недельку — другую, подкормишься… Были бы кости, а мясо нарастет…».

Я поняла, что мне, к сожалению, придется расстаться с должностью «нормировщицы»… Показав мне, как оформлять наряды, прораб собрался уходить и, уже в дверях, сказал, что если я устала, то могу поспать в углу, за занавеской из плащ-палатки, где стоял топчан, на котором валялся засаленный бушлат. Я очень поспешно отказалась, уверяя, что спать не хочу, хотя меня и разморило от тепла и сытного обеда. Он усмехнулся: «Ну чего ты так испугалась? Сюда, кроме меня, никто не заходит, так что можешь спокойно отдыхать». Говорил еще что-то о том, что ему обещали свежей рыбки достать и наверно завтра у нас будет уха, но я уже не слушала. Он ушел, а я перебирала никому не нужные пыльные бумажки и думала о том, как быстро оборвалась моя надежда на спокойную тихую работу. Уходить отсюда надо немедленно, не дожидаясь, пока меня «откормят» до нужной кондиции. Но куда? Как?..

Вечером, когда вернулись в лагерь, я рассказала обо всем Шурке, а у нее уже был свой план: она советовала тут же, не откладывая, идти в медчасть и попытаться добиться, чтобы меня положили в лазарет. Там и питание лучше, и отлежусь немного, а потом, может, на более легкие работы назначат. Я как-то не поверила в реальность этого: ну на что я могу пожаловаться? На то, что фурункулы замучили, что сильная слабость? Разве это

болезнь? Но Шурка настояла на своем и даже пошла сопровождать, чтобы при необходимости засвидетельствовать то, что я не могла работать, хотя старалась. Но ничего доказывать ей не пришлось. Пожилой доктор, тоже зек, определил дистрофию, фурункулез, малокровие и еще что-то: «Конечно, следовало бы лечь тебе в стационар и полечиться, — сказал он, — но у нас и так все переполнено» (больные лежали даже на матрасах в коридоре). «Освобождение от тяжелых работ с этим диагнозом здесь не дадут, — размышлял он вслух. — Запишем-ка тебе стенокардию, благо сердчишко-то уже барахлит и со временем к тому и придет… Возможность внезапных сердечных приступов с непредсказуемыми последствиями, может, и припугнет начальство…». Так записал мне добрый доктор стенокардию (не ошибся он в прогнозе: уже через несколько лет этот диагноз стал реальностью), а в связи с обострением болезни рекомендовано мне было освобождение на пять дней от работы и в дальнейшем, по возможности, «работа в зоне, без тяжелых физических нагрузок». Кроме того, снабдил он меня мазью для лечения фурункулов, а также полезными советами: например, добавлять в еду мелко порубленную крапиву. Шурка обещала нарвать на стройплощадке. Советовал еще обзавестись своей миской и ложкой, а то в столовой посуду моют плохо и легко можно подхватить всякую заразу.

Ушли мы с Шуркой от врача очень довольные — и тем, что с таким хорошим человеком познакомились и что добились хоть маленького, но успеха — пять дней отдыха! А там как-нибудь все образуется. Отдам медсправку бригадиру и пусть он придумывает мне какую-нибудь работу в зоне. Смеялись, представляя себе, какая физиономия будет завтра у прораба, когда обнаружит, что я исчезла, не соблазнившись даже обещанной ухой.

Чтоб сократить дорогу к столовой (мы опаздывали на ужин), Шурка повела кратчайшим путем: свернули за угол длинного здания лазарета и прошли через их хозяйственный двор. И вдруг обе умолкли, все оживление мигом слетело с нас: мы оказались возле старого почерневшего от времени барака, крыша которого покрылась мхом, а стены вросли в землю до самых окошек — узких, горизонтальных, как в хлеву. И вот на завалинке этого барака сидели, лежали, греясь в лучах закатного солнца, не люди, а, казалось, призраки, бесплотные тени людей… Обтянутые кожей черепа с глубоко запавшими глазницами, руки и ноги как палки. Им холодно — кутаются в наброшенные на плечи серые одеяла. Не слышно разговоров, не заметно движений — они будто спят с открытыми глазами, но молча, пристально провожают нас взглядами. И от этих взглядов становится жутко. Таких людей я

видела только в Ленинграде. Шурка объясняет: это «доходяги», те, которых комиссовали из-за полной неспособности работать. Лечить их нет смысла. Отпускать на волю, видимо, не хотят, чтобы «не компрометировать Органы». Вот и отправляют их в этот барак, где они обречены на медленное умирание. В этом дальнем углу зоны почти никто их не видит. Да и морг рядом…

Давно миновали мы этот страшный барак, стоим в очереди в столовую среди снующего взад и вперед люда, Шурка ловко отбрехивается от шуточек и заигрываний, а у меня перед глазами все те же люди-призраки из барака «доходяг» и леденящий страх на сердце. Ну, вроде мне тревожиться нечего, врач сказал, что у меня только первая стадия дистрофии и сердце почти здорово. Но ведь здесь можно незаметно «дойти» и до II-й, и до III-й степени истощения организма (какое меткое слово — «доходяга»)… От одной только пшенки, которой здесь кормят уже несколько месяцев подряд, дистрофия может обостриться. И еще неизвестно, на какую работу направят меня — в зоне выбор не так широк. «Легкой» считают женщины работу и в столовой, и в прачечной, и ремонт и побелку бараков. Страшно подумать, как осложнится лагерная жизнь с наступлением холодов. Хорошо сейчас, когда с каждым днем все теплее и мы уже сбрасываем ватники. А как осенью, зимой в этих же продувных ватниках и, по существу, без обуви? И с тем же порядком длительных поверок, построений, очередей в сортир и столовую. Да еще если работа под открытым небом? Хватит ли сил на все это?..

Погруженная в свои мысли, я не заметила, как осталась одна, без Шурки, и ко мне подошел парень, пристальный взгляд которого и ухмылка насторожили меня еще утром, когда мы стояли возле столовой. Тогда он пытался что-то острить, но Шурка быстро отшила его, а мне сказала, чтоб держалась от него подальше: он имеет уже второй срок за убийство и на работы из зоны его не выпускают, держат на строительстве административного здания для начальства. А вечерами он занимается в духовом оркестре (у начальника лагеря слабость — любит духовую музыку), за что этот тип получил кличку «Трубач».

Подошел ко мне вразвалочку этот «Трубач», изобразил на лице улыбочку и спросил любезно и вкрадчиво: «Может, подженимся? Денька на три, а?..». Я отшатнулась, заметалась в поисках Шурки. «Значит, не желаешь? Ну, ну…» — так же улыбаясь протянул он.

Вот эта сторона лагерной жизни была страшнее и голода, и холода, и работы. Очень скоро я поняла, что все женщины здесь «распределяются». Слабых мужики выбирают себе сами, более бойкие, вроде Шурки, берут инициативу в свои руки и могут

отвергнуть неугодного. Есть и такие, которые пошли «по рукам», и отношение к ним соответственное. Шурка обещала меня всячески оберегать, но надолго ли удастся ей это? Вроде ускользнула я от прораба. А теперь вот «Трубач», который целый день в зоне. И я остаюсь одна, без Шурки. Только что мы радовались маленькой удаче, и вот уже надо думать, как бы она не обернулась бедой…

Дарованные дни отдыха я отсиживалась в своей зоне и занималась шитьем. Перекроила и перешила по своему размеру ватник, закончила летнее платье, которое я выкроила из простыни еще в тюрьме. Платье получилось такое нарядное, расклешенное, с рядами черных горошин, вышитых по подолу и кокетке, что надевать его было бы просто неуместным в условиях лагеря. Покрасовалась я в нем перед Шуркой, да и убрала в мешок до «лучших времен», не подозревая, что очень скоро оно мне пригодится. Забавно, но комендантша нашего барака оказалась причастной к актерской жизни: в молодости она выступала в одесских кафешантанах. И за эти дни, пока я шила, рассказала о себе много интересного, даже исполняла весьма игривые куплеты и сожалела, что не может показать, как лихо она танцевала. Это мое платье навело ее на такие воспоминания. И вообще она прониклась ко мне большим сочувствием, узнав, что я вроде тоже «из актерского мира», хотя я и пыталась объяснить ей, чем театроведческий факультет отличается от актерского.

И надо же было такому случиться, чтобы наивное желание Шурки (а потом и Бандерши) видеть во мне «артистку» вдруг обрело реальность! На второй или третий день моего «роздыха» прибегает в барак возбужденная Шурка и буквально чуть не сдергивает меня с нар: «Бежим скорей к начальнику КВЧ! Я тебя в артистки записала!». Что такое КВЧ, я уже знаю: это культурно-воспитательная часть. Она размещается в маленькой пристройке возле столовой, и там вечерами дежурит лейтенантик, который должен нас «воспитывать». По сути же он писарь — помогает малограмотным написать кассации, а то и просто письма. Но при чем тут запись в артистки? Сопротивляться Шуркиному натиску невозможно. Иду вслед за нею и по дороге узнаю, что, оказывается, наш начальник лагеря решил поддержать «почин» какого-то северного лагпункта, где создали «агитбригаду» из заключенных, и теперь эта бригада ездит по другим лагерям и дает концерты. Говорят, что эта идея пришла в голову тому начальнику потому, что среди его контингента заключенных оказалось сразу два известных артиста — тенор из Ленинградского Театра оперы и балета Печковский[45] и знакомая многим по фильму «Музыкальная история» Зоя Федорова[46].

Вот и нашему начальнику захотелось организовать концертную бригаду.

Два вечера в помещении столовой шел просмотр «дарований». Уголовники изо всех сил старались понравиться комиссии из числа лагерного начальства: пели блатные песни, дробили чечетку. Встречались и неплохие голоса, но репертуар, но манеры!.. Были и неожиданные выступления. Так, с огромным успехом плясали брат и сестра — молодые цыгане. Их даже на «бис» вызывали. Сильное впечатление произвел уже пожилой актер, который исполнил леденящий душу «Монолог сумасшедшего» Апухтина, а затем и Бориса Годунова, в котором о «мальчиках кровавых» читал так, что мурашки ползли по спине. Молодая женщина (медсестра) пела почти весь репертуар Любови Орловой, и очень неплохо. В дуэте с нею выступил темпераментный крымский татарин — с блеском спели из оперетки «Под дугой звенят, звенят бубенчики…». А потом выяснилось, что у него богатейший репертуар: и неаполитанские песни, и романсы. Но больше всего пронял он нас, когда запел «Дывлюсь я на небо, тай думку гадаю, чому ж я не сокил, чому ж не летаю…». Такую тоску о свободе изливал он в песне, что у меня горло стискивало слезами. Да и не только у меня. Аккомпанировал всем выступающим гитарист — угрюмый молодой парень, который ни разу не взглянул на присутствующих и, казалось, сросся со своей гитарой.

Рассказывали, что он ленинградец, сидит «по Указу» и что гитару сумел силой отстоять при аресте, пронес ее через тюрьму и вот теперь, в лагере, никому не дает до нее дотронуться.

Играл он прекрасно, легко подбирая аккомпанемент в любой тональности. А в качестве сольного номера исполнил 7-й вальс Шопена и что-то из Альбинони[47]. Такая радость была слушать отличную музыку и в хорошем исполнении!

Но настоящим сюрпризом для всех было выступление человека лет 45, похожего на армянина: темные глаза под густыми бровями, большой мясистый нос на одутловатом лице, нездоровая полнота отечного тела. На вопросы комиссии отвечал так тихо и невнятно, что никто ничего не понимал. Сопровождающие его сказали, что он румын и плохо говорит по-русски. Но зато у него удивительный голос.

И действительно, когда он вышел на сцену, как-то очень профессионально занял позу, сразу преобразился, стал почти красивым и, наконец, прозвучала первая фраза из Леонкавалло: «Аврора уж солнцем блистала» (пел он на итальянском). Все замерли, такой поразительной чистоты и силы был этот голос! Такого уровня тенор можно было слышать только по радио.

Оказалось, что Форселлини (не знаю, подлинное ли это его имя) был солистом Будапештского радио, а стажировался в Ла-Скала в Милане. Уж насколько невозмутимыми были члены комиссии, но и они разразились аплодисментами и долго не отпускали со сцены этого прекрасного певца. А он, казалось, был неистощим и мог петь еще и еще, полностью отдаваясь музыке. Исполнял он арии из опер Пуччини, Верди, Леонкавалло и, под конец, он так спел «Смейся, паяц, над разбитой любовью», что казалось, будто голос прорывается сквозь рыдание и у него слезы на глазах. И за что только угодил этот Форселлини в лагерь, да еще по 58 статье? Говорили, что он бежал из Румынии от нашествия фашистов и надеялся найти убежище в Советской России… Вот и нашел «убежище» за колючей проволокой. Мне кажется, что он понимал по-русски и мог говорить, но, в знак протеста, принял обет молчания, никогда ни с кем не пытался говорить и не отвечал на вопросы. И только в пении выкладывался весь.

Я в первый вечер не рискнула выступить, да и что я могла — читать стихи? Но какие, и нужны ли они здесь? Шурка уговаривала меня все же показаться, хотя бы ради возможности освободиться от тяжелой работы. А это был серьезный аргумент — дни моего отдыха кончались и 10-го мая уже нужно было выходить на работу.

Возбужденные, мы пришли вечером в барак и, к моему удивлению, Сонька-Бандерша приняла горячее участие в моем «определении в артистки», лишь жалела, что не сумеет пойти посмотреть на меня. Уже после отбоя она увела меня с Шуркой в кладовку и там мы устроили «репетицию». Они заставили меня вспомнить и прочитать все, что я знала наизусть, и единодушно решили, что подойдет фрагмент прозы из «Войны и мира», который был подготовлен для конкурса. Лирику Пушкина они забраковали («не дойдет до нашей публики»), но очень им понравился отрывок из поэмы Твардовского «Страна Муравия» — «Перепляс»: «Гармонист ударил вдруг! Шире круг! Шире, шире! Эх, дай на свободе разойтись сгоряча… Гармонист гармонь разводит от плеча и до плеча…». Хорошо бы, конечно, чтоб этому тексту баянист подыграл. Ну да и гитарист, наверное, сумеет задать хотя бы ритм пляски. На том и порешили. Велели мне мои опекунши закрутить на тряпочки волосы, чтобы утром сделать пышную прическу. Сонька даже шпильки свои подарила ради этого. И, конечно же, было решено, что выступать я буду в своем новом платье. Недоставало обуви — не выйдешь же на сцену в галошах. Сонька пообещала мне найти подходящую брезентовую тряпку и в течение дня я сумею сшить себе тапочки.

В общем, после такой основательной подготовки мое

выступление прошло вполне успешно, и мне даже предложили взять на себя роль ведущей концерта. Вряд ли я так уж хорошо читала. Думаю, что главным стало то, что на фоне брезентовых роб и серых бушлатов мое появление в белом платье было приятным контрастом для глаза и вызвало у комиссии расположение ко мне. Был окончательно утвержден состав нашей бригады — все перечисленные выше. И хотя репертуар получался довольно пестрым, это никого не смущало. Бригадиром нашим был назначен баритон — крымский татарин. Начальник лагеря освободил нас на ближайшие два дня от работы, велел репетировать, искать новые номера, подумать над сценками и драматическими отрывками (дал томик Чехова). А с понедельника предполагалось начать нашу концертную деятельность: выступить сначала у себя, а потом нас будут возить по другим лагерям с концертными программами. Начальнику (явно тяготевшему к искусству) хотелось, чтоб к нам еще присоединились хотя бы некоторые участники духового оркестра, но это не удалось: ни у кого из них не было сольного репертуара, да к тому же большинство из них не имели права выхода за зону.

Так, с помощью все той же Шурки, определилась моя лагерная жизнь. Как же я была благодарна ей! Что бы я делала без нее даже и подумать страшно. Мало того, что я освобождалась от непосильной физической работы, но, главное, у меня появилась надежда, что в одном из лагерей, где нам придется бывать на гастролях, я встречу Арнольда.

Радостно было на следующее утро не спешить в ряды тех, кто строился возле вахты для выхода из зоны на работу. Если б не забор вокруг и вышки с часовыми, можно было бы забыть о том, что мы несвободные люди. Совсем как «вольные» собрались восемь человек в тесной комнатке КВЧ для того, чтобы заняться интересным и приятным делом. И ничего, что в состав этой группы входили люди разного возраста, разного культурного уровня, и очень различными были причины, приведшие их в лагерь (об этом говорить избегали), но с момента первой репетиции я стала ощущать себя в коллективе, а значит, защищенной от внешнего, враждебного мира, да так это и было. Например, наши плясуны цыгане обеспечили полную сохранность нашего имущества. Если случаи воровства считались в лагере чуть ли не повседневностью, с которой бессмысленно бороться, то нашей группе будто была выдана охранная грамота, и ни у кого из нас не пропало ни мелочи. Даже когда однажды у кого-то исчезла из-под изголовья пайка хлеба, то на следующее утро появилась там снова. И мы знали, что обязаны этому нашим цыганам, так сказать, воришкам по призванию: они не гнушались

стащить что-либо на стороне, но у «своих» — никогда. Да еще и других отваживали какими-то только им известными методами.

Так же ограждали нас, трех женщин, от притязаний посторонних. А внутри группы создались нормальные товарищеские отношения. Правда, вскоре я поняла, что у нашего бригадира давний «роман» с солисткой и «спелись» они с нею не только в дуэтах, а красавец-цыган время от времени находит себе каких-то девочек «на стороне», но это меня не касается. Главное, я знала, что стоит мне пожаловаться на «ухаживания» кого-то, и мужчины нашей группы быстро поставят его на место. Да и жаловаться не было необходимости — они ревниво следили за нами, и стоило кому-либо проявить к нам внимание, как по собственной инициативе отшивали «нарушителя спокойствия». Так от меня быстро отстал «трубач». Как-то столкнулась в столовой с прорабом: «Значит, в артистки подалась? Ну, ну…» — усмехнулся он, отошел и тоже больше никогда не подходил.

В первый же день существования нашей бригады мы не только отрепетировали всю программу концерта, но и почти полностью решили проблему с «театральными» («эстрадными»?) костюмами. Сразу же было очевидно, что появляться на сцене в наших повседневных «робах» да еще и в тяжеленных «бахилах» на ногах невозможно. И если у женщин хватило фантазии и возможностей, чтобы как-то преобразить свой облик (помогли и подружки, одолжившие кто блузку, кто косыночку), то с мужчинами было сложнее. На первом организационном собрании начальник КВЧ сказал, что об этом администрация тоже размышляла, и пока принято такое решение: всем нам сошьют в сапожной мастерской легкие тапочки, а из лазарета можно взять пижамы и соорудить из них нечто «эстрадное». Все это нас очень воодушевило. Пижамы достались из гладкого синего сатина, а две были коричневого цвета. Наш бригадир очень хотел, чтобы их костюмы хоть чем-то напоминали джазовые — брюки-клеш, какие-нибудь цветные лацканы… В общем, чтоб сразу было видно, что это не повседневная одежда. Задача была не из легких, и мы, три «артистки», превратившись в портних, долго ломали голову над ней. Кто-то подсказал обратиться за помощью в «малую» лагерную швейную мастерскую, в которой шили не ватники и стеганые штаны, как в «большой», а платья для жен начальства. Эта мастерская оказалась небольшой комнатой, пристройкой к зданию возле вахты, где размещалось начальство, и работали там всего пять женщин. Тут же, за большой ситцевой занавеской стояли их койки, поэтому они почти не выходили в зону и жили обособленно. Даже еду носили себе из столовой и грели ее на печке. Если б не эта театральная эпопея, то мы бы

никогда не узнали о существовании в лагере такого уютного уголка. Встретили нас очень хорошо, напоили чаем из самовара, показали, какие нарядные вещи они шьют. Так интересно и грустно было разглядывать крепдешиновые, шелковые платья, костюмы, кофточки, будто все это из другого мира. Швеям не рекомендовалось поддерживать знакомства с заключенными, их клиентки были высокомерными, капризными, поэтому в своей изоляции они были рады нашему появлению, нашей болтовне и с удовольствием помогли в перешивке костюмов. Мы были удивлены, как ловко это им удалось. Прежде всего они велели снять мерки с наших мужчин и быстро подогнали размеры синих пижам по фигуре. Резинки в брюках заменили поясами, пиджаки приталили и подложили плечи. А декоративное оформление и совсем преобразило эту бывшую больничную одежду: снизу брюки были расклешены за счет коричневых клиньев (пригодились коричневые пижамы) и такими же стали отвороты пиджаков, причем их поставили на жесткую подкладку, прострочили красивым орнаментом, а по краю отворотов и клиньев проложили желтый кант. Первый же готовый костюм мы с триумфом принесли в КВЧ, где репетировали наши солисты, и когда гитарист облачился в новую форму, то были поражены тем, как он похорошел. А он, всегда такой мрачный, вдруг заулыбался, и это было самой большой наградой. Ведь этот парень с некоторых пор совсем замкнулся, и уже опасались за его психику, но об этом скажу позднее. До позднего вечера мы провели в швейной мастерской, а к утру мастерицы обещали закончить всю работу и отгладить костюмы. Так подробно говорю о всех этих, казалось бы, мелочах, все они запали в память оттого, что следующее утро было 9 мая 1945 года.

Уже все последние дни были наполнены ожиданием конца войны. Подшивку газет в КВЧ зачитывали до дыр: наши уже в Германии! Бои идут в Берлине! Союзники громят фашистов с трех сторон… Но в то, что день Победы совсем слизко, не верилось.

Еще ранним утром, когда мы побежали в мастерскую отглаживать костюмы, обратили внимание на то, что возле вахты задержали выход работяг из зоны. То строили, то пересчитывали, то объявляли команду «вольно», и конвоиры явно ожидали каких-то распоряжений свыше.

Наконец, по мегафону объявили построение всего лагерного контингента, повернули колонны на 180 градусов и повели всех на плац, где на трибунке уже стояло начальство. Из всех мастерских, прачечных, кухни бежали опоздавшие и пристраивались в задних рядах огромного каре. Рядом с трибуной разместилась охрана и вольнонаемные. С недоверием и надеждой

по рядам пошел шепоток: «Неужели война окончилась? Неужели мир?». Вдруг врубился репродуктор, вокруг которого суетились связисты, и раздались ликующие звуки оркестра, возгласы, шум толпы — шла передача из Москвы! И все начали обниматься, кидать вверх шапки, кричать «Ура!». Начальник лагеря еле успел зачитать текст Пакта о капитуляции Германии, как тут же весь шум перекрыл прекрасный бас Левитана и поздравил всех граждан Советского Союза с Победой!.. Значит, и нас поздравил… Смеялись и плакали одновременно. Ряды расстроились, никто не мог устоять на месте. Объявлено было, что по случаю праздника Победы все работы на сегодня отменяются, а после обеда в столовой будет кино и другие «культурные мероприятия».

Лагерь стал походить на развороченный муравейник. Все куда-то спешили, объединялись в группы и тут же разбегались, чтобы встретиться с кем-то еще. Хотелось и поговорить с людьми, и в то же время побыть наедине с самим собой. Каждому было, что вспомнить, кого помянуть, о чем поплакать. И, главное, била по нервам музыка, песни, льющиеся из репродукторов. Казалось, что мы вместе со всеми, что забора не существует… Музыка, от которой отвыкли, доводила до какого-то восторженного опьянения, но одновременно мучила до слез. И когда через некоторое время репродуктор умолк, то даже с облегчением восприняли тишину: в таком напряжении невозможно было находиться долго.

И такими домашними и умилительными показались звуки неслаженного духового оркестра, который разместился возле барака столовой и заиграл нехитрые краковяки и вальсы. Неловко, будто все во сне, толкались на пыльной площадке танцующие пары. Кто-то из женщин достал кусок кумача и начал награждать танцующих маленькими бантиками. С детской радостью прикрепляли взрослые люди к пуговице рубашки алое пятнышко и чувствовали себя орденоносцами. Охранники стояли в стороне, курили и никому не делали замечаний. Кажется, впервые на их лицах был не собачий оскал, а обычное человеческое любопытство.

Не сговариваясь, вся наша агитбригада собралась в КВЧ: ведь если упоминалось о «культурно-массовых мероприятиях», то это касалось и нас. Наш бригадир был отправлен на переговоры с начальником лагеря — мы готовы были сегодня же вечером дать концерт. Разрешение было получено, единственным сомнением у начальства был вопрос: «А как быть с костюмами?». Когда же им сообщили, что костюмы уже готовы и даже наглажены, то откровенно изумились нашей активности и дали команду написать афишу о концерте, который был назначен сразу после

ужина.

Весь этот день прошел, как в угаре. Срочно дорепетировали и уточняли программу, одалживали обувку (в сапожной мастерской еще не была готова), мылись, гладились, сооружали прически. Успели (урывками) посмотреть после обеда фильм-сказку «По щучьему велению» и получили огромное удовольствие. А вечером в битком набитом бараке состоялся наш первый концерт.

Только мы появились на сцене, еще и слова не сказали, как зрители разразились аплодисментами. Видимо, сам факт, что на фоне серой однообразной жизни вдруг появилось для глаза нечто «праздничное», непривычное, воспринималось как приятный сюрприз. Так расположили мы публику к себе уже просто своим внешним видом — недаром потрудились над костюмами. Даже начальство, занявшее первый ряд, выразило свое одобрение. Затем и каждый очередной номер принимался на «ура». Ну, что касается плясок, песен — это понятно, это доходит до всех. А вот за свое выступление — чтение отрывка из «Войны и мира» — я очень волновалась. Будут ли слушать, нужно ли это здесь?.. И уже с первых строк убедилась, что тревога была напрасной. Каждый из сидящих в зале воспринимал рассказ Толстого как свою заветную мечту о том дне, когда и он перешагнет порог своего дома и его встретят близкие, родные… Слушали, затаив дыхание. Аплодировали искренне, не хотели отпускать со сцены. Да и каждого из нас не отпускали со сцены без дополнительного номера, исполненного сверх программы. Хорошо, что у меня про запас был подготовлен «Перепляс» Твардовского. Гитарист виртуозно аккомпанировал, подхватывая все смены плясовых ритмов, и успех был полный.

Но, разумеется, гвоздем программы было выступление нашего солиста — Форселлини. По существу, он исполнил целое концертное отделение первоклассной мировой классики. И не важно, что текст для многих оставался тайной — пел он на итальянском, — но музыка и голос покорили всех. Даже самые дремучие зрители, которые, может быть, и на концертах-то никогда в жизни не были и слушали такое впервые, — но и они оттаяли, просветлели их лица, так как почувствовали, что соприкоснулись с настоящим мастерством исполнителя и еще с чем-то высшим, неведомым им, но прекрасным.

А пел Форселлини с наслаждением, казалось, ничего не видя вокруг и полностью отдаваясь музыке. Что-то виделось ему, перед его внутренним взором: концертные залы Рима, Будапешта, оперная сцена Милана?..

Когда концерт закончился и мы вышли на общий поклон, то Форселлини куда-то исчез. Бросились искать его за кулисами и

нашли в дальнем углу, у пыльного зарешеченного окна, из которого была видна вышка часового. Лицо его было залито слезами. Мы обняли его, расцеловали, говорили какие-то слова, которых он наверное не понимал, и почти силой вытащили на сцену к восторженным зрителям. Он растроганно кланялся, смущенно улыбался. Убеждена: этот день, этот концерт он запомнил на всю жизнь. Да и каждому из нас он врезался в память до мельчайших подробностей.

* * *

А потом начались гастрольные будни. Сопровождал нас конвой из четырех человек. Возили нас по лагерям в радиусе, вероятно, двухсот-трехсот километров. Сколько же их было вокруг Новосибирска! И большие, и маленькие, и промышленные, и сельские.

В зависимости от того, какие попадались охранники, поездки эти иногда были мучительно-унизительными, а иногда даже и приятными. На вокзал нас привозили в «воронке», сгружали где-нибудь у грузовых платформ, где нет народу, и размещали в служебном вагоне или товарняке, который потом прицепляли к составу. Никогда не знали, куда именно едем. Изредка удавалось заметить название станции. Кормили в дороге плохо, иногда за весь день только кипяток да пайка хлеба доставались. Но все равно так интересно было ехать в незнакомые края, глазеть на проплывающие мимо поселки, на привокзальную суету во время остановок.

От станции назначения до лагерей добирались на машине, а нередко и пешком. И было большой радостью шагать по проселочным дорогам, по полям. Деревни, поселки обходили стороной. Лето наступило быстро — знойное, цветущее. Иногда, особенно на привалах, где-нибудь в тени деревьев, на берегу ручья забывалось о лагере, о подневольном состоянии, и только обостренное впитывание в себя, запечатление в памяти каждого встреченного дерева, куста, цветка, птицы, бабочки и кузнечика… А как хотелось запомнить, нарисовать, унести с собой бескрайние поля, холмы, перелески, березовые колки, синеющие дали, излучины рек, жалкие деревушки на их берегах и скучные унылые села, тянущиеся вдоль пыльного тракта. Я и сейчас могу мысленно увидеть эти ненарисованные картины.

Так же впечатались в память и лагеря, в которых пришлось побывать. При всем общем для них — заборы, вышки, бараки — в каждом было и нечто свое, неожиданное. Так поразил нас крохотный лагерь, где всего-то находилось около полсотни женщин-доярок (это, видимо, был «филиал» какого-то большого лагпункта). И не было там даже забора, а только загон для коров

да несколько изб. Мы и концерт давали на крылечке новой избы, где разместились человек десять охраны. Неплохо им, видимо, здесь жилось: и молоко, и огород, и женщину любую можно использовать…

После концерта благодарные зрительницы напоили нас молоком, накормили картошкой с зеленым луком (!) и, пользуясь благодушием конвоя, разбрелись мы вдоль тенистого берега речушки, дугой огибавшей лагерь. Купаться в ней было нельзя — вся заросла осокой, но так блаженно было поваляться в высокой траве, смотреть в облака (те самые, которые «вольные странники»), слушать, как хрумкают пасущиеся рядом коровы… В густой зелени возле реки впервые увидела огромные, совсем как садовые, малиновые пионы, их здесь никто не сажал, не сеял — растут себе просто от щедрот земли сибирской. Какая же здесь могла быть прекрасная жизнь! И что сделали с этой землею люди… Так и запомнился этот лагерь, как «райский уголок», из которого нельзя уйти и на полкилометра: заборов нет, но у местной охраны есть автоматы, мотоцикл и две немецкие овчарки…

Находился этот лагерь, как мне кажется, где-то неподалеку от города, в районе Инской железнодорожной ветки. Проезжала я несколько лет назад в тех краях на машине, и вдруг что-то в сердце дрогнуло, будто узнала тот «райский уголок».

И тут же возникает в памяти другой лагерь, тоже недалеко от Новосибирска — Искитимский. Уже с утра было изнуряюще жарко. Долго вели вдоль окраин пыльного поселка, затем иссушенным полынным полем. Ни куста, ни деревца. Только вдали на вершине холма смутные очертания лагерного забора. Когда подошли ближе, то зной будто усилился, стал невыносимее от того, что скудная трава была покрыта пылью, а стены лагеря ослепляли известковой побелкой. Долго держали у вахты, охранники не смогли договориться о приеме нашей группы и, матерясь и ругаясь, погнали нас обратно к жалким кустикам вдоль пересохшей канавы. Там сделан был привал: предстояло дожидаться вечера, когда работяг будут запускать в зону и нас вместе с ними. Изнуряющий зной, жажда, воздух, пропитанный известковой пылью, от которой першило в горле. Головы закутали тряпками, заползали в кусты, пытаясь хоть немножко укрыться в тени. Конвоиры по очереди уходили в лагерь, как мы поняли, — умыться и напиться. Но хоть бы один догадался принести ведро воды… А когда багровое солнце стало сползать к горизонту, вдали показалось облако пыли. Оно медленно плыло вдоль дороги, приближаясь к воротам лагеря. Наконец, стали различаться тени людей, белые тени, опорошенные известковой

пылью. Согбенные, как старики, автоматически двигались они в клубах пыли, подымаемой тысячью ног. Это был лагерь штрафников, где все работали на известковых карьерах.

Нашу группу пристроили в конце колонны, и когда ворота захлопнулись за нами, стало страшно: а вдруг никогда больше не выйдем отсюда… Возле вахты задержались — охранники договаривались, где разместить нас до концерта. Здесь не было общей зоны, а лишь узкий коридор между белеными заборами, окутанными проволокой: с одной стороны мужская зона, с другой — женская, и работяг сразу разводили по своим баракам.

Мы еще долго стояли в раскаленном проходе между двумя зонами, как вдруг из двухэтажного здания с зарешеченными окнами раздался истошный женский вопль: «Ленечка! Родненький!..». Мы еще не успели ничего понять, а наш гитарист, как от удара хлыста, метнулся куда-то вперед, будто спасаясь от этого крика. Охранники втолкнули его обратно в наш ряд и погнали всех вперед. А в зарешеченном окне второго этажа БУРа [50]бесновалась и плакала женщина: «Это же Ленечка! Мой Ленечка! Да пустите же меня, дайте хоть поглядеть на него!..».

Нас быстро развели по зонам, и в женском бараке я узнала историю, в которой уродливо были переплетены, с одной стороны, любовь, с другой — ненависть.

Оказывается, женщина, которая кричала из окна БУРа, Фроська, раньше находилась в нашем лагере. И, когда встретила там гитариста Ленечку, без памяти полюбила его. То ли он своей игрой поразил ее (говорили, что она всегда плакала, когда ей удавалось слушать, как он играет на гитаре), то ли своей суровой замкнутостью, чистотой, тем, что он был из другого, незнакомого ей мира… Она не знала, чем и как выразить ему свое чувство, передавала ему какие-то дурацкие записочки, подарки, ходила за ним следом и добилась того, что он сначала всячески избегал ее, а потом возненавидел. История эта стала достоянием всего лагеря, кто-то из начальства бросил фразу: «Тоже мне Ромео и Джульетта!». Мужики начали обзывать Фроську «Жулька-Жульетта», видимо, предполагая, что это собачья кличка. А она, действительно, как собачонка бросалась на всех своих обидчиков и готова была горло перегрызть любому, кто задевал ее Ленечку. В своей дремучести она не знала, что делать с обрушившимся на нее таким возвышенным чувством, и ей казалось, что если бы у нее была возможность хоть однажды побывать со своим героем наедине и объяснить, как велика ее любовь, он бы все понял и полюбил ее. И она подстроила так, что однажды, когда Леонид оставался в зоне (а она работала в прачечной), ему сказали, чтоб он зашел в сапожную мастерскую.

Когда он туда пришел, его втолкнули в кладовую, где хранились кожи, и закрыли снаружи на защелку. В этой кладовой его поджидала Фроська… Дверь открыли только вечером…

На следующий день Леонид исчез. Думали, что он сбежал во время работы. На стройплощадке был объявлен розыск, прочесали все близлежащие районы, но найти его не могли. Фроська билась в истерике, рвала на себе волосы, кричала, что если что с ним случится, то и она жить не будет. Только через три дня, когда стали думать о возможности самоубийства и пустили овчарок по всей территории лагеря, Леонида обнаружили — живого, изголодавшегося, на чердаке пожарного сарая. Сколько он собирался там отсиживаться и чего хотел добиться, непонятно. Но то, что в любом случае это могло быть приравнено к побегу и влекло за собой дополнительный срок, он, конечно, понимал.

Этот случай произвел на всех такое впечатление, что даже начальник лагеря ограничился лишь собеседованием с Леонидом. Но зато Фроську решено было убрать с первым же этапом. Понимая, что она будет бешено сопротивляться, ее об этом не предупредили. Конвоиры пришли за нею в барак утром, когда она еще только подымалась, и дали команду собираться с вещами. Она, схватив лишь ватник, как была в рубашке и чулках, выскочила из барака и бросилась бежать в общую зону, крича и плача, что пусть ее лучше пристрелят, но отсюда не уйдет. Охранники бросились ее догонять, к ним присоединились заключенные — это превратилось в развлечение. Кто-то успел схватить ее, но она сбросила ватник и понеслась дальше по талому снегу (дело было ранней весной). Наконец, ее окружили, загнали в тупик и мужчины с гоготом и смехом затолкали ее в большой мешок, завязали и бросили на телегу. Через весь лагерь лошадь провезла этот живой груз — визжащую, изрыгающую проклятья, связанную по рукам и ногам женщину… Очевидцы вспоминали, что тогда смех пропал. Наверно, и до самых дремучих тогда дошло, что на их глазах произошло надругательство над таким человеческим чувством, которое далеко не каждому дано узнать. Леонида после этого оставили в покое. Он совсем замкнулся, стал озлобленным и явно ненавидел всех женщин, не хотел их даже видеть. А было ему всего двадцать.

История Фроськи была известна начальству Искитимского лагеря, и после известия о предстоящем концерте были приняты меры: Фроську на всякий случай заперли в БУРе. Каково ей было знать, что ее не только лишили возможности услышать игру Леонида, но даже увидеть его, видимо, последний раз в жизни…

В Искитимском лагере, где все было пропитано известкой, где

лица и руки работяг были изъедены известковой пылью, самым трудным была нехватка воды. Зачастую нельзя было не только помыться как следует, но даже не хватало воды и для питья. Жутким было и то, как здесь стремились вытравить из людей все человеческое: слепящая белизна бараков, выбеленных не только изнутри, но и снаружи, утрамбованная до каменной безжизненности земля, на которой ни кустика, ни травинки — дежурные должны были выпалывать любой зеленый росток. Мужчины и женщины видели друг друга только на утреннем разводе при выходе из зоны и при вечернем возвращении с работы. Пресекалась любая попытка к общению, к разговору. В столовую водили строем и тоже раздельно. Начальство, видимо, ломало голову, как провести наш концерт: нельзя же женщин и мужчин посадить рядом. Появилась даже идея, чтобы показать программу дважды. Но было уже позднее время, поэтому всех разместили в столовой: мужчин вдоль правой стены, женщин — вдоль левой, а по широкому проходу ходили взад-вперед конвоиры.

Как прошел концерт, совершенно не помню, но ясно остался в памяти ребенок лет двух, еще только начинающий ходить и говорить. Дело в том, что в женской зоне был выгорожен закуток вокруг одного барака, где жили женщины с детьми, — проштрафившиеся, умудрившиеся родить в лагере. Дети были при них до трехлетнего возраста, а потом их забирали. И вот эти ребятишки забредали иногда в мужскую зону, и мужчины развлекались, играли с ними, как могли. Вероятно, у некоторых из них эти дети будили какие-то человеческие чувства, но вот проявлялись они на уровне этой уродливой, искалеченной жизни. Я видела, как малыша кольцом окружили мужчины, которые от души хохотали над тем, что ребенок старательно повторял за ними отборнейшую матерщину. Слово «мать» ребенок впервые произносил только в похабном смысле. Какие люди могли вырасти из этих детей?

Всего неполные сутки провели мы в этом лагере, однако этот короткий срок лег камнем на душу. Когда перед нами наконец-то открыли ворота, мы невольно ускорили шаг: было страшно, вдруг они снова захлопнутся. Втянув голову в плечи, согнувшись, прячась за наши спины, сбегал из этого лагеря Ленечка — боялся вновь услышать крик. Но его на этот раз не было: Фроську перевели куда-то в глубь лагерной зоны.

Много лет спустя я узнала, что Арнольд находился в этом лагере несколько месяцев.

Лето 1945-го

Несколько десятков лагерей увидела я за это лето, и каждый раз с замиранием сердца подходила к новым воротам: а вдруг здесь встречу Арнольда. Представлялось, как он неожиданно увидит меня на концерте… Но для страховки, помимо возможности встретиться с помощью концертов, в каждом лагере наши цыганята еще до выступления через своих сородичей (а они были во всех лагерях) узнавали, не слышал ли кто об Арнольде Бернштаме, не был ли кто с ним на этапе, в тюрьме. А к концу выступления уже получали ответ, к сожалению, отрицательный: не встречали, не знали… Я уже совсем отчаялась. А лагеря продолжали мелькать, как листки календаря. В каждом мы не задерживались больше суток. Затем возвращались на пару дней в свой лагерь, давали концерты и вновь нас везли куда-то.

Нужно было обновлять репертуар, но книги, тексты, ноты негде было достать. Однажды нас отправили в лагерь, где, как нам сказали, находится артист-режиссер, который может позаниматься с нами[48]. Это был небольшой лагерь в степной зоне, где-то на окраинах Барабинска. Режиссер оказался студентом Ленинградского университета, арестованный еще накануне войны и имеющим 58 статью (Юрий Магалиф). В лагере он уже несколько лет выполнял роль заведующего культурно-воспитательной частью, поэтому жил в маленьком домике, который был и клубом, и библиотекой, и его «кабинетом». Он действительно помог обновить наш репертуар, так как много стихов и песен знал на память. Поставил с нами водевили Чехова, в которых были заняты все — и вокалисты, и танцоры. Только Леонид отказывался от всех ролей, но зато был безотказным музыкантом-аккомпаниатором. Мы не только давали концерты для этого лагеря и двух соседних, но и под видом репетиций проводили вечера поэзии для собственного удовольствия. Наш режиссер оказался прекрасным чтецом. Так, он часами мог читать Блока, Есенина, Пушкина, а Ленечка аккомпанировал ему, возрождая мало известный мне жанр мелодекламации.

Лето 1955 г.

Как ни поглощены мы были своей концертной деятельностью, но конечно же все наши мысли были связаны с амнистией — ждали ее со дня на день. И, наконец, дождались: в это утро были включены репродукторы. Весь лагерь, затаив дыхание, слушал длинный перечень статей, подлежащих освобождению. В основном под амнистию попадали уголовники со сроком до трех лет. Я мало рассчитывала на удачу: срок подходит, но вот статья… И действительно, когда начали перечислять статьи, приближающиеся к 200, диктор назвал статью 193, п. 17 и замолк… А у меня статья 193, п. 17а. За этой маленькой буквой скрывалось очень многое — «преступление перед военной организацией».

Весь лагерь мгновенно разделился на две группы — счастливых и тех, кого счастье обошло. Из нашей концертной бригады уходили на волю брат и сестра цыгане (а каким цыганским песням они нас научили!). Совершенно неожиданно что-то засчиталось нашему гитаристу Ленечке, и мы увидали, как он умеет улыбаться. Сама процедура освобождения раскручивалась медленно, со скрипом, по два-три месяца томились счастливцы в ожидании оформления документов. Отчаянная апатия, депрессия навалилась на тех, кому не повезло. Я тоже чувствовала, как у меня пропадает интерес ко всему, даже к выступлениям. Как теряю надежду на встречу с Арнольдом. Со страхом размышляю об осени и зиме. Не радостью, а горечью обернулись первые письма, полученные от мамы: она

подбадривает меня, но я же знаю, как ей тяжело. Уже демобилизовался папа, но от него ни слова. И я понимала: он не может мне простить того, что в то время, когда девушки моего возраста помогали фронту, делу Победы, я ушла из военной части в общем-то «по собственному желанию». А он очень одобрил, когда узнал, что я начала службу, пусть и вольнонаемной, но на фронте, в частях БАО. И мое поступление в ненавистный ему театральный институт, и мое замужество, и завершением всего еще и тюрьма… Конечно же, все это не могло не возмущать папу, и хотя он не знал, в чем моя вина, но я убеждена была — считал меня виновной. А если бы узнал подробности и причину моего ареста, то тем более счел бы меня преступницей, так как усмотрел бы во всей моей истории лишь «обман государственных органов ради своих личных целей». Примерно так я представляла себе отношение отца к себе в то время и, как выяснилось позднее, не ошиблась в этом. При встрече в Ленинграде он почти этими словами и высказал мне все. А мама в своих письмах старалась не говорить о папе, о том, почему он мне не пишет. Лишь упомянула, что он все еще не устроился на работу, и я поняла, что у него, видимо, неприятности из-за меня по партийной линии. Прислала мне мама посылочку: белье, резиновые боты, что-то из съестного, сухофрукты, печенье, но при досмотре все перевернуто, высыпано из аккуратных маминых мешочков и, по-видимому, наполовину уворовано. И так горько было над этой посылкой. Каково маме было собрать ее, отправить — ведь жизнь была в Ленинграде все еще на грани голода. Угнетало и то, что приближалась осень, зарядили дожди, и поездки наши с концертами зачастую сопровождались скитанием по грязным, раскисшим дорогам, ночевками в холодных бараках, многочасовыми ожиданиями транспорта на продувном ветру и прочими тяготами кочевой жизни. Единственное, что поддерживало силы, — все еще теплящаяся надежда на встречу. И в одном из лагерей состоялась встреча, но совсем не та, которую я ждала.

В одном из лагерей Томской области по окончании концерта мы за кулисами собирали свои пожитки, костюмы. Еще не прошло возбуждение от горячего приема зрителей. С легкой руки наших цыганят, которые вот-вот должны были уйти по амнистии, мы во втором отделении концерта изображали цыганский табор. Здесь, конечно, и цыганские пляски, и песни (которые мы исполняли на псевдоцыганском языке), и сценка из пушкинских «Цыган», но главным было наше искреннее увлечение этой таборной стихией. Даже суровый Форселлини и наш гитарист обряжались в яркие ситцевые рубахи, пристукивали каблуками и с удовольствием

пели в цыганском хоре. Женские костюмы тоже соответствовали штампу цыганщины: насборенные юбки, яркие шали из черного сатина, расшитые аппликациями ярких сказочных цветов, — все это воспринималось зрителями с большим одобрением. Но еще большее удовольствие от этих выступлений получали мы сами.

И вот после сценки, где мы изображали беспечную и свободную жизнь цыганского табора, когда еще хотелось смеяться, петь и не вспоминать ни о чем плохом, мне сказали, что возле двери меня ожидает какая-то женщина. Сердце заколотилось — неужели весточка от Алика?.. Выскочила на крыльцо, навстречу по лестнице поднимается, качаясь, пьяная опухшая баба. Я застыла в недоумении, а она медленно подняла голову, уставилась на меня и вдруг начала хохотать: «Ха! Значит, и тебя наша дорогая подружка заложила! А мы-то, дуры, всю душу ей выкладывали! Ну и дуры же мы были, ну и дуры!..» Изнемогая от смеха, она опустилась на ступеньку. Я ничего не поняла, подумала, что произошла какая-то ошибка. Женщина, закрыв лицо руками, пьяно раскачивалась, бормотала что-то. И тут только, обратив внимание на ее всклокоченную рыжую гриву, я вдруг догадалась, что это Рыжая Райка, студентка мединститута, бывшая приятельница Женьки Лихачевой! А все сказанное относится к ней — моей любимой Женечке! Разговаривать с Райкой было невозможно: она то смеялась, то ругалась по-черному. Ее почему-то очень развлекало то, что она не одна попалась на этот крючок. Узнала я лишь, что Женька — сотрудник Органов, «сексот» и, как говорят, очень преуспевает там…

Эта встреча будто раздавила меня. Чему же и кому можно верить? Зачем Женьке, молодой девчонке, это было нужно? И как живется ей теперь, когда она знает, что столько людей погублено ею?..

А между тем из лагерей продолжали отпускать людей по амнистии. Распрощались мы с цыганятами, дошла очередь и до Лени-гитариста. Пошли всей бригадой провожать его до вахты и впервые увидели, что он может быть веселым, смеяться, шутить, будто помолодел на наших глазах и стал действительно двадцатилетним. Видно было, он еще не верит, что сейчас будет свободен, и в то же время ему было жалко оставлять нас, даже неловко будто. Он и мы еле сдерживали слезы. И так славно, что он догадался достать из чехла свою неразлучную гитару и ударить по струнам, и мы тут же подхватили бойкую песенку: «Не зевай, не горюй, посылай поцелуй у порога. Широка и светла перед нами легла путь-дорога…» — много оптимистических песенок было в те годы. И так дружно мы пели, как будто

каждому из нас впереди открывалась светлая путь-дорога. Но в это время из-за угла шагнул охранник: «Вы чего тут распелись? Марш отсюда!». Мы бросились уговаривать его:

— Ведь товарища провожаем, он сейчас уходит, уже пропуск на вахте…

— Ну и что с того, не положено здесь песни орать. Вот выйдет за ворота, там пускай и орет.

Меня эта бесчувственность так расстроила, что я подбежала к охраннику и начала убеждать: «Неужели вы ничего не понимаете? Неужели вы не человек?..». Почему-то эта фраза особенно его обозлила: «Что?! Я — не человек? А ну руки за спину и марш в БУР!». Ребята пытались отстоять меня, уверяли, что я не хотела его оскорбить, но все было напрасно. Так закончилось наше прощание с Леонидом. Оставил он нам щедрый подарок — свою гитару. (Гитару-то оставил, да кто заменит его). А когда меня конвоир уже вел мимо вахты, я сквозь решетку ворот увидела Ленечку. Он, размахивая руками, отплясывал посреди дороги что-то дикое и выкрикивал слова нашей бесшабашной песенки:

«…Веселей гудок горластый
В путь-дорогу подгоняй!
Тот оценит слово «здравствуй»,
Кто сумел сказать «прощай».
Не зевай! Не горюй!..».

Я рассмеялась, да так и прошла через весь лагерь, будто меня к награде представили, а не в БУР ведут. А заведение это к радости не располагало. Размещалось оно в огромном старом бараке, почти по самую крышу ушедшем в землю. Через маленькие зарешеченные окна его можно было видеть только ноги шагающих взад-вперед охранников. Правда, рядом с этим бараком возводилось двухэтажное солидное кирпичное здание и через месяц-другой предстояло «новоселье». А пока мы ощупью спустились в темный промозглый коридор, по обе стороны которого находились узкие отсеки, как стойла для скота. Захлопнулась за спиной тяжеленная дверь, и после яркого солнца с трудом можно было различить деревянные нары с охапкой прелой соломы, земляной пол, вонючую парашу в углу. Темно, вонь, сырость. Вечером принесли пайку хлеба и кружку воды.

После месяцев относительно «свободной» жизни напоминание о полном своем бесправии было особенно болезненным. Снова страх и полная неизвестность — сколько продержат тут? Если б была тут моя дорогая Шурка, она бы сделала все, чтобы сократить мое пребывание здесь. Но несколько

дней назад освободили ее, и плакали мы обе, будто родные сестры. Ночью ни на минуту не удалось сомкнуть глаз, ватник не спасал от промозглого холода, а с наступлением темноты начали хозяйничать крысы…

К счастью, мои друзья не оставили меня. Рискуя напороться на неприятности, ходили в КВЧ и даже к начальнику лагеря, и к вечеру меня выпустили.

Продолжались наши гастроли, но отсутствие ушедших было невосполнимо, иссякал наш репертуар, да и вообще чувствовалось, что начальство охладело к идее «перевоспитания средствами искусства». Скоро наши поездки должны были прекратиться, и тогда нас распределят на общие работы.

Однажды, после очередного концерта, когда мы, промокшие, промерзшие, стояли возле гаража в ожидании машины, а конвоиры курили, спрятавшись от дождя на крыльце, наш бригадир подвел ко мне какого-то старика: «Вот это она мужа своего разыскивает. Расскажите ей про того ленинградского парня…».

— Да, был у нас в тюрьме политический один… Высокий такой, черный… Рассказывал — молоденькая жена Нина, в Ленинград уехала. Так нет его, милая, нету… В Томской тюрьме у него побег был, его изловили и забили, до смерти забили…

Я плачу: «Не может быть! Может, это не он был? Бернштам его фамилия. Арнольд Бернштам…». А он в ответ:

— Не помню я фамилию. Трудная какая-то. Но раз ты Нина из Ленинграда, значит, это он. На вокзале его взяли. Длинный такой, лысый…

— Да какой же он лысый? У него же вот такая огромная шапка волос! Это не он… — плачу я.

А кто-то из ребят, стоящих рядом и сочувственно слушающих нас, тихо говорит мне:

— Напрасно не веришь. Ведь в тюрьме старик твоего мужа видал, значит, был он бритым наголо — «лысым».

Я снова захлебываюсь слезами, конвоиры ругаются и гонят нас к машине. А старик гладит меня по плечу и говорит:

— Не плачь, милая. Лучше сразу подохнуть, чем гнить в лагерях 15 лет так, как вот я здесь гнию…

И я поверила, что Арнольда больше нет.

Жизнь будто остановилась, потеряла свой смысл, будто выключилась и память. Я сейчас совершенно не помню этот период, сплошное черное пятно. Продолжались ли наши поездки, что делала — не знаю, я даже не помню, кем пополнился состав нашей бригады, хотя знаю, что пополнился. И всплывает в памяти лишь один эпизод, который произошел по прошествии какого-то

времени уже глубокой осенью. Давали концерт в нашем лагере и в конце первого отделения я читала рассказ Чехова «Злой мальчик» (от второго отделения — цыганских песен и плясок — я была освобождена, так как было выше моих сил участвовать еще и в этом). Рассказ Чехова должен был повеселить публику, но я никак не могла настроиться на шутливый лад. Ситуация, описанная моим любимым Чеховым, казалась глупой. И в довершение всего я почувствовала, что по лицу у меня бегут слезы. Я расплакалась и убежала за кулисы. Через запасной выход вышла на крылечко позади барака, закуталась телогрейкой и наплакалась вволю, благо вокруг не было ни души — все теснились в столовой на концерте. Тут из дверей барака вышел один из зрителей, закурил и пошел по направлению ко мне. «Я посижу тут рядом, не возражаешь?». Я молча кивнула. Этого человека я знала издали, он был из политических. Его уважали даже уголовники. Он был кем-то вроде третейского судьи: к нему обращались с конфликтами, спорами и его мнение было непререкаемым. Рассказывали, что в мирной жизни он занимал какой-то очень крупный пост и был чуть ли не начальником всей сибирской железной дороги.

Я боялась, что он будет расспрашивать, почему плачу, почему убежала со сцены, а он заговорил неожиданно для меня о другом, о том, что, на его взгляд, я напрасно читала этот рассказ Чехова, что это не мой репертуар, что весною он слушал, как я читала Толстого, и это понравилось ему гораздо больше. Да и слушателей больше задевало за живое. А этот рассказ забавный, но из проходных в творчестве Чехова, у него есть вещи лучше и глубже. Меня очень заинтересовало мнение этого человека, впервые, кажется, со мной разговаривали о проблемах творческих. Попыталась оправдаться: я старалась подобрать рассказ не длинный и такой, который бы дошел до любого слушателя. Он возражал: «У Чехова есть и такие, хотя и не слишком веселые. Помнишь его коротенький рассказ “Тоска”?» И начал пересказывать мне этот забытый мною рассказ. Я впервые ощутила всю безысходность одиночества извозчика, который разговаривал со своей лошадью, изливал ей свое горе. Я была благодарна ему за то, что он напомнил мне этот рассказ, но добавила, что вряд ли смогла бы читать его теперь — уж тут бы я наверняка расплакалась. «У меня муж погиб», — добавила я. «Я слышал об этом», — откликнулся он и начал расспрашивать об Арнольде. Переспросил, явно запоминая, имя и фамилию, интересовался, как он попал в Сибирь, спрашивал про Томский университет и не знаю ли я преподавателей, у которых он учился. «Да, Томский университет крепко потрясли. Сначала выдернули

всех лучших студентов, а потом и целые группы преподавателей взяли». Я поняла, что этот человек не случайно подошел ко мне, что вопросы задает не из праздного любопытства, что где-то собирает все сведения о таких как Арнольд, и что это кому-то нужно. И главное, я почувствовала, что с ним можно быть совершенно откровенной и не бояться его. Потом разговор зашел вообще о политических, о раскулачивании, о врагах народа, и тут уж вопросы задавала я — много их у меня накопилось. А он отвечал серьезно, раздумчиво, как бы взвешивая свои давно выношенные мысли. И с грустью добавил: «Вот и моя дочка твоего возраста, мается, наверно, сейчас такими же вопросами. И кто ей сможет на них ответить?».

Я не рискнула спрашивать его о семье, видела, что это слишком больно, но один вопрос из числа запретных все же задала: «Как же могли истинные большевики, несгибаемые ленинцы, которые прошли через революцию и гражданскую войну, не сдавались в плену, когда их пытали беляки, как же могли они во время следствия в органах КГБ признаваться в том, что они «шпионы империализма», «террористы», «вредители» и вообще возводить на себя всяческую напраслину? Куда же девалось их мужество?». Он долго молчал, а потом сказал: «Физические пытки подчас легче перенести, чем те изуверские методы, в которых изощряются некоторые деятели этих органов. Вот я приведу тебе только один пример. Один мой друг во время следствия держался до последнего, дал себе слово, что не подпишет ни одного протокола, противоречащего истине. Был готов лучше умереть, чем согласиться с подлыми вымыслами доносчиков. И били его, и пытки были… Когда следователь убедился, что ничем его не возьмешь, он вызвал своего адъютанта и сказал: “Сейчас сюда приведут одну дамочку — жену вот этого типа (мы ее вчера взяли, — пояснил моему другу) и ты ее обработай здесь на этом диванчике, у тебя это хорошо получается. Пусть муженек посмотрит”. “Будь сделано”, — гнусно заржал холуй. “Дайте сюда протоколы, я все подпишу”, — сказал мой друг и подписал».

Говорил он медленно, с трудом выталкивая слова, и я подумала, что он рассказывал о себе.

Когда я уже ничего не ждала в грядущем и автоматически отбывала день за днем, случилось невероятное: меня вдруг вызвали на комиссию по амнистии. Я знала, что заседает уже вторая комиссия и проходит новая волна освобождений. Подчищаются все спорные, сложные вопросы, рассматриваются обжалования. И каким-то образом мое дело попало в этот поток. Может, по вине писаря выпала буква «а» из моей статьи, а

возможно, были какие-то высшие государственные соображения — освободить лагеря от всех с малыми сроками. Ведь нужно было разместить тысячи наших солдат, которые имели несчастье побывать в плену (а впереди назревали еще неведомые нам дела о космополитах, процессы о врачах-убийцах и т. д.).

Собеседование в комиссии заняло считанные минуты. Меня спросили, нуждаюсь ли я в железнодорожных документах и куда их нужно оформлять. Не веря в реальность происходящего, я сказала, что хотела бы вернуться в Ленинград к родителям. Никаких возражений не последовало, и документы были выписаны.

Дальнейшее было как в невероятном сне. Каждую минуту мне казалось, что меня вызовут снова, отменят решение об амнистии да еще добавят срок за обман: я же сразу поняла, что произошла какая-то ошибка. Но неисповедимы пути канцелярские! Уже через неделю я тряслась на багажной полке переполненного вагона по направлению к Ленинграду. Шесть дней длился этот путь. Не хватало сил даже на радость, была только усталость, полное опустошение. За окнами бесконечные дожди, грязь, унылые села Сибири, а после Урала — все перепахано войной, обгорелые остовы вагонов, развалины поселков.

Ноябрьским промозглым дождем встретил меня Ленинград. Долго я стояла перед дверьми своей квартиры, боясь позвонить: рваный платок на голове, обтрепанное пальто, которое, как губка, впитывало всю влагу, брезентовый мешок в руках — все это не могло внушать доверия. Снизу по лестнице поднялась женщина, остановилась рядом со мной: «Вы тоже сюда?». Я кивнула. «А к кому? К Лаврентьевым?», — и недоверчиво оглядела меня сверху донизу. Она отворила дверь: «Проходите, вперед по коридору и направо». «Да я знаю — я же тут жила», — прервала я ее. «Нет, я лучше провожу вас». Она пошла впереди меня и постучала в нашу дверь. «Василий Прокофьевич, вот, говорят, к вам…». Из комнаты вышел папа — совсем седой, в военной форме, но в шерстяных носках и тапочках. «Это ты?» — сказал он так, будто мы расстались только вчера, — проходи». И тут же торопливо объяснил соседке: «Да, это к нам, это моя дочь», — и я почувствовала, как ему стыдно за меня.

Когда остались один на один, он не смог подойти, разрушить преграду, я тоже будто окаменела. Начал убирать со стола, потом сказал, что чайник остыл и ушел на кухню. Когда вернулся, я спросила:

— Мама скоро придет с работы? Он ответил:

— Она кончает в семь.

— Тогда я успею позвонить ей. Он сказал:

— Нет, мы сегодня с ней идем в цирк, не надо беспокоить ее. Я ей сам все скажу.

Я пила чай, а он брился. Надел парадный китель с погонами, хромовые сапоги. Я увидела ордена, золоченые погоны майора (на фронт он ушел капитаном), но ни о чем не могла спрашивать. Молчал и он. «Ты тут располагайся», — неопределенно сказал он и с облегчением ушел.

Не верила я, что мама не придет домой, узнав, что я вернулась. Не мог же он ей не сказать об этом сразу! Но, оказалось, смог — сказал только после окончания представления. Вернулись они часов в 12, и мы с мамой почти всю ночь проговорили шепотом на моем диванчике, отгородившись ширмой. А папа спал или притворялся, что спит.

Так закончился один период в моей жизни и начался совершенно другой.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1946 — 1947

Дома было очень трудно. Папа молчал.

Устроилась на работу копировщицей в каком-то КБ.

Поступила на 2-й курс заочного отделения театроведческого факультета. Очень боялась встречи с Женькой Лихачевой (она была уже на 3-м курсе, жила в общежитии). Что скажет она мне, как посмотрит в глаза? Но когда однажды мы с нею столкнулись в вестибюле института, она «не узнала» меня и прошла мимо в шумной компании, оживленно разговаривая и смеясь. Вечером я пошла в общежитие и долго сидела на подоконнике лестничной площадки, дожидаясь ее. Когда она появилась, я подошла и спросила: «Женя, как же ты могла? Ведь тебе достаточно было одного слова и всего этого кошмара не было бы…». Она усмехнулась и сказала: «Так вас, дураков, и надо учить», — и обошла меня, как неодушевленный предмет. Больше мы с нею не встречались.

Очень уставала я тогда от людей, хотелось полного одиночества. Обострились отношения с папой. Однажды попросил он меня рассказать все, что со мной случилось. Я рассказала, ничего не утаивая, думала, что он поймет. Но он еще более замкнулся и потом сказал, что я опозорила фамилию Лаврентьевых. После этого все мои мысли были о том, как и куда уйти из дома.

В институт я ходила только на некоторые семинары и практические занятия. Мои старые сокурсники сторонились меня, ходили слухи, что мы с Арнольдом были немецкими шпионами. Даже Люся Красикова не рисковала подходить ко мне на людях. И лишь на улице как-то догнала меня, расспрашивала обо всем, всплакнула, узнав про Алика. Приглашала к себе в гости, но мне не захотелось идти к ней.

Начали возвращаться друзья довоенных лет. Приехала на несколько дней из Москвы моя дорогая Ада — она заканчивала режиссерский факультет во ВГИКе в мастерской Сергея Герасимова, работала над фильмом «Молодая гвардия». Дни, проведенные с нею, дали мне заряд мужества и сил и очень поддержали меня. Она не говорила никаких жалких слов, просто слушала и все понимала.

Осенью 1946 года появился на горизонте Генка Соболев: прибыл на 10 дней в отпуск из Бессарабии, где служил военным врачом. Узнав о моей ситуации, он предложил переехать к нему, благо его двухкомнатная квартира пустовала, так как родители на три года завербовались в Австрию. Я растерялась, сказала, что

меня ведь не пропишут. «Тогда предлагаю фиктивный брак», — тут же предложил он и очень убедительно доказал, что это меня ни к чему не обязывает. Он предполагает на пять лет завербоваться врачом на флот, а по возвращении можно будет развестись. Этот авантюрный план разом разрешал столько моих проблем… и я его приняла. В день его отъезда мы зашли в ЗАГС и расписались (тогда это было легко и быстро). Превратилась в Соболеву. А он оставил мне ключи от квартиры, поцеловал ручку и уехал на вокзал. Папе я сказала, что освободила его фамилию от позора и уезжаю от них. Мама поверила в то, что я нашла свое семейное счастье. О том, что брак был задуман как фиктивный, я ей не говорила.

Как хорошо было оказаться наконец совсем одной, ни от кого не зависеть! Хотя в квартире было холодно, печь разрушена, вместо стекол в окнах была вставлена фанера, а по ночам хозяйничали крысы. Но все это было неважным — главное, у меня была своя «берлога». И покой…

Ленинград. 1947 г.

Но этот покой длился недолго.

Однажды вечером я подошла к своей квартире и увидела, что все окна ее освещены. Переступив порог, я встретила веселую компанию молодых офицеров, которые что-то жарили на кухне, открывали консервы и бутылки. Из комнаты доносились залихватские аккорды — так играть джаз умел только Генка. Оказывается, он отказался от мечты о кругосветном путешествии и демобилизовался. «Знакомьтесь, моя жена!» — представил он меня собравшимся. «Ого! Когда же это ты успел?!» — искренне

восхитились собравшиеся. «Я всегда все успеваю!» — без ложной скромности ответил Генка.

Мне ничего не оставалось, как принять на себя роль хозяйки дома.

Три дня продолжалось беспечное застолье. Пели, танцевали, бурно обсуждали планы каждого — как лучше устроиться «на гражданке».

Это были все друзья Геннадия по госпиталю под Аккерманом[49], где он служил по окончании войны. Часть из них предполагала продолжить медицинское образование в Академии или институте, некоторые в Ленинграде были лишь проездом, направляясь домой в разные концы страны. Спали на всех диванах, стульях и вповалку на полу, бегали по городу по своим делам, а вечерами собирались за столом, как одна шумная семья. Геннадий, хотя его и уговаривали, убеждая, что из него мог бы получиться хороший врач, продолжать медицинское образование не хотел, мечтал поступить в консерваторию.

Оказывается, после школы он крупно поссорился со своим отцом, но тот так и не разрешил ему избрать «бабскую профессию» музыканта, и на мединституте Геннадий остановился лишь потому, что это было немного лучше, чем техника, к которой толкал его отец. Но консерватория оставалась несбыточной мечтой — ходили слухи, что для поступления туда нужна взятка не менее 10 тысяч рублей. Поэтому Геннадий связывал свои планы с каким-нибудь джазовым оркестром, где он мог быть пианистом и писать музыку: он очень хотел иметь свой коллектив. Пределом его желаний было приобретение хорошего трофейного аккордеона.

Постепенно разъехались его друзья, и мы остались в пустой квартире один на один. Утрами я уходила на работу, потом — в библиотеку. Приближалась зимняя сессия, а Геннадий целые дни бегал в поисках работы. Каждый день появлялись у него новые увлекательные планы, предложения, и так же быстро, как возникали, так и лопались как мыльные пузыри.

Но самое главное, что нависло надо мной, — надо было решать, как мне быть дальше.

Что делать? Вернуться домой нет сил… Оставаться здесь? Но я ведь знала, что за внешней легкомысленностью Геннадия скрывалось глубокое и серьезное чувство ко мне. Он стал уговаривать меня остаться в этом доме, обещал не торопить меня с решением. Говорил, что постарается заслужить мою любовь… Ну, а то, что все мои чувства остались в прошлом, — он это понимал, но все же надеялся, что постепенно «стерпится-слюбится».

Поверила этому и я. Дала согласие. Но очень скоро стало очевидным, что и не стерпится, и не слюбится…

В ноябре 1947 г. родилась дочь Ирина. Конечно же, рожать мне тогда было нельзя. Худосочие, остатки дистрофии сказались и на ребенке. Была дочка слабенькой, худенькой, а дымчато-голубой оттенок глаз оказался признаком беды — врожденным помутнением роговицы, что было результатом ослабленности моего организма. Да и кормление ребенка было для меня непомерной нагрузкой — вновь вернулся фурункулез, конъюктивит и прочие хворобы. Время было трудное, голодное, только-только отменили карточки. Геннадий хватался за любую работу, не отказываясь даже от разных сомнительных джазовых компаний, которые так же быстро появлялись, как и разваливались. Подрабатывал аккомпаниатором в разных ресторанчиках, хормейстером в клубах. Но денег все равно не хватало. В магазинах ни молока, ни продуктов, а на рынке и в комиссионных безумные цены. В промерзшей квартире было страшно застудить дочку, поэтому за огромные деньги застеклили окна и отремонтировали кафельную печь. Да еще пришлось нанять приходящую няньку, так как я уже работала над дипломом и много времени забирали институт и библиотека.

Кроме бытовых трудностей надо мной постоянно висел страх. Я боялась, что выяснится ошибка в моем досрочном освобождении и меня снова посадят. Об арестах «по второму кругу» я слыхала.

Ленинград. 1948 г.

В первые же месяцы возвращения в Ленинград я мучилась тем, как узнать официально о судьбе Арнольда: может быть,

ошибся старик и он жив? Но этот же страх не позволял мне перешагнуть порог Большого дома — Управление КГБ, которое по странной иронии судьбы находилось напротив дома Арнольда на Литейном проспекте… Но мне удалось найти женщину, у которой брат работал в Органах, и через него многие мои знакомые узнавали о своих репрессированных родственниках — их адреса, живы ли они.

Я тоже записала все данные Арнольда и передала этой женщине. А через месяц она позвонила мне и сказала, что все подтвердилось: у него действительно был в Томске побег, и он больше «в списках не значится». Тогда я окончательно поверила, что Арнольда больше нет.

Гнусный страх продолжал висеть надо мной, как дамоклов меч. Время было жуткое, знобящее. Каждый день со страхом открывали газеты: что еще обнаружили в прослойке «гнилой интеллигенции» и, следовательно, кого громят сегодня? И не только громят, но и «изгоняют» — кого с работы, кого из партии, а кого и из дома. То вдруг появилось Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» и доклад Жданова, который прорабатывали во всех учреждениях, после чего поредели ряды писателей (и не только в Ленинграде). То все газеты запестрели призывами борьбы с «низкопоклонством перед Западом» и «космополитами», в число которых можно было запросто угодить из-за неосторожной похвалы в адрес зарубежного художника, ученого или импортного шмотья. Потом донеслись грозные раскаты «Ленинградского дела», о котором говорили только шепотом и в результате которого были арестованы, расстреляны сотни партийных руководителей всех рангов, начиная от обкома, и кончая сельскими райкомами (папа в это время работал «с понижением» — инструктором в Октябрьском райкоме, и по обрывочным словам мамы можно было понять, что не угодил он в эту мясорубку просто чудом). Чуть позднее на всех собраниях, на всех семинарах в институтах стали склонять во всех падежах «подлых вейсманистов-морганистов», которых успешно разоблачил «народный академик Лысенко». Уж какое представление о генетике и Менделе было у рабочих предприятий и служащих любых учреждений, я не знаю, так как кроме каких-то прорастающих фасолин ничего об этом тоже не знала, но отклики «простых рабочих», требующих разгрома «буржуазной науки генетики», публиковались регулярно в течение долгого времени. И все это снова сопровождалось передаваемыми шепотом рассказами о том, как тот арестован, другой покончил с собой, а третий публично раскаялся в своих «заблуждениях». Особенно тошно было читать «покаянные» статьи

и речи. Одному из таких публичных мероприятий я была свидетелем. Только я начала заниматься в институте, как началась кампания по поводу Постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором предавали анафеме М. Зощенко, А. Ахматову, Б. Пастернака и некоторых других. Про Ахматову и Пастернака никто ничего толком не знал, их тогда не печатали, и мы верили, что они «салонные поэты», которые «поют с чужого голоса» и «не отражают нашей прекрасной действительности». А вот с М. Зощенко было сложнее. Сборники его рассказов любили еще с довоенных лет, читали их с эстрады, никто не сомневался в том, что осмеивал писатель прежде всего всяких мещан и мелкобуржуазные элементы… И вдруг этот симпатичный писатель попал в «очернители»… Да и рассказ-то, который вызвал особый гнев авторов Постановления — «Приключение обезьянки» — никто толком не читал, так как журнал, где он был напечатан, сразу изъяли из всех библиотек. Хотя я посещала только те занятия и семинары, которые были необходимы для зачетов по практике, но на общеинститутское собрание по поводу этого постановления пошла, так как понимала, что оно войдет теперь в число обязательных вопросов на экзаменах на многие годы вперед. (Так оно и случилось — уже по окончании института, когда я сама стала преподавателем, еще лет шесть я рассказывала о нем своим ученикам и, соответственно, строго спрашивала о нем на всех экзаменах). Пошла я на это собрание и из любопытства. Случилось так, что на втором курсе театроведческого факультета, где начала заниматься я, был сын М. Зощенко — Валерий (мы его звали Валькой). Невысокий, с мелкими красивыми чертами лица, с аккуратным косым пробором, темноглазый и смуглый, он был похож на отца. Валька был добрый, безотказный — ребята «стреляли» у него папиросы, трешки до стипендии. Девчонки узнали, что отец его в отъезде и напросились провести вечеринку в их большой запущенной квартире на канале Грибоедова. Потом им это понравилось, и там собирались еще и еще — Валька не умел отказать. Свою стеснительность он прикрывал улыбками, шуточками, иногда неуместными. Так, он явно тяготился известностью своей фамилии, об отце своем говорил мало и посмеивался. (На стене одной из комнат М. Зощенко были развешаны две именные сабли и Георгиевские кресты — награды отца, еще Первой мировой войны и Гражданской. Валька, изображая экскурсовода, проводил собравшихся по квартире и, останавливаясь возле книжных полок, объявлял, дурачась: «Это, так сказать, бессмертные творения моего бати», а возле стены с саблями: «А это, как понимаете, батины военные реликвии»).

И вот главным событием на этом общеинститутском собрании должно было стать выступление сына М. Зощенко. Прибыли корреспонденты газет и радио, восседали за столом президиума представители райкома. Зал был набит битком. И когда после длинного доклада парторга института и не менее длинной очереди «пожелавших» выступить в прениях на трибуну, наконец, вышел Валька, то все притихли, и слышны были лишь щелчки фотоаппаратов. Валька, переминаясь и как-то жалко улыбаясь, забормотал о том, что он, как комсомолец, конечно, не может не поддержать историческое постановление ЦК партии и критику в адрес его отца в докладе А.А. Жданова… И уж совсем невыносимо было слушать, когда он, сбившись с официальных штампов, начал «доверительно» объяснять, что, мол, его папаша действительно «накрутил тут всякую всячину с этой обезьянкой» и что с ним случается такое — «напишет Бог знает что, а потом и сам удивляется, и читателей в тупик ставит…».

Расходились после этого собрания, не глядя друг другу в глаза.

Я тогда, да и многие другие, восприняли поведение Вальки на собрании, как неуместное паясничание, не могли простить (и понять) его жалкие улыбочки. А позднее уже подумалось: а лучше разве было бы, если бы он отрекался от своего отца на полном серьезе, с громкими фразами и биением себя в грудь кулаками? Это было бы еще ужаснее. Может быть, он и прав, прикинувшись этаким Иванушкой-дурачком. Ну, а что у него было в душе — об этом один Бог знает…

Из института Вальку не исключили и в дальнейшем он работал преподавателем по курсу истории театра. После смерти отца занялся сбором материала для создания музея его памяти. Но, говорят, жизнь его сложилась неудачно, и он часто находился в состоянии подпития…

Кроме перечисленных разгромов интеллигенции прошли еще в ближайшие пять лет страшные процессы «врачей-отравителей», которых обнаружила какая-то Лидия Тимашук[51], за что была удостоена правительственной награды. Половина этих «отравителей» имела еврейские фамилии и, естественно, начался разгул антисемитизма. Начались увольнения, «разоблачения», доносы… И это после Бабьего яра и концлагерей Гитлера!.. Было мучительно стыдно встречаться с прекрасными людьми, моими преподавателями — Исааком Израилевичем Шнейдерманом (он был моим руководителем по диплому), с моей дорогой Еленой Львовной Финкельштейн. Она приглашала к себе домой, была очень ласкова со мной. Но так гнетуще-тревожно было у нее дома, так нерадостно, хотя и вернулся с фронта ее муж, и подрос сын

Игорек… Мне было стыдно за то, что я русская.

Проходили в те годы еще какие-то кампании и «процессы» — уже забыла их вздорную суть. Но хорошо помню то унизительное чувство страха, с которым раскрывала каждое утро газеты: что еще свалится на наши головы сегодня? Что еще изобретет наш «Гениальный» и «Мудрейший»? Забегая вперед, скажу, что в особое изумление поверг меня (да и не только меня) летний день 1949 года, когда все газеты вдруг запестрели гневными речами в адрес каких-то грузинских специалистов по вопросам языкознания. Какие-то «буржуазные теории», какие-то Марр[52] и Чикобава[53]… И тут же огромным тиражом была издана красивая книжечка на хорошей бумаге — «И.В. Сталин о проблемах марксистского языкознания». Трактат этот, естественно, предписано было немедленно изучать во всех кружках политграмоты, на всех занятиях университетов марксизма-ленинизма. А мы все тогда были «охвачены» сетью политзанятий и раз в неделю после работы высиживали на занятиях, где надо было не только выступать с рефератами, но и постоянно вести конспекты по произведениям классиков марксизма, задаваемые на дом. Мы с мамой попали в одну группу при Университете марксизма-ленинизма: я как «молодой специалист идеологического фронта», а она как член партии, зав. библиотекой института. И так было смешно и грустно списывать друг у друга конспекты, готовить шпаргалки для семинаров. Мы тогда совсем увязли в четвертой главе «Краткого курса истории ВКП(б)», а тут вдруг еще «языкознание», о котором ни слушатели, ни лекторы наши не имели никакого представления. И вот во всей стране началась зубрежка каких-то непонятных терминов, понятий, дискуссионных проблем, в которых, судя по наукообразности изучаемого труда, наш вождь разбирался весьма глубоко. Ну как тут не изумиться диапазону его познаний и способности проникнуть в самые немыслимые ухищрения тех ученых, которые «скатились на идеологические буржуазные позиции»!

Чисткой литературы, живописи, театра и кино от «формалистических тенденций» успешно занимались в те годы Жданов и Суслов. На экраны выходили благостные фильмы, вроде «Сказания о земле Сибирской» и «Падение Берлина». В последнем был очень трогательный кадр, где Сталин (его изображал единственный актер, удостоенный этой чести — Геловани) в белом кителе, с очень красивым и мужественным лицом, ходил по саду и подстригал кусты роз. Портреты и картины, изображавшие Вождя, были отданы на откуп художнику Налбандяну[54]. Музыку на эту же тему творил Вано Мурадели[55]. Роман Бабаевского[56]

«Кавалер “Золотой Звезды”» преподносился как лучший образец социалистического реализма. В театре им. Пушкина шел спектакль «Жизнь в цвету», где Н. Черкасов старательно играл просветленного старца Мичурина, чья жизнь возвысилась в результате союза с народным академиком Лысенко.

Я в эти годы уже работала преподавателем курса «Эстетика и основы искусства» в культпросветучилище и, естественно, знакомила своих студентов с «лучшими образцами современного советского искусства», тщательно анализировала с ними все «Постановления ЦК в области культуры и искусства», а на практических занятиях готовила с ними репертуар художественной самодеятельности. Помнится, особенно проникновенно исполнял хор будущих культпросветработников многоголосую «народную» песню, которая начиналась такими словами:

«Рано утром на рассвете
Просыпается земля.
Вместе с солнцем
Выйдет рано
Сталин — солнышко Кремля.
Он закурит свою трубку,
Выйдет молча на крыльцо,
Белоснежным полотенцем
Вытрет смуглое лицо…».

И все это — и процессы, и артисты, и политучеба, и «борьба за соцреализм» — было нашей жизнью в те годы, когда страна еще лежала в развалинах, когда в деревнях еще жили в землянках, а для подготовки земли к пашне должны были сначала захоронить тысячи останков убитых… когда города, и в том числе Ленинград, еще только залечивали раны, когда на месте остовов разрушенных домов возникали скверы, а разрушенные фасады закрашивались живописными панно, чтобы не омрачать взгляд прохожих, когда в квартирах наших было голодно и холодно. (Мне помнится, что долгие годы нашим основным и любимым блюдом была вермишель или «рожки», поджаренные на маргарине. Из овощей только кислая капуста и изредка картофель. Молоко только для ребенка, да и то после многочасовой очереди на рынке). Очень трудно было и с промтоварами: по талонам можно было получить в год на человека три метра шерстяной ткани или четыре метра штапеля, иногда пару обуви. И рядом с этой жизнью вдруг «вейсманисты-морганисты», «формализм в живописи», «космополитизм»,

«проблемы языкознания»! Абсурдность всего этого становится очевидной только теперь. А тогда воспринималась как некая внутренняя закономерность, понять суть которой нам, простым смертным, не дано.

Но вернусь к делам житейским, которые требовали тоже немало сил.

Когда дочке исполнился год, а я вся была в заботах о госэкзаменах, вернулись из Бадена родители Геннадия. Мой свекр — подполковник в отставке, человек властолюбивый и деспотичный. Первые три дня шумно праздновал свое возвращение. Обилие гостей, обильная еда и питие, похвальба перед гостями внучкой, невесткой, сыном (которого наедине он всячески третировал).

Но наступили будни, хозяин дома помрачнел, сделал мне выговор за то, что я послала Геннадия за хлебом («не мужское это дело»). А когда за столом я вмешалась в разговор, то пристукнул кулаком по столу: «Бабы должны молчать, когда мужчины разговаривают».

Мачеха Геннадия (бывшая секретарша свекра) потом утешала меня, убеждала, что не надо обращать внимания на грубые слова. Но когда выяснилось, что дважды в день я уезжаю в институт и на это время приходит нянька, терпение моего свекра лопнуло. Он кричал, что женщина должна жить только домом, что ей ни к чему институты, и вообще особа, которая прошла «огонь и медные трубы», не может быть его невесткой. Поэтому он решил, что внучку он вырастит сам, а я могу убираться на все четыре стороны. А вслед за мной пусть убирается и сын, если он не намерен послушаться отца и расторгнуть этот брак. Геннадий заявил, что уйдет вместе со мной.

Снова мачеха уговаривала, что все образуется и дочку нам дед, конечно же, вернет, тем более что через пару недель у него кончается отпуск и он возвращается еще на год в Баден. Но я не хотела оставлять Иринку ни на один день и утром поехала в Военную комендатуру, с тем, чтобы найти управу на распоясавшегося подполковника-отпускника. Мое заявление приняли и для «улаживания конфликта» определили молоденького офицера и двух солдат. Когда я в таком сопровождении вошла в квартиру, то была ужасная сцена. И хмельной свёкор, и его сестра (старая дева, фанатично влюбленная в брата) кричали, что я «уголовница», что я «втерлась в их порядочную семью, а теперь вот еще и оклеветала их, так как никто не думал отнимать ребенка». Под эти крики я быстро одела Иринку, Геннадий собрал кое-что из одежды и мы ушли из этого дома, оказавшись, в полном смысле слова, на улице. Сначала пожили у друзей, потом я была вынуждена просить своих

родителей приютить нас. Более полугода жили в одной комнате мама, папа, мы с Геннадием и Иринкой, да еще бабушка, да еще приходила днем нянька. Отец был мрачнее тучи, но молчал. Любовь к забавной, шустрой внучке смягчала атмосферу. В этот период я защищала дипломную работу, сдавала госэкзамены.

Ленинград. С дочкой

Начало работы по профессии омрачалось тем, что невольно еще больше обострилось чувство страха, который всегда висел надо мной и был связан прежде всего с моей биографией. После окончания института при распределении на работу полагалось заполнить огромную анкету, где были десятки вопросов и о себе, и о родственниках. И вот перед графой «Была ли судимость и за что?» — я застывала, как перед неодолимым препятствием: напишешь «была» — не возьмут ни на одну работу, связанную с «идеологическим фронтом» (а моя профессия — будь я педагогом, редактором, критиком — самая «идеологическая»). Напиши я в анкете «не судима» — это может стать основанием для новой судимости, если обман раскроется.

И все же я выбрала второй вариант, солгала, написала «не судима» в надежде, что, сменив фамилию, я «затерялась» и вряд ли так тщательно будут проверять документы в маленьком захолустном г. Галиче Костромской области. Там очень нуждались в молодых специалистах и встретили нас очень хорошо: дали квартиру с мебелью и пианино. Работать мне было

интересно, Иринка подрастала среди тишины старинного городка, тянулась не столько к детям, сколько к телятам, козлятам, курам и прочей живности, разгуливающей по улочкам. Пила парное молоко, каталась с горы на санках, играла с выводком котят, которые жили в нашем доме, и стала спокойной полненькой девчушкой, довольной всем и вся. Сидя как-то зимой на подоконнике и глядя на луну, вдруг задумчиво сказала свою первую фразу: «На улице темно, темно… Мороз…». И если бы мы остались жить дальше в этой провинциальной идиллии, то, кто знает, скольких напастей, предстоящих нам впереди, мы бы избежали?.. Но, конечно же, нам не терпелось вернуться в Ленинград, тем более, что уже решился вопрос с жилплощадью (свёкр одумался и «выдал» нам комнату его сестры в огромной коммунальной квартире, забрав Анну к себе). А мне предлагали работу в Ленинградском культпросветучилище. И мы в 50-м году вернулись в Ленинград. И если в Галиче я как-то забыла о своих страхах, то здесь снова навалился на меня кошмар: а вдруг откроется мой обман в анкете!

Это мое состояние отразилось и на нервной системе: я начала часто и беспричинно плакать, боялась толпы, не могла переходить улицу без провожатого. Мучили бессонницы или сны о новом заключении… Пришлось лечиться. Но периоды таких депрессий повторялись еще много лет. Так и жила всегда под гнетом страха. Что же касается быта, жизненных условий, в которых мы оказались после года почти деревенской жизни, то они стали тоже достаточно тяжким грузом. Комната, которую нам «выделил» свёкр, находилась в квартире коридорной системы на 18 семей. Одна кухня, один туалет. В длинных коридорах с цементными полами стирали и развешивали белье, играли дети, сюда забредали собаки и пьянчужки, так как входная дверь не закрывалась. Обувь, пальто, керосинку — всё надо было держать в комнате.

С трудом нашла няньку — малограмотную старуху, которая курила (в наше отсутствие и в комнате), любила болтать со всяким встречным и приглашать гостей. В результате от одного из «гостей» няньки дочка заразилась туберкулезом. Перед этой бедой отодвинулись все другие переживания: обострение отношений с Геннадием, участившиеся выпивки его, мысли о разводе — всё переключилось на болезнь ребенка.

По возвращении в Ленинград Геннадий не захотел продолжать медицинское образование, искал удачу в различных ансамблях, джазах, художественной самодеятельности, но это всегда было очень непрочным заработком. Коллективы эти появлялись и распадались, были периоды, когда за год Геннадий

менял около десятка мест работы. Плохо было и то, что работа эта была вечерняя, а днями он зачастую много времени тратил на переговоры с «нужными людьми», на встречи с многочисленными друзьями-«лабухами»[57]. Такая суетливая жизнь воспринималась им как активная деятельность, как стремление найти выход из трудного материального положения, которое теперь обострилось: для дочки требовалось усиленное питание, фрукты, лекарства. Я стала работать в Ленинградском культпросветучилище на полторы ставки, имела нагрузку до 36 часов в неделю (это не считая подготовки в библиотеках), но получался замкнутый круг: все меньше времени я могла уделять дочке, и почти весь день она проводила с нянькой (правда, теперь мы нашли чистоплотную и ласковую пожилую женщину, но и платить ей надо было дороже, чем предыдущей). Лечение дочки шло медленно, пришлось отправить ее в санаторий в г. Пушкин. Ездили туда, возили все, что можно было найти на базарах и в коммерческих магазинах. А когда процесс в легких немного приглушили и Иринка вернулась домой, то появились новые проблемы. Отец Геннадия демобилизовался и, конечно же, обвинил меня в том, что я «довела ребенка до болезни». Он решил вмешаться в воспитание и лечение внучки. Ей уже исполнилось четыре года, и отныне по воскресеньям она с Геннадием с удовольствием ходила к дедушке. Там ее закармливали котлетками, апельсинами, шоколадом, задаривали игрушками. Возвращаясь домой, она отказывалась есть простую и здоровую пищу, не хотела даже в будни снимать подаренное ей бархатное платьице и рассказывала, что на лето дедушка увезет ее в Крым. Я пыталась доказать Геннадию, что эти визиты калечат девочку, но он отмалчивался, тем более что приходил оттуда навеселе и чувствовал себя виноватым. А противоречить в чем-то отцу он не умел. Судя по некоторым высказываниям Иринки, я поняла, что в том доме в присутствии ребенка говорят обо мне, не стесняясь в выражениях.

Участие деда в воспитании внучки сказалось на ее характере. Она стала капризной, резкой, не терпела возражений. Предполагаемая поездка в Крым, к счастью, не состоялась, и мои родители стали снимать дачу в селе Рождествено, где и проводили с внучкой целое лето. К этому времени мой папа очень привязался к Иринке, стал мягче в отношениях со мной и окружающими. В нем раскрылся дар рассказчика и фантазера, он целыми днями мог сочинять всякие сказки и занимательные истории, которые Иринка очень любила. Его влияние на нее было явно благотворным и нейтрализовало впечатления, полученные ею в доме «богатого» деда.

Ленинград. 1955 г.

Мама вышла на пенсию и было решено, что перед поступлением Ирины в школу мы обменяем нашу комнату на меньшую, но зато в квартире моих родителей, тоже в коммуналке, но всего из пяти семей и более благоустроенной. Этот переезд снял многие хозяйственные проблемы, легче стало с воспитанием Иринки. Даже Геннадий стал менее разбросанным, поступил на заочное отделение музыковедческого факультета театрального института, увлекся работой хормейстера в одном из домов культуры. Но, к сожалению, ему уже трудно было преодолеть сложившиеся привычки, он не умел уклониться от встреч с прежними друзьями и все чаще приходил домой в состоянии подпития. С большим трудом скопил деньги и купил итальянский аккордеон — свою давнюю мечту. Но очень скоро, возвращаясь с концерта, где-то потерял его.

Привыкнув, что мама взяла на себя основные заботы по воспитанию Иринки и хозяйству, Геннадий совсем устранился от забот о семье. Я все острее чувствовала, что семейная жизнь не удалась и уже не могла прощать ему даже маленьких человеческих слабостей, а тем более участившиеся выпивки. Желание уйти, уехать куда угодно подстегнуло и то, что врачи, во избежание рецидива болезни Иринки, настаивали на изменении климата. А когда при очередной проверке выяснилось, что у меня тоже ослаблен иммунитет к возбудителю туберкулеза, я твердо решила уехать из Ленинграда и таким образом расстаться с Геннадием.

Когда я ему сказала об этом, он уговаривал, плакал, уверял, что изменится. А потом озлобился, сказал, что истинная причина моего ухода не в нем, а в том, что я не могу забыть своего «первого», что прав был его отец, который считал, что я не

создана для семьи, и пригрозил, что если я уеду, то дочку он мне не отдаст — они с дедом сумеют воспитать ее сами.

После этого разговора я всерьез занялась поисками работы вне Ленинграда. Была возможность уехать в Брянск зав. литературной частью театра. Еще одна — в город Иваново, но везде было сложно с жильем. И в это время вдруг приехала в командировку из Новосибирска моя знакомая по институту, которая работала зам. начальника управления культурой и подбирала кадры для открывающейся студии телевидения. По ее совету я подала документы на должность ассистента режиссера и вскоре получила вызов и подъемные. Квартиру гарантировали дать в течение года. Это было весной 1958 года, к этому времени я уже год работала в институте им. Крупской на кафедре культпросветработы. Интересная работа, прекрасное здание в самой красивой части города. Безумно жалко было покидать Ленинград, страшно и горько было оставлять родителей, но иного выхода для себя я не видела.

Сборы к отъезду проводила тайком от Геннадия. Я верила, что он с отцом своим смогут отнять у меня Иринку. Взяла с собой только наше белье и одежду. Очень жаль было оставлять книги — у меня накопилась небольшая, но хорошая библиотечка альбомов и книг по искусству. Честно говоря, я надеялась, что когда-нибудь, когда гнев Геннадия пройдет, он пришлет хотя бы книги: ведь они пригодились бы не только мне, но и Ирине. Но этого не случилось. Летом 1958 года, когда у меня уже были куплены билеты в Новосибирск, я приехала в Рождествено и спросила Иринку:

— Хочешь ехать со мной в командировку, в Сибирь?

— Хочу! — ответила она.

— Но командировка долгая, может быть, на год или еще дольше, плакать не будешь?

— Не буду! — сказала Иринка.

Откуда было знать матери, что дочка давно была в курсе предстоящего развода родителей, тяжело это переживала, плакала, расставаясь навсегда с отцом, но знала, что отъезд неизбежен.

Мы тут же распрощались с отцом и мамой и уехали. Представляю себе, как тяжко было им отпускать нас в далекую Сибирь. К моему отъезду я долго подготавливала своих родителей и, кажется, основным аргументом стало то, что врачи настойчиво убеждали нас, что и дочке, и мне этот климат пойдет на пользу Так оно и случилось: уже после года жизни в Новосибирске Ирину сняли с учета в тубдиспансере. И конечно же, я уговаривала родителей тоже уехать из Ленинграда, чтоб

жить рядом. И обещала, что найду в обмен на их комнату отдельную квартиру. Папа очень трудно поддавался этим планам, а мама внутренне уже была готова к переезду, хотя это было ломкой всей их жизни.

1958 — 1982

С 1958 года я с дочкой начала новый, Новосибирский период жизни. Жили сначала на частной квартире. Было очень трудно: платила за комнату и присмотр хозяйки за дочкой 70 р., а получала — 95. в качестве «приработка» мне разрешалось писать телевизионные сценарии, за которые платили гонорар. И вот днем — репетиции на телестудии, вечером — дежурства, выдача передач в эфир. А ночами сочиняла сценарии и всякие тексты для рекламы. И все это впервые в жизни, еще не разобравшись в том, что такое телевидение, его специфика… Зимой 1959 года получила однокомнатную квартиру, и к нам в гости приехала мама. Помогла наладить мне хозяйство, а главное — «утеплила» нас, ведь мы приехали в легоньких ленинградских пальтишках, не имели теплых шапок, валенок. Шили, вязали теплые вещи, ставили на двойную подкладку нашу одежду. Заодно утепляли, конопатили нашу новую, но очень продувную квартиру.

Так, с маминой помощью, мы перезимовали очень холодную зиму, а летом уже переехали в Новосибирск и мои родители — мне действительно удалось найти для них на обмен хорошую двухкомнатную квартиру. Правда, далеко от нас: мы жили в Кировском районе, возле телецентра, а они в Заельцовском, в конце Красного проспекта. Папа очень трудно перенес переезд, долго был мрачен, но постепенно оттаял, а когда приобрел садовый участок с домиком, то и совсем смирился с потерей Ленинграда и, как мне кажется, полюбил этот новый для него город. Да и мама успокоилась, что мы наконец все вместе, оценила и здешний климат, и возможность жить в отдельной квартире после стольких лет «коммуналки».

На работе у меня складывалось все благополучно. Начав с ассистента режиссера на телестудии (а это работа, в основном, на пульте, с техникой) я перешла в редакцию литературно-драматических передач, что было мне интереснее и ближе. За три года меня «передвигали» от редактора, потом — старшего редактора и затем до главного редактора художественного вещания телестудии. Было трудно, но очень интересно.

Два года работала я на студии телевидения, затем, к моему удивлению, меня вызвали в горком и предложили занять место зам. начальника Управления культуры горисполкома по делам искусства. То есть «ведать» различными творческими организациями — филармонией, театрами, союзом композиторов, художников, а также учебными заведениями, готовящими кадры творческой интеллигенции. Кажется, только Союз писателей и

издательства сохраняли некоторую автономию в своей деятельности.

С большим сомнением и опасениями (справлюсь ли) взялась я за это дело. И автоматически превратилась в чиновника, без санкции которого не проходила ни одна выставка, сдача спектакля, утверждение репертуара и гастролей, перемещение и приглашение руководителей художественных коллективов, закупка картин и многое, многое другое, вплоть до распределения финансов между этими организациями, очередности ремонта их зданий, разрешения возникающих конфликтов внутри коллективов.

Обязанности эти были трудными для меня, часто опускались руки от сознания бессилия что-либо изменить в сложившейся системе бюрократической машины. Сколько бессмысленных заседаний, согласований по каждому вопросу… Единственное дело за год работы в Отделе культуры, которое мне удалось и которым я горжусь — это организация и проведение в картинной галерее большой выставки работ итальянского художника Ренато Гуттузо[58]. А каких сил это стоило! Ведь обкомовские деятели увидели в нем лишь «формалиста» и «абстракциониста». Даже когда удалось в какой-то степени расшатать этот стереотип мышления и было получено разрешение на проведение выставки, при первом же знакомстве с экспозицией возник скандал: начальство требовало убрать те картины Гуттузо, которые не укладывались в прокрустово ложе примитивно понимаемого ими «реализма». Невозможно было бороться в одиночку против этого высокосановного стада «знатоков искусства» (пытались мне помочь художники Ефим Аврутис[59] и Николай Грицюк[60], но тоже безуспешно) и пришлось пойти на компромисс, пожертвовать несколькими картинами ради сохранения выставки в целом.

После этой выставки за мною сохранилась репутация человека с «недостаточно прочными идейными позициями». Припомнили мне и телепередачи, где читались стихи Ахматовой и Цветаевой (к дню 8-го марта), и то, что с моей легкой руки был принят спорный спектакль в театре «Красный факел», да и то, что при закупке картин, пользуясь правом председателя закупочной комиссии, я понемногу теснила беззастенчивую монополию клана художников Титковых[61] (в любой гостинице, в любом учреждении города глаз натыкался на огромные унылые полотна, воспевающие «просторы Сибири») в пользу молодых художников, — все это не могло не вызывать раздражения начальства и мыслей о том, что я не оправдываю возложенных на меня надежд.

Новосибирск. 1963 г.

Год спустя, когда у меня уже не было сил оставаться на этой престижной должности, когда меня уже тошнило от необходимости каждый день общаться со всяческим «высоким начальством» и, внешне, быть с ними в одной упряжке, у меня возобновились приступы нервной депрессии, отчаяния. А иногда и страстного желания вдруг встать и с трибуны сказать все, что я думаю о всех этих «высокопоставленных»… На подавление этих чувств уходило много сил — пришлось обратиться к помощи невропатологов. Рекомендовали отдых, санаторий. Но я знала — надо уходить совсем. И поэтому я очень обрадовалась, когда ко мне приехали из Академгородка молодые активисты и предложили перебраться в городок, для того чтобы создать там нечто вроде Отдела культуры и искусства. Правда, ставка, которую им удалось «выбить», была весьма скромной — зав. культмассовым сектором Дома культуры, то есть на треть ниже оплачивалась, чем в исполкоме. Да фактически и Дома культуры еще не было, а всего лишь конференц-зал Института геологии. Но я, не раздумывая, тут же согласилась и почувствовала, будто цепи с меня свалились. Мне пообещали помочь с обменом квартиры и осуществили это буквально в течение месяца.

Начальство отнеслось к моей «самоотставке» весьма подозрительно. И не потому, что им было жаль расставаться со мной (то, что я «белая ворона» в их стае, им было очевидно). Но я нарушала какие-то их узаконенные правила игры. Добровольным

уходом я как бы расписывалась в том, что мало дорожу тем, что меня ввели в их привилегированное общество. Расстались холодно, и на мне окончательно поставили «крест» как на личность сомнительную. Между прочим, и мой папа не одобрил это мое решение. Ему импонировало то, что я занимаю «солидную» должность, что в курсе городских новостей, что вращаюсь среди «хозяев» города, езжу в командировки в Министерство культуры и даже то, что в обед и после работы меня частенько привозили на машине — все это нравилось папе. Иринка восприняла переезд в Академгородок с радостью. Одобрила его и мама. Так, с 1962 года мы живем в Городке.

Не буду подробно останавливаться на всех тех местах работы, на которых я перебывала за эти годы. Скажу лишь, что с работой мне всегда везло. Хотя и бывали неприятности организационного, внешнего порядка, но по существу, по содержанию в каждом виде деятельности оказывалось для меня что-то интересное и увлекательное.

Так, после двух лет работы в качестве зав. культмассовым отделом Дома культуры СО АН меня пригласили снова в Управление радио и телевещания — теперь в качестве главного редактора художественного вещания на радио. Это был очень интересный период для меня. К сожалению, трудно было ездить из городка к 8 часам утра, дорога очень изматывала и через полтора года работы на радио я перешла в редакцию журнала «Сибирские огни» (редактором отдела прозы). Здесь был удобнее режим — с 14 до 19 часов, а остальное время можно было работать дома. Работа над рукописями, общение с писателями, постоянная надежда найти в потоке графоманского самотека «жемчужное зерно» (а такое случалось!) — все это очень увлекало меня. Горжусь тем, что встретила там интересных талантливых людей, которые добро относились ко мне. Храню письма Валентина Распутина, Романа Солнцева, Евгения Городецкого, Геннадия Николаева. Из редакции никогда бы не ушла, если бы не ухудшающееся здоровье, когда ежедневные поездки в город стали все труднее. Последние девять лет перед пенсией работала зав. отделом литературы и искусства в Доме ученых. «Для души» занималась со студентами Университета — организовала нечто вроде маленького театра поэзии и получала от этого огромное удовольствие.

Выросла моя Иринка и, сразу же по окончании школы, вышла замуж за добродушного, хозяйственного сибиряка — Сашу Федосеева. Спокойный, щедрый на улыбку, он как бы нейтрализовал свойственные Ирине вспыльчивость, чрезмерную подчас эмоциональность. Они хорошо дополняли друг друга, и

мне, казалось бы, оставалось лишь радоваться покою и благополучию своему и моих близких: и родители рядом, в городе, и дочка с зятем поселились чуть ли не в соседнем доме.

Но оказавшись свободной от забот о дочке, от привычного ритма нашей, пусть маленькой, но семьи, на меня навалилась тоска, будто исчез смысл жизни. Конечно, причиной этому было и то, что пришлось разменять двухкомнатную квартиру, и я, как и молодые, получила 13-метровую комнату «на подселении», то есть мое одиночество стало ощущаться с особой остротой. И, естественно, стала чаще размышлять о прожитой жизни, вспоминать былое. И все очевидней становилось, что самым ярким, самым значительным периодом в моей жизни было то недолгое время, когда судьба свела меня с Арнольдом. И самое большое счастье, и самое большое горе — все было связано с ним. И конечно же, никто не оказал такого влияния на формирование моей личности, как он. Мысли, память о нем подсознательно жили во мне всегда. Новосибирск стал для меня мистическим городом. Сквозь его реальный облик я всегда воспринимала и его таинственную двойственность, известную только мне: по этой улочке мы с ним любили бродить, в этом сквере была «наша» скамеечка, в читальном зале я всегда вглядываюсь в тех, кто занимает его место, ожидая чуда, — а вдруг увижу его лохматую голову… Обошла все места, все маршруты, где бывали вдвоем. Он не переставал быть для меня какой-то особой реальностью, я была внутренне всегда готова к встрече с ним, хотя и понимала абсурдность этого. По памяти нарисовала его профиль и хранила этот портрет.

(Когда Ирине исполнилось 14 лет, я рассказала ей об Арнольде как о самом Главном Человеке в своей жизни, и она очень серьезно восприняла это, хотя, вероятно, ей было обидно за своего отца, по которому она скучала.)

И вот теперь, когда мысли об Арнольде становились все неотвязчивое, я решила послать официальный запрос о нем: где находился в заключении, где погиб, получил ли реабилитацию. В марте 1967 года получила ответ: жив!.. И адрес — какой-то поселок в Голодной степи под Джезказганом…

Дальше — письма. Оказалось, у Арнольда действительно был побег из Томского Управления КГБ, где шло следствие. Его нашли на третьи сутки, избили до потери сознания и бросили в одиночку. Слух о том, что его забили, дошел до тех заключенных, которые были с ним раньше в одной камере. А он выжил. Все его сокамерники были отправлены в разные лагеря, а Арнольд провел в одиночке восемь месяцев, поэтому мне старик и сказал, что он погиб.

Не знал Арнольд, что меня тоже арестовали. Ему сказали, что я уехала в Ленинград. И был рад за меня. По выходе из заключения из писем тети Клары узнал, что я замужем, имею ребенка, и не стал тревожить напоминанием о себе…

В настоящее время живет на том же руднике под Джезказганом, где работал заключенным. В общей сложности провел в лагерях 13 лет, да еще 7 лет в ссылке. Работает на пилораме вместе с бывшими заключенными. Пытался писать статьи, хлопотал о возможности учиться, но отовсюду отказ. И только теперь, наконец, получил полную реабилитацию «за отсутствием состава преступления», получено и разрешение учиться в Алма-Атинском университете. И вот он в данный момент на распутье: стоит ли пытаться получить образование? Начинать надо было с 1-го курса, заниматься заочно, совмещая с работой. И это в 44 года…

Джезказган. 1950е г.г.

Я, разумеется, сразу же написала, что учиться ему необходимо: только получив диплом, он сможет заняться своим делом. И вообще его голова создана для активной мыслительной деятельности. Если надо, я буду присылать ему необходимые книги, пособия.

Тогда он написал о том, что отношения в семье у него трудные, жена рвет учебники и конспекты, смеется: мало, мол, дурака тебя «учили», хочешь еще учиться… Мои письма вызвали скандалы, поэтому я должна теперь писать «до востребования». Семейная жизнь не удалась, и держит его лишь дочь Неллочка —

жена ее не отдает. И только, когда он поставит дочь на ноги (окончит школу, поступит учиться дальше), он сможет располагать собою. Писал, что тоже пришел к выводу о необходимости поступать в Университет на исторический факультет. Хотя и вступительные экзамены, и учеба — все будет очень трудно.

Завершал письмо словами, что мы непременно должны встретиться и что «по пути» в Алма-Ату он заедет в Академгородок.

И встреча эта состоялась… И это было так, как если бы мы встретились «с того света»… Потеряли мы друг друга в возрасте 21-го года, а «нашлись» уже пожилыми людьми, в 44… Если б столкнулись случайно на улице, не узнали бы. Лишь постепенно, будто на проявляемой фотографии, начали выступать знакомые черты лица, мимика, улыбка… И вот уже будто и не было этих двадцати трех лет разлуки…

Конечно же, я поехала с ним в Алма-Ату, потом еще шесть долгих лет, пока он учился, мы встречались лишь на время зимней и весенней сессий. А между ними — сотни писем… И это было огромное счастье. Арнольд с отличием закончил истфак (хотя ему было трудно соперничать с молодыми, вновь восстанавливать в памяти иностранные языки, латынь, безумно огромные курсы исторических наук, перегруженные хронологией и цитатами). Параллельно, «для себя», он серьезно занимался социальной психологией, считая, что в настоящее время очень многое будет определяться исследованиями в этой области. И сумел завоевать такое доверие, такой авторитет, что его назначили руководителем социологической лаборатории на Джезказганском горно-обогатительном комбинате. План социального развития этого комбината, который разрабатывался непосредственно Арнольдом, был отмечен дипломом на ВДНХ.

Новосибирск. 1974 г.

В декабре 1974 года Арнольд приехал ко мне. Дочка его уже училась в институте и собиралась замуж, и он мог быть за нее спокоен. Позднее она приехала к нам погостить. Мы познакомились с нею и прониклись друг к другу симпатией (она поняла отца и не осудила его за развод с матерью). Славно было видеть, как Неллочка и моя Иринка быстро сдружились (а самым большим горем нашим осталось одно — то, что у нас с ним нет сына, нашего сына…). Моя мама тоже очень быстро приняла Арнольда в свое сердце (папа не дожил до этого дня).

Были трудности с пропиской, были трудности с работой. Но все же он в конце концов поступил работать в НИИ труда, где занимался проблемами интересующей его социологии. Сначала на ставке младшего научного сотрудника (это в 50 лет), но уже через год его выдвинули руководителем отдела социологических исследований.

С какой жадностью он окунулся в работу! И не только в своем институте развернул обширные исследования, разработки, готов был дневать и ночевать на своих объектах. Не пропускал ни одной конференции, семинара, дискуссии по интересующим его проблемам и в Академгородке, и в Новосибирске. Находил время, чтобы следить за всеми новинками в области социальной психологии. И при этом еще умудрялся читать всё интересное в художественной литературе, даже выступал иногда на заседаниях моего клуба книголюбов в Доме ученых. Не пропускали мы с ним

ни одного значительного спектакля, концерта. Находили время и для общения с природой. Хоть на полчаса, перед сном, но выходили, чтоб побродить по заснеженным улочкам и тропинкам, посмотреть на звезды. А когда наступали теплые дни и до глубокой осени, Арнольд буквально изыскивал каждую минуту, каждый час, чтобы побывать в лесу, на берегу реки. Это было у него как неутолимая жажда. Проведя столько лет в степях Казахстана, он истосковался по зелени, по деревьям, по птичьим голосам. Не мог налюбоваться соснами — их стройностью, их мужеством. У него были «любимицы» — подойдет, обнимет ствол и, запрокинув голову, долго любуется шумящей вершиной! А уж когда наступала грибная пора, то он становился сам не свой. Заранее тщательно вычерчивал на местной карте маршруты, готовил корзины, «амуницию» и ранним утром уходил за много километров от городка, проводя в лесу весь день. Приходил измученный до предела, но счастливый, как большой ребенок. Иногда ходила в такие походы с ним и я, но мне было трудновато: его так затягивал лес, так стремился он все дальше и дальше, что жаль было сдерживать его. Но зато я видела, как светился он, как радовался каждой красивой опушке, встреченному зайцу, лосю. А каждый гриб воспринимал как произведение искусства и долго любовался им, жалея срезать.

Несмотря на все пережитое, он стал мягче, шире душой, раскрытым для чувств и мечтаний, сохранил способность радоваться всем проявлениям жизни. И жил так жадно, так насыщенно, будто спешил — успеть, успеть!.. А оставалось ему жить всего семь лет… У него еще такие планы были!.. Сколько он задумал… Но многое и успел. Сдал кандидатский минимум и написал диссертацию. Организовал в Новосибирске Социологическую Ассоциацию, писал статьи и печатался. Был приглашен на Всесоюзный съезд психологов и выступал там с докладом. Неуемное стремление его больше увидеть, узнать, осмыслить сказалось и на том, сколько мы с ним путешествовали. Хоть материально у нас были весьма ограниченные возможности, но все же каждый отпуск мы непременно ехали с ним куда-нибудь в неизвестные нам края. И жили, подчас не имея никаких удобств, но так интересно было бродить с ним, радоваться открытиям, слушать его рассказы об истории данного края или города (казалось, он знал все). В некоторых местах мы пробыли всего 2–3 суток, но каждое запечатлелось, как неповторимое: Арнольд умел увидеть то, мимо чего я прошла бы не заметив. Даже простое перечисление того, что я увидела за эти семь лет жизни вместе с ним, удивляет меня сейчас: Алма-Ата, Киев, Орджоникидзе, Нальчик, Тбилиси, Ленинград, Москва, Бийск, Алтай (Турочак,

Белокуриха, Катунь, Телецкое озеро), Томск, Ужгород, Мукачево, Львов, Рига. А в последнее наше лето 1982 года ездили мы с ним по «Золотому кольцу». Были во Владимире, Загорске, Суздале, Юрьеве-Польском, Александрове. И это была такая поездка, по которой, как мы поняли, всю жизнь тосковала душа. Мы прикоснулись к истории, прониклись ею. Какая отрада была в том, чтобы отстоять в Успенском соборе утреннюю службу! Какой простор открывался отсюда, со ступеней Владимирского собора! В Загорске вечерами мы часами слушали перезвон колоколов Троице-Сергиевой лавры. А из окон Духовной Академии в это время доносились звуки мужского хора — торжественно-печального, и невольно слезы выступали на глазах.

Эта встреча с Русью, эти впечатления были самыми сильными из всех предшествующих путешествий. У меня никогда не было дорогих украшений, драгоценностей. Но когда я начинаю перебирать в памяти все увиденное, все перечувствованное за эти недолгие семь лет, проведенных рядом с Арнольдом, у меня появляется ощущение, что я перебираю ожерелье из драгоценных камней. Каждый камушек можно разглядывать до бесконечности, поворачивая его все новыми гранями. И каждый из них мерцает внутренним светом — это его свет, его присутствие заставляет светиться эти воспоминания. Без него мое «ожерелье» было бы тусклым.

Последняя фотография Н.В.Соболевой. 1986 г.

По возвращении домой Арнольд полностью переключился на дела диссертационные: уже рассылались авторефераты, в декабре должна была состояться защита.

Но очень скоро он заболел.

С августа лежал в больнице, перенес три операции. 6-го ноября 1982 года Арнольд скончался.

Погубила его почка, та, которая омертвела в результате зверских побоев после его побега в 1945 году.

Сколько замыслов его осталось нереализованными… Сколько же мог он сделать, создать, открыть, если б не сломали его жизнь…

Арнольд Бернштам не просто умер — его убили.

Прилагаю тетрадь — из рассказанного Арнольдом. К сожалению, так мало я сумела записать с его слов…

ИЗ РАССКАЗАННОГО АРНОЛЬДОМ

Пятнадцатое ноября 1944-го года, день нашего (предполагаемого) отъезда из Новосибирска в Ленинград. Устроил тебя на чемоданах, в стороне от вокзальной суеты, в каком-то служебном подъезде, чтоб не мерзла на ветру. Ты все сердилась, что не хочу надевать шапку — снег, ветер, — а я смеялся: «При моей шевелюре она ни к чему!». Так и ушел, оставив шапку у тебя на коленях. (Ох, и пожалел потом о ней, когда в тридцатиградусный мороз мою бритую голову прикрывал казенный ватный треух…).

Вышел на перрон и, помню, поразился мысли, что вот эти рельсы — реальная связь, нить, которая тянется до самого Ленинграда. Значит, мы почти дома! Несколько суток пути, и мы ступим на перрон ленинградского вокзала! И так это было невероятно, что, наверное, улыбался.

Полз мимо товарный состав. Пока пережидал его, подошли двое в штатском, встали рядом. Хотел обойти товарняк с конца, но слышу:

— Минуточку… Разрешите ваши документы.

Все внутри оцепенело. Сразу понял — это конец…

Посмотрели паспорт, военный билет, реэвакуационный талон.

— Вам придется пройти с нами.

— Но у меня через час отходит поезд… Жена ждет на вокзале…

— Не волнуйтесь, успеете. Это недалеко.

Повели через вокзальную площадь. Подумал: хорошо, что ты сидишь в подъезде, не видишь меня, а то испугалась бы…

Шли вдоль палисадников и домишек привокзального района. Почему-то пристально вглядывался в каждый дом, в каждое окно, будто надо запомнить все вокруг… Сопровождающий, что постарше, заметил как смотрю, заговорил о своеобразии деревянной архитектуры Сибири, я ответил, и завязалась вполне интеллигентная беседа. Даже о чем-то поспорили. И одновременно в голове лихорадочно: это все. На сколько лет уводят? Как Нина? Успеет ли уехать? Хорошо, что все ее документы при ней. Но поедет ли она, если не дождется меня?

Вглядывался в прохожих, надеялся встретить кого-либо из знакомых, дать знак, предупредить, что арестован. Но все чужие лица. И вдруг — знакомый! Сослуживец Клары Борисовны. Напряженно гляжу на него, показываю глазами на спутников справа и слева… Но он поспешно проходит мимо наклонив

голову. Хотя и узнал меня.

Конвоиры что-то уловили и свернули с людной улицы в переулок. Через несколько минут вышли прямо к зданию КГБ, на Коммунистической.

В проходной уже готов пропуск.

Небольшой кабинет. Письменный стол, стулья, кожаный диван — все, как рассказывала ты. Может быть, это даже тот же самый кабинет?

Провел я в нем трое суток, и запомнились мне они как один бесконечно длинный день. Сначала шел светский разговор «о времени и о себе»: об «устоях незыблемых», о том, как я понимаю марксизм, как оцениваю успехи колхозного строительства, как представляю этапы перехода от социализма к коммунизму. То есть, разумеется, разговор был односторонним: они спрашивали (весьма любезно поначалу), а я отвечал. Старался отвечать четко, чтоб никакого двойственного толкования, цитировал классиков, пересказывал целые разделы политэкономии… Уматывался сам, но и эти гады, видел, выдыхались. На смену одному, уставшему от «высоких материй», приходил другой и все начиналось сначала. Наконец начали задавать вполне конкретные вопросы: что пишу, с кем имею связи, давно ли занимаюсь «подрывной деятельностью». На мой вопрос, что считать «подрывной деятельностью», убежденный ответ: «Ревизия основ марксизма — это уже подрыв устоев советского государства!».

Любезный тон исчез, начали покрикивать, постукивать кулаком по столу… В первые часы «собеседования» я все повторял, что «жена волнуется», что «опоздаем к поезду», хотя понимал, что все кончено и меня не выпустят. Хотел лишь узнать, что с тобой. Сперва отвечали что-то невразумительное, потом пришел тип, пошептал хозяину кабинета и тот сообщил с извиняющейся улыбкой: жену вашу предупредили, что вы задержитесь на несколько дней и посоветовали ехать пока одной. Она согласилась и мы помогли ей сесть в поезд.

До сих пор не понимаю, как я тогда поверил этому. Видимо, очень хотел, чтобы это было так, вот и поверил. Главное — ты в безопасности, в Ленинграде, с родителями… И вздохнул с облегчением. И теперь уже все внимание, все силы на то, как отвечать, как вести себя.

Понимал, что 58-я статья обеспечена, что бы я ни говорил. Но накручивали еще какое-то «участие в организации» (или даже «руководство»), да еще с сионистским оттенком… И здесь надо было быть начеку, иначе, по законам военного времени, можно заработать и «вышку»…

В конце дня зачитывали листы протокола допроса, и я

расписывался в каждом. Потом сообразил, что надо не ограничиваться тем, что мне вслух читают, а своими глазами проверять, как и что записано. Тут каждое слово имеет значение. Очередной тип растерялся, когда я сказал: «Не утруждайте себя. Я грамотный, сам прочту». Промямлил что-то, мол, «так быстрее», но дал протокол допроса. Конечно, формально записано все вроде верно. Но с тем акцентом, какой нужен им. Попробовал я настоять на изменении одной фразы, от которой много зависело. Записано: «Занимался изучением трудов классиков марксизма в исследовательских целях» (это о моей работе по политэкономии), я требовал: «в учебных целях». Спорили долго. Пришел второй на подмогу, мне надоело спорить, и я махнул рукой — «пусть остается так»… И подписал. И это был первый урок мне. В дальнейшем я уже никогда не подписывал того, что не говорил или говорил иначе. Доводил их до остервенения, но держался… А тут, видимо, именно формулировки об «исследовательских целях изучения классики» им и недоставало. Оттого и держали меня трое суток «просто для собеседования», «для обмена мнениями». А как я подписал протокол, они уже спокойно могли приписать мне «ревизионизм марксизма» и вручили ордер на арест.

После предъявления ордера они быстренько закруглились, взяли необходимые расписки и сдали меня «по инстанциям». И дальше все пошло как по маслу. Все процедуры отработаны до мелочей, и я мысленно отмечал все то, что мне было знакомо по

книгам о порядках в дореволюционных тюрьмах. Оказалось, много общего, а кое в чем наши кагебешники и превзошли их.

Мордатый конвоир провел по коридорам и лестницам на первый этаж. Вдруг слышу, шипит мне в затылок: «Стой! Лицом к стене!». Не понял, вежливо оборачиваюсь: «Что вы сказали?». Ткнул прикладом в спину: «Ах, не понимаешь?! Мать-перемать…» — и шарахнул меня об стену. Я сразу вспомнил, читал где-то — я носом к стене должен повернуться, чтобы пропустить заключенного, которого вели навстречу. Чтоб не видел он моего, а я — его лица… Так начались «мои университеты».

Как и тебя, в ту же внутреннюю тюрьму привели. И в ту же камеру № 8 (видимо, всех через нее пропускали, чтоб сразу сломить). Тот же обыск, та же опись «имущества». Очень ускорило процедуру то, что никакого «имущества», кроме того, что на мне, не было. Совсем ничего — ни зубной щетки, ни бритвы. Повезло, что на ногах у меня были сапоги. Позднее я видел, как маялись те мужчины, у которых были ботинки: из ботинок выдергивали при обыске шнурки и при каждом шаге они сваливались с ног. Пропускаю подробности пребывания в 8-й камере, знаешь их сама. Так же фотографировали и снимали отпечатки пальцев. (Обратила ли ты внимание, что на картонках с отпечатками было мелко написано внизу «Хранить вечно». Представляешь, нас уже не будет, а эти картонки будут храниться в каких-то сейфах…).

В Новосибирской тюрьме продержали меня лишь несколько дней, затем отправили в Томск. Почему-то везли на вокзал не на «воронке», а на легковушке. Предупредили: «Чтоб без глупостей! Сразу на месте пристрелим!». До сих пор помню ощущение двух пистолетных дул, вжатых в подреберье справа и слева, и двух типов в штатском, между которыми меня посадили в машину.

В Томске, который только что был отделен от Новосибирска как самостоятельный областной центр, Управление КГБ временно разместилось в одном из корпусов политехнического института. Это самый старый район города и связан с именами Радищева, Бакунина, декабристов… На горе возвышается собор XVII века, вокруг — почерневшие деревянные дома (чаще двухэтажные, с фундаментом, вросшим в землю), и спиралью сбегают с горы вниз мощеные булыжником улочки. Там же стоит и тюрьма, еще дореволюционной добротной кладки. А здание института, которое облюбовало себе новоиспеченное Управление, постройка 30-х годов, типа казармы, с широкими окнами в мелкий переплет и длинными коридорами.

Район этот я хорошо знал — были знакомые ребята в этом институте, и мы, студенты Университета, приходили к ним вместе готовиться к экзаменам, или они к нам. Учебников не

хватало по языку, по общественным дисциплинам, вот и приходилось объединяться. И так странно было теперь ночами, под конвоем, шагать из тюрьмы в это еще недавно такое шумное здание института… Этот час ночной «прогулки» — на допрос и обратно — был как подарок: звезды над головой, спящие домишки, лай собак… Конвой здесь был не такой вымуштрованный, как в Новосибирске, дистанцию не так строго держали и «руки назад» требовали только при начальстве. Пока вели на допрос, хотелось надышаться, расслабиться, что-нибудь озорное выкинуть… Однажды услыхал, как пьянчуги где-то вдали глотки дерут, и сам запел:

«Широка страна моя родная!..
…Человек шагает как хозяин
Необъятной Родины своей!».

Ох и подскочил же мой солдатик! — «Молчать!».
А я знай себе горланю:

«Но никто в стране у нас не лишний,
По заслугам каждый награжден!
Золотыми буквами мы пишем
Всенародный! Сталинский!! Закон!!!».

Только тычками по шее заставил меня умолкнуть мой конвоир. Думал, пожалуется, но нет, видать, сам очень перепугался.

Допросы выматывали крепко. Некоторые длились по многу часов — эти типы сменяли друг друга по конвейерной системе. Однажды устроили допрос «на измор», более суток, пока не свалился. Разные типы среди следователей были. Но особенно запомнилась одна сволочь — женщина. Очень красивая. Молодая. Нерусский тип лица — кореянка, наверное. Похожа была на точеную статуэтку. И при этом — садистка настоящая. Такой бы место у нацистов… Она вела допросы в очередь с другим следователем. Тот был гад порядочный, но эта сто очков вперед всем мужикам могла дать. Допрос вела с утонченным издевательством. Нащупывала сначала самые болевые точки, а потом била наотмашь (в прямом и переносном смысле — «прекрасная ручка» у нее была тяжелой). Измывалась над заключенными с наслаждением. На допросы вызывала поздней ночью, когда труднее сосредоточиться, быстрее выдыхаешься. Почувствовав, что я не могу сдерживаться, когда задевают

национальные вопросы, утроила поток антисемитских гнусностей… Узнала, что я недавно женат — избрала объектом издевательства эту тему, доводя меня до бешенства… В общем, не хочу и говорить об этой гадине. Знаю только, что ужасней, гнусней женщины-садистки, да еще к тому же и красивой, нет существа на свете…

В Томской тюрьме публика была пестрая. Трудно было, когда попадал в окружение одних уголовников. Хотя и среди них встречались интересные, даже душевные люди. С любознательными находил быстро общий язык.

Много спорили — о жизни, обо всем на свете. Помню, целый курс политэкономии прочитал компании воров, с которыми провел более месяца в одной камере… Ну, а с политическими («контриками», как нас называли) были просто интереснейшие диспуты, научные конференции (без кавычек!), полезные беседы и встречи. О людях, каких я перевидал за эти годы, надо отдельно писать. Хочу только сказать, что, как это ни парадоксально звучит, но никогда потом, уже на воле, я не чувствовал себя столь свободным, полностью раскрепощенным, как в годы заключения.

Общение в камере с людьми на первых порах казалось благом (сначала нас было четверо). Но очень скоро понял: необходимость жить нос к носу на таком маленьком пятачке с людьми тебе чуждыми, зачастую больными душой и телом, изо дня в день, без отдыха — очень трудное испытание… И как же я был счастлив, когда меня за строптивость на допросах наказали и сунули в одиночку! В общей сложности в одиночке я провел месяцев восемь, и должен сказать, что особенной тоски, мучений одиночества не испытывал. Мне тогда особенно хорошо и остро думалось. Вот от отсутствия карандаша, бумаги — страдал. Раздражала необходимость тратить усилия на то, чтоб все продуманное раскладывать в памяти «по полочкам» до лучших времен, когда можно будет оформить письменно. Научился и этому. Но в целом, когда привык к ритму тюремных дней, к ночным допросам, то пребывание в одиночке расценивал как «творческий период». Тогда я пересмотрел заново многое из того, что знал и думал до сих пор, нашел некоторые логические ошибки в прежних выводах, пришел к принципиально новым решениям. Между прочим, именно в одиночке у меня сложились мысли о Средневековье как о чрезвычайно важном периоде для понимания природы социальных потребностей, и, «законсервировав» этот материал, я использовал его спустя двадцать пять лет в своей дипломной работе.

Тосковал очень по тебе. Выцарапал на стене — НИНА, просыпался, смотрел на имя, и это было радостью. Утешался

мыслью, что ты уже в Ленинграде и что отвлек этим от тебя опасность. Понимал, что вряд ли встретимся когда… Но эти мысли расслабляли — старался отсекать все, что подтачивает силы. Знал, что менее десяти лет не получу, значит, надо было сохранять силы, а не травить себя несбыточным. Знал, как необходима была ежедневная физическая нагрузка (ходьба до изнеможения — шесть шагов туда, шесть обратно), также была нужна и непрестанная работа ума — иначе конец. Так и шпиговал себя, не допускал ни малейшей поблажки.

И, наконец, в апреле суд. Судила, как и тебя, «тройка» военной коллегии. Быстренько пробормотали обвинение. Как ни старался, так и не сумел уловить его суть. О доказательствах уж и говорить не приходится. Основной уликой моей «преступности» была все та же злосчастная рукопись курсовой работы по политэкономии, из которой надергали каких-то цитат и усмотрели в них «несоответствие положениям товарища Сталина о законах развития коммунизма». (С удовольствием услышал, как одну из общеизвестных формулировок Маркса, упомянутых мною без ссылки на источник, присоединили к моим и обозвали «враждебной»). В приговоре было сказано, что военная коллегия «с полной очевидностью убедилась» в том, что я «враждебно настроен» к существующему строю в СССР и «по договоренности» (с кем — не сказано, видать, не сумели придумать) с 1943 года начал писать свои «труды антисоветского содержания», именуя их «политической экономией социализма» (что весьма польстило мне: немногие в двадцать лет могли похвастаться тем, что создавали уже «труды»! А я-то предполагал, что это всего лишь реферат…). И, наконец, полной неожиданностью было то, что я, оказывается, «поставил перед собой задачу вести организованную борьбу с советской властью с целью установления на территории СССР буржуазно-демократического строя»!.. (Текст этого приговора у меня сохранился до сих пор. И я иногда перечитываю его, а затем текст реабилитации, которую получил лишь в 1963 году: «…Приговор отменен и дело прекращено за отсутствием состава преступления». Вот так-то… А в ответе Гл. прокурора Верховного Совета на мой запрос записана даже такая фраза: «… Ваша работа по проблемам политэкономии (на 534 листах) была отправлена в Институт марксизма-ленинизма, и там отметили определенную научную ценность данной работы, а некоторые положения ее предвосхитили те экономические реформы, которые в настоящее время внедрены в практику…». Мол, «ничего особенного, произошла ошибочка… С кем не бывает…». А с кого спросить за то, что мне, фактически, не десять лет угробили, а все тридцать? Ведь только в 74-м я выбрался из Средней Азии и

получил наконец возможность заниматься своим делом. Да и то не так, как хотелось. А уж о том, как наши с тобою судьбы сломали, и не говорю… Кому предъявить счет за все это?).

Когда мне вручили приговор и должны были отправить в лагерь, я подал кассацию. В ней я просил (убеждал!) заменить лагерь десятью годами тюрьмы — камеры-одиночки, но с правом заниматься научной работой, иметь бумагу, книги. Я очень серьезно обдумал это. И был убежден — выдержал бы! И, главное, как много успел бы я сделать за эти десять лет!

Прокурор откровенно смеялся над этим заявлением. С таким встречался впервые в своей практике. Говорил, что о подобном мог просить только кретин. Но я стоял на своем и кассацию вынуждены были послать по инстанциям. А меня на то время, пока придет ответ, снова посадили в одиночку. Как известно, «хождение по инстанциям» у нас дело длинное: мои бумаги ходили «всего» семь месяцев. Весна прошла, просочились в тюрьму слухи (через конвой), что война закончилась. Потом лето прошло, осень на исходе — снег выпал, и в ноябре пришел ответ долгожданный. А тогда, в апреле 1945 года, после суда я так настроился на работу по своей теме, что даже обрадовался: наконец-то никто не мешает и можно заняться делом. Разработал дальнейший план и приступил к его реализации. Ежедневно ставил перед собой конкретные задачи, проблемы, которые решал, продумывал, анализировал. Учился мысленно «записывать» то, что надо запомнить до лучших времен. Хорошо мне тогда думалось и работалось!

Но не надолго меня оставили в покое. Вдруг снова начали таскать на допросы. Говорили, что им надо «уточнить детали» по какому-то чужому делу и я им нужен как свидетель. Но я видел, что все крутятся вокруг какой-то «организации», которая якобы есть в Томском университете. Только на том основании, что ко мне хорошо относились некоторые преподаватели (давали свои книги, беседовали после лекций), пытаются «пришить» мне еще одно дело — уже по принадлежности к «подпольной группе Новых ленинцев»(?!). Позднее, уже в лагере, я узнал, что была арестована большая группа преподавателей (самых талантливых в университете), обвинены все по 58 статье, с некоторыми из них мне довелось встретиться.

Вот здесь уж нервы у меня сдали, и я перестал (да и не хотел) сдерживать себя. Орал, если орали на меня, грубил вдвойне в ответ на каждую грубость. Хотел было совсем отказаться от всяких показаний, да увидел, что так получается еще хуже, и снова срывался со всех тормозов. На допросах давал себе полную волю и в выражениях не стеснялся. Следователь сам ругался как

извозчик и провоцировал на крик и ругань, видимо, надеясь, что в таком состоянии я сболтну что-нибудь лишнее. Конвоиры, видать, уже привыкли к такому «ору» во время допросов и на вопли своего начальника не реагировали, пока тот не позовет, в кабинет не входили, я обратил на это внимание. Заметил и то, что штык часового под окном проплывает в одном направлении, а затем, спустя лишь минуты две, появляется в обратном. И рамы обычные, без решеток… И начали у меня все чаще появляться мысли о возможности побега.

Однажды во время очередного допроса (а было это глубокой ночью, в августе) этот тип обозвал меня особенно гнусно, я в долгу не остался — ответил еще крепче, он подскочил, дал мне по физиономии, и я (неожиданно для себя) рванул из-под себя табуретку и обрушил на его голову. Он упал… И тут я страшно перепугался — не убил ли? Нет, смотрю — дышит. Прислушался, за дверью тихо — значит, конвоир действительно привык к тому, что допросы перемежаются то криком, то тишиной. А коли так, бежать надо немедленно, сию минуту!

Приоткрыл окно (было оно на обычной защелке). Улочка пустынна, и часовой удаляется, до угла ему метров 500. Вывалился в окно и метнулся на другую сторону, в тень забора, до поворота, а там, по булыжному спуску вниз, мимо собора, мимо домов, где когда-то Радищев, декабристы, народовольцы по пути в ссылку останавливались… Но об этом, конечно, позднее подумалось — мол, в неплохой компании я оказался… А тогда скатывался вниз, перебежками, от одной подворотни к другой, лишь бы скорее, скорее уйти дальше! Когда добежал до реки, услыхал собачий лай, выстрелы — облава началась. Но шум удалялся по направлению к центру города. Я решил уходить на восток, ближе к железной дороге — может, на полустанке каком удастся сесть на поезд.

Возле городского парка стали попадаться одинокие прохожие, гуляющие парочки. Усилием воли заставил себя идти спокойно, не оглядываясь. Но стоило встречной машине осветить меня фарами, мгновенно отскакивал в тень, спешил укрыться в подъезде, в подворотне. Потом снова шагал среди запоздалых прохожих, слышал девичий смех, звон гитары. Темная, будто южная, теплая августовская ночь, славный уютный город, война кончилась, молодежь гуляет… А я, как затравленный волк, чужой среди своих, пробираюсь в сторону от людей, от жилья. Каждую секунду готов к тому, что крикнут: «Стой!». Собьют с ног, схватят… И такая вдруг горечь охватила меня, такое отчаянье! Горло стиснуло, слезы глаза жгут. Впервые я тогда после смерти мамы плакал…

Город остался позади. Всю ночь шел. Отмахал километров сорок. Днем отсыпался в стоге сена. Голод мучил. Несколько турнепсин выкопал в поле, сырую картошку грыз. Еще одну ночь шел вдоль железной дороги. Утром на окраине поселка залег в пересохшую канаву, наблюдал за старухой, которая в огороде копалась. Решил попросить воды, а, может, и хлеба даст. Не дала — «много вас таких ходют…» Быстро пошел прочь. Оглянулся — все вслед смотрит. Свернул в сторону и снова в канаву лег. Решил переждать. Услышал, как бабка рассказывала кому-то: «Бритый… Чернявый…». Пополз по канаве. Сухая трава, пыль горло забивает, кашель душит. Выбился из сил.

Вдруг треск мотоцикла, все ближе, ближе! Снова пополз, хотя понимал, что не уйти. Остановились возле кустов: «Выходи! Стрелять будем!». Метнулся обратно. Заметили. Схватили. Связали. Трое их было. Сапогами били. Старался голову заслонить. Мысль одна — это конец. Скорее бы, чтоб не чувствовать! Скорее! Потерял сознание. Очнулся на полу вокзала. Слышал, как объясняли, что женщина задержала крупного государственного преступника и ей за это триста рублей награды определили. Вторично теряя сознание, успел понять, что это за меня награда… А когда пришел в себя снова, уже в камере, удивился, что жив.

Снова одиночка. Был готов к новому сроку за побег. А могли и вышку дать, если следователь умер. Но меня будто забыли. Два месяца карцера, на хлебе и воде (но после блокады закалился — голодом меня не уморить). Зажили понемногу и ребра перебитые, и ноги. Зубы, жаль, новые не выросли. И головные боли привязались крепко.

Позднее понял, почему мне новый суд не назначили. Видимо, начальство томского КГБ больше всего боялось, чтоб слух о побеге арестанта во время допроса (такой скандал!) не дошел до Москвы. Их бы тогда всех разогнали — окна не зарешечены! Сигнализации нет!.. Поэтому меня додержали до дня, когда пришел ответ на мою кассацию (отрицательный, разумеется) и тут же, с облегчением, наверное, перегнали из внутренней тюрьмы в уголовную, и с первым же этапом — в Ачинские лагеря. И начал раскручиваться уже второй год моей «десятки»…

А отказ на кассацию пришел 15 ноября 1945 года. Все в тот же черный день для меня: 15 ноября 1941 года — день смерти папы в Ленинграде.

* * *

Сначала был в лагерях Ачинска — на лесоповале. Политических держали вместе с уголовниками и частенько тех натравливали на нас. Иногда завязывались страшные драки с

поножовщиной. Охрана смотрела на это сквозь пальцы, знали, что уголовники всегда одержат верх, и это было им даже выгодно. Случалось, что во время проверки на плацу вдруг падал человек с ножом в спине. Однажды, когда группа зеков была вызвана в контору и ждала вызова поодиночке к начальнику (что-то уточнялось в личных делах), уголовники прицепились к одному парню, я вступился — и тогда двинулись на меня. Понял, что дело плохо, пятясь к стене метнулся за длинный деревянный стол. А когда они попытались схватить меня, поднял стол как щит, бросил его на них, а сам выпрыгнул в окно. Второй этаж — мог бы разбиться, но к счастью внизу был песок и все обошлось. Но спину, видно, тогда зашиб: когда теперь болит, то на том же месте.

Постепенно политические объединились и решили дать организованный отпор уголовникам, иначе выбьют наших по одному. Это такая публика, что понимает только превосходство в силе, поэтому действовать вынуждены были их же бесчеловечными методами. Ночью, когда зону нашего барака закрыли и охрана ушла, дождались, пока все заснут, а потом, по сигналу, бесшумно подходили к намеченным типам, затыкали кляпом рот, сдергивали с нар и выталкивали на крыльцо. А там каждого подхватывали за руки и ноги, раскачивали и подбрасывали вверх. Он с силой падал плашмя на крыльцо… Многих из них утром перевели в лазарет. Охранники бушевали, искали зачинщиков, но мы отвечали: «Ничего не знаем. Это урки между собой какие-то счеты сводили…» — и те нам поверили. А уголовники урок запомнили и больше нас не трогали. И не жаловались на нас, хотя знали, что это наших рук дело, — силу они уважали.

Случались у нас и смешные истории. Так, однажды возвращались мы с лесоповала в лагерь. Было это осенью 46-го года. Холодно, дороги в тайге развезло, все промокли, замерзли. Останавливались только на перевальных пунктах — нечто вроде загонов для скота, огороженных колючей проволокой. До очередного «загона» дошли к вечеру и вымотались вконец. Охрана спешилась, расставила конвой. Мы кое-как натянули палатки и расползлись по этим сырым темным логовам. Не было сил дождаться, когда «кухонная бригада» управится с мокрым дымящим хворостом и под большим котлом разгорится костер. Кашеварить на этот раз вызвались блатные со своим атаманом Сашкой и на удивление дружно взялись за дело. Видать, двое суток на сухом пайке да марш по раскисшим дорогам пробудили в них столь редкое желание — потрудиться на пользу общества.

Заснули мы, скрылись в своей большой палатке охранники,

только суетились вокруг костра «повара» да маячили вдоль ограды конвойные.

А через какое-то время проснулись от шума. Ничего не понять: матерщина, крики, хохот… Выскочили из палаток — бригада «поваров» мечется по зоне, впереди всех совершенно голый Сашка, а за ним несколько зеков с явным намерением излупить. И уже кто-то из «поваров» орет благим матом, а охранники вроде пытаются спасти несчастного от преследователей: видать, испугались, что забьют насмерть. Тем более, что гоняли-то «поваров» свои, уголовники, а они, как известно, звереют мгновенно. Еле оттеснили охранники разгневанную толпу от «кухнарей», но ругань и мат еще долго висели в воздухе…

А весь шум начался с того, что одному зеку (и, как на грех, блатному) не спалось на голодный желудок. Выполз он из палатки и направился к костру — то ли погреться хотел, то ли надеялся, что ему, может быть, перепадет от своих лишний черпак баланды. Но когда подошел ближе, то остолбенел: происходящее, наверно, напоминало картинку «Черти в аду»: вокруг костра носились полуголые, веселые (и явно сытые!) дружки атамана — кто хворост подбрасывает, кто ведра с водой из бочки тащит. А на тлеющих углях возвышается огромный котел, и из него в клубах пара торчит сияющая распаренная рожа Сашки! Атаман изволил принимать ванну, а подобострастные «шестерки» ублажали его и дожидались, видать, своей очереди. При виде такого непотребства и сообразив, что обещанной похлебки не будет (ее уже сожрали эти гады), оцепеневший было наблюдатель взревел и ринулся крушить все и вся. Одним махом он опрокинул котел (откуда и силы взялись!), вывалил в уголья намыленного атамана и тот, подвывая, на карачках побежал в спасительную темноту. А тот доходяга схватил горящую головешку и, размахивая ею над головой, бросился на балдевших «чертей». Тут подоспели разбуженные и уж дальше гоняли вокруг костра Сашку с компанией мы все вместе, вплоть до появления спасателей («ангелов-спасителей»?) — охранников.

Позднее выяснились подробности. «Повара» вместо положенной по норме жидкой похлебки наварили отличную густую кашу, наелись, что называется, «от пуза», а затем с воодушевлением приняли идею Сашки — выкупаться в этом котле, благо воды горячей было вдосталь и никто не мешает. А отвечать потом — что за кашу, что за баню — все едино! Еще даже лучше: всех работяг по прибытии в лагерь снова начнут на рытье траншей гонять, а их, штрафников, сразу в БУР сунут. Там хоть и на голодном пайке, да зато неделю-другую можно

отдохнуть после лесоповала. А на сытый желудок да после хорошей бани и поголодать не страшно.

Любопытно было, как по-разному проявили свое отношение к этой истории разные группы заключенных. Уголовники в гневе своем доходили до остервенения и готовы были «на куски разорвать подонков» (и разорвали бы, если бы не охранники). Политические же и те из «фраеров», кто не потерял в себе человеческое, хоть и озлились, естественно, что еще на сутки остались без горячей пищи, однако не смогли не рассмеяться находчивости, наглости, с какой их провели эти «повара-энтузиасты»… Да так в смехе и растворилась наша злость.

Война с уголовниками то возобновлялась, то затухала. С некоторыми удавалось наладить человеческие отношения, и они с удивлением узнавали, что политические вовсе не «контрики» и тем более не «фашистское охвостье», как им внушали до сих пор (за что они и считали своим «патриотическим долгом» сживать нас со свету всеми способами). Встречались среди блатных и яркие, интересные личности, которые запутались в противоречиях жизни и не знали, куда приложить свои силы. В голове у них была мешанина. Некоторые из них с любопытством приглядывались к политическим, затевали споры о справедливости, о войне, о сельском хозяйстве (большинство уголовных оказывалось из числа тех парней, которые удрали из деревни и в городе не прижились, и в разговорах о земле с них слетала вся накипь).

Спорить с ними, отвечать на их вопросы было интересно. Но лагерное начальство боялось такого сближения, да и просто возникновения между заключенными дружбы, привязанности, поэтому часто на утренней поверке вдруг объявлялся набор на этап и выкликали номера, которые должны были собираться для отправки в другой лагерь. Каждый такой этап будоражил всех. Рвались наладившиеся нити взаимоотношений и своеобразной иерархии, отправляемых тревожила неизвестность: никто не знал, куда отправляют и что ждет впереди…

Взамен убывших пригоняли другой этап, а в нем всегда и новички только что из тюрьмы, и ветераны разных сроков, присланные из других лагерей. И вот в зависимости от количества и «уровня» влившейся группы уголовников вся жизнь лагеря входила в какое-то устоявшееся русло или вдруг ввергалась в лихорадку драк, воровства, поножовщины. И жертвами чаще всего оказывались политические.

Весной 1948 года в Ачинских лагерях вспыхнуло восстание политических против произвола уголовников и потворства им со стороны начальства. В общем-то и начальство было бессильно

усмирить разбушевавшуюся стихию, и в конце концов они были вынуждены провести реорганизацию — отправить основную массу политических в другие, специально для них построенные лагеря. Так я угодил в Степлаг (Джезказганский рудник), когда там и лагеря-то еще не было, одно только название. Везли два месяца. Многие умерли в пути. Прибыли. Раскаленное солнце, голая степь. Вонючая вода — по выдаче.

Строили сами для себя. Сначала «зону» огораживали колючей проволокой в несколько рядов, вышки для «вертухаев» с пулеметами сооружали. Потом бараки для зеков и дома для начальства и охраны. Одно утешало — условия жизни для «обслуги» были тоже незавидные: солнце над головой и песок на зубах для всех одинаковы…

Первые два года держали всех «без выхода», то есть после работы запирали в бараке до утра. Духота дикая, вонь, параша. Все были «в номерах»: лоскут с номером нашивался на грудь и спину рубахи, на колено штанов, а зимой на телогрейку и шапку.

Позднее, когда огромная зона была поделена на три части (по четыре тысячи человек в каждой), когда отделили заборами бараки, то в вечернее время можно было находиться в большой зоне, где столовая, баня, мастерские, конторы начальства. После отбоя и вечерней поверки загоняли на участок своего барака и закрывали на замок до утра. Но там хоть уборные построили, а параши остались только в БУРе, куда сажали за малейшее нарушение или отказ от работы.

Работал долгое время на каменоломне. Жара до 40 градусов, жажда, а мы кайлом грохаем по 12 часов ежедневно. Потом на цинковых рудниках был. Не знаю, что страшнее…

Постепенно стали меня привлекать к участию в деятельности лагерного комитета. Знал, что есть какой-то комитет, который выносит решения о конфликтных ситуациях, помогает ослабевшим, спасает политических от уголовников (постепенно они снова начали засылаться в наш лагерь, и хоть количество их было не столь уж значительным, но жизнь они отравляли порядочно и с них нельзя было спускать глаз). Комитет вылавливал и учил «уму-разуму» стукачей, а если те не унимались, то и выносил приговор: убивали или создавали видимость самоубийства, или гибели от несчастного случая.

Но толком — кто в этом комитете и как организован — ничего не знал. Почувствовал сначала, что меня оберегают, а затем уж начали давать и отдельные поручения.

А началось с того, что весной, когда были сильные паводки и часть зоны затопило, к нам ночью вломились в барак охранники и стали всех выгонять на работу — надо было отвести воду от

вышек. И все двести человек, матерясь и чертыхаясь, начали подыматься и потянулись к выходу — привыкли подчиняться приказу. Но трое, и я в том числе, не сговариваясь, отказались идти спасать вертухаев. Поднялся крик, ругань, пытаются сдернуть с нар силой. Мы в ответ: «Это ваше дело, сами и занимайтесь! Наглость какая — требовать, чтоб зэки помогали спасать свою клетку! Да пусть хоть все там к черту смоет!». Прислушиваясь к ругани, начали возвращаться и те, кто уже толпились у двери, количество отказников выросло до трех десятков. Естественно, что зачинщиков сунули в БУР, просидел я там больше месяца. А когда вышел, то в первый же день на работе ребята сделали мне «кант» — дали возможность «покантоваться», то есть я только делал вид, что работаю, а норму мою они выполняли за меня. Так поступали с теми, кто ослаб, чтобы дать ему время окрепнуть. Такая неделя передышки меня очень выручила, так как после БУРа я стал похож на ленинградского дистрофика. Да еще и лишнюю пайку хлеба мне выкраивали. Тогда я понял, что комитет взял меня под свою защиту, хотя и не знал, кто именно вынес такое решение. Потом со мной поговорил один человек, на которого я бы никогда не подумал, что он имеет отношение к «боевикам», таким униженно-забитым казался он. Он мне сказал, что если я хочу принять участие в их деятельности, то должен тоже закамуфлироваться: сделать вид, что БУР сломил меня, и нигде больше «не высовываться». Я понял, что это верная тактика и начал перевоплощаться в типа трусливого и нейтрального. Были у нас и такие: пусть что угодно творится, лишь бы его не трогали. Задание это было нелегкое: и самому тошно, и отношение окружающих ко мне переменилось. Новые друзья меня хвалили — убедительно себя веду. И начали понемногу приобщать к своему делу.

Так однажды мы подготовили телегу с продуктами для тех, кто «доходил» в БУРе. И во время этой операции выловили одного стукача: я заметил, как он стоял за дверью, когда мы грузили мешки, и быстро скрылся. Моментально дал знать своим, те отменили приказ и телегу отправили пустую, набросив на пустые ящики брезент. Увидев, как на нее налетели охранники и всю перетрясли, мы убедились, что тот тип за дверьми был действительно стукач. Вынесли решение его прикончить. Его закололи ножом в бараке, но он остался жив. Тогда его придушили прямо в той одиночке лазарета, где он лежал на излечении.

Быть в роли шкурника, которому дороже всего только свое благополучие, жутко и отвратно еще и потому, что начальство начинает присматриваться к такому и делает свои выводы. Таких

легче всего купить за пайку хлеба или запугать. Так однажды и меня вызвали для доверительной беседы к оперуполномоченному по случаю очередного убийства какого-то стукача. А подкололи его чисто, по существу, на глазах у всего конвоя. Когда шел пересчет зэков по рядам при выходе из рабочей зоны, кто-то всадил стукачу нож в спину, и он с криком бросился через толпу к вахте и там упал. Ряды сомкнулись и никто «не видел», «не заметил». Нескольких из тех, кто был на подозрении, выдернули из рядов (меня в том числе) и погнали к бараку, где находились кабинеты начальства. Пока ожидали «приема», один друг шепнул мне: «Нож у меня. От обыска мне не открутиться…». И это было верно — он был замешан во многих заварухах. А я в этот период считался уже среди «благонадежных» и меня подозревать в убийстве вряд ли могли. Меня вызывали, видимо, для другой цели, это уже чувствовалось по тому, как обращалась со мной охрана — тычки не больные, только для вида… Я предложил спрятать нож, так как вероятность, что меня обыщут, меньшая, чем у него. Он отдал. Это был короткий нож, лезвие которого вдвигалось в рукоятку, и я спрятал его в голенище сапога. Когда меня вызвал «опер», то заговорил весьма сдержанно — не видел ли, кто убил, не предполагаю ли, кто это может быть. Я плел насчет того, что я студент, в дела уголовников не вмешиваюсь. Тем более, что мне всего три года до окончания срока осталось. Он сочувственно кивал головой и перелистывал мое дело. «Да, мы знаем о вашем поведении. Правда, вот вы в БУРе побывали. И не однажды…». Я отмечаю, что разговор идет даже на «вы», а сам продолжаю объяснять, что у меня, мол, вспыльчивый характер, поэтому частенько нарываюсь на неприятности. Проверил по бумагам — вроде все так и записано. Наконец, спрашивает: не мог бы я приглядываться повнимательнее к тем, кто всякие заварухи начинает, и вообще «…вы человек грамотный, не чета этим подонкам». Тут я решительно сказал, что своя шкура мне дороже всего, а если я возьмусь за такое дело, то меня непременно выловят и подколют, как сегодня случилось на разводе. Боюсь, да и все тут! Он покивал головой — вроде я убедил его. Видно, сам был под впечатлением серии убийств за короткое время. Собирался уже отпустить, да вспомнил, что надо для проформы обыскать. Вызывает из коридора охранника… Тут, честно говоря, сердце у меня провалилось. Начал тот меня по плечам и груди охлопывать, а у меня одно в голове — сейчас до сапог дойдет и каюк мне! Могут запросто вышку дать… И вдруг в этот момент за дверью крик, ругань — ожидающая братва драку затеяла. Охранник бросил меня — и туда! Разняв их кое-как, вернулся запыхавшийся и снова ко мне. А я спокойно ему: да вы

меня только что обыскали! Он сплюнул: «Верно, забыл, будь они неладны!». И отпустил меня с миром. Не помню, как дошел до барака, сел на крылечке — ноги не держат. Подошли ко мне ребята — разбитые носы, скулы утирают. Тихонько шепчут: «Спасибо, браток…». И я им: «Если бы опоздали на минуту, вышка мне». Так и не нашли убийцу.

Но моя новая роль чуть не погубила меня и среди своих. Была у нас в лагере группа «черных» — мусульман разных наций. Они уверовали в то, что я «скурвился», и решили меня убить. Ночью, в бараке, когда засну. Наши ребята в последнюю минуту узнали об этом и не имели времени притормозить это дело, поэтому только быстренько растолкали меня, а на нары положили сверток тряпья и одеялом прикрыли. Ночью был воткнут в эту куклу нож… Позднее ребята были вынуждены рассказать одному из главных в группе «черных», что я свой, и тот чуть не плакал, моля простить за то, что чуть не убил меня.

Но в целом политика «мимикрии» оправдала себя. Мне удалось принимать участие в операциях «боевиков» вплоть до восстания 1953 года, когда наша группа взяла на себя всю подготовку и проведение его. Мы продержались неделю, но и в эту неделю «Свободной республики Степлага» мы не рискнули расконспирироваться. Все распоряжения штаба появлялись утром в виде листовок на стенах бараков, и руководителей никто не знал. Восстание проводилось в связи с тем, что по случаю смерти нашего корифея по амнистии должны были выпустить и часть политических — тех, у кого сроки до пяти лет. Но на практике отпустили только уголовников, причем и с большими сроками, а политических продолжали мариновать. В том числе и тех, кто должен быть амнистирован по болезни, то есть совсем доходяг.

(Попутно: в марте месяце 1953-го, когда нас в неурочное время выстроили на плацу и скорбно сообщили о кончине «нашего мудрейшего», «нашего гениального» и приказали снять шапки и почтить минутой молчания, мы все начали гоготать, орать «ура», подбрасывая шапки вверх… А когда охранники ринулись наводить порядок, сели в мокрый снег, сцепились руками и под зуботычинами и ударами прикладов не вставали до тех пор, пока самим не надоело базарить… Так мы отметили эту траурную дату).

Восстания осенью 1953-го прокатились по всем лагерям. И хотя доходили слухи, что многие из них кончились плохо, мы все же считали необходимым восстание провести. Подготовка к нему была очень тщательная. Среди нас к этому времени было несколько участников французского Сопротивления и мы использовали их методы борьбы. Имели мы даже рацию, которую

перед еженедельным обыском разбирали до винтика и прятали по всей территории, а затем собирали и слушали все, что творится в мире. Иногда и сами выходили в эфир, и западные радиостанции транслировали те скудные сведения о наших лагерях, которые пробивались к ним.

Началось восстание по сигналу, и первым делом были схвачены все «вертухаи» на вышках и вместе с остальной охраной разоружены и выброшены за ворота. Изнутри забаррикадировались и по рации продиктовали ошалевшему начальству свои условия: требуем немедленной и справедливой амнистии для политических. Согласны на переговоры с их представителем и гарантируем его безопасность. Нам очень важно было дать им понять, что мы ни в коем случае не хотим доводить дело до кровопролития. Мы со своей стороны провели операцию по выбрасыванию всего персонала охраны с территории лагеря так «деликатно» и стремительно, что никаких обвинений в причинении физических увечий предъявить нам нельзя. Одновременно с освобождением от охранников мы изолировали и всех тех уголовников, которые могли помешать делу — сунули их в БУР. Разобрали стены между зонами и взяли на учет весь запас продуктов, ввели строгие нормы выдачи. Распределили всех на работы. Ни кухня, ни пекарня, ни мастерские ни на день не прекращали работу. Те, кому не хватило дела, принялись за уборку бараков и территории — без принуждения работа была в охотку. А вечерами проводили лекции, беседы, ответы на вопросы. Специалистов хватало по всем проблемам и отраслям наук. А как слушали, какие диспуты затевались! У нас, правда, и до этого было нечто вроде семинаров — небольшая группа собиралась время от времени ночами и читались подготовленные лекции, рефераты обсуждались. Я был в группе гуманитариев, вместе с филологом М. Щедринским и Мишей Кудиновым[62] — поэтом, переводчиком с французского Ж. Превера[63] и других поэтов. Было среди нас и несколько историков, экономистов. Мы выступали с разработкой своих тем (именно там состоялось первое обсуждение моего понимания социальных потребностей). По окончании все записи, все тезисы (на крохотных бумажках) сжигались, и было всегда тяжело, будто добровольно сжигаешь какую-то часть своей сущности… А в заключение Миша читал стихи — свои и чужие. Знал он их огромное множество. Особенно нравились нам его переводы из Генри Лоусона[64]

«…Гниют арестанты,
Но стражники их
Тоже в тюрьме гниют.

Молчит арестант, и стража молчит
О том, что творится тут.
А тот, кто покинул пределы тюрьмы,
Не смеет о ней рассказать,
Не смеет вспомнить, что столько людей
Безвинно должны страдать».

И еще озорные, о порванных брюках:

«…Если не на что побриться,
Если чистой нет рубашки,
Если ночью вам не спится
От долгов и мыслей тяжких,
Не скажу, что вы счастливец:
К вам нужда полна вниманья,
Но еще вы не знакомы
С черным Демоном Страданья…
У страданья много стадий,
Но всего страшнее муки
От сознания, что сзади
Разорвались ваши брюки…».

И дальше много забавных куплетов. Но я отвлекся…

Так вот. Во время восстания мы, кажется, впервые (и в последний раз в жизни) могли говорить обо всем, о чем думаем, открыто спорить. Было это так непривычно и хорошо, что кто-то рассмеялся и сказал: «Братцы! Ну до чего прекрасная жизнь у нас началась, ну прямо как при коммунизме!..». Парадокс, но это действительно так — там, за забором я тогда чувствовал себя истинно свободным.

Начальство лагерное было вынуждено сообщить в Москву о восстании. Оттуда прислали кого-то из высших чинов для переговоров, так как со своими говорить мы отказались — не верили им, да и знали, что они бессильны выполнить свои обещания. Сначала требовали, чтоб мы открыли ворота и впустили комиссию для переговоров. Мы согласились только на то, чтобы открыть маленькую дверь вахты и пропустить через нее московского представителя, без сопровождающих. Сохранность его жизни гарантировали. Они поторговались и согласились. Запустили мы его — оказался в чине генерала и довольно интеллигентный, судя по речи, человек. Мы выстроились на плацу (повернулись к нему затылками, чтоб не видел, кто ему отвечает и задает вопросы), а он спокойным и усталым голосом

объяснял, что наше сопротивление бессмысленно, что напрасно обостряем отношения: задержка с амнистией происходит из-за физической неспособности управиться в короткий срок. Надо пересмотреть и разобраться в тысячах дел, а доверено это лишь специальным комиссиям и их не хватает… В общем, звучало это почти убедительно. Судя по нашим номерам (в шифре их мы разобрались — это были не просто порядковые номера, но в первых цифрах содержалось количество сотен тысяч) — так вот номера эти говорили о том, что количество зэков перевалило за десяток миллионов… Этому большому начальнику можно было даже посочувствовать — действительно трудная работа свалилась на них в связи с кончиной усатого кормчего. Но наши парламентарии взяли слово и аргументировано доказали, что комиссия, которая заседала в нашем лагере, явно благоволила к уголовникам и допустила много нарушений. Тот все выслушал, спросил, какие еще есть жалобы — на всякий случай высказали и их, когда еще такой случай будет! Генерал обещал в ближайшие два дня во всем разобраться и сделать все от него зависящее. Нам же посоветовал подумать и через два дня, когда он снова придет к нам в лагерь и сообщит, что будет предпринято по нашим претензиям, снять к тому времени осаду и прекратить восстание: «Не буду скрывать: лагерь окружен войсками, подогнана танковая часть, и в случае продолжения конфликта будет дана команда навести порядок силой. Подумайте и решайте», — сказал он.

Мы подумали и пришли к выводу, что надо сдаваться.

Когда мы объявили по рации о сдаче и открыли ворота, в зону ворвалась охрана с войсками, но не знали, кого хватать, и ограничились двумя десятками тех, кто попал под руку. И хотя их отправили с этапом в другие лагеря, навесив новый срок, все же они понимали, что главные инициаторы не выловлены, и в этом была наша победа. Уберегли мы и от кровопролития, не в пример Кенгирскому лагерю[65], где восстание было подавлено зверски. Лагерь утюжили танками, погибло несколько сот человек, а весь комитет во главе с Кузнецовым схватили и дали каждому по 15–25 лет. Очень важно было и то, что мы сумели передать по радио сигнал «SOS» на Европу и вели прямые передачи в дни восстания. Весть о нем разнеслась по всем западным станциям. Только это, по-видимому, и спасло наш лагерь от танков, хотя они уже стояли перед воротами.

Это все, что я успела записать со слов Арнольда. Многое, что он еще отрывочно вспоминал, не рискну записывать по памяти — боюсь ошибиться, перепутать фамилии. Больше всего он рассказывал о прекрасных людях, с которыми встречался там…

Скончался Арнольд 6 ноября 1982 года. У него была отбита правая почка — еще с тех пор, с 1945 года. Это и стало причиной его гибели.

Реабилитация в 1963 г. — «Приговор отменен и дело прекращено за отсутствием состава преступления».

* * *

Ответ Гл. прокурора Верховного Совета: «Ваша работа по проблемам политэкономии (на 534 листах) была отправлена в Институт марксизма-ленинизма и там отметили определенную научную ценность данной работы, а некоторые ее положения предвосхитили те экономические реформы, которые в настоящее время внедрены в практику».

Заметки 1968–1978 г.г

Лето 1968 г

15 июля

Вернулась из отпуска, и, как это всегда бывает после перерыва, уже соскучилась по редакции, по работе.

Но в первый же день радость была испорчена. Оказалось, что за время моего отсутствия произошли неприятности и меня ожидала нотация в кабинете Яновского и довольно откровенное «неодобрение» со стороны всех остальных. Дело в том, что я в предотпускной спешке не потрудилась, как это положено, сделать «выборку» из рецензии члена редколлегии на произведение одного московского автора и отправила эту злополучную рецензию автору полностью, с припиской: «Повесть Ваша, как я писала уже, на мой взгляд, во многом уязвима, и вот Вам и доказательство тому — официальная рецензия Л. Иванова. По сути своей она во многом права. Ну, а на то, что форма высказывания грубовата, надеюсь, не будете обращать внимания, т. к. сами говорили, что в этом отношении Вы человек “закаленный”».

И вот оказалось, что этот «закаленный человек» на этот раз не выдержал и прислал официальное письмо нашему главному редактору А. И.Смердову, а копию на имя нынешнего председателя Новосибирского Союза писателей И. В. Решетникова, в котором возмущается грубостью рецензента («Рука у автора набита, писать может» — это не о графомане, а о человеке, давно печатающемся, члене СП, многолетнем руководителе крупной писательской организации), отсутствием глубокого анализа произведения и, главное, что оскорбило автора, — рукопись была испещрена чернильными подчеркиваниями и заметками на полях. «Если мы, писатели, не будем с уважением относиться к труду друг друга, то чего же можно требовать от критиков, от “случайных” рецензентов», — пишет автор… И, на мой взгляд, он абсолютно прав. Почему, спрашивается, рецензии чаще всего пишутся так, что их нельзя показать на глаза авторам, и редактор должен «причесывать» рецензии, выписывать из них лишь отдельные фразы, а остальное излагать «своими словами» или вовсе опускать (и этим фактически искажать смысл рецензии, или, во всяком случае, смещать ее акценты). Но так заведено давно: во «внутренних рецензиях» члены редколлегии и привлеченные к этому делу писатели стесняться не любят и либо разражаются уничтожительной критикой, либо ограничиваются снисходительной отпиской вроде: «Интересно, но не более.

Печатать можно». (Так недавно написал А. Чикин). И ведь такие рецензии оплачиваются «из расчета количества прочитанных страниц», т. е. прочитал ты роман в 500 стр., написал по этому поводу десять строк — и получи свои пять рублей… Да что там говорить — так «заведено» давно, а я работаю в редакции недавно, еще «не привыкла» к этим порядкам.

В общем, выругали меня основательно. «Какое имели право передавать внутреннюю рецензию автору?..» и т. д. и т. п. Да еще, видимо, на правлении писателей будет об этом ЧП упоминаться, т. к. отвечать-то на письмо надо. С опаской жду очередного заседания в Союзе, т. е. моя неблаговидная роль в «выметании сора из избы» станет очевидной уже не только для членов редколлегии. После этого рассчитывать на «добрые теплые отношения» со стороны наших писателей мне уже не придется — писанием рецензий занимаются в той или иной степени почти все… А собрание в Союзе писателей состоится через неделю… И на повестке дня юбилей комсомола на страницах нашего журнала, так что будет полный сбор, и мне отсутствовать нельзя…

20 июля

«Беды никогда не ходят в одиночку, а всегда стадами», — как верно заметил кто-то. «За компанию» с предыдущей неприятностью пришла и другая, связанная с рукописью одного переводного романа, над которой я безуспешно билась в течение нескольких зимних месяцев этого года и по поводу которой даже сказала как-то, в сердцах, своему зав. отделом: «Только лишь как в «наказание» можно было поручать редактору рукопись, подобную этой». На что милейший Борис Константинович очень обиделся.

Не хочу даже говорить о всех обстоятельствах, связанных с этим, — так это все неприятно. Только очень жаль, что в результате всей этой истории, кажется, окончательно испорчены у меня отношения с Николаем Николаевичем. Если так будет продолжаться, то, пожалуй, придется подумывать о другой работе… Но куда я уйду? Я люблю ее, иначе давно устроилась бы в Академгородке и не моталась ежедневно по автобусам, в жару и в морозы, тратя по 3 часа на дорогу, вот уже четвертый год…

25 июля

Ну вот, прошло и это собрание в Союзе писателей, которого я так опасалась. К счастью, о моем «проступке» не помянули, хотя Решетников и сказал: «У нас еще есть ряд внутренних вопросов, но я думаю, что всех задерживать не стоит — мы их обсудим на

правлении». Но по холодку и по тому, как меня «не замечали», я поняла, что большинство собравшихся в курсе дела. Да и было-то всего на собрании человек 15, и половина из них — члены правления. Жарко, душно, все томятся и с деланным вниманием слушают сообщение о подготовке «Сиб. огней» к юбилею комсомола. И только председательствующий А. В. Высоцкий по обыкновению серьезно относится к своим обязанностям: хмурится, переспрашивает докладчика Смердова, советует. В свои 70 лет Анатолий Васильевич округл, румян, аккуратно расчесаны на пробор серебряные волосы. Отличный костюм застегнут на все пуговицы — не то, что «молодежь». Изнывающий от жары и скуки Никульков в яркой трикотажной «бобочке» раскачивается на стуле и разглядывает что-то на потолке, отчего его профиль с мальчишеским хохолком на затылке и вздернутым носом кажется еще более заносчивым. Насупившись, прижав располневший подбородок к груди и время от времени недовольно оглядывая всех маленькими глазками, развалясь сидит Анатолий Иванов, далеко вытянув ноги в каких-то свежемодерновых туфлях из мешковины. Елена Васильевна Бердникова, как всегда опоздавшая, тихой мышкой скользит мимо сидящих и запинается за ноги Иванова. Тот нехотя подтягивает их, но через минуту индийские «джимми» вновь выставлены на обозрение. Г. Н. Падерин с постоянством «трудновоспитуемого» школьника восседает «на Камчатке» и силится сохранить серьезное выражение, но его выдают смеющиеся карие глазищи. Интересно, что нашептывает ему колючий, весь будто смонтированный из планок детского «конструктора» Коля Самохин. Забавное противоречие сочетается в нем: с одной стороны, он ответственный редактор журнала, что обязывает к серьезности, и он так преуспел в этом, что подчас его мальчишеская физиономия сохраняет драматическую, почти трагическую, мину в течение всего дня. Но зато, если внутренней энергии и остроумию удается пробиться сквозь эту маску, то вдруг обнаруживается, что к этому смуглому лицу удивительно «идет» белозубая улыбка, а из под суровых бровей могут буквально искриться смехом черные, антрацитового блеска глаза. И тогда понимаешь, что Самохин неслучайно возглавляет в журнале Отдел юмора и является автором нескольких юмористических книжек. Причем юмор этот очень злой и с далеким прицелом. Вот и сейчас, сидя на собрании, Самохин внешне — серьезный «ответственный товарищ», а рассказывает, видимо, что-то очень смешное.

Л. В. Решетников даже погрозил пальцем этой паре, но Падерин мгновенно состроил благочестивую мину и только хитрющие глаза по обыкновению подводят его и противоречат

постной физиономии.

Очень интересно наблюдать за В. В. Лаврентьевым — вся его поза говорит от том, что он здесь лишь заезжий гость и терпит весть этот спектакль лишь из-за своей неистребимой снисходительности. Причем скрывать этого он не намерен и томится подчеркнуто, живописно. Его хочется всегда рисовать. Его настроение и даже мысли можно прочитать не только по его лицу, но, кажется, их выражает вся его фигура. Достаточно посмотреть, как сложился пополам он в низком кресле, как сплел на коленях длинные пальцы, как ощетинился костистыми плечами, выжидательно склонив набок голову хищной птицы. Так и чувствуешь зреющую в нем злость и знаешь, что, улучив минуту, он бросит какую-нибудь саркастическую реплику, а потом откинется, разбросав длинные руки на спинки соседних стульев и будет наслаждаться посеянным раздором, и веки почти прикроют холодные глаза, а ироническая усмешка станет еще острее оттого, что левая бровь вздернется вопросительным знаком да так и застрянет. А бубнящий, как из бочки, набычившийся Решетников будет всерьез доказывать, что Виктор Владимирович не так его понял, а Смердов от раздражения растеряет все слова и начнет повторяться, объяснять то, что уже давно всем ясно, затягивая и без того затянувшееся заседание.

Лаврентьев с видом знатока полюбуется спровоцированной им же «драматической сценой» и, удовлетворенный, вновь погрузится в ленивое оцепенение. Оцепенение, когда за полуопущенными веками вновь накапливается очередная вспышка сарказма, яда. Но, впрочем, не всегда он такой. Я помню писательскую среду, проходившую этой весной, когда Лаврентьев серьезно и умно говорил о том, что общественная деятельность писателя заключается не в том, сколько «общественных нагрузок» он выполняет, а в том, насколько активен он творчески, какой общественный резонанс имеют его произведения. «Что из того, что я заседаю регулярно в драматической секции Союза писателей или Художественного совета города, участвую в работе комиссии по присуждению Ленинских премий? Лучше бы с меня спросили, а что я написал за этот год, и нашло ли отклик у народа то, что я пишу, тогда бы и судили о моей «общественной активности». Его, между прочим, поддержал тогда Падерин. Не называя фамилий (они и так всем были ясны), сказал о том, что, действительно, есть и у нас в Союзе такие товарищи, которые похваляются лишь своей активностью в разных комиссиях и советах, а творчески — годами на простое. Анатолий Иванов сразу подхватил это и начал уже переходить на личности, не разбирая, кто заслуживает этого, а кто нет, всех валя в одну кучу.

Но тут взял слово Решетников и быстро всех утихомирил, прибегнув к спасительной «золотой середине»: «с одной стороны…, с другой стороны…». А в общем-то, Лаврентьев тогда был прав. И у него есть моральное право так резко выступать. За последние годы он написал несколько серьезных произведений (в том числе очень философичную и масштабную драму «Человек и глобус», которую пытался Чернядев поставить в «Красном Факеле» да так и провалил спектакль, т. к. не сумел подняться до понимания глубины пьесы. И,таким образом, все выборные должности и представительства в различных комиссиях не заслоняют в Лаврентьеве его основного — творческого — начала. А это случается не так часто. Ну, а характер у него действительно трудный, и если уж кто попадется ему под руку — пощады не жди.

Присутствовал на этом собрании и Петр Воронин, хотя по состоянию здоровья он мог не приходить. Он перенес уже третью операцию, и на этот раз, кажется, врачи признались в своем бессилии. При взгляде на него сжимается сердце. Страшно подумать, что этот красивый душевный человек обречен. Он, пожалуй, единственный из всех членов Союза позволял себе говорить все, что думает, независимо от того, «как на это посмотрят», и невзирая ни на какое «начальство». Помню собрание прошлого года, когда после выступления секретаря обкома выступил Петр Иванович и сказал: «А по-моему, Вы ошибаетесь!» — и убедительно, страстно доказывал это. Все сидели притихшие — не часто случается такое. А секретарь вынужден был в своем заключительном слове сделать некоторые поправки и оговорки. Воронина волнуют проблемы образования, нравственного воспитания. Во всех книгах и в романе, над которым он работает сейчас (и который задуман как эпопея в трех томах), не столько художественными средствами, сколько публицистически, он горячо отстаивает свои принципы. В пылу полемики его нередко «заносит», подчас он слишком лобово трактует Фрейда и другие теории из области психологии и педагогики, но за всем этим такая увлеченность и желание своими руками исправить то, что, на его взгляд, ошибочно! Если б все были так искренни, так преданы своим идеям! И вот именно такой человек в расцвете душевных сил сломлен болезнью, и дни его сочтены…

3 августа

За время отпуска накопилось большое количество рукописей, так называемого «самотека». Моя коллега Н. В. Малюкова тоже в отпуске, и я сейчас одна буквально тону в захлестывающем

редакцию (да и не только нашу — это беда всех журналов) потоке литературной макулатуры. Впечатление, что пишут буквально все, кому не лень: и школьники («о том, как я полюбил девочку Лизу»), и домохозяйки («о коварной сопернице»), и алкоголики («Трагическая история моей жизни»), и бывшие (бывшие ли?) уголовники (жуткая история под названием «Подлец»), и главный контингент пишущих — пенсионеры… Диапазон их творчества поистине неограничен: и воспоминания «о первой любви», и подвиги (у всех только героическое прошлое!) в годы Гражданской войны, и описания зверств Колчака, причем эти зверства описываются с такими деталями, смакованием, что сам акт «творчества» этих авторов кажется проявлением особой формы садизма. Не знаю, чем объяснить, но нечто подобное есть и в произведениях о концлагерях, еврейских гетто и ужасах Отечественной войны. Что-то кощунственное в том, как некоторые доморощенные авторы берутся за эти темы лишь потому, что убеждены — это “верняк”, да и слезу у читателя выжмет! Причем объяснить таким авторам, что они спекулируют на теме, невероятно трудно, да и всегда опасно оскорбить человека, т. к. иногда это и просто результат литературной неопытности или эмоциональной неграмотности.

Все же крайне нерационально расходуются силы и время рядовых редакторов журналов и издательств на ежедневное чтение подобной «литературы», да если б только чтение! Ведь на каждое произведение — а иногда это «роман» в 500–600 страниц (один был даже в 1800…) — нужно ответить письмом доказательно, любезно, ни в коем случае не называя автора «бездарью», если это даже доказательств не требует. И это самое трудное — иногда я полдня сижу над одним письмом.

Так вот этот «самотек» иссушает мозги, искажает художественный вкус, притупляет чувство слова. Наглотавшись такой дряни, затем радуешься как «откровению» мало-мальски искреннему (или просто грамотному) «творению» какого-либо безвестного писаки (особенно если он из глуши откуда-то или биография у него трогательная). «Самородок!» — кудахчешь, как тот самый петух, который «навозну кучу разрывал…». И рекомендуешь для печати, и даешь не рецензию, а пишешь что-то «теплое» автору: «потерпите — отдано на прочтение». А «жемчужное зерно» на поверку оказывается обычным стеклышком. Затем читаешь разгромную рецензию и удивляешься: «До чего же верно! И как это я сама не заметила». Тут уже автор атакует письмами («Как насчет гонорара?») и обязательно высылает еще одну обойму своих «произведений». И ты выкручиваешься как можешь, и бьешь отбой, ссылаясь на

«коллегиальность мнения». А тот лезет на рожон и обвиняет тебя в том, что «поманили надеждой» и что у него теперь «душевная депрессия». А один так в Управление культурой на меня пожаловался за «нечуткое отношение к автору», и меня приглашали в обком для объяснения. Автор же тем временем одумался и прислал мне трогательное письмо: «Все же Вы были правы в своей критике, и спасибо, что уберегли меня от насмешек будущих читателей. Я теперь свой роман переработаю и пришлю Вам снова»… И прислал!

Одна «авторша» — молоденькая девушка из Васюганья — никак не реагирует на мои сначала вежливые, а затем и не очень вежливые погромные рецензии, регулярно, через каждые две недели присылает по новому рассказу — уже получила одиннадцатый… (а некоторые присылала трижды! — в «переработанном варианте»). С ужасом жду очередных и не отвечать не имею права.

Совершенно необходимы в редакциях «литературные консультанты», которые хоть частично разгрузили бы редакторов от «самотека». И консультанты эти должны сменяться через 2–3 месяца из-за «вредности производства» и «притупления чувств». Или наоборот: вдруг злость такая обуревает, что никак не можешь успокоиться и уже даже приличным авторам, членам Союза писателей, пишешь раздраженные иронические письма… И тогда милейший Борис Константинович берется редактировать мои ответы и убедительно просит «смягчить» некоторые фразы. А я уже не могу, не умею это делать. И Б. К. сам своим куриным почерком вписывает всякие фразочки вроде: «Видите ли, уважаемый имярек, нам кажется, что Вы несколько…», или в мою фразу: «язык повествования тяготеет к литературным “красивостям”» вставляет: «тяготеет к несвойственным Вам литературным красивостям»… и т. д. Получается «мило», «любезно», а по существу — «тех же щей налей, да пожиже только…». Но таким образом редакция почти гарантирована от возможности скандала со стороны автора. И я понимаю, как это необходимо, и терпеливо беру «уроки галантности» и, может, когда-нибудь стану преуспевать в этом. А пока и смех, и слезы.

Вот некоторые выдержки из «героической поэмы-романа» под названием «Ирина» в 6 (!) тетрадях (все шесть тетрадей исписаны заковыристым старческим почерком, а обложки украшены рисунками и виньетками). Из-за того, что жанр определен автором как «поэма-роман», рукопись была отфутболена из отдела поэзии в наш отдел.

«И видит: странная картина —

Перед ним стоит Инфантьева Ирина,
Совершенно нагая,
И обольстительная такая».

В «поэме-романе» много героических женщин. Вот некоторые из этой галереи:

О Зосе:

«Девка как никак
Была уж под годами
И на замужество не имела
Благоприятной почвы под ногами».

О Параскеве:

«Говорила так она,
почесывая свои по-женски,
заманчиво устроенные ножки».

Мальвина обращается к любимому:

«Величавый Большевистский Спас!»

(в примечании автором сказано — «Спас — в смысле Христа»).

«Ее смущенные глаза,
Прилизанные вьющиеся волосы
Говорили о себе
Сердечным голосом».
«Неистовая Ирина
Жаждою крови была томима»

(Ирина — предводительница партизанского отряда против Колчака).

Комиссар («Большевистский Спас») так говорит своей любимой:

«Так вот и мы с тобой, Мальвина,
До капельки в народной массе
Поспешаем по житейской трассе.
Когда ж я с тобою
Буду жить,
Примерно так, как гусь с водою?».

В поэме много философских размышлений, нравоучений, о которых автор скромно предупреждает:

«Без отступлений не обойтись ни одному маломальски книгосоставителю». Отступления такого типа:

«Книга — источник знания».

«Пора нам на широкую профиль писать существенные строки».

«Природа Ты природа — на свет пустила тьму народа».

Частенько автор творчески использует опыт классической литературы. Например, о часовом в ночном дозоре сказано:

«Своей дремоты превозмочь не может он…».

Об Ирине:

«Причуды прошлых дней
Она хранила в памяти своей».

И — *«Я Вам пишу».*

И — *«Тая уверенность свою*
К неувядаемой надежде».

Партизаны обращаются к командиру:

«Привет тебе, привет».

А в эпилоге автор пишет:

«События давно минувших дней».

Но есть в поэме и совершенно оригинальные образы, метафоры. Например, погибший герой сравнивается с «запустевшим домом, который кинули жильцы», и по этому поводу такие строки:

«Да, дом опустел
На вечные годы —
Смерть наложила печать.
Строители из мастерской природы
Перестали молоточками стучать.
Нет нужды в свисточках (?!)*, молоточках —*
Остановились жидкости в сосудах и лоточках».

Смысл последнего слова остался для меня тайной.

Очень драматично даны батальные сцены:

«В конце месяца октября
Успехам Советского командования благодаря,
Красные форсировали реку Ишим

и достигли самых вершин».

Автор не скрывает, что бои проходили с переменным успехом, и пишет:

«А у поскотинного прясла
Атака захрястла».

Но общее мужественное звучание перекрывает все неудачи:

«Народ чинил расправу с тиранами.
Колчак был задержан и расстрелян
Иркутскими партизанами.
Такое в буднях революции бывает:
Событие вслед событий
На поверхность наплывает».

Но я, кажется, рискую переписать все шесть тетрадей «героической поэмы-романа». Какую страницу ни открой, так «событие вслед событий на поверхность и наплывает», и поэтому лучше кончу.

10 августа

Получила с почтой рукопись одного парня — новосибирца. Сейчас работает художником в Упр. Торговой рекламы, а в недавнем прошлом — житель Сузуна, баптист. О своем детстве в «доме за закрытыми ставнями» рассказывает искренне, просто, и это так страшно, что просто мороз по коже. Трудно поверить, что где-то совсем рядом, сегодня, могут сохраниться уголки такой дикости, и, главное, детей там калечат методично и планомерно. Мы все «в общих чертах» знаем об этом, о том, что общины зарегистрированы и, следовательно, существуют легально, и миримся с этим, не задумываясь о судьбе детей, вырастающих в подобной обстановке. И вот повесть о детстве Павла И., во многом наивная, а то и просто безграмотно написанная, взволновала меня, и я решила встретиться с ним и попытаться помочь ему сделать что-то из этой рукописи. Пришел он — высокий, круглолицый, с недавно отпущенными шелковистыми черными усиками и бачками, мял в руках серую фетровую шляпу, с модными, круто изогнутыми по бокам на манер «сомбреро» полями. И так чувствовалось во всем этом щегольстве, в кокетливой «бабочке» вместо галстука и широком стальном

«перстне» на грубых мужицких руках самоутверждение человека, который «дорвался» наконец до полного раскрепощения и счастлив тем, что наконец-то может позволить себе все, что душе угодно. Ну, а то, что желания эти пока не выходят за рамки современного стандарта «шикарного» молодого человека и не отличаются хорошим вкусом, это легко понять, да и все это дело наживное. Убеждена, что его внутреннее развитие будет интенсивным и он за краткий срок сумеет наверстать то, что другие обретают долгими годами: так жадно он читает, так серьезно и настойчиво взялся за переработку своей рукописи и буквально впитывает каждое критическое замечание.

Не знаю, есть ли у него истинное дарование, но наблюдательность, точность деталей на некоторых страницах рукописи удивительные. Правда, очень вредит ему стремление писать «красиво», и сейчас первая забота — помочь ему освободиться от шелухи литературных штампов, банальности вымысла и поверить в то, что документальность — это самое ценное в его рукописи. И вообще, пусть это будут документальные записки о детстве, т. к. на художественное произведение он явно не тянет.

Встречались мы с ним уже трижды, и каждый раз он приносит полностью переработанные листы и все новые и новые подробности своего страшного проклятого детства. Каждый раз говорим с ним о книгах. Сейчас он увлечен Сергеевым-Ценским и поражен «крепостью его письма» — на память цитирует целые абзацы. Впервые открыл для себя Лескова, Бунина и — «будто заново народился».

Повозиться с этим парнем придется, видимо, не один месяц. Очень уж мне хочется довести его рукопись до такого уровня, чтоб не стыдно было показать членам редколлегии. Хотя, честно говоря, мало у меня веры в то, что удастся эту рукопись опубликовать — столько у нас на очереди всяких «масштабных», да и для них места не хватает: увы, тесны рамки журнала. Но продолжать работу с Павлом И. буду, а там посмотрим.

19 августа

Сегодня получила письмо от О. А. Хавкина, над рукописью романа которого начала работу еще в прошлом году, и это самое мое «ответственное» и даже в некотором роде «экзаменационное» задание. Дело в том, что Хавкин — писатель уважаемый, в годах уже, раньше был тесно связан с сибогневцами, жил тут, печатался и со многими у нас сохранил самые дружеские отношения. А теперь уже много лет живет в Москве. И вот, после долгого перерыва, прислал свой роман (первое крупное полотно) именно

в «Сиб. огни». И, конечно, все наши очень дорожат этим обстоятельством, печатать его будем с удовольствием, тем более, что и роман-то, действительно, без всяких скидок интересен и по-настоящему художественен. (27–30-е годы в Москве, становление молоденького интеллигентного мальчика — поэта, приобщение его к трудовой жизни, НЭП, «оппозиция», ломка искусства, поиски новых путей — все это обрушивается на молодого героя).

И вот, когда рукопись этого романа уже была в принципе принята и одобрена членами редколлегии, встал вопрос, кому поручить непосредственное редактирование ее: работа же серьезная (много там сложных идейно-политических моментов затронуто), да и автор серьезный и в работе «трудный». Об его «трудности» ходили в редакции анекдоты: «Упаси боже хоть одно слово без его ведома и согласия изменить! Да что там «слова» — любой знак препинания не позволит тронуть!.. А если потихоньку где запятую, к примеру, уберешь, то ведь обязательно заметит и скандал учинит!».

— Ну, и как же с таким автором можно работать? — спрашивала я. — Ведь получается, что он вообще отвергает какую бы то ни было редактуру?

— Да нет, не то, чтоб он совсем редактора отрицал, но просто с ним нельзя, как с другими: что-то «поправил», а затем постфактум сообщил (а то и «забыл» сообщить, и обнаруживает автор «правки» лишь в корректуре, когда сопротивляться бывает уже просто поздно). Нужно буквально каждое сомнение свое обговаривать, тщательно аргументировать, и лишь если он принял это, будет внесено изменение, но опять-таки его собственной рукой. В принципе, все это так и должно быть в идеале, но дело в том, что Хавкина больно уж трудно в чем-то переубедить, и на каждый Ваш аргумент у него находятся три своих, и редактор чаще всего пасует перед его стойкостью.

Услышав такое, я, признаться, прониклась уважением к этому «стойкому» автору, так как давно меня смущало то, с какой легкостью подчас разделываются в редакции с произведениями некоторых авторов, особенно, если автор не тут, рядом, а где-нибудь в отдалении и поддерживает связь лишь письмами. Естественно, в письмах все нюансы не объяснишь, согласовывается лишь самое основное, а уж «по мелочам» рукопись иногда бывает так исчиркана редакторским карандашом, что живого места на ней нет. И, главное, хорошо бы еще, если только одного редактора, который все же покорпел над рукописью немало и в какой-то степени уже вошел в атмосферу и строй мышления автора. Но ведь в «правке» рукописи принимают участие, как правило, четыре человека! И у каждого свой вкус,

свои мысли и свой стиль, наконец. Сначала (довольно робко на первых порах, а с годами обретая и «резвость») правит рукопись литературный редактор. Затем берет ее зав. отделом и, бывает, так, что камня на камне не оставляет от того, что было сделано лит. редактором. Во-первых, «правит» его правку, т. к. во многом находит более смелые и оригинальные решения (и ты уж только в затылке чешешь: действительно, ведь эдак более интересно вроде бы получается. А зав. отделом и рад — наглядный урок преподает своему сотруднику, да заодно демонстрирует, насколько тоньше, изощреннее он сам в литературном деле). А кроме «правки» по уже исправленному обнаруживает и непочатый край еще дополнительных «шероховатостей», «неувязок», «неудачных словосочетаний» и «звуковых повторов» (на этот счет слух у зав. отделом особенно чуток) и, в результате, рукопись надо еще раз отдавать на машинку — так она вся испещрена пометками и замечаниями. А иногда не только отдельные слова, но и целые фразы, а то и абзацы приобретают совсем новое звучание, дописываются. И в такие минуты, пережив порыв вдохновения, зав. отделом радостно вскакивает и потирает руки: «А ведь неплохо получилось! И совсем в стиле этого автора!» А ты стоишь рядом и думаешь: так ли восторженно отнесется сам автор к этой «из пены рожденной», пусть и действительно неплохой, но все же чуждой ему фразе?.. Правда, говорят, что птицы замечают подкидыша — кукушонка в своем гнезде и все же «принимают» его и даже кормят.

Случается всякое. Иногда автор скандалит и настаивает на уничтожении «подкидыша», а иногда (и, к моему удивлению, не так уж редко) примиряется и, вяло поругавшись, умолкает. Самое плохое в таких случаях то, что объясняться с автором приходится лит. редактору, и все громы и молнии обрушиваются на его голову. И, конечно же, не из-за мелочей, а из-за этих, бросающихся в глаза, «заплат», сооруженных зав. отделом, движимым «самыми лучшими намерениями». Но не будешь же объяснять, что, я, мол, не виновата, это все он. Да и неловко признаваться в том, что проглядела места, требующие столь кардинальных изменений, ну и терпишь от автора все. Но чаще стараешься сделать так, чтобы автор не успел узреть того, что внес в его рукопись зав. отделом, т. к. знаешь: ведь впереди еще две «инстанции» — зам. редактора (он, правда, редко меняет что-то в тексте, но вот «ужимает», выбрасывая целые абзацы, а то и страницы с завидной решимостью! И, что самое удивительное, произведение от этого действительно становится ярче, острее…). А затем, наконец, рукопись попадает на стол к Главному, и тут уж все зависит от случая: или «пронесет», и подпись его появится без

всяких эксцессов, или… поправок, вписок и категорических изменений будет еще больше, чем от обеих предыдущих инстанций вместе взятых… Причем рукопись ему подается в чистом виде, и он подчас начинает в третий раз «править» то, что уже было изменено до него… И тебе же выговаривает за пропущенные «огрехи». Самое грустное, что в этот период уже обычно не остается времени на возражения, споры — материал идет в номер, и ты не имеешь права задержать весь журнал. И уже почти полностью принимаешь все замечания, спешишь к машинистке, чтоб впечатать новые фразы и слова, вклеиваешь их, чистишь пометки на полях, а над твоей головой уже висят ответственный секретарь и технический редактор: «Скорей! Скорей! Опять запаздываем!». И, только сдав многострадальную рукопись, задумываешься: а что же все-таки в итоге получилось? Ведь и прочитать толком было некогда. И как там все эти «заплатки» согласуются между собой? А главное, надо бы ведь автору написать о том, какой значительной трансформации подверглось его детище за какую-то одну неделю. Но и нет сил, да и многие детали остались лишь в единственном экземпляре, ушедшем в типографию. «Ладно уж, дождусь корректуры, а там пошлю экземпляр автору» и… «за семь бед один ответ».

А корректура — это дело такое… Получаешь ее на считанных два-три дня. Слепнешь над слабым, грязным оттиском и, дай бог, хотя бы опечатки выудить, да решить все ребусы, подброшенные печатниками. То двух строк (а то и пяти!) на странице недостает, и надо «натянуть» их, изобретая лишний абзац или даже новые слова и фразы! И потом автор хватается за голову, увидев, что любимые, выстраданные им фразы попали под «сокращение», но зато появились откуда-то дежурные штампы, вроде «он закурил» или «помолчали». И еще труднее, если на странице «висячая строка», и чтоб втиснуть ее в текст, нужно расчистить ей место, выбросив любую другую строку. Иногда голову прямо сломаешь, пока найдешь что-то «на выброс». Ну как выбросишь, к примеру, что-то из напряженного диалога, где слово цепляется за слово?! А здесь надо не одно слово убрать, но целую строку! И тут автор присылает душераздирающее письмо и свои пометки к корректуре и все свои недоумения и возмущения по поводу несогласованных изменений в тексте (а еще бы их не было после трех инстанций редактуры) и конкретные, не терпящие никаких обсуждений, исправления слов, дат, имен в корректуре. На первую половину письма отвечать в этот момент просто нет сил, а вот со второй дело серьезней. Видишь, что все исправления действительно необходимы, но … тех. редактор напоминает: «Никаких стилистических исправлений! В рукописи надо было

все предусмотреть, а теперь поздно! Учтите, вся переверстка пойдет за Ваш счет! И тираж задержится из-за этого!».

И вот тут крутишься, как черт между молотом и наковальней: ищешь компромиссы, чтоб и волки сыты, и овцы целы. Но это почти никогда не удается, и клочья шерсти (и не только шерсти) рвут из редакторской шкуры и автор, и тех. ред., и печатники.

Впрочем, все это четырехступенчатое прохождение рукописи в процессе редактуры могло бы, вероятно, быть и менее мучительным, если б я, как редактор, сразу была бы способной увидеть в рукописи все «огрехи» и «сорняки», чтоб за мной следом не приходилось «пропалывать» ее еще и еще раз. То есть, если б зав. отделом, зам. редактора и Главный не имели бы основания для предъявления претензий к сданной мною рукописи, то им оставалось бы только поставить свою подпись и благословить ее на публикацию. Так я думала в первый год работы в редакции и считала, что виной всему моя редакторская неопытность! А может, и неспособность и, кто знает, — может, я взялась не за свое дело? Ведь бывает же так, что человек глубоко и сильно любит музыку, а слуха лишен, и поэтому не имеет права на какое-либо творчество в этой области. Может, и у меня ослаблен «слух» на слово, на композиционное построение литературного произведения, на нюансировку выразительных средств — на все то, из чего строится «музыка» литературы. Ведь это очень характерно, что после меня Борис Константинович находит еще уйму несообразностей чуть ли не на каждом листе. Не свидетельствует ли это, что его «слух», его опыт и редакторское дарование острее, глубже, более широкого диапазона, чем у меня? Несомненно! Да я ни на минуту не сомневалась в этом — его эрудиция, знания, опыт безусловны. Но вот что странно: ведь и после того, как он «пройдется» по рукописи, немало замечаний находится и у Николая Николаевича. А вслед за ним и Александр Иванович подчас «разрисует» рукопись своими замечаниями. Значит ли это, что уровень «редакторского таланта» растет от инстанции к инстанции? Да вряд ли. Каждый из этих людей интересен и талантлив по-своему. По-своему! — и в этом все дело. И каждый из них видит и чувствует по-своему, и поэтому, будь у нас в структуре редколлегии еще три или четыре «инстанции», правка рукописи продолжалась бы до бесконечности (да и просто психологически трудно «вышестоящему» не внести никаких корректур в деятельность «нижестоящего», иначе ведь и его роль окажется под сомнением). Но вот узнает ли автор свое детище после того, как оно пройдет все «круги» редакторского «чистилища»?

Конечно, в идеале, хорошо было бы, если бы все наши авторы подавали свои произведения в таком завершенном виде, что даже самому строгому редактору не к чему было бы придраться. Так сказать, на уровне «классики». Но, пожалуй, и это не спасло бы дела: ведь и самому низшему по рангу редактору хочется оправдать свое назначение. И, если он ничего не может внести от себя («с самыми добрыми намерениями», с искренней убежденностью в том, что он вносит свою лепту ради улучшения произведения!), то зачем он нужен?..

Да и, честно говоря, был бы, к примеру, нашим автором хоть сам Лев Толстой или Достоевский, то и тогда мы нашли бы к чему «придраться». По мелочам, не по-крупному, но нашли бы… И тут же ловлю себя на мысли: а вот Бунина или Чехова мне почему-то никогда не хотелось «редактировать». Наоборот, цепной собакой охраняла бы каждое слово, запятую от желания кого-либо «посягнуть» на них! В общем, теперь я уже не думаю, что трудности прохождения рукописи через редактуру нашего «триумвирата» имеют причиной мою неопытность, неспособность (хотя в какой-то степени это и так — я еще так мало знаю и умею). Более опытная, с большим стажем работы, сама человек пишущий моя коллега Н. В. Малюкова тоже, подобно мне, ходит с каждой рукописью «своего» автора от одного стола к другому и, пока соберет все три подписи, тоже несколько раз за голову хватается. Или начинает скандалить, защищая «своего» автора и приходит торжествующая, если удалось что-то «отстоять». Я тоже понемножку «оттачиваю зубы» и огрызаюсь, когда мне кажется, что моего подопечного автора слишком «стригут». Может, роль редактора и сводится, главным образом, к «отстаиванию интересов» своего автора? Ну, а как быть, если многочисленная «правка» всех, приложивших руку к рукописи, действительно идет «на пользу» произведению, хотя индивидуальность автора при этом, конечно же, стирается? Охранять в таком случае автора? И что считать его «интересами»?

Впрочем, настоящий автор сам стоит на страже своих интересов, и если талант его достаточно своеобразен, то и редакторы вынуждены с ним поосторожнее обращаться, так как каждая «заплатка» сразу лезет в глаза, поэтому десять раз подумаешь, прежде чем ее поставить.

Вот таким автором, строго охраняющим каждое слово и не терпящим «стрижки», является Оскар Адольфович Хавкин. И, хотя меня и пугали «трудностью» его характера, я искренне уважаю его за эти качества. Работать с ним мне было трудно, но чрезвычайно интересно. И полезно: я каждое свое замечание тщательно аргументировала, искала наиболее убедительную и необидную

форму своей мысли. «Списочек» моих заметок к его роману составил что-то около ста страничек мелким почерком. В редакции смеялись: «Вы, кажется, свой «роман» пишете под впечатлением романа Хавкина». А я действительно писала свои «заметки» к каждой страничке его романа на отдельных листках, а не на полях рукописи, как это принято. Кстати, как, вероятно, тошно автору получать свою рукопись, исчирканную вдоль и поперек редакторским карандашом да еще с «остроумными» замечаниями двух, а то и трех рецензентов на полях. Я часто думала об этом и в работе с Хавкиным решила рукопись его не трогать, чтоб осталась чистой, а все заметки — отдельно. И, надо сказать, метод этот оправдал себя. При нашей первой встрече (он приезжал в Новосибирск весной) и потом, в переписке, Хавкин ни разу не проявил своего «трудного» характера, раздражения, и очень многое из того, что было предложено мною, принял и исправил, дописал.

А сегодня я получила письмо от него — и это как прозрение! Пусть не выглядит хвастовством, но я не могу удержаться, чтоб не выписать из этого письма один абзац, т. к. одно такое письмо может вознаградить за все тяготы редакторской работы: и нервотрепку с корректурами, и маяту с графоманами, и непомерный груз ежедневного «самотека», от которого иссушается сердце и тупеет ум. В общем, все-все можно нести безропотно, если хоть иногда получаешь от своего автора, уже пожилого человека, письмо, подобное тому, что получила я от О.А.

«Прочитав заново рукопись, Вы заметите, что Ваша серьезная, скрупулезная, придирчивая работа над текстом не пропала зря — ни в мелочах, ни в крупном. Там, в Новосибирске, я не мог оценить все Ваши советы и замечания, но когда пошел от строки к строке, когда заново окунулся в свой роман, вошел в атмосферу и направленность Вашего смыслового, стилистического, фразеологического анализа, тогда я по-настоящему понял, сколько душевного напряжения, сколько глубины и вкуса в Вашем разборе, в Ваших предложениях и замечаниях. Что, с моей стороны, это не пустые слова, доказывает проделанная мною работа. Мне, старому литератору, не стыдно — радостно признаться в том, что я почувствовал добрую, верную, точную редакторскую руку».

28 августа

Перебирая старые записи еще в бытность моей работы на студии телевидения, я наткнулась на две об интересных людях, с которыми мне пришлось столкнуться. Было бы жаль, если бы они

затерялись, поэтому перепишу их сюда.

Первая запись о главном художнике театра «Красный факел» Василии Юрьевиче Шапорине (года три назад его пригласили в Москву, и он уехал туда).

В. Ю. — сын композитора Шапорина, выходец из дворянской семьи, в детстве частенько бывал с отцом в доме Алексея Толстого. Помнит Горького, Ромена Роллана, встречался со многими интересными людьми. В нем уживаются барские замашки, избалованность вниманием и в то же время какая-то детская непосредственность, простота в обращении, умение шумно проявлять и свои восторги, и свой гнев, и тогда в его изысканном лексиконе появляются вдруг блатные словечки, а то и матерщинка, приправленная французскими афоризмами, и ему уже «все до фени».

Я зашла к нему как-то по поводу эскизов декораций нового спектакля, о котором готовилась телепередача, и застала Василия Юрьевича в «растрепанных чувствах», мечущегося по своей большой квартире, отшвыривающего картоны и кисти, попадающиеся почему-то под ноги, и частящего на чем свет стоит «всех и всяческих баб».

Любка — его одиннадцатилетняя дочка — меланхоличная девочка с русой косой ходила следом, пыталась распихать по местам книги, диванные подушки, но вскоре это ей надоело. Забравшись с ногами в большое старинное кресло, углубилась в книгу, время от времени прислушиваясь к словоизвержениям отца, но оставаясь совершенно спокойной, т. к. к подобным сценам привыкла.

Чувствуя, что пришла не вовремя, я хотела ускользнуть, но это мне не удалось. Видимо, В. Ю. как раз не доставало слушателя — он с каким-то даже удовольствием обрушил на меня все филиппики в адрес «слабого пола». Уловив, что это ко мне не относится и в данный момент я для В. Ю. не являюсь «представительницей слабого пола», я рискнула робко спросить, чем он расстроен. И совершила ошибку — этого вопроса он только и ожидал: «А вам известно, что моя Сонька сбежала с академиком?!» — рявкнул он. Мне менее всего хотелось выслушивать все обстоятельства этой семейной драмы, но все пути к отступлению были отрезаны, и, вероятно, часа полтора В. Ю. бегал взад и вперед по комнате и изрыгал проклятья в адрес «коварной Соньки». Люба, услышав, что разговор свернул на эту тему, встала и ушла в свою комнату. И я хоть перевела дух: ни на какие мои предостерегающие жесты и взгляды в сторону девочки В. Ю. не реагировал, да еще и отмахивался: «Ничего! Любка у меня умница, она все понимает».

Пропущу всю эту историю и запишу лишь то, что говорил он потом, когда немножко «перекипел» и разговор удалось свернуть в другую сторону.

О спектакле «Барабанщица» в «Красном факеле»: «Мне лично о ней и говорить-то не хочется. Как прочитал эту пьесу, так и увидел мысленно развалины Новгорода… Знаете, стены собора — одни лишь зубцы остались и как руки к небу взывают. Чтоб в этом вся Русь была: это и Киевская Русь, и Москва, сожженная в 1812 г., и эта Отечественная война — все в одном. Все века — в одном безмолвном вопле к небу! Безмолвный вопль — это страшнее, чем звучащий. А старуха (режиссер спектакля В. И. Редлих) говорит: «Нет, это не подходит. У Салынского не в Новгороде, а в Смоленске все происходило». И сразу неинтересно стало, пришлось сделать так, чтоб им понравилось, а все остальное в голове осталось и покоя не дает. Жжет…»

Потом разговор зашел о Любке, о кошке ее любимой, которая разоралась, и В. Ю. швырнул ее из комнаты, а Любка возмутилась, взяла кошку на руки и стала нарочно громко утешать «бедную кису». Тогда В. Ю. обеих выпроводил из комнаты, а Любка сказала: «Хорошо. Мы уйдем к себе, а сюда больше не придем!» — и ушла, захлопнув дверь «детской».

— И не придет! — с нескрываемым восхищением сказал В. Ю. — У нее мой характер!

И трудно было догадаться, глядя в эту минуту на весело-изумленное круглое лицо с высоко поднятыми русыми бровями над голубыми глазами и венчиком золотистого пушка вокруг сверкающей лысины, что буквально минуту назад он топал ногами на кошку и кричал, что ему «надоела эта тварь». А «тварь» прыгнула на стеллаж и, почувствовав себя в безопасности, «нахально развалилась».

— Нет, вы посмотрите, сколько в ее позе нахальства! — вскричал В. Ю. и уже хотел запустить в нее бархатной подушкой, но тут подоспела Любка.

Удивительно быстро сменяется одно настроение другим у этого человека. И вот стоило Любке хлопнуть дверью, как вместо ожидаемого мною скандала из-за «грубости Любки» В. Ю. вдруг весь разулыбался, развалился в кресле, задрав ногу на ногу, и стал рассказывать, прерывая себя заливистым смехом: «А вот когда мы с отцом к Бонч-Бруевичу приходили, так у него тогда жило несколько кошек. Не помню сколько — полдюжины, наверное, но много. Он любил их очень и знал характер и привычки каждой. Но когда у него собирались мальчишки вроде меня, то он иногда устраивал «охоту на тигров в джунглях». Мы с визгом и улюлюканьем гнали кошек из одного конца квартиры в

другой (а квартира большая — восемь комнат), а он стоял на повороте из одной комнаты в другую и диванными подушками «стрелял» в кошек. А они «буксовали» на повороте и неслись дальше совсем очумевшие. Так весело было! А ведь Бонч-Бруевичу было тогда за сорок».

Внезапно рассказ о кошках прерывается. Смотрит куда-то вдаль, долго молчит, бровь над правым глазом ползет вверх и там застывает. И вот уже совсем другое лицо, и почему-то он кажется мне в этот момент похожим на какой-то портрет эпохи Возрождения: руки вцепились в резные подлокотники, голова запрокинута и четко вырисовывается на фоне темной спинки, а глаз, вприщур, пристально вглядывается куда-то «за рамки картины». И говорит вдруг задумчиво, будто прислушиваясь к чему-то в себе: «А во втором акте, где на улице действие (и я понимаю, что он опять перенесся в спектакль «Барабанщица»), у меня так задумано было: стена какого-то обрушившегося городского дома. Одна стена, только окна насквозь, в небо. А на стене щит рекламы довоенной — огромное улыбающееся лицо девочки и всё как в оспинах — пули и шрапнель его изранили. И на щеке, как клок вырван, — кирпич виднеется. Как рана. Или кровавые слезы. И подо всем надпись: «Я ем повидло и джем». Долго молчит. Потом: «Такого много в Ленинграде, во время блокады видел». (Я помню эту рекламу — это было на Литейном).

Немного погодя с увлечением рассказывает: «Уже много лет у меня в голове замысел оформления «Снегурочки» сидит». И уже весь светится: «Представляете, все порталы, падуги сплетены из бересты! Она розоватая весной бывает. И вот, как плетенку из широких полос сплести, чтобы там и розоватые проходили полосы, и белые с прочернью. И фактуру, из чего можно имитировать, знаю: надо детскую клеенку взять, нарезать и плести. Она мягкая, шелковистая. Как откроется занавес, а там все в бересте. Сразу свежестью такой пахнет. А на этом фоне уже можно любую декорацию заряжать — все равно основное уже сказано».

Заходит разговор о новом спектакле по пьесе Веры Пановой «Белые ночи», оформление которого недавно закончил Василий Юрьевич. «Очень пьеса понравилась. Но когда читал, мешало, что всё в комнатах да в кафе действие. И вот подумал: как бы вывести из стен этих? Ведь белая ночь вокруг, Ленинград. И нашел — не надо стен! Сделаю только задник, на который светом спроецируем небо ленинградское: в одной картине от лимонно-желтого до сиреневой дымки, в другой — жемчужно розовое, потом дождь весенний, прозрачно-зеленоватые струи хлещут. А на фоне этом — контуры бесконечных решеток и оград

ленинградских: то Летнего сада, то Зимней канавки, то мостиков разных. Чтоб они тоже жемчужно прозрачные появлялись и таяли… А на первом плане то, что по действию нужно: скамейка, будка телефонная, мебель. И никаких стен! Вокруг Ленинград дышит и белая ночь…».

— Именно так и удалось Вам осуществить все это в спектакле! — не выдерживаю я. — Ведь именно белая ночь заполонила в нем все!.

— Да что там! Это десятая часть того, что было задумано, — машет он рукой и сразу весь тухнет как-то, — давайте больше не говорить о театре!

Меняем тему разговора. В это время раздаются оглушительные аплодисменты и рев зрительного зала — это Люба включила приемник, транслируют спектакль театра миниатюр Аркадия Райкина. В. Ю. взрывается, несется в детскую и сбавляет звук до минимума.

— Но так совсем неинтересно слушать! — вскрикивает Люба и опять выворачивает на полную громкость.

Разыгрывается бурная сцена. Голос Райкина несколько раз то взлетает над спорящими, то падает до шепота, и, наконец, когда отец с дочкой (оба одинаково упрямые, как два козлика, столкнувшиеся лбами) сходятся на каком-то среднем уровне звучания, диктор объявляет: «Передача окончена». Любка оскорблена в лучших чувствах и плачет злыми слезами. В. Ю. выбегает из ее комнаты, хлопнув дверью (точно так, как полчаса назад хлопала дверью Люба), усаживается в кресло и пытается восстановить прерванную беседу. Но через минуту опять идет в детскую «налаживать отношения», а потом долго жалуется на то, что дочка «все делает на зло», что у нее «нет сердца». И губы у него дрожат, как у обиженного ребенка. А в соседней комнате, с такой же дрожащей губой, сидит Люба и думает об отце, вероятно, теми же самыми словами.

Успокаиваю «старого и малого» ребенка напоминанием о чайнике, шум которого уже подозрительно давно доносится из кухни. И оба, с явным облегчением, начинают суету вокруг стола. Люба с удовольствием исполняет роль хозяйки, а В. Ю., бестолково покрутившись на кухне, добровольно передает «бразды правления» дочке. За столом воцаряется мир и порядок. Опять разговор как-то нечаянно соскальзывает на театральные темы, и В. Ю. вспоминает о том, как худсовет «зарезал» у него шесть вариантов оформления «Иркутской истории». Люба подсказывает какие-то детали, мелочи. Все эскизы даже не осуществленных работ она помнит наизусть.

И вдруг, без всякого перехода: «А “Король Лир” у меня будет

совсем не такой, как привыкли! Мне хочется, чтоб история… Чтобы века… В одной книге я наткнулся на такое: оказывается, весь юг Англии и Франции усеян дольменами. «Такие огромные валуны, каменные глыбы» — это в сторону Любы, которая сидит с широко открытыми не мигающими глазами и, кажется, не дышит. Вот у меня и будет на сцене только 2–3 дольмена и — море. И огромное небо. Король Лир среди дольменов. Он с ними разговаривает, им жалуется на дочерей своих». (Любка недоуменно взглядывает на отца — «не подвох ли какой?» — но В. Ю. очень серьезен, и она успокаивается и опять грезит с открытыми глазами). «…А вместо портала — кольчуга. Сеть металлическая с одного края. И всё».

Вскакивает, ходит взад-вперед: «Эх, руки чешутся начать все это!».

И уже перед самым моим уходом, в передней, вдруг мечтательно: «До чего же интересно можно было бы сделать для театра “Портрет Дориана Грея!”. Убиться!» — и опять глаза загораются, он весь светится, и не верится, что еще совсем недавно он клял весь свет, уверял, что «все бабы сволочи» и жалел о том, что «в свое время не отравился к чертовой бабушке!».

19 сентября

Неожиданно, проездом из Читы, приехал О. А. Хавкин. Приехал всего на два дня, поэтому напряженный режим работы. Вчера обговорили все замечания по первой книге, и он взял ее с собой в гостиницу, чтоб к утру обдумать всё. А Ник. Николаевич взялся срочно, за одну ночь, прочитать вторую книгу, т. к. Б. К. по обыкновению (за три недели) «не успел» прочитать ее и приезд Оскара Адольфовича застал его врасплох. Но именно вторая книга вызвала больше всего сомнений, вопросов (в первом варианте ее), и Хавкин в прошлый свой приезд, весной, согласился со многими нашими доводами, почти заново переписал ее и в августе прислал нам. Я прочитала ее немедленно и отдала Б. К., так как не могла без его заключения ответить Хавкину по существу. Ну, а у него, как уже сказала, рукопись пролежала до вчерашнего дня без движения. Ник. Николаевич буквально спас положение, прочитав ее за ночь, и, когда мы собрались сегодня, высказал автору много дельных замечаний. (Но уже очень частного характера. Как и у меня, остались только «придирки по мелочам», т. к. поработал Хавкин изрядно, и книга, по-нашему мнению, получилась).

К концу этой беседы пришел и Б. К. По второй книге сказать ему было нечего, поэтому он опять вернулся к некоторым

страницам первого тома, которые переписывались Хавкиным уже трижды, да и мы настояли на предельном сокращении — слишком уж спорных вопросов они касались: оппозиции 30-х годов, «вождизма», методов партийного руководства и т. д. (обо всем этом размышляет герой в своем предсмертном, по существу, письме). Б. К., желая «подстелить соломки» даже там, где уже нет в этом необходимости, и на этот раз начиркал на полях несколько замечаний. Если же учесть, что карандаш у него почему-то всегда тупой, а почерк таков, что, по его же словам, «нельзя назвать даже “куриным”, т. к. курица обидится — он еще хуже», — то понятно, что его заметки на полях, всегда пространные и с тяготением к остроумию, разобрать могут лишь те, у кого большой в этом опыт, а для всех остальных — наказание.

И вот одно из этих замечаний вызвало настоящий гнев у Хавкина, человека, казалось бы, далекого от злости, ненависти, так похожего на Кола Брюньона своей доброжелательностью, жизнелюбием. И в то же время это человек глубоко интеллигентный в большом смысле этого слова. И вдруг — гнев! А вызвало его одно из замечаний на полях против слов героя: «Нами должны руководить люди добрые» (речь шла о партийном руководстве в 1927 году). Б. К. написал тут: «Но не добренькие, о чем говорил еще и В. И-ч». И вот тут Хавкин взорвался (впервые его видела в гневе): «А почему вы приписываете мне то, чего я не говорил? Почему вы подменяете одно понятие другим, а потом обрушиваетесь на меня, будто это моя мысль?».

Б. К. пытался оправдаться, что он хотел лишь более точного выражения мысли, что, может быть, следовало бы герою именно этой ленинской фразой завершить свою мысль, чтоб избежать возможность быть неверно понятым. Но О. А. не слушал и продолжал свое, и чувствовалось, что это давно наболевшее: «Мы незаслуженно забыли, стыдимся многих хороших слов и тех понятий, которые скрываются за этими словами. Да, нам нужна доброта, она нужна была и моему герою, и тогда его судьба не была бы столь трагичной. В доброте нуждаемся и все мы, и Вы, Б. К. А мы стыдимся говорить об этом, спешим подвести под доброту какую-то «политическую базу». Померанцев в свое время выступил с напоминанием об искренности, которая так необходима в отношениях между коммунистами, а его грубо оборвали: «Партийность нужна прежде всего, партийность!» — будто искренность противоречит партийности! Мы строим коммунистическое общество, общество гуманистов. Искренность, доброта, внимание к человеку необходимы ему! А это все подменяют «партийностью», лишая тем самым партийность этих качеств».

Б. К. не сдавался: «Но добротой ли можно руководствоваться в отношении к тем, кто [цитирует из романа] «…создавал подпольные типографии, устраивал гнусные демонстрации, разбрасывал листовки…». Тут Хавкин совсем взорвался: «Не приписывайте мне то, чего нет в моем романе! Я не проповедую «милосердие к классовому врагу», а вы хотите мне это навязать!».

Ник. Николаевич не принимал участия в разговоре, молчал и, как мне показалось, относился к этой отповеди одобрительно: действительно, Б. К. иногда уж так перестраховывается, что это становится смешным. Весь пафос романа Хавкина — через трудности, ложь, боковые тропинки к настоящей большой Правде, а Б. К. усмотрел чуть ли не «амнистию» тем, кто путался под ногами в те трудные годы. Ведь и герой романа — Андрей Хромов — по существу мог бы скатиться в болото брюзжащей интеллигенции, вроде художника Ядониста или юродствующего Кроля (персонажи романа). Но, пройдя сквозь горнило заводских забот и дел, окунувшись в среду простых рабочих, сам стал сильнее, проще, хотя несколько символичен образ парохода «пятилетка», плывущего по Москве-реке, и маевки, где и рабочие и интеллигенция вместе отдыхают, радуются.

Спор закончился тем, что в чем-то уступил редактор, в чем-то автор. Роман напечатали. И канул он как камень в болото — ни откликов, ни рецензий. Сначала мне казалось странным это. А спустя какое-то время я перечитала роман как рядовой читатель и поняла: произведение это пресное, без изюминки. Все то, что было ярким, острым в рукописи общими усилиями редакторов (и моими в том числе) удалось смазать, сгладить, «причесать». Совсем, казалось бы, незначительные уступки сделал нам автор (по сравнению с другими авторами, так и вовсе микроскопические), а что-то в произведении безвозвратно померкло. Мне стыдно теперь за те добрые слова, которые сказал мне Хавкин в процессе работы. Я не заслужила их, т. к. не сумела до конца отстоять все то, ради чего был написан роман. Я пошла на какие-то компромиссы ради того, чтобы «сохранить роман в целом» (как, впрочем, и автор). После того, как роман был опубликован, Хавкин больше не писал мне, и на трафаретные поздравления редакции с Новым Годом (всем авторам, которые «в активе», рассылают открытки, написанные под копирку) и «выражение надежды», что новые свои произведения пришлет именно в наш журнал, не ответил. Не встречала я за последние годы его имени и на страницах других журналов.

По мере работы в редакции во мне все более утверждался «внутренний цензор» и я все меньше конфликтовала со своими руководителями. Побывало за это время в моих руках несколько

рукописей действительно талантливых авторов. Один (из Ленинграда) написал повесть-исследование о том, как из порядочного журналиста вырастает карьерист и приспособленец. Другой — из Владивостока — прислал серию рассказов о рыбацких промыслах, о сезонниках, о девушках консервного завода на острове Шикотан. Взволновали они меня чрезвычайно. Читала сама, некоторым близким друзьям давала читать, но в редакции даже никому показывать их не стала, т. к. знала: кроме нареканий за то, что занимаю время явно «непроходимыми» вещами, ничего не получу. Написала авторам хорошие письма, поздравила их с несомненной творческой удачей, посочувствовала тому, что «увы, произведения их вряд ли увидят свет». Ответили оба, благодарили просто за внимание и за то, что «по-человечески» разговариваю с ними, радовались тому, что хоть у нескольких читателей (тех, кому я давала) их произведения нашли отклик.

Вот так. Прямо стихами Вознесенского можно сказать:

Аминь.
Убил я поэму. Убил не родивши.
К Харонам. Хороним.
Хороним поэмы.

А журнал, как печь, требует регулярной загрузки горючим. И уже вошло в привычку осторожничать, перестраховываться и, не дожидаясь отповеди Главреда, самой убирать из вполне «благополучных» рукописей все то, что в какой-то мере шло «не туда», или могло быть «не так понято читателем». И все реже защищала авторов, реже была их «союзником». Последний случай на моей памяти — это когда я сцепилась с дамой из ЛИТО. Есть такой орган, расшифровку которого я, к стыду своему, до сих пор толком не знаю, но суть которого весьма определенна и без визы которого не может быть опубликована ни одна страница. Находится он в здании Облисполкома, сидят там дамы величественные, преисполненные собственного достоинства, и посетители говорят с ними всегда заискивающим тоном и шепотом. Редактировала я повесть иркутянина, молодого талантливого парня — В. Распутина. Повесть о людях простых, безыскусных, о том, как их запутали проходимцы, и для спасения от тюрьмы им надо было немедленно покрыть недостачу в 1000 рублей. И вот в том, как отнеслись к человеку в беде окружающие, как проявилась сущность каждого из друзей и родственников, — основное содержание повести. Казалось бы, к чему тут можно было бы придраться сотрудникам ЛИТО? (Тем

более, что их официальная функция — охрана государственных тайн и сведений «закрытого характера»). И однако дама, прикрепленная к нашему журналу, пригласила меня на «собеседование» по поводу этой повести. Оказывается, ей «непонятно, чем руководствовалась редакция, отобрав из многих произведений именно это? И зачем печатать такого никому неизвестного автора? Он еще где-нибудь печатался? Положительные рецензии на него есть? Ах, нет… Вот видите! А вы его защищаете. И зачем-то вытаскиваете за уши. Хотя история нетипичная. Как это в целой деревне человек не может занять каких-то 1000 рублей?! Что ж у нас такие бедные колхозники?». Я обозлилась и говорю: «Какая же это “клевета”? Мне вот 40 рублей на днях нужны были, и я не могла найти, у кого занять, — и это в большом городе, а не в деревне!». Дама: «У вас частный случай, а Распутин художественное произведение пишет. Значит, это обобщение, как бы типичный факт (Вот до чего грамотная дама! Все знает и понимает — и что такое литература, и что такое “типично"). Значит, он частный случай выдает за общее и тем самым искажает действительность. И вы, редактор, поощряете это. А вообще повесть пессимистическая». Не помню уж, как именно протекала наша беседа дальше, помню только, что у меня от злости вроде туманом глаза заволокло, и я боялась только одного: как бы не сказать всего того, что я думаю об этой даме и ей подобных. Но, видимо, и то, что говорила, «выходило за рамки», т. к. ее коллега подошла к столу и сказала ледяным томном: «Совершенно ни к чему продолжать эту дискуссию. Мы свое мнение сказали, и теперь передадим эту повесть в обком. Пусть пригласят вашего Главреда и там решат, печатать ее или нет».

Не знаю, как проходил разговор Главреда в «инстанциях», но к нашему удивлению он взял публикацию повести «под свою личную ответственность», причем его предупредили: если будут отрицательные рецензии, то тогда «за публикацию вопреки мнению ЛИТО с него будет спрошено со всей строгостью». История эта подняла Главреда на уровень «героя», и на него взирали чуть ли не как на «Александра Матросова», который «собственной грудью» и т. д. Сам он вскоре, видать, струхнул, а зав. отделом, наш вечно испуганный Б. К., пожурил меня: «Ну, зачем вы все так обострили и поставили Александра Ивановича под удар. Неужели нельзя было убедить Распутина что-то смягчить, сгладить. Ну, пусть бы в последних строчках повести стало ясно, что недостающую сумму он от брата получит». Я уж и говорить ничего не могла, только посмотрела на Б. К., повернулась и ушла домой, хотя рабочий день еще не кончился.

Шла пешком до вокзала и лениво думала: «Ну и что…».

1972 — 1974 г.г

Попались на глаза записки четырехлетней давности, еще в бытность моей работы в редакции. Давно забыты все эти волнения вокруг рукописей, авторов. За эти годы многое изменилось в моей жизни: умер отец, маму я перевезла в Академгородок и мы теперь с нею вместе. Рассталась я с журналом, работаю теперь на «тихом и спокойном» месте — редактирую рукописи в Институте истории. Ни волнений, ни хлопот: элементарная стилистическая правка. Мои знакомые считают, что я «великолепно устроилась»: тишь, гладь и даже ненормированный рабочий день, и работа дома — чего бы, казалось, лучше!.. Но скучаю без редакции, без тех, хоть и маленьких, «побед» в боях за авторов, стоящих против конъюнктурщиков. Не так много было этих «побед», но кое-какие были. И сейчас я радуюсь тому, что В. Распутина с его многострадальной повестью «Деньги для Марии» заметили, похвалили (недаром, значит, я «лезла на рожон» в ЛИТО). Напечатали в центральном журнале его очередную повесть, а затем пригласили в состав редакции нового молодежного журнала «Наш современник», где он и трудится теперь.

С удовольствием прочитала в «Литературке» фельетон по поводу опусов некоего Морева, от которого я успешно отбивалась в «Сиб. огнях» и который обругал меня в письме за «нечуткость». Бывают и такие ругательные письма, которыми можно гордиться. Скучно мне и без тех ворохов рукописей, тетрадок, то школьных, тоненьких, то переплетенных в толстенные «тома», которыми завален был мой письменный стол в редакции после очередной почты. Так интересно было брать в руки каждую новую рукопись: а вдруг именно в ней обнаружится новый, никому не известный талант. Или даже пусть не крупный талант в художественном смысле, но просто искренний честный голос человека, который не может молчать обо всем том, о чем так подло молчим мы.

18 февраля 1974 г.

Еще два года прошло. Живу в Академгородке. Жизнь течет. Моему внуку Стасику уже три года почти. Чудесный мальчонка растет. Мама потихоньку старится, да и я тоже. Все силы души уходят на встречи, на переписку с А. Все не теряем надежды быть вместе. Но это отдельная история. Об этом когда-нибудь потом. О нем я буду обязана рассказать, т. к. личность это незаурядная, исключительная, и мне посчастливилось знать его и в молодости, и через 23 года встретиться вновь. Вспоминаю слова, сказанные о

нем еще в 1947 году, когда ему был 21 год: «Такие мальчики раз в 100 лет рождаются. У него голова логика. Сильного логика. Он позволяет себе додумывать до конца то, к чему мы даже приближаться не рискуем». Это сказал наш институтский преподаватель политэкономии Ник. Ник. Власов, погибший потом где-то в лагерях. Жизнь показала, что он был прав. Ни 10 лет лагеря, ни вот уже 20 лет жизни в отупляющей обстановке в крохотном шахтерском поселке, затерянном у черта на куличках среди Голодной степи под Джезказганом, не сломили ни дух, ни ум, ни волю его. Об одном молю бога — вырвать его оттуда, чтоб хоть несколько лет остатка жизни он мог быть рядом с библиотеками, людьми мыслящими, мог спорить, печататься, заканчивать начатое и еще многое-многое создать, т. к. знаю — он неисчерпаем. И какое преступление: душить, давить это пламя мысли только из боязни, что оно может обжечь! Нет, о нем я буду отдельно писать. Я обязана это сделать.

А сейчас о другом. За эти два года я изменила место работы. Меня позвали зав. лекционным отделом в Дом ученых Академгородка. Провожу литературные вечера, встречи с писателями, поэтами, организую выставки художников. Затеяла Клуб книголюбов, где встречаются люди запросто, для того чтобы помочь друг другу найти в этом потоке макулатуры, которым завалены прилавки книжных магазинов и полки библиотек, то, что стоит прочитать.

Было кое-что удачное, интересное. Так, оказался удивительно остро чувствующим человеком с «ободранной кожей» (по болевым восприятиям окружающего) драматург Александр Володин (приезжал из Ленинграда). Близок ему по духу, но более суров, ожесточен, по-крестьянски немногословен Федор Абрамов, автор прекрасной трилогии «Пряслины» — автобиографического романа. Пронзительной горечью заражал «веселый писатель» Виктор Конецкий (тоже ленинградец). А ведь книги его — «Соленый лед», «200 суток среди рифов и мифов» — читаешь, не переставая смеяться.

Жалею, что не записала ничего сразу после встречи с этими людьми. Их приезд в Академгородок как-то очень всколыхнул всех. Каждая такая встреча была праздником. И обострением духовной жизни, обострением размышлений о времени и о себе. А это так нужно! — иначе совсем мохом зарастем.

Но вот сейчас настал период, когда события извне будоражат всех, но достигают порой совсем не той реакции, на которую были рассчитаны. Уже неделя, как все газеты пестрят подборками: «Предателю по заслугам!», «Гнев народа», «Такое не прощается» — все это по поводу Солженицына, который

решением Верховного Совета «выдворен за пределы родины» и лишен советского гражданства.

Каждый выпуск «последних известий» по радио тоже завершается подобными выступлениями: «Наша бригада полностью одобряет решение Верховного Совета о предателе и отщепенце Солженицыне», — говорит «со слезой в голосе» какая-то ткачиха с Трехгорки. «Нет предела подлости и коварству», — пишет рабочий завода «Серп и молот». «…Он точно тщательно подбирал самое низкое, самое подлое, на что способен человек. Преклонение перед Власовым, палачом советских людей, самое отвратительное в Солженицыне. Или, скажем, оскорбление святых для нас понятий. Или клевета на наш образ жизни — самое отвратительное в Солженицыне Не знаю! Тут он задал труднейшую загадку, на которую можно ответить только так: всё, буквально всё отвратительно в этом предателе», — так пишет писатель Конст. Финн в «Комсомольской правде» от 17 февраля. Говорят, что Евтушенко послал телеграмму в правительство даже не в защиту Солженицына, а только против того, какое отражение в нашей прессе приобретает вся эта история, и на следующий день был отменен его авторский вечер, который должен был проходить в Колонном зале и транслироваться по телевидению.

Если Солженицын действительно писал то, в чем его обвиняют, то его следовало отдать под суд, но открытый, чтоб избежать всех кривотолков, которые идут сейчас.

Во всех газетах и радиовыступлениях повторяются одни и те же фразы о том, что Солженицын «преклонялся перед Власовым» и желал, чтоб над нашей головой вновь «разразилась война». Но это столь чудовищно, что вызывает сомнение в возможности появления подобных мыслей у психически нормального человека. И именно поэтому, прежде чем судить, надо было бы сначала подтвердить сам факт высказывания Солженицыным этих положений! А уж если это были даже не устные высказывания, а печатные издания, то сделать это проще простого! И не цитатами, вырванными из контекста (таким приемом, как известно, можно «доказать» все, что угодно), а значительными фрагментами или даже полной публикацией, чтобы можно было точно, без искажений, судить о концепции автора. И если его позиция действительно столь искаженно-дика, то не было бы никакой опасности для «нестойких умов» от подобной гласности. Напротив. Вот тогда это действительно гнев народа, который клеймил бы предателя с полным основанием. Сейчас же выступают люди, знающие о писаниях Солженицына лишь в пересказе, манипулирующие теми двумя-тремя положениями, которые якобы содержатся в его сочинениях. Почему

Нюрнбергский процесс проходил гласно, все обвинения предъявлялись преступникам на основании документов, с которыми мог ознакомиться каждый и подлинность которых была засвидетельствована?.. И еще: все эти выступления в газетах и по радио — «мы клеймим» и т. п. — хоть и «авторские» (указывается — «рабочий такой-то», «солдат такой-то»), очень напоминают те китайские компании культурной революции, которые мы недавно высмеивали: «один крестьянин сказал», «один студент написал». Да и в 30-е годы клеймили у нас, к примеру, Мейерхольда (я просматривала при подготовке к диплому журнал «Театр и революция» за те годы) те, кто не имел никакого отношения к театру, и в тех же выражениях, что звучат сегодня по поводу Солженицына. А сейчас отмечается юбилей «Талантливейшего режиссера советского театра Мейерхольда»!. В 1946 г. «изничтожали» М. Зощенко и А. Ахматову, а теперь — тоже юбилеи. И нет этому конца. И если бы не было на памяти всех этих «трансформаций» (и с людьми талантливыми!), то я бы, наверное, иначе отнеслась сейчас ко всей этой шумихе вокруг Солженицына. И главное: чтоб вынести свое мнение, надо знать! А я не читала. Не знаю. Просто «присоединиться к ранее выступившим товарищам» не привыкла. И еще: несколько лет назад мне в редакции «Сиб. огней» среди прочих рукописей удалось прочитать рукопись «Ракового корпуса» (его отклонили в московских журналах и кто-то привез к нам). В художественном отношении мне показалось это не очень интересным — слабее «Ивана Денисовича», но в идейном плане никаких «крайностей» я там не усмотрела. Там описываются (довольно натуралистично и жестко) будни онкологического отделения одной из областных больниц где-то в Средней Азии, где все обречены и потому «равны» между собой, где не имеют значения все прошлые заслуги или грехи. И как по-разному проявляют себя люди в эти считанные месяцы, дни, часы перед «уходом в мир иной»…

Среди героев есть и «ответственный работник областного масштаба», и простые «рядовые труженики». Есть и один молодой парень из заключенных, которого держат («проверяют») после плена в лагерях и срок еще не истек, но болезнь вынудила временно поместить его в общую больницу, где проводят курс облучения. Размышления больных о жизни и смерти, о человеке и обществе, переосмысление своего прошлого — содержание романа. Ясно выявлена психологическая (и социальная) несовместимость «ответ. работника» и «зека». Первый оскорблен тем, что его сосед по койке «преступник», требует от дирекции больницы «избавить его от такого соседства» и т. д. «Зек» не скрывает своего презрения к «начальнику». А мысль автора

очевидна: ценность человеческая определяется не теми «ролями», которые играем мы в жизни, не уровнем ступеньки, на которую поставила нас судьба, а нравственным багажом. И в преддверии смерти это ощущается с предельной остротой. В общем, мысль не нова. И произведение это — не шедевр, но уж во всяком случае и не «поклеп на советскую действительность». Самое любопытное, что когда я спросила о романе «Раковый корпус» одну даму из горкома (ведающую делами радио и телевидения): «Правда ли, что там о Власове? И почему название такое странное?» (будто не знаю), то она ответила убежденно и очень горячо: «Да! Там сплошное воспевание власовщины, а вся наша армия представлена в виде «раковой опухоли»… Вот так! Если общественное мнение формируется подобными методами, то как же можно верить всему тому, что пишут сейчас о тех произведениях Солженицына, которых я не знаю?

Появилась в «Литературной газете» огромная статья, на два разворота, доктора исторических наук Яковлева. Нет сил ее пересказывать (оставляю ее в конверте с вырезками как документ), но то, что там концы не сходятся с концами, видно невооруженным глазом. Бесконечные исторические экскурсы и фантастические «домысливания» случайно вырванных из контекста фраз. Такими методами можно доказать с одинаковым успехом и то, что автор — «знамение времени» (как это делают всяческие радиостанции Запада), и то, что он «закоренелый негодяй». Как понять тот факт, что в 60-е годы Солженицын был, среди тысяч других, реабилитирован правительством как невинно пострадавший в годы культа, а сейчас профессор Яковлев пишет о нем: «Что делал в то время, когда советские люди от солдата до генерала армии ценой жизни своей выполняли воинский долг, этот, по критериям антикоммунистов, «русский патриот» Солженицын? Стоило Красной Армии прийти туда, откуда затевался поход на Восток, Солженицын не мог больше сдерживаться. Били тех, перед кем он мысленно всегда стоял на коленях, — прусских милитаристов. Солженицын опозорил погоны офицера, занявшись распространением гнусных слухов, имевших в виду подорвать боевой дух войск. По законам военного времени он был удален за тяжкие преступления из рядов действующей армии. Миллионы солдат ушли вперед добивать фашистского зверя, а Солженицына отправили в тыл — в тюрьму. Там, в дикой злобе он оттачивал замыслы пасквиля, появившегося много лет спустя, как «Август Четырнадцатого», но задуманного еще в юношеские годы» и т. д.

Так как же могли реабилитировать такого злодея, если это все правда?! И почему мы должны всему этому верить?

25 февраля

За это время кое-что прояснилось для меня. Сволочное время — не могу, не имею права! упоминать, кто говорил, где, когда. Запишу лишь те фразы, мысли, факты, которые запомнились.

Об истории с Солженицыным. Он последние годы впал в какое-то обостренное состояние мессианства, считал чуть ли не долгом жизни проповедь борьбы с «Ложью» (в которой он видит основное зло) способом пассивного бунта: «Если считаете, что лгут газеты, не читайте их. Если вынуждены быть в атмосфере лжи на работе, измените ее на те области, где это исключено (земледелие, физический труд и т. д.) Если лживо окружение ваших друзей, уйдите от них. Каждый способен в рамках общества сохранить уважение к себе и чистоту совести» (не ручаюсь за слова, но нечто подобное по смыслу). Причем все это излагается подчеркнуто архаично-русским стилем, с длительными <… > и почти фольклорной напевностью. Он верит в могущество русского языка, способного подсознательно заставить откликнуться в душе русского человека каких-то забытых, но истинно славянских струн (что, кстати, далеко не очевидно и, напротив, многим мешает принять его даже в чем-то и разумные доводы). Есть у него и явный налет религиозности, что тоже работает против него — слишком уж мы все атеисты по духу. Ну, и эта «проповедническая деятельность», вряд ли представляющая серьезную опасность и, скорее, интересная для психиатра: почему человек конца XX в. пользуется столь архаичными методами общения. А для социолога вопрос: что в нашем демократическом обществе порождает столь искривленное по форме и фанатичное по духу стремление пробиться к сознанию соотечественников. (Чем не протопоп Аввакум XX века?). И почему нет «прямых путей», а надо «пробиваться»? Вся эта деятельность Солженицына в сочетании с неизвестными нам, но широко публикуемыми на Западе его романами приводит к тому, что предпринимается решение «зло пресечь». Посылают ему повестку с «приглашением» одну, другую — он не идет. Тогда прибывают к нему домой четверо, увозят. Естественно, жена бросается к друзьям — писателям. Кто шарахнулся в сторону, кто согласен что-то предпринять, но что? И у всех одна мысль: неужели начались снова те, столь свежие в памяти, времена, когда надо прислушиваться к шагам на лестнице. Евтушенко, находящийся в критическом состоянии из-за обструкции, устроенной ему бывшими друзьями В. Аксеновым и Поженяном за его «флюгерность», за то, что ходит в «любимцах», за то, что министр Радио-Телевидения сказал: "Надо Евтушенко чаще

привлекать к публичным выступлениям, он теперь вполне управляемым стал», немедленно получает разрешение на вечер в Колонном зале с трансляцией в двух программах, а кличка «Управляемый» закрепляется и доводит его до бешенства. И он с присущей ему безрассудностью кидается в омут с головой: телеграфирует в Управление культурой о «позорном», недопустимом факте… о нежелательном резонансе, и вообще о «методах прошедших лет…». Разумеется, скандал. Концерт и телепередачи отменены. Но и банальная «отсидка» Солженицына заменяется эффектным трюком с «выдворением» — сажают в самолет и везут неизвестно куда. Высадили, оказалось — в ФРГ. Шум на весь мир. Журналисты как мухи на мед. Но Солженицын решил выдержать их натиск и отказался от всяческих интервью. Но там народ ушлый, поняли, что прямой атакой его не взять, и пошли в обход, а он на это клюнул и разразился «Заявлением — протестом», которое мгновенно напечатали все газеты. Оказывается, газетчики спровоцировали выступление Солженицына, напечатав явную «утку» о том, что к нему, якобы, где-то на улицах Цюриха, когда он шел к банку (его богатство Нобелевского лауреата везде подчеркивается), подошел какой-то «агент из Москвы» и передал письмо от жены, которое он эту «первую весточку» тут же прочитал и расплакался. Солженицын мгновенно взорвался и потребовал, чтобы дали опровержение: никакой «агент» от жены ему ничего не передавал, т. к. в этом нет надобности — он ежедневно разговаривает с семьей по телефону и никто никаких препятствий ему в этом не чинит. А если здешние газеты способны выдумывать подобные небылицы, то «здешняя пресса еще хуже, чем наша, российская» (пересказываю с теми комментариями, которыми этот рассказ сопровождался). Разумеется, такое выступление наивно и смешно. Солженицын еще раз доказал свою детскую наивность («один против всех»): так было и по эту сторону границы и теперь — по ту. Естественно, что он будет вытолкнут и из того общества. Уже после этого первого его выступления к нему изменилось отношение тех, кто собирался делать на нем бизнес (сделают и теперь, но Солженицына при этом раздавят). И эти «разочарования» в Солженицыне немедленно опубликовали наши газеты. Еще бы, тамошние журналисты заговорили почти нашим языком: «Теперь, когда он оказался за пределами Сов. Союза и лишился возможности изображать себя святым мучеником, пьедестал, который мы ему создавали, быстро дает трещины» («Лит. газета» — 27/II-74).

Нет сомнения и в том, что его быстренько обдерут как липку, т. к. его сейчас начнут шантажировать орды русских (и не только

русских) эмигрантов: «Если вы провозгласили себя совестью русского народа, то докажите на деле — спасите погибающего» и т. д. И он должен будет давать и никогда не сможет отличить истинно нуждающегося от афериста, или от «майора Пронина», работающего «эмигрантом». Особенно обострится его трагедия, когда он соединится с семьей. Малейшая отлучка из дому или опоздание детей, жены заставят его думать о хищении, несчастье, и на любое требование «выкупа» он отдаст все. <…> Но его вытолкнули от нас за «антисоветизм», а из капстран вытолкнут/раздавят за мучительную, доведенную до исступления любовь к России. Логически рассуждая, он должен покончить с собой (если раньше не прикончат его «неизвестные» в «автомобильной катастрофе»).

О литературе.

Вся история русской литературы — это развитие двух литератур: Литературы Чести и Литературы Совести. При всей кажущейся близости эти понятия не тождественны. У них различные внутренние задачи, «пружины», круг проблем, видение мира, способ осмысления его, понимание своего места и назначения, уровень художественного воплощения, заботы о форме и т. д. Причем сами художники — представители этих направлений — целостные личности, и их самовыражение едино и в большом, и в малом, и в творчестве, и в житейских обстоятельствах. Поэтому достаточно, к примеру, представить в одинаковой ситуации двух различных писателей, чтоб по характеру их поведения понять, к какому «типу» они относятся.

Пушкин — ярко выраженный писатель Чести. Во всем. И когда оскорбляют его лично, плюют в лицо, то у него нет ни минуты сомнения в том, что поругана честь и что отстоять ее можно только с пистолетом в руке, ставя на карту жизнь (хотя он и прекрасно понимал, чтО теряет русская литература в его лице).

Если же в подобной ситуации оказался бы Достоевский — писатель Совести, то он наверняка начал бы мучиться сомнениями: а может, он заслужил эту пощечину? Возможно, его обидчик более несчастен, чем он, т. к. не может не страдать от того, что страсть выхлестнулась в такой недостойной форме? — и т. д. и т. п. Таким же он остается в литературе: любовь к народу, России превращается у него в сплошную рану, и он готов распять себя ради нее, ради того, чтобы бередить все язвы своего времени. Только обнажив их, можно заставить содрогнуться сердце соотечественников. И только поняв это сердцем (а не разумом), смогут люди объединиться в своем стремлении спасти Россию от захлестывающей ее скверны, грязи, гниения. Только так! И

Достоевский не единственен. Как и Пушкин, каждый крупный писатель в той или иной мере может быть соотнесен к этим двум направлениям литературы. Одни пишут, увековечивая подвиги Полтавы, другие надрывают себе сердце мыслями: «а нужно ли счастье, если за него платить слезами, одной слезой ребеночка…».

Для одних — «Что?», для других — «Как? Какой ценой?». И это можно проследить вплоть до литературы наших дней. Разумеется, исключив отсюда все, что «не литература», т. е. где и «бессовестно», и «бесчестно», а таких «писателей» легион. Писатели Совести не в силах справиться с гневом и болью и зачастую отбрасывают все заботы о художественном мастерстве, об отделке формы, поэтому получают заслуженные упреки критики. Только монументы славы требуют тщательной отделки и внешнего блеска. Мы без труда назовем писателей обостренной Совести наших дней. И в их ряду один из наиболее неистово-фанатичных (что всегда переходит в обратное качество, как любое «чересчур») — Солженицын. У него стремление «докопаться до основ» доходит до мазохизма, и это не может не отталкивать. Мы не любим, когда нас суют носом в дерьмо, мы не любим заглядывать в бездны. Мы не хотим нарушать свой привычный покой и устоявшиеся догмы. И нужно большое мужество, чтоб позволить себе, как это сделал Солженицын, задуматься над тем, что если поражение в Японской войне 1904 г. дало основание для революции 1905 г., а без нее не было бы и 17-го, то, может, по-другому развивалась бы наша история. Если бы в 1812 г. не было пролито столько крови, не была сожжена Москва и война кончилась бы «поражением», то это было бы поражение не нации, а правительства. А на том историческом отрезке, когда назревала революционная ситуация в Испании и уже трещала по швам опившаяся кровью империя Наполеона, дискредитация русского трона послужила бы, вероятно, более активным стимулятором национального самосознания, чем происшедшее упрочение «доблестного Александра I». Вряд ли угрожало и «офранцузивание» России: при внешних формах протектората русская нация никогда не растворилась бы в своих временщиках (как это было при онемечивании в XVIII веке). И уж во всяком случае конституционные идеи декабристов уже в 1815 году охватили бы умы России, и русский трон рухнул бы так же, как и искусственно воскрешенные марионетки Бурбонов во Франции. Да и крепостное право ушло бы в небытие на полвека раньше. Почему эта мысль вызывает такое раздражение сейчас, непонятно. Как и подобная же коллизия в войне 1914 г. Да ведь до сих пор мы всегда говорили открыто о «позорной войне», о

«миллионах русских солдат, превращенных в пушечное мясо…», но стоило Солженицыну сказать об этом, как оказалось, что его позиция «предательская». Кстати, об аналогии с Великой Отечественной войной он нигде не упоминал. Подобная ретроспекция проделана теми, кто заинтересован был в том, чтобы потрясти всех «чудовищностью выродка», который «в то время, как мы проливали кровь, как миллионы наших отцов и братьев на фронтах…», а он «хотел» (где это сказано им?!), чтоб «фашистский сапог растоптал нашу землю» и т. д. и т. п.

4 апреля 1974 г.

После долгого перерыва сегодня захотелось записать несколько слов. Точнее, хотелось бы закричать, выругаться — но… кому? где? — скажешь то, что мучает. Да и многим показалось бы просто «блажью», «дуростью». И действительно, смешно, глупо в моем возрасте срываться, реветь, не находить себе места от… невыносимого стыда за тот маразм, который стал нормой, официально узаконенным уровнем «искусства» (если это можно назвать «искусством»).

Короче. Все эти дни по радио, в газетах, по телевидению — Съезд, Съезд, Съезд… Не буду комментировать. Несомненно много разумного в намечаемых планах и директивах… Но — зачем этот гром, треск, фанфары! Зачем бесконечное словоизвержение: «Величайшее событие», «Войдет в историю», «Приветствия», «Заверения в бесконечной преданности» и т. д. (не могу слушать эту навязшую в зубах фразу: «Разрешите заверить»). Заверяют в том, что и впредь будут — рабочие, колхозники, писатели, солдаты… Ну, неужели кто-либо сомневается в том, что без этих клятв люди не будут выполнять на своих постах то, что они делали до сих пор?!!

«Наши величайшие победы», «Наш героический», «Наш исторический вклад» — даже если это действительно так, то зачем же самим о себе да всё в превосходной степени?! Ну, пусть китайцы трезвонят о себе во все колокола и ни шагу без «высочайших» и «величайших успехов», а нам зачем?! Почему, когда слушаем Пекин, смеемся над их патетикой и обкатанными штампами-лозунгами, а вот когда у нас та же стилистика и безудержное захваливание самих себя, то это принимаем как должное? Успехи несомненны, но неужели съезды для того, чтоб только похвалиться успехами? Почему на съездах партии при Ленине были горячие дискуссии, поиски, столкновения мнений. Читаешь стенограммы как драматическую эпопею, слышишь каждого выступающего, его интонации чувствуешь, жесты. (А чего стоят «реплики с места»! — это настоящая жизнь!). А сейчас

обкатанные гладкие отчеты, в которых чувствуешь хорошо вышколенного референта, а в прениях обязательно длинное вступление из «Заверений». Вот, на выбор, за 31 марта: «Ярким незабываемым днем останется в истории нашей родины», «С глубоким вниманием и огромным воодушевлением», «Ярко и убедительно», «Замечательные успехи нашего народа», «В свете огромных задач», «Целиком и полностью одобряем», «Трудовой подъем ознаменовал…», «Новый вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма», «Выразив горячее одобрение и единодушную поддержку» — и так далее до бесконечности. Правда, «отмечают» слабые места, недостатки… Но — в строго определенной пропорции. Если потомки наши захотят представить себе состояние дел, уровень производства, культуры, организации труда по материалом съезда, то получат картину такую сияющую и залитую патокой, что удивятся: а куда же делись все те проблемы, которые проскакивают на страницах газет, журналов, книг, которые волнуют экономистов, социологов, психологов и просто честных людей?

Да, но это все о публицистике, а начала я с «искусства». Так вот, в дни эти, конечно же, выступили и «деятели искусства и литературы». Выступил с дежурной речью дежурный оратор «от писателей» — Шолохов (не хочу даже цитировать, все это он повторяет уже много лет, и уже более 20 лет стрижет купоны с романов молодости). Но откликнулись и поэты. И их, конечно же, нарасхват берут газеты, журналы (вроде «Огонька» и «Октября»). Пусть там поэзия и не ночевала, лишь бы «актуально» было.

Вот один из многочисленных образчиков (напечатано в центре 1-й страницы «Комсомольской правды»).

Созидатели

На рассвете
Свои запускает станки
Пятилетье —
Пять пальцев рабочей руки.
Удивителен спектр
Самых разных работ.
Там, где Съезд — архитектор,
Строитель — народ.
Виден космос
С автографом лунных колес,
Зреет колос
Пятнадцати зерен колосс!

(О чем?! О 15 ц с га? И это «колосс»! Бедный русский язык!)

Нам закалка особая (О чем?)
верность — в удел,
высшей пробою —
цифры на золоте дел. (Какие «цифры»?)
Коммунизм,
как я рад, что созвучен тебе.
Оптимизм —
Твой напарник и брат по борьбе.
Многотрубно
Гигантами строек поем:
Как ни трудно —
Любой одолеем подъем.
Люди с мест, (?)
Расскажите,
Как движетесь в рост (как пародия на стихи!)
Здравствуй, Съезд,
Наших сил, наших дум, наших звезд.
Ты трибуна
державной моей новизны,
и коммуна —
мой парус на мачте весны (!!).

Автор? — Виктор Урин.

И это «стихи»?

Да любой графоман лучше зарифмовал бы «пятилетье», «коммуну», «оптимизм» и «космос»!?

Как не стыдно редактору было подписывать этот номер в печать?

А мне вот стыдно. До злости, до слез, до отчаяния! Маразм! — узаконен!

1976 — 1978 г.г

15–17 февраля

Неужели наша жизнь действительно отмеряется этими ломтями — «От съезда к съезду!»?! Так навязло все это в ушах, что уже скоро и сам начнешь говорить и мыслить неудобными лозунгами. И все же забавно (чтоб не сказать — страшно), что чувство непереносимой духоты, задыхания возникает в дни «преддверия» очередной компании. То это был «Великий 100-летний юбилей Ленина», то «Великое 50-летие революции», то «Великий съезд» (меняются лишь цифры порядковые). Для смеха выношу сейчас заголовки из последних газет. «Известия»: «Съезду партии посвящается», «Каждый трудится по-ударному», «Тесное соединение партии и народа» и т. д.

Вот заговорило радио: «На многих предприятиях Ленинграда вчера прошли митинги, где передовики производства рапортовали о своих достижениях навстречу XXV съезду», «С выполнением своих обязательств к съезду справилась ткачиха…» и т. д. и т. п.

В общем, эти клише переходят от съезда к съезду.

Был период, когда людьми владел страх. Страх остался и сейчас (об этом не место здесь). Но добавился еще постоянный мучительный стыд.

По радио: в г. Томске одна из улиц названа именем венгерского коммуниста Бела Куна, который был здесь в годы Гражданской войны. Его имя прославило коммунистическое движение… и т. д. И это о Куне, имя которого как «врага народа» вычеркивалось из книг, его произведения «изымались» из библиотек и сжигались. Мама моя слушает сейчас радио и рассказывает, как «по списку» сдавали целыми мешками книги «врагов народа» и на их глазах с помощью библиотекарей их рвали, а потом сжигали, чтоб ни листка не осталось.

Так вот — стыд стал основным состоянием. Стыд за газеты, радио, стыд за необходимость улыбаться дуракам, если они занимают «пост». Стыд перед молодыми, которые с усмешкой спрашивают: «Так вот за это вы ратовали? Это и есть воплощение ваших идеалов, ради которых столько лучших положили свои головы?». Но более всего стыдно перед теми, кто всю жизнь работает не разгибая спины, еле сводит концы с концами, не имеет физических сил на книги, музыку и прочие духовные ценности, мается судьбою своих детей, видя, что им не вырваться из этого болота, и все же верит в то, что где-то есть справедливость! Но уже сомневается, т. к. видит, как одни имеют

все — и квартиры, и дачи, и машины, и туристские путевки, и дети их уже при рождении «запрограммированы» на благополучие, и их внуки. А другим — всю жизнь вкалывать.

Вот уже более десяти лет как я переписываюсь с Капой Чудиновой, с малограмотной женщиной из шахтерского поселка Малиновка Кемеровской обл. Она прислала как-то письмо на радио, где я заведовала художественным вещанием. Ей очень понравилась передача о книге Медынского «Честь» — о детях с трудной судьбой. Просила, нельзя ли прислать ей эту книгу, т. к. в их поселке не достать. Я послала. И завязалась переписка (как жаль, что не сохранила письма. Но теперь буду беречь). Она вырвалась из старообрядческой семьи. Мать фанатически верующая. Отец сбежал с фронта и погиб где-то в тайге, скрываясь. До 18 лет Капа не бывала в городе, жила с матерью и сестрами в землянке, в маленьком поселке Горной Шории (их выгнали из дома как семью дезертира). Еле 4 класса окончила. Удрала от матери на стройку в Новосибирск. Когда впервые телевизор увидела, «чуть от страха не умерла», думала — дьявольская сила. Мечтала стать… шофером. Учиться хотела. Но вышла замуж за Васю — болезненного, безвольного, но упрямого. Уехали на шахту в пос. Малиновка, где и живут до сих пор. У нее три дочки. Воспитывала их «по науке»: слушала лекции по радио, выписывала журналы, делала с ними уроки и понемножку училась сама. Но шофером стать не удалось — нет в их поселке таких курсов. А тут ее Вася стал все больше болеть (сказалась работа под землей). И вот уже 6 лет как он болеет, а она одна тянет семью — работает стрелочницей. Работает в 40 градусные морозы и пургу, ходит по 5 км туда и обратно. А их еще обсчитывают, заставляют бесплатно делать дополнительную работу, «начальница» пьянствует, орет, матерится, а сама живет как сыр в масле. И все ей сходит с рук. И вот Капа прислала мне письмо об этом (жаль, нет его под рукой — его «пришили к делу» в Управлении ж/д, куда я обратилась по всем этим вопросам).

И вот вчера пришел официальный ответ, ответ-отписка. А такой интеллигентный, галантный этот зам. начальника ж/д т. Акулинин, когда я разговаривала с ним, рассказывала про Капу, про то, как важно, чтобы у этой малограмотной женщины не подорвалась вера в справедливость. И вот ответ: «дополнительная оплата за работу в дни, когда морозы -30 и метели осуществляется в соответствии с п. 9. приказа МПС 24/II от 17/VII-71 г.». Оплата за заготовку сена для колхоза «Кузелеевский» (12 т. сена!) произведена» (хотя именно о том, что эти деньги начальство поделило между собой, а им не досталось ни копейки, и писала Капа!).

А по поводу того, что сверх своих обязанностей стрелочниц обязали еще обслуживать вагоны и подкладывать под колеса (для торможения) тяжелые «башмаки» (что и трудно, и опасно), написано в ответе Акулинина: «Работа с башмаками стрелочниками ст. Малиновка производится в порядке уплотнения рабочего дня (!), поэтому, согласно п. 10 приказа МПС № 184/93 от 1960 г., дополнительная оплата за это им не положена». Вот так! «Не положена»! И на все есть частокол параграфов и приказов. И подпись под этим письмом красивая, с завитушкой, тщательно выписаны все буквы. Сомнения в своей правоте у него не было ни на секунду. И в разговоре по телефону он искренне удивился тому, что меня его ответ не удовлетворил. А про начальницу, которая ворует, сказал, что «факты не подтвердились», и вообще она у них «в передовых ходит», т. к. «план выполняет по всем показателям». Я посоветовала ему выдать этой «начальнице» премию и бросила трубку. Сегодня надо писать Капе. Что? Что я скажу ей? А ведь она верит, что я «грамотная» и могу добиться «правды». Да и Капа уже понимает, что надежды на «правду» мало. Пишет в своем последнем письме: «Рабочие боятся защищать свои права, да и кто нас слушает. Если приедет комиссия какая, то стараются проверить лишь наши знания, а никогда не спросят у рабочих о наболевших вопросах, как начальник относится, не зажимает ли, как обеспечивает инструментом (они ведь спрашивают качество, чистоту стрелок, а чистить-то нечем). И дальше: «Я нисколько не удивлюсь, что Вам ответят — факты не подтвердились, и все. Зря я отняла у Вас время». Пишет про Васю, что он хоть и на «легкой работе» теперь, (работает на складе при шахте, взрывчатку выдает), но ему пришлось машину с ящиками разгружать, а он после операции и чуть ночью не умер, но уйти некуда: «а что грузчиком ему пришлось работать, не удивительно, не будут же держать машину, да и взрывчатка нужна. Если он не будет делать, то ему скажут «не можешь, так сиди дома», а если он умрет, так на его место пять будет. Это начальников надо беречь, их мало, а безграмотных полно, да еще больных, толку-то с нас, что мы живем».

Такое письмо от 30/I-76 прислала мне Капа. Я его дословно переписала, только запятые расставила, да ошибки исправила.

Что я отвечу ей?

Стыдно перед такими как она, до физической боли стыдно. И чувство полного бессилия помочь хоть чем-то.

24 февраля

Вчера мы с А. были приглашены на вечер, посвященный Дню

Советской Армии (23/II), который был организован для членов Дома ученых в нашем ресторане. Такие организованные ресторанные вечера (их проводят 1 раз в месяц по случаю каких-либо «красных дней календаря» или «без случая», просто для отдыха) называются «Кафе у фонтана», т. к. стеклянная стенка ресторана с дверью граничит с зимним садом нижнего фойе, и там действительно есть «фонтан» — крохотный, чуть больше ванны водоем с метровой струйкой воды. Но на фоне огромного окна в заснеженный парк вечнозеленые деревца этого зимнего сада действительно очень радуют, и даже этот жалкий «фонтан» приятен своим журчанием. И вот ресторанные вечера частенько завершаются «у фонтана». Там проходят танцы под радиолу или маленький оркестр, и боюсь, что деревцам вредна гремящая музыка — некоторые начали желтеть и сбрасывать листья.

Я ни разу не была на этих вечерах «Кафе у фонтана». Их организует зам. директора — энергичная дама Галина Васильевна. Очень жизнерадостная, вечно раздается ее «переливчатый» смех — «ха-ха-ха-ха». И, видимо, она очень ценит свою способность так «молодо», «так непосредственно» смеяться по всем поводам. И без повода. На вечера «У фонтана» заранее распределяются входные билеты (платные), записываются столики и вообще попасть туда трудно, т. к. там всего что-то около 80 мест. И каждый раз Г.В. организует что-то «развлекательное», кого-то приглашает в качестве «интересного человека», проводит какие-то выставки, приглашает оркестр. И, судя по отзывам, многим нравятся эти вечера. Правда, есть и такие, которые говорят: «Сходил разок ради любопытства и больше не пойду. Скучно».

Ну и мне с А. захотелось пойти туда, взглянуть, как развлекаются люди, и просто посидеть вечер в праздничной обстановке, тем более, что «праздник». Хотя никого все эти праздники календарно-официальные не волнуют, но когда приглашают, напоминая, что и я, и А. имеют некоторое отношение к Отеч. Войне, а значит, и к Армии, это даже вроде и приятно: мол, заслуженный праздник.

Оказалось все довольно обычно. Сидели за столиками, ели, пили. Не на эти 2 р. по входному билету, конечно, а за свои, и это получается довольно дорого даже при скромных аппетитах. Многие были компаниями, и поэтому им было весело. За нашим столиком сидел один славный химик с женой, пытались немножко познакомиться, поговорить, но в этой обстановке было невозможно — шумно очень из-за «мероприятий». А пишу я об этом вечере только из-за этих самых «мероприятий», которые придумала «по случаю Дня Советской Армии» наша

жизнерадостная дама. И все вроде бы были очень довольны, и она больше всех. Как она отплясывала потом «у фонтана»!. А заключались «мероприятия» в следующем: вышел на эстраду наш директор ДУ — И. С. Полевой, в парадном мундире, при всех орденах (он полковник в отставке) и предложил провести викторину «на темы Советской Армии». Премия — бутылка коньяку. И какой ажиотаж это вызвало! Спешили выкрикнуть ответы (каждый столик — «команда»), на ходу импровизировали, не отказывались от подсказки. И вообще вели себя как школьники. А вопросы мало подходящие к веселью: какие рода советских войск существуют сейчас, когда произошла та или иная битва, кто командующий фронтом был, где-когда декрет об Армии был подписан и т. п. Смешно, но из-за своей отличной памяти А. знал это лучше многих и подсказывал нашему соседу, а тот выкрикивал и быстренько набирал «баллы». В заключение надо было… разобрать и собрать автомат… (Среди гостей были курсанты военного училища и они стали членами «жюри» в этом деле). Разложили на столе (на эстраде, где быть бы оркестру) автомат и десяток мужчин (и даже женщина одна) вызвались собирать и разбирать автомат. С секундомером засекали время. Аплодировали «победителю». И выглядело это как веселый аттракцион, и всем было искренне весело. И мы смеялись. И больше всего тому, что хоть наш сосед совсем оскандалился с разборкой автомата. но все же наш столик выиграл этот коньяк! — за общее количество баллов. И мы угощали всех «болельщиков» за соседними столиками и принимали поздравления, даже потанцевали немножко потом (впервые в жизни мы с А. танцевали, между прочим). И ушли мы домой в хорошем настроении — вроде встряхнулись немного. Но ведь если подумать, какое убогое «веселье» удовлетворяет теперь людей! Как разучились отдыхать, праздновать: если нет «мероприятия», то уж и не знаем, что делать, кроме как пить-есть. И, главное, какое это, наверное, страшное зрелище со стороны. Люди, пришедшие повеселиться, отдохнуть, с удовольствием вовлекаются в дурацкую викторину «кто-где-когда воевал, получал награды», и даже «вместо игры!» занимаются сборкой автомата! Хороши эти «игры взрослых людей»! Если б нам рассказали о таких развлечениях в Китае, мы бы смеялись. А когда это у нас, то так и надо. И все довольны. А даму-организаторшу даже похвалили. (Да, забыла: в качестве «выставки» на этот раз демонстрировалась коллекция… этикеток винных бутылок, аккуратно подклеенных в несколько альбомов одним энтузиастом. Коллекция эта вызвала также большое одобрение. Вероятно, появятся скоро и «последователи»: ведь

иметь «хобби» теперь модно).

27 февраля

Открылся 25 съезд. Нет сил слушать радио, читать газеты. По телевизору весь день или «Дневник съезда», или что-либо «идейно-выдержанное», вроде фильмов 30-х — 50-х годов. Доклад генерального (по радио это звучит как «гениального») длился пять часов подряд! С маленькими перерывами. Вот пример героического труда! Да еще в таком возрасте! Если сравнить текст подобного доклада на 24 съезде и этого — как две капли воды. Только «бурные аплодисменты» «вспыхивали чаще». И еще одно настораживает: в заключение, «под занавес», дано новое определение понятий демократии и нравственности. Сказано: «Зарубежные критики нередко извращают смысл мер, принимаемых Советским государством в целях укрепления законности и правопорядка. Всякий разговор об укреплении дисциплины и ответственности граждан перед обществом изображается там как нарушение демократии. …Можем напомнить ленинские слова о том, что нравственно в нашем обществе все, что служит интересам строительства коммунизма. Точно так же мы можем сказать, что демократично для нас то, что служит интересам народа, интересам коммунистического строительства. То, что противоречит этим интересам, мы отвергаем, и никто не убедит нас в том, что это неправильный подход».

Как теперь легко будет манипулировать этим «определением»! Всё зависит от решения — «служит интересам или не служит». А какие критерии при этом? Всё «на глазок»?! И на этом основании тот, кто «на глазок» определяет «полезно это интересам коммунизма или нет», может и суд вершить: «сие — нарушение демократии, а сие — «нет». И соответствующие последствия (или амнистия) для тех, кто «нарушил» или «не нарушил». Так исторические категории, имеющие давно определенный точный смысл, используются на потребу дня с «новой начинкой» (все равно как из пирожка вынуть ту начинку, которая «неугодна хозяину» и заменить другой). Эта новая «гениальная» формула будет тут же «взята на вооружение» тысячами пропагандистов-агитаторов, и результаты не замедлят сказаться.

Да, в эти «исторические дни» не обходится и без анекдотов. Так, мне удалось достать газетку «Вечерний Новосибирск» за 25/II, на которой красным проштемпелевано: «Брак!». И это поверх исторических материалов съезда и доклада самого! Уже сам вид этой газеты будто из анекдота. С чего бы сие? Оказывается, в

спешке наборщик перепутал «марксизм» с «маоизмом» (!), и получилась в речи генерального такая фразочка: «Теперь уж мало сказать, что марксистская идеология и политика несовместимы с марксистско-ленинским учением. Они прямо враждебны ему». Редактор подмахнул этот номер и выпустил в свет! Представляю, какой ужас охватил всех, кто причастен к этому, когда раздавался телефонный звонок из обкома (да и не только из обкома). С какой лихорадочной быстротой объезжали все киоски Союзпечати (а их сотни!) и собственноручно клеймили «Брак!». Дураки! Лучше бы сразу изъяли, а то ведь из-под прилавка этот «брак» продают и по сегодня!. Как там дрожат за свою шкуру все редакторы. А бедные корректоры, линотиписты! (будто это они должны отвечать за «смысл»!). А на следующий день в газете такое «исправление» напечатано: «Во вчерашнем номере газеты на первой странице в крайне правой колонке по вине корректоров (!) допущена ошибка. Конец первого абзаца следует читать: «Теперь уж мало сказать, что маоистская идеология и политика несовместимы с марксистско-ленинским учением». Как осторожно: «Справа, вверху», «конец абзаца», но ни слова о том, что за материл, как было напечатано. Еще бы! Даже произнести вслух страшно — в речи Самого! В день Съезда!. Представляю, с каким трепетом сообщали о ЧП первому секретарю Новосибирского обкома Горячеву («хозяину», как зовут его) в Москву, где он сейчас заседает и произносит речи. И каково это было ему узнать! Небось, приедет и уйдет на пенсию (ему уже за 70 и он давно грозился уйти, да все что-то не соберется никак). А в газете, видимо, многие полетят. И виноват «корректор» (будто выпускающий не читает и не подписывает номер после корректора!).

Еще из области анекдотов, рождаемых жизнью. Пятилетний внук Стасик привык перед сном слушать по радио сказки для малышей. Теперь эти сказки отменены — передают «Дневник съезда». Стасик слушал-слушал, а там все про КПСС. Он начал плакать: «Когда начнут сказки рассказывать?». Ему шутя сказали: «Слушай — это тоже сказка». Он сказал: «Не хочу, мне не нравится сказка про капесес — она страшная» (почему ему показалось страшным слово «капесес» — непонятно). А на другой день пришел к нам и спрашивает: «Бабушка, ты боишься сказку про капесес?».

29 февраля

Прочитала очень любопытную книжку — А А. Галкин «Социология неофашизма». Анализ почвы, порождающей неофашизм, наводит на аналогии. Особенно о подмене интересов

общества — личными. «…Растущее вмешательство государства во все процессы экономической, социальной и культурной жизни общества породило многочисленные административные органы, пытающиеся регламентировать всё и вся. Государственный управляющий механизм разросся до небывалых размеров. При этом дело даже не в том, что содержание такого механизма обходится обществу слишком дорого. Будучи построенным на чисто бюрократической основе, этот механизм скоро перестает выполнять свои общественные функции, во имя которых он был создан. Как отмечал еще К. Маркс, для бюрократии всегда характерно отождествление интересов общества и даже класса, интересы которого она представляет, со своими сугубо специфическими, бюрократическими интересами, стремление игнорировать общественные потребности. По мере расширения функций и компетенций бюрократического аппарата такие тенденции приобретают всеобъемлющий характер. Возникает угроза бюрократического самовластья. Появляется и одерживает верх стремление к бесконтрольности. Бюрократический аппарат как бы замыкается сам на себя, развиваясь по собственным законам. Соответственно замыкается на себя и бюрократическая каста.

В различных сферах это происходит по-разному. В политических партиях, призванных служить гибким рычагом подвода массовых социальных слоев к поддержке политического режима, разбухание организационного аппарата, дающее на первых порах реальные положительные результаты, на определенном этапе разрывает обратную связь. Стремление к всеобъемлющей регламентации сверху убивает инициативу на местах, разъединяет функционеров и рядовых членов. Незнание бюрократией специфики положения, слабая или неверная реакция на настроения избирателей расшатывают традиционные связи между партией и ее сторонниками. Сопровождающие бюрократию внешние признаки — специфический образ жизни и форма поведения бюрократии — порождают прямое отчуждение, которое если даже не приводит к немедленному отходу масс избирателей, то, во всяком случае, делает их поддержку чисто формальной. Видимость эффективно действующего организма скрывает большую или меньшую потерю способности выполнять свои классово обусловленные общественные функции. На более высоком уровне политической структуры прогрессирующее окостенение механизма власти проявляется в изменении соотношения между законодательной и исполнительной властью в пользу последней». И т. д.

«…Роль парламента приобретает все более формальный

характер. Принципиальные позиции определяются партийными лидерами либо самостоятельно (если правительство однопартийное), либо в ходе закулисных коалиционных переговоров (если в нем участвуют две партии). Парламенту остается проштемпелевать принятые решения. Но ослабление роли парламента выражается не только в этом. В ряде случаев он теряет способность решать конкретные вопросы просто из-за того, что недостаточно компетентен. …На парламентскую арену выдвигаются люди, обладающие способностью завоевывать популярность среди избирателей и по возможности долго сохранять ее. Эта способность не предполагает, а иногда исключает наличие глубоких знаний и умений в специальной области. В то же время в связи с расширением функций современного государства на обсуждение парламента выносятся многочисленные специальные вопросы. Создание особых парламентских комиссий не решает проблемы, ибо многие рассматриваемые вопросы остаются тайной за семью замками даже для членов комиссии. Практически получается, что действительное решение принимают эксперты, подготавливающие Законопроекты в министерствах или других звеньях гос. аппарата. В большинстве случаев представленный ими вариант с теми или иными поправками становится законом.

Это касается не только узко специальных вопросов народного хозяйства, но и тех сфер деятельности, о которых парламентам представляется ограниченная информация из “соображений безопасности”. Из-под их контроля фактически выходят органы разведки, органы внутренней безопасности, превращающиеся в государство в государстве. Номинальный характер приобретает контроль законодательных органов над военной сферой».

Ну, и т. д. — иначе всю книжку надо выписать.

Декабрь 1978 г.

Смотрели телевизионные новости. За 30 минут передачи имя Л. И. Брежнева было в разных контекстах повторено 31 раз! Это уже не смешно, а страшно.

Телевизионный концерт из Киева 5 мая. Посвящен юбилею композитора Майбороды. Среди многих песен народный артист поет с благостно-сладким выражением на сытой физиономии:

Спасибо вам за ваш священный подвиг (!),
Наш генеральный секретарь!..

Зал стоя аплодирует.

Комментарии излишни.

Из анекдотов наших дней.

По радио (в мае 1986 г.) рассказали об одном судебном процессе. Там ректор пед. института где-то в Средней Азии имел: 5 машин «Волга», 23 сервиза, 74 костюма, 149 пар обуви, 62 пуховых одеяла, 19 магнитофонов, 66 ковров, 420 м ткани, 100 каракулевых шкур, 400 золотых часов, 16 браслетов с бриллиантами, 19 серег с бриллиантами, 41 пальто, облигаций на 18300 р, 735 р. денег. Всего на сумму 1 млн 200 тыс.

notes

Примечания

1

Гилельс Эмиль Григорьевич (1916–1985) — советский музыкант, один из величайших пианистов XX века.

2

Владимирский дворец (Дворцовая наб., 26 / Миллионная ул., 27) был построен в 1867–1872 гг. После Октябрьской революции во дворце размещались различные военные и медицинские учреждения. В январе 1920 г. в помещениях дворца расположилась Петроградская комиссия по улучшению быта ученых, и здание получило новое название — «Дом ученых».

3

Владимир Александрович (1847–1909) — великий князь, генерал от инфантерии, генерал-адъютант, член Государственного совета, сенатор, третий сын императора Александра II, брат императора Александра III.

4

Куровицкую мызу Копорского уезда с селом Грязно Петр подарил своему сыну Алексею Петровичу. В селе была построена церковь Рождества Богородицы, после чего и имя села изменилось на более благозвучное «Рождествено». Усадьба связана с именем писателя В. В. Набокова.

5

Неретниеце Ада (Армида) Мартиновна. Родилась 2 июня 1924, Ленинград. Режиссер, заслуженный деятель искусств Латвии. Окончила режиссерский факультет ВГИКа (1949, мастерская С. Герасимова и Т. Макаровой). Наиболее известные режиссерские работы: «Смерть под парусом» (1977), «Гадание на бараньей лопатке» (1988).

6

Надежда Филаретовна фон Мекк (1831–1894) — меценатствующая вдова российского железнодорожного магната Карла фон Мекк. Много лет оказывала финансовую поддержку П. И. Чайковскому, с которым по взаимному соглашению никогда не встречалась. Переписка Чайковского с фон Мекк продолжалась все эти годы и составила три объемистых тома, вышедших в 1934 г. в издательстве ACADEMIA.

7

Орбели Иосиф Абгарович (1887–1961) — советский востоковед и общественный деятель, академик АН СССР, академик АН Армянской ССР и её первый президент. С 1920 работал в Государственном Эрмитаже, где создал отдел Востока — крупнейший тогда центр советского востоковедения; в 1934–1951 — директор Эрмитажа. В годы Великой Отечественной войны, оставаясь во время блокады в Ленинграде, вёл большую работу по сохранению музейных ценностей; после войны руководил восстановлением Эрмитажа. Вел большую педагогическую работу и создал школу советских кавказоведов.

8

Энтелис Леонид Арнольдович (1903–1978) — российский композитор, музыковед, балетный и оперный критик, педагог.

9

В. П. Лаврентьев работал в Октябрьском райкоме ВКП(б), а затем инструктором Ленинградского обкома ВКП(б). (Прим. со слов И.Г. Федосеевой)

10

Полуда — слой олова, нанесённый на поверхность металлических изделий (деталей радиоаппаратуры, посуды и т. д.) для предохранения от окисления.

11

Хочинский Юрий Александрович (1924–1947) — известный певец, с 1945 г. был солистом эстрадного оркестра под управлением Николая Минха, солировал на радио, записывался на пластинки. В 1947 г. покончил с собой.

12

Апаш (фр.) — рубашка с широким воротом, оставляющим открытой шею. Считается, что подобные рубашки носили парижские хулиганы — апаши.

13

МПВО — местная противовоздушная оборона, направленная на защиту населения и народного хозяйства от воздушного нападения противника. Входила в общую систему ПВО страны.

14

Шальвары (мн. устар.) — то же, что шаровары. Широкие штаны, заправляемые обычно в сапоги.

15

Фильдекос — туго скрученная хлопчатобумажная нить из лучших сортов хлопчатника, имеющая шелковистый блеск. Появилась в начале XX в. Трикотажное полотно из этой нити использовалось для изготовления чулок, перчаток.

16

ОСОАВИАХИМ — Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Массовая добровольная общественная организация граждан Советского Союза в 1927–1948 г.г. Основными задачами являлись содействие укреплению обороноспособности страны, распространение военных знаний среди населения, воспитание его в духе советского патриотизма.

17

Шпиндель — рабочий вал металлорежущего станка. На Ш. закрепляется инструмент (фреза, сверло, шлифовальный круг и т. п.) или обрабатываемое изделие.

18

Суппорт — узел, предназначенный для крепления и перемещения (при помощи механизма или вручную) инструмента в металлорежущих станках.

19

Джамбул Джабаев (1846–1945) — казахский народный поэт-акын. В годы Великой Отечественной войны на всю страну прозвучали его патриотические произведения («Ленинградцы, дети мои!» и др.).

20

Чесноков (Честноков) Владимир Иванович (1904–1968) — советский актёр и педагог, народный артист СССР.

21

Макарьев Леонид Фёдорович (1892–?) — русский советский актёр, режиссёр, драматург и педагог, народный артист РСФСР.

22

Оборин Лев Николаевич (1907–1974) — выдающийся советский пианист, народный артист СССР.

23

Дуранда — остатки семян масличных растений после выжимания из них масла; жмых.

24

Трепать — очищать, раздергивая, волокно от посторонних примесей, сора.

25

Сучить — свивать, скручивать в одну нить (несколько прядей).

Баско — красиво, хорошо, нарядно, опрятно.

27

Скубать — прясть.

28

Василевская Ванда Львовна (1905–1964) — польская и советская писательница; общественный деятель. С 1939 жила и работала в СССР. Писала на польском языке. За повесть «Радуга» (1942) удостоена Государственной премии СССР.

29

Шкнуть — шнуть, шикнуть, пикнуть, подать голос.

30

Ковель Валентина Павловна (1923–1997) — русская театральная актриса. Народная артистка СССР. Актриса Большого драматического театра им. А.М. Горького (ныне АБДТ им. Г.А. Товстоногова), где работала до конца жизни.

31

Юрьев Юрий Михайлович (1872–1948) — русский советский актёр, народный артист СССР, педагог Ленинградского театрального института.

32

Мравинский Евгений Александрович (1903–1988) — выдающийся советский дирижёр, народный артист СССР. С 1938 главный дирижёр оркестра Ленинградской филармонии, выдвинувшегося под его руководством в число лучших симфонических коллективов мира.

33

Соллертинский Иван Иванович (1902–1944) — советский историк музыки, театра и литературы, профессор Ленинградской консерватории.

34

Козинцев Григорий Михайлович (1905–1973) — советский кинорежиссёр, народный артист СССР. Выступал и как театральный режиссёр в ленинградских театрах. С 1941 г. преподавал во ВГИКе.

35

Хочинский Александр Юрьевич (1944–1998) — сын Ю. А. Хочинского (см. прим. 11). Актёр киностудии «Ленфильм». Популярный санкт-петербургский актёр театра и кино. Снимался в фильмах «Бумбараш», «Рождённая революцией», «Женщина, которая поёт» и др. Народный артист России.

36

Чёсанки (мн., разг.) — тонкие, мягкие валенки, скатанные из шерсти высшего сорта; чёсаные валенки.

37

Истмат — сокращение слов: исторический материализм (как предмет преподавания).

pro и contra (*лат.*) — за и против

39

Михоэлс Соломон Михайлович (1890–1948) (Вовси, Шлиома Михелев) — актер, режиссер, педагог. Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР. Создатель Московского еврейского камерного театра (ГОСЕТ). Был актёром, режиссёром, а с 1929 художественным руководителем этого театра. Награжден орденом Ленина. В годы Великой Отечественной войны председатель Еврейского антифашистского комитета. Был убит в Минске в результате покушения, организованного Министерством госбезопасности СССР.

40

Панина Варвара Васильевна (Варя) (урождённая Васильева) (1872–1911) — цыганская певица. За низкий, басовитый сильный голос (Панина много курила) в среде цыган получила прозвище «Иерихонская труба». Пользовалась огромной популярностью в Москве. Её пением восхищались Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, А. А. Блок.

41

Бурочки (бурки) — мягкая обувь, сшитая вручную или валяная.

42

КВЖД — Китайско-восточная железная дорога, магистраль в Северо-Восточном Китае, построена Россией в 1897–1903. С 1924 КВЖД находилась в совместном управлении СССР и Китая. В 1929 Красная Армия отразила попытки китайских войск захватить КВЖД. В 1952 безвозмездно передана Китаю.

43

Власовцы — участники антисоветских воинских формирований, действовавших на стороне фашистской Германии во время Великой Отечественной войны. Название получили по имени генерал-лейтенанта А. А. Власова, который, сдавшись в плен в июле 1942, перешёл на службу к гитлеровцам. В мае 1945 остатки частей власовцев были ликвидированы на территории Чехословакии, Власов и его сообщники захвачены в плен и по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР казнены.

Насурмленный (насурьмленный) — прил. от насурьмлять, насурмить. Сурмила — краска, имеющая в своем составе сурьму для чернения волос (бровей, усов и т. п.).

45

Печковский Николай Константинович (1896–1966) — певец, народный артист РСФСР. С 1921 выступал на оперных сценах Москвы. В 1924–1941 ведущий солист Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова. В 1941 оказался на оккупированной немецкими войсками территории; в 1944 арестован, 10 лет провел в лагерях; в 1954 реабилитирован. В 1956 вернулся в Ленинград; не был принят ни в один театр, работал в самодеятельности. Автор книги «Воспоминания оперного артиста» (СПб., 1992).

46

Ошибка в тексте воспоминаний. Зоя Федорова была арестована в 1946 г., а Н. В. Соболева находилась в лагере с 1944 по 1945 г.г.

Федорова Зоя Алексеевна (1907?–1981) — русская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР. Училась в драматической студии Ю. Завадского, а затем в Драматической студии при Московском театре Революции. Во время Великой Отечественной войны Федорова с концертными бригадами выступала на фронте. После знакомства с представителем американской военной миссии Джексоном Тэйтом, от которого родила в 1946 дочь Викторию, Федорова была арестована. Ее приговорили к 25 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу иностранного государства. В заключении находилась с 1946 по февраль 1955, пройдя Лубянку, Лефортовский изолятор, Челябинскую и Владимирскую тюрьмы. С 1956 до последних дней работала в Театре-студии киноактера.

47

Альбинони, Томазо (1671–1750) — итальянский композитор, скрипач.

48

Магалиф Юрий Михайлович (1918–2001) — советский писатель и поэт. В 1935 вместе с матерью был репрессирован и сослан в Казахстан. Учился в Ленинграде в театральном институте на актёра-чтеца. В 1941 был снова арестован и отправлен в лагерь возле Новосибирска. Освободился в 1946. Первая серьезная работа — сказка «Приключения Жакони». Она неоднократно издавалась и переводилась на европейские языки, ставилась на сцене, звучала по радио. Перу Магалифа принадлежат 36 произведений: повестей, рассказов, стихотворений, пьес, сказок. Член союза писателей СССР, лауреат премии имени Н. Г. Гарина-Михайловского.

49

Аккерман — до 1944 название г. Белгорода-Днестровского в Одесской области УССР.

50

БУР — барак усиленного режима, внутренняя тюрьма.

51

Тимашук (Тимошук) Лидия Феодосьевна (Федосеевна) (1898–1983) — советский врач-кардиолог. Её письмо о неправильном лечении А. А. Жданова было использовано официальной советской пропагандой при информационном освещении «дела врачей» 1953 г. Была награждена орденом Ленина «за помощь, оказанную Правительству в деле разоблачения врачей-убийц». После закрытия этого "дела" после смерти Сталина Тимашук была лишена ордена «в связи с выявившимися в настоящее время действительными обстоятельствами». До выхода на пенсию в 1964 работала в 4-м Главном управлении Министерства здравоохранения СССР.

52

Марр Николай Яковлевич (1864/65–1934), языковед, филолог, археолог. Концепция Марра, объявленная с конца 1920-х гг. «единственно правильной» и «марксистской», трансформировалась в идеологически оформленную административную практику, принесшую много вреда развитию языкознания и других наук. Многие видные ученые лишились возможности работать, сравнительно-историческое языкознание было официально запрещено вплоть до 1950. Полный отказ от этого учения произошло лишь после выступления против него И. В. Сталина в 1950, за которым стояла сложная игра политических, административных, идеологических, научных и личных интересов.

53

Чикобава Арнольд Степанович (1898–1985) — советский языковед, академик АН Грузинской ССР. Основные труды посвящены вопросам общего языкознания, истории и структуры кавказских (иберийско-кавказских) языков.

54

Налбандян Дмитрий Аркадьевич (1906–1993) — живописец, народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Сталинской премии. Один из наиболее именитых художников сталинской эпохи. Автор картин на историко-революционные темы и портретов многих советских партийных и государственных деятелей от Сталина до Брежнева, а также деятелей международного коммунистического движения.

55

Мурадели Вано Ильич (1908–1970) — советский композитор, народный артист СССР. Автор большого числа песен, бывших очень популярными в свое время, среди них «Нас воля Сталина вела», «Гимн Москве», «Гимн Международного союза студентов», «Песня борцов за мир», «Москва — Пекин», «Песня молодежи». Его наиболее известные произведения военных лет: «Гимн Ленинграду», «Песня о Победе», «Мы фашистов разобьем» и т. д. В 1947 написал оперу «Великая дружба», которая в специальном постановлении ЦК ВКП(б) названа «формалистской, порочной в музыкальном и сюжетном отношении». Опера была почти сразу же снята по личному распоряжению И. В. Сталина. К XIX съезду партии написал песню «Партия — наш рулевой». После смерти И. В. Сталина продолжал специализироваться на патриотических произведениях. С 1968 секретарь правления Союза композиторов СССР.

56

Бабаевский Семен Петрович (1909–2000) — русский советский писатель. Настоящая слава пришла к Бабаевскому с дилогией «Кавалер “Золотой Звезды”» и «Свет над землей» (Государственные премии за обе книги), официально признанной лучшим произведением о фронтовике, организующем подъем в послевоенном селе. Романы дилогии переведены на множество языков страны и мира; «Кавалер “Золотой Звезды”» экранизирован и инсценирован, по его мотивам создана опера.

Лабух (жарг.) — ресторанный музыкант.

58

Гуттузо, Ренато (Guttuso, Renato) (1912–1987), итальянский художник, представитель итальянского неореализма.

59

Аврутис Хаим Авраамович (1928). В 1953 по окончании Московского Государственного художественного института им. В.И. Сурикова уехал в Новосибирск, где вступил в Союз художников. В 1995 выехал в Израиль. Участник выставок, персональных, групповых, региональных, всесоюзных. Работы находятся в музеях и частных собраниях в России и за ее пределами.

60

Грицюк Николай Демьянович (1922–1976) — российский художник. Жил и работал в Новосибирске. С 1960-х гг. в циклах живописных акварелей и темпер разрабатывал свой вариант узорчато-пестрого, полуабстрактно-сюрреалистического авангардизма. Стал одним из лучших мастеров изо-искусства Сибири второй половины XX в.

61

Титков Василий Васильевич (1907–1977), живописец, график. Жил в Новосибирске.

Титков Иван Васильевич. (1905–). Создал более четырех тысяч живописных и графических полотен. Значительное место в творчестве автора занимает тема Великой Отечественной войны. Художник-реалист. Известен как автор больших пейзажных полотен для здания Московского университета и как оформитель ряда павильонов на ВДНХ СССР.

62

Кудинов Михаил Павлович (1922–1993/1994) — поэт, переводчик. Известен переводами Аполлинера, Сандрара, Рембо, Корбьера, Превера.

63

Жак Превер (1900–1977) — знаменитый французский писатель, сценарист, поэт, творческий путь которого начался в 1930-х гг., автор объемных поэм, многочисленных песен, сценариев фильмов, стихов. Все звезды французской эстрады 30–70 гг. XX в. имели в своем репертуаре песни на слова Превера.

64

Лоусон Хенри Арчибалд (1867–1922) — австралийский писатель, основоположник реалистических и демократических традиций в австралийской литературе.

65

Кенгирское восстание — восстание заключенных Степного лагеря (Степлага) в лагпункте Кенгир под Джезказганом (Казахстан) 16 мая — 26 июня 1954. В восстании приняли участие около 8 тыс. заключенных, большинство из них — осужденные по политическим статьям украинцы, а также русские, прибалты, евреи, белорусы и др. На 40-й день восстание было подавлено применением военной силы, включая танки; при этом, по свидетельствам участников событий, погибли сотни человек.